ISSN 0130–6545

5. 1989

Иностранная литература

Цветные иллюстрации номера —
работы японских мастеров икэбаны

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Приступает к работе
Международный общественный совет
журнала «Иностранная литература».
Формируя этот представительный орган,
редакция руководствовалась стремлением
найти новые способы сотрудничества
писателей разных стран, придать
дополнительный импульс диалогу
гуманитарной интеллигенции, который играет
столь заметную роль в духовной жизни
современности.
Мы искренне признательны видным деятелям
культуры, согласившимся войти в Совет.
Приветствуя новых коллег, редакция
выражает надежду на их активное участие
в ведении общего журнального дела.

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)
Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРВЕ БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная коллегия

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Ю. В. ДАШКЕВИЧ
Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
Г. П. ЗЛОБИН
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
Е. В. СТОЯНОВСКАЯ
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

СОДЕРЖАНИЕ

5 **май 1989**

ЮКИО МИСИМА — Золотой Храм *(Роман. Перевод с японского Г. Чхартишвили)* 5

Колумбийская лирика: два новых имени

ХОРХЕ ГАЙТАН ДУРАН. ЭДУАРДО КАРРАНСА *(Вступление и перевод с испанского Сергея Гончаренко)* 129

ЛЕОНАРДО ШАША — Смерть Сталина *(Рассказ. Перевод с итальянского Е. Солоновича)* 139

Из классики XX века

ДЖЕЙМС ДЖОЙС — Улисс *(Роман. Перевод с английского В. Хинкиса и С. Хоружего. Продолжение)* 157

Е. Гениева — Комментарии 184

ЭДГАР ЛИ МАСТЕРС — Из книги «Новый Спун-Ривер» *(Стихи. Вступление и перевод с английского Андрея Сергеева)* 186

Антирубрика

РОАЛЬД ДАЛЬ — Как вам будет угодно, пастор! *(Перевод с английского Т. Амелиной, И. Стам)* 194

Критика

Коммунизм и христианство

Дискуссия, состоявшаяся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР 3 ноября 1988 года 203

Литературный мир об «Улиссе»

Ричард Олдингтон — Влияние г-на Джеймса Джойса ✦ Валери Ларбо — «Улисс» Джеймса Джойса ✦ Арнолд Беннетт — «Улисс» Джеймса Джойса ✦ Эзра Паунд — Джеймс Джойс и Пекюше *(Перевод с английского И. Дорониной. Составление Екатерины Гениевой)* 225

Резонанс

Речь Нагиба Махфуза на церемонии вручения Нобелевской премии *(Перевод с арабского А. Тимошкина)* 230

Тема для дискуссии: эротика и литература

Д. Г. ЛОУРЕНС — Порнография и непристойности *(Перевод с английского Юрия Комова)* 232

Л. Петрушевская — «...Нам — секс?» 237

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ — Об эротическом ликбезе и не только о нем 238

Наша почта 243

Советская литература за рубежом 246

Курьер «ИЛ» 248

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1989.

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.**
Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая., д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 24.02.89. Подписано в печать 14.04.89. Формат 70×108¹/₁₆.
Печать высокая. Бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4.
Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 25,89.

Тираж 420 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 799.

Ордена Трудового Красного Знамени
типография «Известий Советов народных депутатов СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

ЮКИО МИСИМА

Золотой Храм

РОМАН

Перевод с японского Г. ЧХАРТИШВИЛИ

Глава первая

О Золотом Храме еще в раннем детстве рассказывал мне отец.

Родился я на отдаленном мысе, сиротливо уходящем в море к северо-востоку от Майдзуру. Отец был родом из других мест, его семья жила в Сираку, восточном пригороде Майдзуру. Уступив настояниям родных, он принял сан священника и стал настоятелем захолустного прибрежного храма. Здесь он женился, здесь появился на свет его сын — я.

На мысе Нариу не имелось даже школы, и, едва сойдя с колен матери, я был вынужден покинуть отчий дом и поселиться у дяди, брата отца, в Восточном Майдзуру. Там я и стал ходить в гимназию.

Родина моего отца оказалась краем, где круглый год щедро сияло солнце, но в ноябре и декабре по нескольку раз в день с небес — какими бы синими и безоблачными они ни были — низвергался холодный осенний дождь. Уж не коварству ли погоды тех мест обязан я своим непостоянным и переменчивым нравом?

Майскими вечерами, вернувшись после уроков в дядин дом, я, бывало, сидел на втором этаже, в комнатке, отведенной мне для занятий, и глядел из окна на окрестные холмы. В лучах закатного солнца их склоны, укрытые молодой листвой, казались мне похожими на расставленные кем-то позолоченные ширмы. Я смотрел на них и представлял себе Золотой Храм.

Мне, конечно, много раз попадались фотографии и картинки в учебниках, на которых был изображен знаменитый храм, но в глубине души я представлял его себе совсем иным — таким, каким описывал его отец. О, он не говорил, что от стен святилища исходит золотое сияние, но, по его убеждению, на всей земле не существовало ничего прекраснее Золотого Храма, и, вслушиваясь в само звучание двух этих слов, завороженно глядя на два заветных иероглифа, я рисовал себе картины, не имевшие ничего общего с жалкими изображениями в учебнике.

Стоило мне увидеть, как ослепительно вспыхивает на солнце гладь дальних заливных полей, и мне уже казалось, что это отсвет невидимого Золотого Храма. Горный перевал, по которому проходит граница нашей префектуры Киото и соседней Фукуи, высился прямо на восток от дядиного дома. Из-за тех гор по утрам восходило солнце. И хотя Киото располагался совсем в иной стороне, каждый раз

мне чудилось, что в солнечном нимбе в утреннее небо возносится Золотой Храм.

Храм, оставаясь незримым, виделся мне во всем, и этим он был похож на море: деревня Сираку находилась в полутора ри[1] от побережья, и Майдзурская бухта лежала по ту сторону гор, но близкое присутствие моря ощущалось постоянно — ветер доносил его запахи, в непогоду тысячи чаек прилетали с берега и садились на рисовые поля.

Я был хилым, болезненным ребенком, самым что ни на есть последним во всех мальчишеских играх и забавах. Это, да еще мое врожденное заикание отдаляло меня от других детей, развивало замкнутость и любовь к уединению. К тому же все мальчишки знали, что я сын священника, и их любимым развлечением было дразнить меня, изображая, как заикающийся бонза бормочет сутры. На уроках чтения, если в книге действовал персонаж-заика, все его реплики непременно зачитывались вслух — специально для меня.

Неудивительно, что заикание воздвигало стену между мной и окружающим миром. Труднее всего давался мне первый звук слова, он был вроде ключа к той двери, что отделяла меня от остальных людей, и ключ этот вечно застревал в замочной скважине. Все прочие свободно владели своей речью, дверь, соединяющая их внутренний мир с миром внешним, всегда была нараспашку, и вольный ветер гулял туда и обратно, не встречая преград. Мне же это раз и навсегда было заказано, мне достался ключ, изъеденный ржавчиной.

Заика, сражающийся с первым звуком слова, похож на птичку, бьющуюся в отчаянных попытках вырваться на волю из силка — силка собственного «я». В конце концов птичка вырвется, но будет уже поздно. Иногда, правда, мне казалось, что внешний мир согласен ждать, пока я бьюсь и трепещу крылышками, но, когда дверь удавалось открыть, мгновение уже утрачивало свою неповторимую свежесть. Оно увядало, блекло... И мне стало казаться, что иначе и быть не может — поблекшая, подгнившая реальность в самый раз подходит такому, как я.

Нет ничего странного в том, что в отрочестве меня преследовали соблазнительные и противоречивые грезы о власти, вернее, о двух разных видах власти. То, начитавшись исторических романов, я воображал себя могущественным и жестоким владыкой. Он заикается и поэтому почти всегда молчит, но как же трепещут подданные, живущие в постоянном страхе перед этим молчанием, как робко заглядывают в лицо своему господину, пытаясь угадать, что их ждет — гнев или милость! Мне, государю, ни к чему оправдывать свою беспощадность гладкими и звучными фразами, само мое молчание объяснит и оправдает любую жестокость. С наслаждением воображал я, как одним движением бровей повелеваю предать лютой казни учителей и одноклассников, мучивших меня в гимназии. И еще нравилось мне представлять себя владыкой иного рода — великим художником, повелителем душ, молча созерцающим Вселенную. Так, несмотря на жалкую свою наружность, в глубине души я считал себя богаче и одареннее всех сверстников. Да это, наверно, и естественно — каждый подросток, имеющий физический изъян, мнит себя тайно избранным. Не был исключением и я, я знал, что впереди меня ждет пока неведомая, но великая миссия.

... Мне вспоминается такой случай.

Гимназия находилась в новом, светлом здании, удобно расположившемся на широком пространстве меж плавных холмов.

[1] Мера длины, равная 3,927 км. *(Здесь и далее прим. перев.)*

В один из майских дней к нам в гимназию пришел бывший ученик, а ныне — курсант Майдзурского военно-морского инженерного училища, отпущенный домой на побывку. Мне этот юноша казался молодым богом, до того он был хорош: загорелое лицо, надвинутая на самый нос фуражка, мундир с иголочки. Гимназисты обступили курсанта плотной толпой, а он живописал им тяготы военной жизни. Однако в его устах убогая эта жизнь представала захватывающей и героической. Вид курсант имел весьма важный и на гимназистов поглядывал снисходительно, свысока. Грудь колесом, затянутая в расшитый мундир, напоминала резную фигуру на носу корабля, рассекающего океанские волны.

Курсант сидел, небрежно развалившись, на каменных ступеньках лестницы, ведшей на плац. Вокруг собралась кучка завороженных слушателей, раскинувшийся на склоне цветник пылал майскими цветами — тюльпанами, душистым горошком, анемонами, маками. Выше, над лестницей, благоухала усыпанная белыми цветами магнолия.

Группа, собравшаяся на ступенях, застыла неподвижно, как изваяние. Я же сидел один, немного в стороне, на скамейке, в почтительном благоговении — перед великолепием майских цветов, гордого мундира и громких, веселых голосов.

Однако молодой бог все чаще поглядывал в мою сторону. Видимо, он счел, что я один не признаю его превосходства, и чувствовал себя слегка уязвленным. Он спросил у восхищенных гимназистов, как меня зовут, и крикнул:

— Эй, Мидзогути!

Я молча смотрел на него. Курсант снисходительно рассмеялся:

— Ну, что молчишь? Или ты глухой?

— Я з-з-з-заика,— передразнил меня один из соучеников, и все остальные зашлись от хохота. Как ослепителен издевательский смех! Звонкий, по-детски жестокий, хохот моих одноклассников всегда напоминал мне вспыхивающие на солнце стебли травы.

— Так ты заика? Надо тебе в наше училище поступать — там из тебя эту дурь в два счета выбьют.

И тут ответ выскочил у меня сам собой, помимо моей воли, я даже не заикнулся:

— Нечего мне делать в училище. Я стану монахом.

Все умолкли, а молодой бог, наклонившись, сорвал травинку и сунул ее в рот.

— Понятно. Значит, через год-другой придется тебе молиться за упокой моей души.

В ту пору война на Тихом океане уже началась.

...Внезапно на меня снизошло нечто вроде озарения. Мне представилось, что я стою один перед темным миром с широко распростертыми руками. И что весь этот мир — и его майские цветы, и блестящие мундиры, и мои безжалостные одноклассники — в один прекрасный день сам упадет в мои ладони. Мне открылось, что мир крепко схвачен мною, зажат в моих руках... Откровение не вызвало во мне чувства гордости, слишком уж тягостным было оно для подростка.

Гордость — нечто более легкое, светлое, открытое глазу, искрящееся. Мне хотелось обладать чем-то таким, что давало бы мне право гордиться и было видно каждому. Хотя бы кортиком, висевшем на поясе у него.

Кортик, на который с благоговением взирали гимназисты, действительно был хорош. Поговаривали, правда, что курсанты нередко затачивают своими кортиками карандаши, но для чего же это было лихо — использовать столь гордый символ для дела тривиального и низменного!

А потом мундир курсанта инженерного училища был повешен на выкрашенный в белый цвет забор. Там же оказались брюки, рубашка, нижнее белье... От всей этой одежды, развешенной меж цветов, пахло молодым потом. На сиявшую ослепительно белым цветом рубашку опустилась пчела. Украшенная золотым галуном фуражка была водружена на одном из прутьев изгороди так же ровно и основательно, как если бы она красовалась на голове своего владельца. А сам курсант отправился на посыпанный песком ринг для сумо [1] — кто-то из гимназистов предложил ему побороться.

Я смотрел на снятую одежду, и мне казалось, что я вижу перед собой некую увенчанную славой могилу. Обилие майских цветов еще более усиливало это впечатление. Лирическим очарованием веяло от фуражки со сверкающим черным лаком козырьком, от кожаной портупеи и кортика — отделенные от тела своего хозяина, они были не менее совершенны, чем он сам. Мне они казались реликвиями, оставшимися после гибели юного героя.

Оглядевшись по сторонам, я убедился, что поблизости никого нет. Со стороны ринга доносились азартные крики. Тогда я достал из кармана ржавый перочинный ножик, подкрался к забору и сделал на прекрасных черных ножнах кортика несколько уродливых царапин...

Быть может, прочтя эти строки, читатель решит, что я был мальчиком с поэтической натурой. Однако я никогда не писал стихов, даже дневника не вел. Я не испытывал стремления восполнить то, в чем уступал окружающим, какими-либо другими достоинствами, только бы выделиться из толпы. Иными словами, я был слишком высокомерен, чтобы стать человеком искусства. Грезы о владычестве — над людскими судьбами или душами — так и оставались грезами, я пальцем о палец не ударил, чтобы приступить к их осуществлению.

Никто из людей не в состоянии меня понять — именно это сознание давало мне ощущение исключительности, вот почему во мне и не могло возникнуть желания как-то самовыразиться, сделаться понятным другим. Я верил — мне самой судьбой предназначено не обладать ничем таким, что может быть доступно постороннему взгляду. И одиночество мое росло и разбухало, как откармливаемая на убой свинья.

В моей памяти всплывает один трагический эпизод, случившийся в нашем селении. Казалось бы, он не имел ко мне ни малейшего отношения, однако чувство, что я был им затронут, что я принимал в тех событиях самое непосредственное участие, живо во мне до сих пор

Столько всякого открылось мне через тот случай — жизнь, страсть, измена, ненависть, любовь и еще многое. Но моя прихотливая память закрывает глаза на то величественное, что несомненно таилось в основе произошедшей трагедии...

Через два дома от дядиного жила красивая девушка. Ее звали Уико. Глаза у нее были большие и ясные-ясные. Держалась она всегда неприступно — может, оттого, что ее семья считалась в деревне зажиточной. Уико все обожали, просто на руках носили, но чувствовалась в ней какая-то скрытность — трудно было предположить, о чем она думает, оставаясь одна. Ревнивые деревенские сплетницы утверждали, что именно из таких вот получаются бесплодные женщины-ледышки, хотя Уико явно была еще девушкой.

Едва окончив гимназию, Уико добровольно поступила медсестрой в Майдзурский военно-морской госпиталь. Это было не так далеко, и на работу она могла ездить на велосипеде. Выезжать из дому ей приходилось еще затемно, часа за два до того, как просыпались мы, школьники.

---

[1] Японская национальная борьба.

Однажды вечером я не мог уснуть, предаваясь мрачным фантазиям о теле Уико, а на исходе ночи выскользнул из своей комнаты, надел гимнастические тапочки и шагнул за дверь, в летние предрассветные сумерки.

В ту ночь я не впервые грезил о ее теле. Мимолетные поначалу мечты преследовали меня все чаще и определенней, и так же определенно стало видеться мне белое и упругое тело Уико, ее благоуханная плоть. Я представлял, как загорятся огнем мои пальцы, коснувшись ее. Представлял пружинящую податливость кожи, аромат цветочной пыльцы.

Я стремительно несся по тропинке. Камни не замедляли мой бег, темнота не закрывала от меня дороги.

Вот тропинка стала шире, она петляла по окраине маленькой деревеньки. Там росла огромная дзельква. Ствол дерева был мокрым от росы. Я спрятался у его подножия и стал дожидаться, когда появится Уико на своем велосипеде.

Я просто ждал, никаких определенных намерений у меня не было. Несся я сюда со всех ног, но теперь, затаившись в густой тени дзельквы, понятия не имел, что делать дальше. Слишком долго существовал я вне всякой связи с внешним миром; именно этим, видимо, следует объяснить странную иллюзию, что достаточно мне очертя голову кинуться в этот самый внешний мир, и все сразу станет возможным и доступным.

Комары кусали мне ноги. Из деревушки доносились крики петухов. Я вглядывался в сумрак. Вдали над дорожкой маячило что-то смутное и белое. Вначале мне показалось, что это просто рассвет, но то была Уико

Она ехала на велосипеде, во мраке светилась зажженная фара. Велосипед беззвучно скользил по дорожке. И тут я выскочил ему наперерез из-за ствола дерева — Уико едва успела нажать на тормоз.

Я словно обратился в камень. Мысли и воля застыли во мне. Нет, мой внутренний мир никак не желал соприкасаться с миром внешним — тот, незыблемый, окружая меня со всех сторон, существовал сам по себе. Я выбрался из дядиного дома, надел спортивные тапочки, бежал во весь дух по тропинке, прятался за ствол дзельквы — оказывается, все эти действия не выходили за пределы моего внутреннего «я». И едва различимые в предрассветном полумраке контуры крыш, и черные силуэты деревьев, и темные вершины гор, и даже стоявшая передо мной Уико вдруг непонятным и пугающим образом оказались лишенными всякого смысла. Все вокруг, не дожидаясь моего участия, обрело реальность, и эта бессмысленная, неохватная, сумеречная реальность с неведомой мне доселе тяжестью разом обрушилась на меня.

Как всегда, я решил, что только слова могут вызволить меня из нелепого положения. Моя всегдашняя ошибка. Вечно, когда необходимо действовать, я думаю только о словах. А слова срываются с моих губ с таким невероятным трудом, что сил на действие уже не остается. Мне казалось, что ослепительное великолепие действия непременно должно сопровождаться ослепительным великолепием слова.

Я ничего перед собой не видел. Однако, как мне вспоминается, Уико, вначале напуганная моим неожиданным появлением, увидев, что это я, смотрела только на мой рот, на маленькую, темную дыру, грязную, как норка полевой мыши; дыра бессмысленно дергалась и дрожала в темноте. И, увидев, что эта дыра лишена силы, способной связать ее с окружающим миром, Уико успокоилась.

— Ты что! — воскликнула она.— Ну и шутки! Заика чертов!

Голос ее был свеж и уверен, как утренний ветер. Тренькнув звонком, Уико поставила ногу на педаль. Объехала меня стороной, словно камень, лежащий посреди тропы. На дорожке в этот час не было

ни души, но Уико, уносясь прочь, насмешливо бренчала и бренчала своим звонком.

В тот же вечер мать Уико пришла жаловаться на меня дяде. На следующий день дядя, всегда такой тихий и спокойный, жестоко изругал меня. И я проклял Уико, и стал желать ей смерти, а несколько месяцев спустя проклятие мое сбылось. С той поры я твердо верю в силу проклятий.

Я желал смерти Уико, ложась вечером спать и просыпаясь утром. Я молился, чтобы она, свидетель моего позора, раз и навсегда исчезла с лица земли. Да если бы вокруг не было свидетелей, стыду не нашлось места на земле! Все люди — свидетели. Не было бы людей, не возникло бы и позора. В тот предрассветный час в облике Уико, где-то по ту сторону ее мерцающих холодным блеском глаз, что изучающе смотрели на мои губы, я разглядел весь этот м и р д р у г и х л ю д е й — мир, никогда не оставляющий нас одних, подсовывающий соучастников и свидетелей наших преступлений. Надо уничтожить всех других людей. Для того, чтобы я мог открыто поднять лицо к солнцу, мир должен рухнуть...

Месяца через два после доноса на меня Уико ушла из госпиталя и вернулась насовсем в родительский дом. По деревне поползли самые разные сплетни. А в конце осени произошла та история.

...Никто из деревенских и не подозревал, что в наших местах скрывается беглый матрос. Однажды в сельскую управу пришли жандармы. Их появление не было такой уж редкостью, и никто не обратил на них особого внимания.

Стоял ясный день, какие часто выпадают в конце октября. Я, как обычно, пришел из гимназии, сделал уроки и уже готовился укладываться спать. Прежде чем погасить лампу, я случайно взглянул на улицу и замер: по ней собачьей сворой бежала толпа людей. Я бросился вниз по лестнице. У дверей дома стоял один из моих одноклассников с круглыми от возбуждения глазами. Он крикнул нам — мне и разбуженным шумом дяде и тете:

— Жандармы схватили Уико! Бежим смотреть!

Сунув ноги в гэта [1], я помчался за ним. Ярко светила луна, легкие, прозрачные тени лежали на убранных рисовых полях.

Под деревьями копошились темные фигуры. Уико, одетая в черное платье, сидела прямо на земле. Лицо ее выделялось в темноте белым пятном. Рядом стояли ее родители и несколько жандармов. Один из них сердито кричал, размахивая каким-то узелком. Отец Уико беспомощно вертел головой, то прося прощения у жандармов, то обрушиваясь с упреками на дочь. Мать рыдала, закрыв лицо руками.

Мы наблюдали эту сцену с соседнего участка рисового поля. Зрителей становилось все больше, мы молча стояли, касаясь друг друга плечами, и смотрели. Маленькая, словно выжатая, луна сияла над нашими головами.

Одноклассник шепотом рассказал мне, как было дело.

Жандармы ждали в засаде, когда Уико, прихватив узелок с едой, шла по направлению к соседнему поселку. Еда, вне всякого сомнения, предназначалась для прячущегося дезертира. Оказывается, Уико сошлась с ним, еще работая в госпитале, забеременела и была за это отчислена из медсестер. Жандармы требовали, чтобы Уико отвела их туда, где прячется дезертир, но та упорно молчала и не трогалась с места...

Я неотрывно смотрел на белое лицо Уико. Вид у нее был такой, словно она лишилась рассудка. Лицо, освещенное луной, застыло неподвижной маской.

---

[1] Деревянная обувь.

Никогда еще мне не приходилось видеть выражения такого отречения от всего и вся. Я всегда считал, что мир отрекает мое лицо, но лицо Уико — оно само отрекало весь мир. Лунный свет безжалостно лился на ее лоб, глаза, нос и щеки, но лицо оставалось неподвижным, свет просто как бы стекал по нему. Если бы Уико хоть чуть-чуть дрогнула ресницами или шевельнула губами, мир, который она пыталась отринуть, принял бы это движение за проявление слабости и раздавил бы ее.

Боясь вздохнуть, смотрел я на Уико. Ее лицо не имело ни прошлого, ни будущего, оно замкнулось в молчании. Нечто подобное можно иногда увидеть на срезе только что срубленного дерева. Древесина еще свежа и полна жизни, но рост ее уже оборвался; ее волокна, сокрытые прежде, теперь выставлены под солнце и дождь — каким странным выглядит это прекрасное лицо дерева, подставленное ударам чуждого ему мира. Лицо, явившееся этому миру только для того, чтобы его отринуть...

Никогда еще черты Уико не были так хороши, и мне подумалось: вряд ли я когда-нибудь увижу нечто, столь же прекрасное. Но этот восхитительный миг оказался кратким. Лицо Уико вдруг переменилось.

Она поднялась на ноги. Мне почудилось, что Уико рассмеялась. Я не мог ошибиться — в лунном свете блеснули ее зубы. Больше мне нечего сказать о происшедшей с этим лицом перемене, потому что Уико отвернулась от лунного света и исчезла в густой тени деревьев.

Жаль, что я так и не разглядел толком, как менялся облик девушки в момент, когда она решилась на предательство. Если бы только я это видел, быть может, во мне родилось бы прощение — прощение человека и всех его мерзостей.

Уико указала рукой на гору Кахара.

— Он прячется в храме Конго! — закричал кто-то из жандармов.

И тут во мне возникло шальное, радостное возбуждение, как у ребенка в день праздника. Жандармы разделились на несколько групп и окружили горный храм со всех сторон. Для этого им понадобилась помощь жителей деревни. Снедаемый чувством мстительного любопытства, я присоединился к мальчишкам, которые пошли с первой группой — ее вела сама Уико. Меня поразило, до чего же твердо ступала она по залитой лунным светом тропе; следом за ней шагали жандармы.

Храм Конго был одной из местных достопримечательностей. Он притулился под горой, минутах в пятнадцати ходьбы от поселка. Славился храм древним деревом, посаженным некогда самим принцем Такаока[1], а также чудесной трехъярусной пагодой, которую, по преданию, возвел прославленный Дзингоро Хидари[2]. Летом я часто плескался неподалеку отсюда, у водопада под горой.

Глинобитная стена, окружавшая главное здание храма, тянулась вдоль берега ручья. Ее обветшалый гребень порос мискантом, белые стебли которого сияли, подсвеченные луной. Перед воротами пышно цвели камелии.

Мы молча шагали по берегу. Здание храма Конго было над нами. Справа, за бревенчатым мостиком возвышалась трехъярусная пагода, слева шумела красной осенней листвой роща, а за деревьями начиналась знаменитая лестница из ста пяти ступеней, покрытых мхом. Вытесанные из известняка ступени были скользкими.

Прежде чем шагнуть на мостик, главный жандарм обернулся и взмахом руки велел нам остановиться. По преданию, некогда на этом

---

[1] Принц Такаока (799—865) — первый японец, совершивший путешествие в Индию и Юго-Восточную Азию.

[2] Дзингоро Хидари (1594—1651) — зодчий и скульптор.

месте стояли две статуи стражей врат, созданные знаменитыми ваятелями Ункэем и Танкэем. Отсюда начинались владения храма.

Мы замерли, затаив дыхание. Жандарм поманил Уико. Она одна перешла через мостик, и, выждав немного, мы двинулись следом. Нижняя часть лестницы была в тени, но выше ступени ярко освещались луной. Мы все спрятались в зарослях. Красные листья казались черными.

Лестница поднималась к главному зданию храма, влево и наискосок от него шла крытая галерея, ведущая к пристройке,— в таких обычно устраивают ритуальные танцы кагура. Пристройка парила над обрывом и, подобно храму Киёмидзу в Киото, опиралась на бесчисленные деревянные сваи. И сам храм, и пристройка, и бревна свай, омытые бесчисленными дождями и высушенные ветрами, белели во мраке, словно кости скелета. Осенним днем гармония пышной красной листвы и белых храмовых построек была безупречной, но теперь, ночью, высвеченный луной, белый скелет храма выглядел чарующе-зловещим.

Дезертир, видимо, прятался где-то там, наверху. Жандармы собирались использовать Уико, чтобы выманить матроса из его убежища.

Мы, свидетели, стараясь не дышать, затаились в тени деревьев. Октябрьская ночь была холодна, но мои щеки пылали огнем.

Уико стала подниматься по ступенькам одна. В ее фигуре было что-то безумное и одновременно горделивое... Ослепительно вспыхивал между черными волосами и черным платьем ее белоснежный профиль.

У меня хмельно закружилась голова — до того кристально-прекрасной была измена Уико в обрамлении луны, звезд, ночных облаков, пятен серебристого света, парящих над землей храмовых зданий и гор, ощетинившихся острыми верхушками кедров. Уико имела право, так гордо расправив плечи, подниматься одна по этой белой лестнице — ее измена была одной природы со звездами, луной и кедрами. Теперь она стала одной из нас и принимала весь этот мир. Уико поднималась по лестнице как представитель нас, остальных людей. И я, задыхаясь от волнения, подумал: «Совершив предательство, она приняла и меня тоже. Теперь она принадлежит и мне».

Каждое событие запечатлевается нашей памятью лишь до определенной черты. Я так и вижу перед собой, как Уико поднимается по ста пяти замшелым ступеням. Подъем ее свершается целую вечность.

Но потом она опять переменилась, вновь стала другим человеком. Поднявшись по лестнице на самый верх, Уико совершила новое предательство — теперь она предала всех нас, остальных, и, главное, меня. Эта новая Уико больше не отрицала окружающий мир, но и не принимала его. Она опустилась до уровня обычной страсти, превратилась просто в женщину, отдавшую всю себя одному-единственному мужчине.

Вот почему все, что произошло дальше, вспоминается мне смутно и размыто, словно изображение на старой литографии... Уико прошла по галерее и крикнула что-то во мрак храма. Оттуда появился мужчина. Уико заговорила с ним, мужчина обернулся к лестнице, выхватил пистолет и стал стрелять. Жандармы из кустов открыли ответный огонь. Уико бросилась к галерее, но мужчина вскинул руку с пистолетом и несколько раз выстрелил ей в спину. Уико упала. Тогда мужчина приставил дуло к виску, и прогремел еще один выстрел...

Сначала жандармы, за ними все остальные бросились вверх по каменным ступенькам к двум трупам, только я не тронулся с места, по-прежнему притаившись в тени осенней листвы.

Над моей головой белели перекрещенные опоры храмовой пристройки. Грохот шагов по деревянному настилу галереи долетал до меня, приглушенный расстоянием. Скользящие лучи карманных фо-

нариков сквозь деревянные перила то и дело пробегали по ветвям деревьев.

Я не мог отделаться от ощущения, что все давным-давно уже кончилось, все осталось в далеком прошлом. Людей с их толстокожестью можно пронять, только когда прольется кровь. Но кровь проливается уже после того, как трагедия свершилась. На меня накатила дремота.

Проснувшись, я обнаружил, что остался в роще один, кругом щебетали птицы, стволы деревьев были освещены лучами утреннего солнца. Солнце высвечивало снизу белые кости храмовых построек, и храм казался возрожденным. Гордо и спокойно он парил над покрытой красной листвой долиной.

Я поднялся, дрожа от холода, и стал растирать закоченевшее тело. От минувшей ночи ничего во мне не осталось, кроме озноба. Озноб — и больше ничего.

* * *

На следующий год, в весенние каникулы приехал отец, из-под его рясы выглядывал обычный гражданский китель, в каких все ходили во время войны. Он сказал, что хочет взять меня на несколько дней в Киото. У отца были больные легкие, и я поразился тому, как он сдал. И дядя, и дядина жена пытались отговорить его от этой поездки, но отец был непоколебим. Только потом я понял, что он, зная, как недолго осталось ему жить, хотел представить меня настоятелю Золотого Храма.

Я, конечно, давно мечтал увидеть Храм собственными глазами, но отправляться в путешествие с отцом, который, сколько бы он ни храбрился, был совсем плох, не очень-то хотелось. По мере того, как свидание с пока еще неведомым мне Храмом приближалось, я испытывал все больше колебаний и сомнений. Золотой Храм непременно должен был оказаться прекрасен. Я чувствовал, как велика ставка, ставка не на действительную красоту Храма, а на способность моей души вообразить прекрасное.

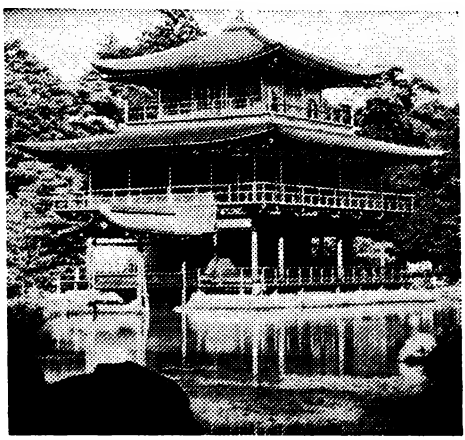
Все, что могло быть известно подростку моего возраста о Золотом Храме, я, разумеется, знал. В случайно попавшей мне в руки книге по искусству история Храма излагалась следующим образом.

> «Сёгун Ёсимицу Асикага (1358—1408) получил в дар от рода Сайондзи усадьбу Китаяма и построил на этом земельном участке обширный дворцовый ансамбль. Архитектурный комплекс состоял из построек религиозного назначения: Усыпальницы, Храма Священного Огня, Зала Покаяния, Храма Очищения Водой, а также ряда светских зданий: Главного Дворца, Дома придворных, Зала совещаний, Дворца Небесного Зеркала, Башни Северной Звезды, дворца «Родник», Усадьбы Любования Снегом и прочих сооружений. Самые большие средства были затрачены на строительство Усыпальницы, которую позднее стали называть Кинкакудзи — «Золотой Храм». Теперь уже невозможно с точностью установить, когда именно возникло это название, однако не ранее междоусобной войны 1467—1477 годов. А в эпоху Буммэй (1469—1487) новое название Усыпальницы уже было широко распространено.
>
> Кинкакудзи — это трехэтажная башенка, стоящая над широким Зеркальным прудом, построена она, видимо, около 1398 года (5-й год эпохи Оэй). Первый и второй ярусы выдержаны в классическом усадебном стиле «синдэн-дзукури», здесь применяются «ситомидо» — двери, поднимающиеся кверху. Третий ярус Золотого Храма представляет собой квадратное помещение со стороной в три кэна [1], оформлен-

[1] Кэн — 1,81 *м.*

ное в строгом соответствии с канонами дзэн-буддизма. В зал ведет деревянная дверь, справа и слева расположены оконца. Четырехскатная крыша здания, покрытая корой кипариса, выдержана в стиле «хогё-дзукури» и украшена фигурой феникса из позолоченной меди. Монотонность композиции храма нарушает Рыбачий павильон с двускатной крышей, выходящий к самому пруду. В целом Кинкакудзи, с его плавным наклоном крыши и легкой, изысканной структурой деревянных стен, является шедевром гармонии в садовой архитектуре, соединившей элементы усадебного и буддийского зодчества. Золотой Храм дает нам представление о вкусах и характере сёгуна Ёсимицу, приверженца классической придворной архитектуры, и прекрасно передает атмосферу той далекой эпохи.

Согласно завещанию Ёсимицу, после его смерти дворцовый ансамбль Китаяма был передан во владение секте Дзэн и стал называться — храм Рокуондзи. На протяжении веков часть зданий разрушилась, часть разобрали и перенесли на новое место, лишь Золотой Храм каким-то чудом уцелел в первозданном виде...»



Словно золотой месяц в черном ночном небе, храм Кинкакудзи символизировал мрачную эпоху, в которую он был построен. В моем воображении Храм и не мог существовать иначе, без черного фона сгустившейся вокруг него тьмы. Стройные, тонкие колонны, подсвеченные нежным сиянием изнутри, тянулись во мраке вверх гордо и спокойно. С какими бы речами ни обращались люди к Храму, он, прекрасный, такой хрупкий, хранил безмолвие — он должен был выстоять перед окружающей его чернотой.

И еще я часто думал о парящем над крышей фениксе, которому столько веков были нипочем и дожди, и злые ветры. Эта таинственная золотистая птица, ни разу не взмахнувшая крылом, ни разу не встретившая криком рассвет, давно забыла о том, что она — птица. Но ошибется тот, кто решит, что феникс навсегда прикован к крыше. Как иные птицы скользят по широкому небу, так эта, расправив сияющие крылья, вершит вечный полет по просторам времени. Встречный поток лет ударяется о крылья феникса и уносится вдаль, прочь. Птице не нужно никуда лететь — достаточно просто свирепо вытаращить глаза, расставить пошире крылья, развернуть перья хвоста, покрепче упереться сильными позолоченными ногами, и она уже в полете.

Думая о птице, я сравнивал Золотой Храм с чудесным кораблем, приплывшим ко мне через океан времени. «Легкая, воздушная конструкция», о которой говорилось все в той же книге, тоже вызывала у меня ассоциацию с парусником, а пруд, в котором отражался этот замысловатый трехъярусный корабль, казался мне символом бескрайних морей. Храм приплыл из дальнего края темной, огромной ночи. И плаванию его не было конца. Днем все выглядело, наверное, иначе: корабль бросал якорь и позволял бесчисленным зевакам бродить по своим палубам, но ночью — ночью Храм черпал из сгущающейся тьмы силы для нового плавания, раздувал, как парус, крышу и отправлялся в путь.

Не будет преувеличением сказать, что первая сложная проблема, с которой мне пришлось столкнуться в жизни,— это проблема прекрасного. Мой отец был простым деревенским священником, не умевшим красиво говорить, и я усвоил от него только одно: «На всем белом свете нет ничего прекраснее Золотого Храма». Так я узнал, что где-то, в неведомом пока мне мире Прекрасное уже существует — и эта мысль отдавалась в моей душе обидой и беспокойством. Если Прекрасное есть и есть где-то там, далеко отсюда, значит, я от него отдален, значит, меня туда не пускают?

Золотой Храм не был для меня абстрактным образом. Горы скрывали его от моего взора, но при желании я мог перейти через них и увидеть Храм воочию. Выходит, Прекрасное можно разглядеть, можно даже потрогать руками. Я знал и верил, что где-то там стоит Золотой Храм, неизменный и вечный перед лицом сменяющих друг друга времен.

Подчас Кинкакудзи казался мне миниатюрной золотой вещицей, которую можно взять в ладони. Иногда же Храм становился огромным и вырастал до самого неба. Никогда бы я не согласился с утверждением, гласящим, будто прекрасное не может быть ни слишком большим, ни слишком маленьким, а должно быть умеренным. Когда летом я видел крошечный цветок, влажный от утренней росы и окруженный сияющим ореолом, я думал: «Он прекрасен, как Золотой Храм». Когда же над горами собирались грозовые тучи — черные и мрачные, но с горящей золотой каймой,— в их мощном величии я тоже видел Храм. И, встретив красивое лицо, я мысленно говорил: «Этот человек прекрасен, как Золотой Храм».

Поездка с отцом получилась невеселой. Железная дорога шла от Майдзуру в Киото, минуя поселки и небольшие городишки, поезд то и дело останавливался на маленьких станциях. Вагон был старым и грязным; когда поезд ехал тоннелем, дым от паровоза через окна попадал внутрь, и отец все время надрывался от кашля.

Большинство пассажиров так или иначе были связаны с флотом. Вагон третьего класса был битком набит матросами, унтер-офицерами, рабочими с военных заводов, семьями, ездившими в Майдзуру навестить кого-нибудь из родных.

Я смотрел в окно на пасмурное весеннее небо. Поглядывал на отцовскую рясу, накинутую поверх гражданского кителя, на сверкающие золотыми пуговицами мундиры молодых здоровяков-боцманов. Мне казалось, что я один из них. Вот достигну призывного возраста и тоже стану военным. Только смогу ли я отдаваться службе так же рьяно, как эти розовощекие моряки? Ведь я принадлежу их миру лишь наполовину. В моей юной, уродливой голове шевелились мысли такого рода: мир смерти, принадлежащий отцу, и мир жизни, в котором существуют эти молодые парни, благодаря войне соединены теперь воедино. Может быть, я — связующее звено между жизнью и смертью? Если мне суждено погибнуть на войне, конец все равно один, какую бы дорогу я теперь ни избрал.

Все мое отрочество окрашено в тусклые, сумрачные тона. Я страшился черного мира тьмы, но и белый свет дня был мне чужд.

Слушая беспрестанное покашливание отца, я смотрел в окно, на реку Ходзугава. Вода была тошнотворно синей, словно медный купорос, с которым мы ставили опыты на уроках химии. Каждый раз, выезжая из очередного туннеля, я видел ультрамариновую ленту реки, окруженную скалами, то вдали, то совсем рядом — горы крутили реку, словно на гончарном круге.

Отец застенчиво развернул сверток с завтраком — колобками из белого очищенного риса.

— Это не с черного рынка,— громко сказал он, чтобы слышали соседи,— прихожане принесли, так что ешь спокойно, сынок.

Колобки были совсем небольшие, но отец с трудом осилил один из них.

Мне все не верилось, что этот дряхлый, черный от копоти поезд едет в древнюю столицу. Я не мог отделаться от ощущения, что паровоз мчится к станции, название которой Смерть. И дым, что лез в окна вагона каждый раз, когда мы попадали в туннель, казался мне чадом погребального костра...

Когда я оказался перед воротами храма Рокуондзи, сердце мое затрепетало. Еще несколько мгновений — и я увижу чудо, прекраснее которого на свете нет.

Солнце начинало клониться к закату, горы окутала дымка. Вместе с нами в храмовые ворота вошли еще несколько посетителей. Слева высилась звонница, вокруг которой росла сливовая роща — она уже отцветала, но еще не все лепестки облетели с ветвей.

Отец остановился у дверей главного здания храма — там рос огромный дуб — и попросил служителя провести его к настоятелю. Ему ответили, что у настоятеля сейчас гость и нам придется с полчаса подождать.

— Ну, пойдем пока посмотрим на Золотой Храм,— предложил отец.

Ему, наверное, хотелось похвастаться передо мной своими знакомствами и пройти внутрь, не заплатив за билеты. Но и кассир и контролер за те десять, а то и пятнадцать лет, что отец здесь не был, давно сменились.

— Вот увидишь,— сказал мне отец с кислой миной,— придем в следующий раз, опять новые будут.

Я почувствовал, что слова «в следующий раз» отец произнес без особой надежды. Однако виду я не подал и с ребяческой беззаботностью (впрочем, по-мальчишески я вел себя только тогда, когда это было мне выгодно) понесся вперед.

И Золотой Храм, о котором я мечтал столько лет, тут же предстал перед моим взором.

Я стоял на одном берегу Зеркального пруда, а на другом, освещенный заходящим солнцем, сиял фасад Храма. Слева виднелась часть Рыбачьего павильона. В глади заросшего водорослями пруда застыла точная копия Храма, и копия показалась мне несравненно совершеннее оригинала. Блики от воды дрожали на загнутых углах крыши каждого из ярусов. Эти пылающие нестерпимым сиянием точки искажали подлинные размеры Храма, как на картинке с нарушенной перспективой.

— Красота, правда? — костлявая рука отца с болезненно-тонкими пальцами легла на мое плечо.— Первый ярус зовется Хосуйин, «Храм Очищения Водой», второй — Тёонхора, «Грот Прибоя», а третий — Кукётё, «Вершина Прекрасного».

Я смотрел на Храм и так и сяк, менял угол зрения, вытягивал шею, но ровным счетом ничего не чувствовал. Обычный трехэтажный домик, почерневший от старости. И феникс напоминал мне обыкновенную во-

рону, присевшую на крышу передохнуть. Храм вовсе не показался мне прекрасным, скорее он вызывал ощущение дисгармонии. Неужели, подумал я, прекрасным может быть нечто, настолько лишенное красоты?

Будь я каким-нибудь обычным подростком, скромным и старательным, я, верно, не пал бы так быстро духом, а обвинил бы во всем несовершенность своего видения. Но я так страстно и так долго ждал этой встречи, что ощущение обиды и предательства заглушило все остальные чувства.

Я подумал: а уж не скрывает ли от меня Храм свой прекрасный облик, явившись мне иным, чем он есть на самом деле? Возможно, Прекрасное, дабы защитить себя, должно прятаться, обманывать человеческий взор? Нужно подобраться к Храму поближе, проникнуть за уродливую пелену, скрывающую его от моего взгляда, рассмотреть это чудо во всех деталях, добраться до самой сердцевины Прекрасного. Вполне естественный для меня ход мысли — ведь я верил лишь в ту красоту, которая доступна глазу. Отец подвел меня к Храму и с благоговением поднялся на открытую галерею нижнего яруса. Первое, что мне бросилось в глаза,— макет Золотого Храма под стеклянным колпаком. Вот макет мне понравился. Он гораздо больше походил на Золотой Храм моих фантазий. Да само то, что внутри большого Кинкакудзи находится еще один — точно такой же, но только миниатюрный,— навело меня на мысль о бесконечности, о малых мирах, заключенных внутри миров огромных. Я как бы увидел воплощение своей мечты: микроскопический — гораздо меньше этого макета,— но абсолютно прекрасный Золотой Храм; и еще один — бесконечно громадный, охватывающий всю Вселенную.

Но я недолго любовался макетом. Отец повел меня к знаменитой статуе сёгуна Ёсимицу, считающейся национальным сокровищем. Эта деревянная скульптура официально именовалась «Статуя Рокуонъиндэн Митиёси» — такое имя принял Ёсимицу после пострижения в монахи.

Ничего выдающегося я в ней не углядел — нелепый, потускневший от времени истукан. Потом мы с отцом поднялись на второй этаж, в «Грот Прибоя», потолок которого украшала картина «Танцы Небожителей», приписываемая кисти самого Масанобу Кано [1]. Но ни эта картина, ни жалкие остатки позолоты, еще сохранившиеся наверху, в покое «Вершина Прекрасного», ничуть меня не тронули.

Опершись на тонкие перила, я лениво глядел на раскинувшийся внизу пруд. В его глади, освещенной лучами заходящего солнца и оттого похожей на древнее медное зеркало, застыло отражение Храма. Предвечернее небо тоже было там, по ту сторону водорослей и тины. Оно выглядело совсем иначе, чем наше. То небо светилось прозрачным, неземным сиянием; снизу, изнутри, оно поглощало весь мир, и Храм, подобно гигантскому золотому якорю, почерневшему от ржавчины, тонул в этой бездне...

Настоятель храма, Досэн-Осё Таяма, был давним приятелем моего отца. Целых три года они, тогда еще послушники секты Дзэн, жили бок о бок, деля радости и печали. Потом они поступили в семинарию при храме Сёкокудзи (тоже, между прочим, построенном сёгуном Ёсимицу) и, пройдя все необходимые ступени дзэнского обучения, получили священнический сан. Позднее, в хорошую минуту, святой отец Досэн рассказал мне, как они вдвоем, несмотря на суровость монашеских правил, по ночам перелезали через стену и бегали в город, в публичный дом.

Осмотрев Кинкакудзи, мы с отцом вернулись к главному зданию, и служка провел нас длинным коридором в кабинет настоятеля, выходивший окнами в знаменитую сосновую рощу.

[1] Масанобу Кано (1434—1530) — художник, основатель школы Кано.

Я, затянутый в свою гимназическую форму, сидел прямо, боясь пошевелиться, отец же расположился как у себя дома. Однако, хоть и вышли они с настоятелем из одной обители, доля им выпала разная. Отец был болен, жалок, с землистым цветом лица, зато преподобный Досэн напоминал румяный персик. На столе святого отца высилась груда посылок, журналов, книг, писем, присланных на адрес столь высокочтимого храма — настоятель еще даже не успел их распечатать. Вот он взял толстыми пальцами ножницы и ловко раскрыл небольшую бандероль.

— Из Токио,— сказал он.— Конфет прислали. В наши времена таких не достать. В магазины они совсем не поступают — сразу в армию или по учреждениям.

Настоятель угостил нас чаем и какими-то европейскими сладостями — раньше я таких не пробовал. Я все больше чувствовал себя не в своей тарелке, и крошки сыпались на мои черные форменные брюки.

Отец с настоятелем негодовали по поводу того, что военные и гражданские власти почитают только синтоистские храмы, а до буддийских им дела нет; спорили о том, как надо управлять храмом, и о многом другом.

Даже морщины на пухлом лице святого отца были аккуратными, словно чисто промытыми. Щеки круглые, только нос торчал, как сосулька застывшей смолы. Несмотря на добродушное лицо, обритый череп настоятеля придавал его облику суровость; казалось, в этой голой, мощной голове таится какая-то могучая, животная сила.

Отец и Досэн стали вспоминать годы своего послушничества, а я смотрел в окно, на сосну «Парусник». Огромное дерево действительно было похоже на корабль: его ветви низко стелились по земле, лишь с одной стороны вздымаясь вверх, подобно бушприту.

Из-за стены, ограждавшей рощу, доносились голоса — видимо, группа посетителей направлялась к Золотому Храму. И голоса, и стук шагов словно таяли в вечернем весеннем небе, теряли резкость, доносились сюда как бы через мягкую пелену. Шаги затихали вдали, будто уносимые течением. «Так и человек — пройдет по земле и исчезнет»,— подумал я. Взгляд мой не мог оторваться от венчавшего крышу Кинкакудзи феникса — так ярко высвечивали его последние солнечные лучи.

— Я тут хотел попросить тебя о сыне...— услышал я вдруг слова отца и обернулся. В этот самый миг в кабинете, окутанном полумраком, отец препоручал мое будущее преподобному Досэну.— Мне, похоже, недолго осталось... Ты уж позаботься о нем.

Досэн не стал тратить слов на пустые утешения.

— Хорошо,— сказал он.— Я о нем позабочусь.

Больше всего поразило меня то, что после этих слов оба приятеля как ни в чем не бывало принялись вспоминать, что говорили и делали перед смертью разные знаменитые монахи. Один в последний миг воскликнул: «О, до чего же не хочется умирать!» Другой, подобно Гёте, попросил: «Света, побольше света!» Третий перед концом тщательнейшим образом проверял счета и ведомости вверенного ему храма.

Нас с отцом угостили ужином, по древней дзэнской традиции именуемым «якусэки» — «спасительным камнем» [1], и оставили ночевать в храме. Но перед тем как лечь спать, я упросил отца сходить к Кинкакудзи еще раз, чтобы увидеть Храм в лунном свете.

Отец, возбужденный беседой с настоятелем, очень устал, но стоило мне произнести «Золотой Храм», и он безропотно пошел, опершись рукой на мое плечо и тяжело дыша.

---

[1] В древности монахи секты Дзэн должны были поститься по вечерам и, спасаясь от голода и холода, клали на живот нагретый камень.

Луна взошла из-за горы Фудо. Освещенный сзади, Золотой Храм высился темным силуэтом, ломаным и причудливым; лишь по фигурным оконцам Вершины Прекрасного скользили лунные блики. Третий ярус Храма просвечивался насквозь, и чудилось, будто там, внутри, и живет этот серебристый, мерцающий свет.

Из густой тени островка Асивара с резким криком взлетела ночная птица. Я чувствовал, как все тяжелее давила мне на плечо отцовская рука. Взглянул на нее — и в лунном свете она показалась мне костлявой пятерней скелета.

* * *

Я вернулся в Ясуока, и вдруг Золотой Храм, так меня разочаровавший при встрече, стал вновь овладевать моей душой, принимая облик все более прекрасный. Я не мог бы сказать, что именно в нем кажется мне прекрасным. Взращенный моей фантазией, Храм преодолел испытание реальностью, чтобы сделать мечту еще пленительней.

Я больше не пытался связать поражающие мой взор пейзажи и явления с образом Кинкакудзи. Золотой Храм занял теперь прочное и определенное место в тайниках моей души. Я явственно видел каждую колонну, каждое оконце, скаты крыши, волшебную птицу. В моей памяти мельчайшая деталь отделки находила свое точное место в сложной конструкции Храма; стоило мне вспомнить один штрих, как весь облик Кинкакудзи вставал перед моим взором — так одна-единственная музыкальная фраза заставляет услышать вновь всю знакомую мелодию.

И я впервые написал в письме отцу: «Вы были правы, говоря, что на земле нет ничего прекраснее Золотого Храма».

Оставив меня у дяди, отец сразу же вернулся в свой приход, на заброшенный мыс.

Словно в ответ на мое письмо пришла телеграмма от матери. У отца случился сильный приступ кровохарканья, и он скончался.

Глава вторая

Со смертью отца кончается мое отрочество. Но можно ли было назвать это отрочеством — меня самого поражало, насколько лишен я всех обычных человеческих чувств. Нет, «поражало», пожалуй, не то слово: поняв, что даже смерть отца не в состоянии вызвать у меня ни малейшей грусти, я впал в какое-то тупое оцепенение.

Когда я приехал, отец уже лежал в гробу. Ничего удивительного, ведь на то, чтобы добраться до мыса Нариу, у меня ушли целые сутки — сначала пешком до порта Утиура, потом морем. Стояли раскаленные от зноя дни, близился сезон дождей. По обычаю гроб должны были отнести в дальний, пустынный конец мыса и сжечь там, на самом берегу моря; ждали только меня.

Странное это событие — смерть деревенского священника. Есть в нем нечто поразительно обыденное. Ведь настоятель храма — своего рода духовный центр общины, сопровождать прихожан, переступающих черту жизни и смерти, входит в его обязанности, он как бы отвечает за всех умерших. И вот священник сам лежит мертвый в своем храме. И поневоле кажется, что на сей раз он чересчур серьезно отнесся к исполнению долга. Или, того пуще, что священник пал жертвой ошибки: учил-учил людей, как надо умирать, решил продемонстрировать им это сам и вот чего-то не рассчитал — взял и действительно покинул сей мир.

Гроб стоял в храме как-то очень значительно, словно действие разыгрывалось по заранее написанному сценарию. Вокруг рыдали скорбящие: молодой послушник, прихожане, моя овдовевшая мать. Когда

послушник, запинаясь, стал читать сутры, я не мог отделаться от ощущения, что отец из гроба подсказывает ему слова.

Лицо отца утопало в ранних летних цветах. Они были до того свежими и живыми, что становилось как-то не по себе. Казалось, цветы заглядывают в некий бездонный колодец, ибо мертвое лицо, сохраняя прежнюю оболочку, уходит куда-то вниз, на недосягаемую, безвозвратную глубину. Мертвое лицо недвусмысленно напоминает о том, насколько далека и недоступна материя. Я впервые увидел, как по мановению смерти дух обращается в материю; мне вдруг стало понятнее, отчего так равнодушен и недостижим окружающий меня материальный мир — все эти майские цветы, стулья, карандаши, эта школа, это солнце...

Мать и прихожане смотрели, как я прощаюсь с отцом. Но мой упрямый рассудок отказывался видеть в этой сцене аналогию с миром живущих, заключенную в слове «прощание»: вовсе я не прощался, я просто стоял и глядел на мертвое лицо своего отца.

Труп лежал, а я на него смотрел. В простом наблюдении сознание может и не участвовать, но дело даже не в сознании: меня поразило то, как в самом факте созерцания столь очевидно и жестоко проявляется право смотреть, присущее только живому. Так я, мальчик, никогда не певший во всю глотку, не носившийся с громким криком по улице, учился ощущать переполнявшую меня жизнь.

Всегда робкий и приниженный, на сей раз я стоял, гордо повернув к прихожанам спокойное и ясное лицо, без единой слезинки на глазах. Храм был построен на скале, возвышавшейся над морем. За спинами скорбящих, над простором Японского моря клубились летние облака.

Послушник стал нараспев читать «Киган», последнюю из погребальных сутр, и я присоединился к нему. В храме было темно. В тусклом свете лампад поблескивали траурные флажки на колоннах, цветочный орнамент на изваяниях в святилище, курительницы и огромные вазы из позолоченной бронзы. То и дело по храму пробегал свежий ветер с моря, раздувая полы моей рясы. И все время, читая сутру, уголком глаза я ощущал нестерпимое сияние, исходившее от плывущих в летнем небе облаков.

Этот яркий свет озарял половину моего лица. Яркий, презрительный свет...

Когда похоронная процессия была уже в нескольких сотнях шагов от места кремации, вдруг хлынул дождь. К счастью, неподалеку оказался дом одного из прихожан, который позволил занести гроб с телом под навес. Однако ливень и не думал кончаться. Пришлось трогаться дальше. Процессия вооружилась зонтами и плащами, гроб прикрыли промасленной бумагой — в общем, кое-как добрались до назначенного места. То была каменистая полоска берега к юго-востоку от селения, у самого основания мыса. С давних времен деревенские сжигали здесь тела своих усопших — дым отсюда не шел в сторону домов.

Волны в этом месте ярились с особенной силой. Трепещущие и разбухшие, они бились о берег, а по их рваной поверхности хлестали струи дождя — мрачный ливень словно пытался пронзить неспокойное море. Ветер же отшвыривал стену дождя на дикие скалы. Белые камни почернели, заляпанные темной влагой.

Мы вышли на берег через пробитый в скале туннель и прятались от дождя под его сводом, пока рабочие готовили погребальный костер.

Горизонта не было — лишь волны, мокрые черные скалы и струи дождя. Капли колотили по бумаге, прикрывавшей гроб, глянцево поблескивало полированное дерево.

Зажгли костер. Масла на похороны священника не пожалели, и огонь с треском побежал вверх по дровам, не обращая внимания на

дождь. Густо повалил дым, и поднялось прозрачное, светлое пламя. Вот ветер отнес круглое облако дыма к скалам, и какое-то время под дождем трепетала лишь стройная пирамида огня.

Потом раздался оглушительный треск — то отлетела крышка гроба.

Я тайком кинул взгляд на мать. Она стояла неподвижно, вцепившись пальцами в четки. Лицо ее как-то странно затвердело и сжалось — казалось, его можно прикрыть одной ладонью.

* * *

Согласно воле отца, я отправился в Киото и стал жить при Золотом Храме. Настоятель принял меня в послушники. Он брал на себя плату за мое обучение и содержание, я же взамен должен был прислуживать ему и убирать территорию храма. Говоря языком мирским, я стал мальчиком-учеником.

Оказавшись в храме, я увидел, что там остались только старики да совсем зеленые юнцы — строгого отца надзирателя, ведавшего монашеским общежитием, забрали на воинскую службу. Здесь, на новом месте, мне многое нравилось. По крайней мере, я избавился от насмешек гимназистов — в храме все послушники были такими же сыновьями бонз, как и я... Теперь от окружающих меня отличало только мое заикание да, пожалуй, еще уродливая наружность.

Оставив гимназию, я, по рекомендации отца Досэна, был принят в школу при буддийской академии Риндзай; до начала осенних занятий оставался почти целый месяц. Заранее было известно, что всех учащихся мобилизуют работать на военные заводы. Но пока у меня оставалось еще несколько недель летних каникул, чтобы освоиться в новой среде. Каникулы в конце войны... Неестественно тихие каникулы сорок четвертого года. Жизнь послушников Храма шла по строго установленному распорядку, но мне те летние дни вспоминаются как последний настоящий отдых в моей жизни. Я и сейчас ясно слышу стрекот летних цикад...

Когда, после нескольких месяцев разлуки, я вновь увидел Золотой Храм, он стоял, мирный и спокойный, в свете августовского дня. Воздух словно лип к моей только что обритой голове, и меня не оставляло странное, будоражащее чувство, будто мысли, что возникают в моем мозгу, соприкасаются с предметами и явлениями окружающего мира, отделенные от них лишь тонкой и чувствительной пленкой кожи. И когда я, подняв кверху лицо, смотрел на Золотой Храм, он проникал в меня не только через глаза, но и через кожу головы. Точно так же впитывала моя голова жар дневного солнца и прохладу вечернего ветерка.

«Теперь я буду жить рядом с тобой,— шептал я, застывая посреди двора с метлой в руках.— Полюби меня, Золотой Храм, пусть не сразу. Открой мне свою тайну. Я уже почти вижу твою красоту, но все же пока она еще сокрыта от меня. Пусть подлинный Храм явится мне еще прекрасней, чем тот, что живет в моей душе. И еще, Храм, если и вправду на всем белом свете нет тебя прекрасней, скажи мне, почему ты так прекрасен, почему необходимо тебе быть столь прекрасным?»

В то роковое лето Золотой Храм сиял все ослепительней, словно питаясь мрачными известиями с фронтов. Еще в июне американцы высадились на острове Сайпан, а армии союзников рвались вперед по полям Нормандии. Количество посетителей резко сократилось, и храм Кинкакудзи, казалось, наслаждался уединением и покоем.

Война и смута, горы трупов и реки крови — все это и должно было питать красоту Храма. Ибо он сам был порождением смуты, и возводили его суровые и мрачные люди, служившие сёгуну. Сумбур-

ная композиция здания, с ее очевидным любому искусствоведу нелепым смешением стилей, сама по себе была призвана в кристаллизованной форме передать царившие в мире хаос и смятение. Будь Кинкакудзи построен в едином архитектурном стиле, он дисгармонировал бы с царившей вокруг смутой и давно бы рухнул...

То и дело метла замирала в моих руках, и я зачарованно глядел на Золотой Храм — мне все не верилось, что он передо мной. В ту ночь, когда я был тут вдвоем с отцом, Храм не произвел на меня подобного впечатления; теперь же я смотрел — и не мог представить: неужели все долгие месяцы и годы, что мне предстоит провести здесь, Храм всегда будет перед моим взором?

Когда я жил в Майдзуру, мне вовсе не казалось странным, что где-то там, в Киото, существует Кинкакудзи; но стоило мне поселиться рядом с Храмом, и он стал появляться, лишь когда я смотрел на него, а по ночам, которые я проводил в главном здании, Храм исчезал. Поэтому я несчетное количество раз на дню ходил смотреть на Кинкакудзи, чем немало веселил остальных послушников. Но сколько ни глядел я на Храм, привыкнуть к тому, что он рядом, не мог; на обратном пути мне все казалось — вот оглянусь я сейчас, а Храм, подобно Эвридике, сгинул навсегда.

Утреннее солнце припекало все сильнее. Покончив с подметанием двора, я по узкой тропинке стал карабкаться в гору, к храму Юкатэй. Он в этот ранний час был еще закрыт, и по дороге мне не встретилось ни души. Над Кинкакудзи с ужасающим ревом довольно низко пронеслась эскадрилья истребителей — наверное, с Майдзурской военно-воздушной базы.

За горой находился уединенный, заросший пруд Ясутамидзава. Посредине пруда был островок, на котором стояла каменная пятиярусная пагода, именуемая Сирахэбидзука — «Холм Белой Змеи». По утрам лес звенел здесь от щебетания птиц, хотя самих птиц никогда не было видно.

Берег пруда порос густой, высокой травой, этот зеленый луг был огорожен невысоким заборчиком. И там, на траве, лежал подросток в белой рубахе. Его бамбуковые грабли были небрежно прислонены к стволу росшего неподалеку клена. Подросток резко дернулся и словно прорвал этим своим движением мягкий, тягучий воздух летнего утра, но, увидев, что это всего лишь я, успокоился.

— А, это ты.

Мальчика звали Цурукава, мы познакомились с ним накануне вечером. Его отец служил настоятелем одного богатого храма, расположенного неподалеку от Токио. Семья платила за обучение Цурукава, высылала ему вдоволь и продуктов, и денег на карманные расходы, а здесь, в храме Рокуондзи, он просто жил при нашем настоятеле, дабы испробовать послушнического житья. На летние каникулы Цурукава уезжал к родителям, но на этот раз вернулся в Киото раньше обычного. Говорил он чисто и правильно, как настоящий токиец, и его легкая, жизнерадостная болтовня еще накануне совсем меня подавила. Осенью мы должны были пойти в один и тот же класс.

«А, это ты»,— небрежно кинул мне Цурукава, и я сразу лишился дара речи. Он же, видимо, решил, что я молчаливо осуждаю его за леность.

— Да ладно,— улыбнулся он.— Не стоит слишком усердствовать с уборкой. Все равно придут посетители, снова натопчут. Да и мало их нынче. посетителей-то.

Я тихонько рассмеялся. Этот смешок, вырывающийся у меня иногда совершенно непроизвольно, имеет, как я заметил, свойство располагать ко мне людей. Неужели даже впечатление, производимое мною на других, никак не зависит от моей воли?

Я перелез через изгородь и сел рядом с Цурукава. Руки его были закинуты за голову, и я заметил, что, хотя внешняя их сторона загорела на солнце, внутренняя оставалась совсем белой — под кожей голубели вены. По траве были разбросаны светло-зеленые пятна солнечного света, просеянного сквозь листву деревьев. Инстинктивно я почувствовал, что этот мальчик не может любить Золотой Храм так, как люблю его я. Ведь мое преклонение перед Храмом зижделось лишь на осознании своего уродства.

— Я слышал, у тебя отец умер.

Я кивнул.

Цурукава поспешно отвел глаза и, даже не пытаясь скрыть мальчишеского любопытства, сказал:

— Я знаю, почему ты так любишь Золотой Храм. Глядя на него, ты вспоминаешь отца, верно? Он, наверное, очень почитал Кинкакудзи. Так или нет?

Я испытывал удовлетворение, чувствуя, что ни один мускул не дрогнул на моем бесстрастном лице от предположения Цурукава, верного не более чем наполовину. Судя по всему, этот подросток имел склонность коллекционировать людские эмоции, как другие мальчишки собирают жуков или бабочек. Тщательно собранные и отсортированные эмоции хранились в голове Цурукава, каждая на своем месте, в отведенных им аккуратных ячейках, и иногда он, видимо, любил доставать свои сокровища и оценивать их практическую стоимость.

— Ты, наверное, сильно убивался, когда отец умер. Вот почему у тебя вид такой нелюдимый — я сразу понял, как только увидел тебя в первый раз.

Прогнозы Цурукава ни в коей степени меня не задели, наоборот, услышав о том, что у меня нелюдимый вид, я даже почувствовал себя увереннее и свободнее, и слова легко слетели с моих губ:

— Ничего я не убивался.

Цукурава уставился на меня, хлопая длиннющими — как они только смотреть ему не мешали — ресницами.

— Так ты... Так ты ненавидел своего отца? Во всяком случае, не любил, да?

— И вовсе нет.

— Почему же ты по нему тогда не горевал?

— Не горевал, и все.

— Не понимаю...

Столкнувшись со столь сложной проблемой, Цурукава даже приподнялся с травы.

— Значит, в твоей жизни стряслось что-нибудь еще более ужасное.

— Не знаю. Может быть,— ответил я и подумал: отчего мне так нравится заронять сомнение в душу другого. Для меня все было совершенно очевидно: мои чувства тоже страдают заиканием, они всегда запаздывают. Поэтому событие, смерть отца, и чувство, скорбь, существуют для меня отдельно и независимо друг от друга. Небольшой сдвиг во времени, незначительная задержка нарушают во мне связь между явлением и эмоцией, и это несоответствие является для меня наиболее естественным состоянием. Если я скорблю, то скорбь моя не вызвана каким-либо конкретным поводом, она приходит ко мне самопроизвольно и беспричинно...

Я не смог всего этого объяснить своему новому приятелю. И в конце концов Цурукава засмеялся:

— Чудной ты парень, ей-богу.

Его живот под белой рубашкой сотрясался от смеха. Глядя на солнечные пятна, движущиеся по этой рубашке, я вдруг почувствовал себя счастливым. Жизнь моя так же измята и морщиниста, как

эта белая ткань. Но ткань сияет на солнце, несмотря на морщины! Может быть, и я?..

Жизнь в храме секты Дзэн шла согласно давно установленным канонам, обособленно от внешнего мира. Летом послушники должны были вставать не позже пяти утра. Подъем назывался «открытие закона». Едва проснувшись, мы приступали к «утреннему уроку» — чтению сутр. Эта служба называлась «тройной», сутры полагалось читать трижды. Потом мы занимались уборкой главного здания храма, протирали тряпками полы. Затем следовал завтрак — «утренняя каша»,— перед которым тоже предписывалось прочесть особую сутру. После еды мы подстригали газоны, убирали двор храма, кололи дрова и выполняли всякие прочие «наказы». Когда же начнется учебный год, я в это время буду в школе. После учебы — «спасительный камень», а потом изучение священных текстов с отцом настоятелем. В девять часов вечера — «открытие подушки», то есть отбой.

Так проходили мои дни, и каждое утро я пробуждался от сна под звон колокольчика, в который звонил отец эконом.

При Золотом Храме, точнее при храме Рокуондзи, должно было состоять около дюжины служителей, но после мобилизации в армию и на трудовой фронт их ряды поредели. Кроме семидесятилетнего экскурсовода (он же кассир и контролер), шестидесятилетней кухарки, отца эконома с помощником и трех юных послушников, в храме никого не осталось. Старики еле ноги передвигали, а мы, послушники, были, по сути дела, еще детьми. Отец эконом занимался всеми хозяйственными и денежными вопросами и едва управлялся с возложенными на него обязанностями.

Через несколько дней после моего появления в храме мне было поручено носить газеты в кабинет настоятеля (нам полагалось называть его «Учитель»). Почту приносили, когда мы уже заканчивали «утренний урок» и уборку. Нелегко было горстке подростков содержать в чистоте полы в здании, где одних только комнат и залов насчитывалось не менее тридцати. Я брал в передней газеты, шел коридором сначала мимо Зала Посланцев, потом в обход Зала Гостей, проходил по галерее в Большую библиотеку, где находился кабинет настоятеля. Коридоры мы мыли, окатывая пол целыми ведрами воды, поэтому, когда я нес газеты отцу Досэну, повсюду еще стояли лужи, вспыхивавшие в лучах утреннего солнца, и мои ноги промокали до самых щиколоток. Летом это было даже приятно. Я опускался на колени перед входом в кабинет Учителя и подавал голос:

— Разрешите войти?

— Угу,— хмыкал в ответ святой отец, и тут я должен был, прежде чем ступить в кабинет, быстро вытереть мокрые ноги полой своей рясы — этому научили меня мои более опытные товарищи. Спеша по длинным коридорам, я украдкой проглядывал заголовки газетных полос, пахнувших свежей типографской краской и внешним миром. Так мне попалась на глаза статья, озаглавленная «Будут ли бомбить императорскую столицу?»

До сих пор, как это ни странно, мне ни разу не приходило в голову, что Золотой Храм может подвергнуться бомбежке. С падением Сайпана налеты вражеских самолетов на Японию стали неизбежны, и власти уже начали спешно эвакуировать часть населения Киото, однако в моем сознании почти вечный Храм и огненный вихрь бомбежек никак не связывались воедино. Я был уверен, что стоит нетленному Храму и прозаическому пламени встретиться, как они тут же поймут, сколь различна их природа, и вернутся каждый в свое измерение...

Так неужели Кинкакудзи может погибнуть в огне? Если события будут развиваться в том же духе и дальше, ответил я себе, Храм неизбежно обратится в пепел.

С возникновением этой уверенности трагическая красота Золотого Храма стала в моих глазах еще неотразимей.

Помню последний день того лета, назавтра должны были начаться занятия в школе. Отец настоятель, прихватив с собой помощника эконома, отправился на какую-то поминальную службу. Цурукава позвал меня в кино, но мне что-то не хотелось, и он тогда тоже передумал — это было очень на него похоже.

У нас имелось несколько часов свободного времени, и мы, надев защитного цвета штаны, ботинки с обмотками и школьные форменные фуражки, отправились на прогулку. На территории храма не было ни души, солнце палило нещадно.

— Куда пойдем? — спросил Цурукава.

Я ответил, что прежде всего хочу взглянуть на Золотой Храм — сегодня последний раз мы имеем возможность увидеть его в это время дня, да и вообще скоро нас ушлют отбывать трудовую повинность и, может статься, Храм в наше отсутствие разбомбят. Пока я, страшно заикаясь, бормотал свои невразумительные объяснения, Цурукава разглядывал меня удивленно и нетерпеливо.

Когда я, наконец, замолчал, по моему лицу градом лил пот, словно я признался в чем-то постыдном. Цурукава был единственный, кому я сам открыл свою страстную привязанность к Храму. Но в лице моего товарища не читалось ничего, кроме обычной досады, испытываемой человеком, когда он пытается разобраться в бессвязном лепете заики.

Меня всегда окружали такие лица. Я мог открывать человеку величайшую тайну, делиться с ним восторгом, который рождает в моей душе Прекрасное, выворачивать всю свою душу наизнанку, а на меня глядело все то же самое лицо. Обычно один человек не смотрит с таким выражением на другого. В этом лице с предельной достоверностью копируется та смехотворная натуга, с которой выходят из меня слова; по сути дела, это мое собственное отражение в зеркале. Каким бы красавцем ни был мой собеседник, в такую минуту его лицо делается столь же безобразным, как мое. И стоит мне увидеть перед собой эту знакомую маску, как сразу все то важное, что я стремлюсь выразить, превращается в никому не нужный мусор...

Пространство, отделявшее меня от Цурукава, было залито солнцем. Мой приятель ждал, пока я закончу говорить, его юная кожа блестела от жира, каждая ресничка пылала золотым огнем, ноздри раздувались, вдыхая знойный воздух.

Я замолчал. И тут же в душе всколыхнулась ярость. За все время нашего знакомства Цурукава ни разу не посмеялся над моим заиканием.

— Почему?..— потребовал я у него ответа. Ведь я уже говорил, что насмешки и презрение нравятся мне куда больше, чем сочувствие.

Лицо Цурукава озарилось невыразимо нежной улыбкой. И он сказал:

— Знаешь, я не из тех, кто обращает на такие вещи внимание.

Я был сражен. Мне, выросшему в окружении грубых деревенских мальчишек, была неведома подобная душевная чуткость. Доброта Цурукава открыла мне, что, даже лишенный заикания, я все равно останусь самим собой. Я ощутил себя обнаженным, беззащитным, и неизъяснимое наслаждение переполнило мою душу. Длинные ресницы, обрамлявшие глаза моего приятеля, отфильтровывали заикание и принимали меня таким, каков я был. А ведь до сих пор мной владело странное убеждение, будто человек, игнорирующий мое заикание, тем самым отвергает все мое существо.

Я испытал чувство гармонии и счастья. Разве удивительно, что я надолго запомнил Золотой Храм таким, каким видел его в тот день? Мы прошли мимо дремлющего на своем посту старика-контролера и торопливо зашагали вдоль ограды, по безлюдной дорожке, к Храму.

...Я помню, все помню до мельчайших деталей. На берегу Зеркального пруда плечом к плечу стояли два подростка в белых рубахах. А прямо перед ними высился Кинкакудзи, и не было между мальчиками и Храмом никакой преграды.

Последнее лето, последние каникулы, самый последний день... Наша юность стояла на роковом пороге. И Золотой Храм, как и мы, был на том же пороге, поэтому он смотрел нам в глаза и говорил с нами. Ожидание грядущих бомбежек сблизило его с людьми.

Приглушенное сияние позднего лета заливало золотом крышу Вершины Прекрасного, свет падал вниз отвесными лучами, наполняя покои Храма ночным мраком. Прежде нетленность вечного сооружения подавляла и отбрасывала меня, теперь же мы сравнялись, ибо нас ждала одна участь — сгореть в пламени зажигательных бомб. И, кто знает, возможно, Храму суждено было погибнуть еще раньше, чем мне. Выходило, что Кинкакудзи жил со мной одной жизнью.

Нас окружали поросшие красными соснами горы, чьи склоны звенели от стрекота цикад. Казалось, будто бесчисленные толпы монахов гнусавят «Молитву о преодолении напастей»: «Гя-гя. Гяки́-гяки́. Ун-нун. Сифура́-сифура́. Хараси́фура-хараси́фура...»

Скоро это чудо красоты обратится в пепел, подумал я. И тогда образ Храма, живший в моем сердце, наложился на реальный Храм, подобно тому как копия картины, сделанная на прозрачном шелке, накладывается на оригинал. Совпали все черты, все детали: и крыша, и плывущий над озером Рыбачий павильон, и перильца Грота Прибоя, и полукруглые оконца Вершины Прекрасного. Золотой Храм перестал быть неподвижной архитектурной конструкцией, он превратился в своего рода символ, символ эфемерности реального мира. И тем самым настоящий Храм стал не менее прекрасен, чем Храм, живший в моей душе.

Завтра с неба может пасть огонь и обратить эти стройные колонны, эти грациозные изгибы крыши в прах, и я никогда больше их не увижу. Но пока Храм, незыблемый и спокойный, стоял передо мной во всей своей красе, пылая в солнечных лучах, словно в языках пламени.

Над горами плыли величественные облака — точно такие же видел я краешком глаза над морем, когда отпевали отца. Наполненные угрюмым сиянием, они взирали свысока на затейливое сооружение. В лучах безжалостного этого света Золотой Храм выглядел строже; таи́ внутри мрак и холод, он словно отвергал своим загадочным силуэтом блеск и сверкание окружающего мира. А парящий над крышей феникс крепче вцепился острыми когтями в пьедестал, твердо решив устоять перед натиском солнца.

Цурукава прискучило ждать, пока я вдоволь насмотрюсь на Кинкакудзи, он подобрал с земли камешек и, ловко, словно бейсбольный питчер, размахнувшись, кинул камешек в воду — точно в центр отраженного в пруду Храма.

По заросшей тиной глади побежали бесчисленные круги, и прекрасное, причудливое здание рассыпалось на мелкие кусочки.

С того дня до окончания войны прошел год; за это время я еще больше сблизился с Золотым Храмом, не находя себе места от страха за него и все одержимее влюбляясь в его красоту. То было время, когда мне удалось опустить Храм с недосягаемой высоты до моего уровня, и, веря в это, я мог любить его безо всякой горечи и страха. Тогда Кинкакудзи еще не околдовал меня своими злыми чарами, не напоил своим ядом.

Мне придавало сил сознание, что мы с ним подвергаемся одной общей опасности. Я нашел посредника, способного связать меня с Храмом. Теперь между мной и Прекрасным, доселе отвергавшим и игнорировавшим мое существование, протянулся мост.

Я буквально пьянел от одной мысли, что единый пламень может уничтожить нас обоих. Общность ниспосланного на нас проклятия, общность трагической, огненной судьбы давали мне возможность жить с Храмом в одном измерении. Пусть мое тело уродливо и хрупко, но оно из того же воспламенимого углерода, что и твердая плоть Золотого Храма. Иногда мне даже казалось, что я смог бы бежать отсюда, унося Храм в себе, спрятав его в собственном теле — так бегущий от преследователей вор глотает украденный им драгоценный камень.

Весь тот год я не учил сутр, не читал книг — изо дня в день, с раннего утра до позднего вечера мы должны были закалять дух и тело, занимаясь военной подготовкой, работая на заводе, помогая эвакуировать город. Мечтательность натуры, присущая мне с детства, усилилась еще больше — ведь благодаря войне обычная человеческая жизнь отодвинулась от меня так далеко. Для нас, подростков, война была чем-то фантастическим, пугающим, абсолютно лишенным реальности и смысла, словно жизнь в некоем закрытом от всего мира изоляторе.

Когда в ноябре сорок четвертого американские «Б-29» начали бомбить Токио, мы в Киото тоже со дня на день ожидали налета. Это стало моей тайной мечтой — увидеть, как полыхает весь город, охваченный пожаром. Киото слишком долго хранил в неприкосновенности древние свои сокровища, все эти бесчисленные храмы и святилища забыли об огне и пепле, некогда являвшихся частью их бытия. Вспоминая, как мятеж Онин [1] сравнял город с землей, я думал: зря Киото столько веков избегал пожаров войны, тем самым он утратил долю своей неповторимой красоты.

Быть может, Кинкакудзи сгорит дотла уже завтра. Исчезнет навсегда этот гордый силуэт, заполняющий собой весь мир... И тогда замершая над Храмом птица, подобно истинному фениксу, возродится в пламени и взметнется в небеса. Сам же Храм, навек избавившись от тенет формы, легко снимется с якоря и будет, окутанный призрачным сиянием, невесомо скользить по глади прудов и черным просторам морей...

Как ждал я этого часа — но Киото так ни разу и не бомбили. В марте сорок пятого мы узнали, что выгорел весь центр Токио, но беда была где-то там, далеко, а над Киото голубело прозрачное весеннее небо.

Борясь с отчаянием, я все ждал и ждал, пытался убедить себя, что в этом ясном небе таятся огонь и разрушение; их просто не видно, как не видно предметов, находящихся за зеркальным стеклом. Я уже говорил прежде, что мне мало свойственны тривиальные человеческие чувства. На меня почти никакого впечатления не произвели ни смерть отца, ни та нищета, в которую впала моя мать. Я был всецело поглощен мечтами о гигантском небесном прессе, который с одинаковой мощью раздавит живое и неживое, уродливое и прекрасное, обрушит на город невообразимые ужасы, несчастья и трагедии. Временами нестерпимое сияние весеннего неба представлялось мне сверканием лезвия огромного топора, занесенного над землей. И я не мог дождаться, пока этот топор опустится — с такой стремительной быстротой, что ни о чем и подумать не успеешь.

Мне и сейчас это кажется странным. Ведь по природе своей я не был склонен к горьким помыслам. Меня волновал, не давая покоя, только один вопрос: что есть Прекрасное? Я не думаю, что в том

[1] 1467—1477 гг.

мрачном направлении, которое приняли мои мысли, повинна война. Видимо, это неизбежно: человек, думающий только о Прекрасном, не может не погрузиться в бездну горчайших раздумий. Так уж, очевидно, устроен человек.

Я вспоминаю некое происшествие, свидетелем которого я стал в Киото незадолго до конца войны. Происшествие это настолько невероятно, что в него трудно поверить. Но я был не один — Цурукава тоже все видел.

В один из дней — помню, тогда еще отключили электричество,— мы вдвоем отправились в храм Нандзэндзи, где прежде нам бывать не доводилось. По дороге нам взбрело в голову пересечь широкую улицу и подняться на деревянный мостик, который вел к лодочной станции.

Стоял ясный майский день. Станция давно не работала, рельсы скатов, по которым когда-то спускали на воду лодки, проржавели и заросли травой. Какие-то белые крестообразные цветы покачивались на ветру. Рельсы уходили в мутную, грязную воду, в которой застыло отражение росших на берегу вишневых деревьев.

Мы стояли, облокотившись на перила мостика, и рассеянно глядели на воду. Среди всех воспоминаний военной поры в памяти почему-то остались такие вот бездумные мгновения. Многое забылось, а редкие минуты отдыха запомнились — так бросаются в глаза синие просветы в затянутом тучами небе. Даже странно, что память столь бережно хранит подобную мелочь, словно миг наивысшего счастья.

— Хорошо тут, правда? — вздохнул я, отрешенно улыбнувшись.

— Ага,— улыбнулся в ответ Цурукава и посмотрел на меня. Мы оба очень остро чувствовали, что эти несколько часов принадлежат нам, и только нам.

Вдоль широкой, посыпанной гравием дорожки тянулся ров с чистой, прозрачной водой, в которой плавали красивые водяные цветы. Вскоре мы вышли к знаменитому храму Нандзэндзи.

Вблизи не было ни души. Среди свежей зелени листвы черепица крыши казалась сверкающей обложкой огромной серебристой книги, раскрытой над храмом. Какое отношение ко всему этому могла иметь война? Бывают места, где в иную минуту кажется, что война — не более чем нелепое состояние духа, существующее лишь в человеческом воображении.

Говорят, знаменитый разбойник древности Гоэмон Исикава частенько любовался с высоты красотой цветущей природы — наверное, он сидел здесь, на крыше храма, закинув ноги на парапет. Нами овладело ребячливое настроение, и мы решили последовать примеру Гоэмона, хотя сакура уже успела отцвести. Заплатив за вход какие-то гроши, мы стали карабкаться по деревянной лестнице, крутой и почерневшей от времени. Наверху Цурукава стукнулся головой о низкий потолок. Я засмеялся — и тут же ударился сам. Лестница сделала еще один поворот, и мы оказались на крыше.

Как это было чудесно — из тесной дыры лестницы вдруг оказаться среди бескрайнего простора. Нашему взору открылся вид на вишневые и сосновые рощи, на крыши домов, на притаившийся за деревьями храм Хэйан, на окружавшие Киото горы — Арасияма, Китаноката, Кибунэ, Миноура, Компира. Насладившись пейзажем, мы сняли обувь и благоговейно, как и подобало послушникам, вошли внутрь храма. В центре темного зала, пол которого был устлан двадцатью четырьми татами[1], возвышалось изваяние Шакья-Муни, по-

[1] Соломенный мат стандартного размера.

блескивали в полумраке золоченые глаза статуй шестнадцати архан-нов [1]. Зал этот именовался Гохоро — Башней Пяти Фениксов.

Храм Нандзэндзи принадлежал к тому же направлению Риндзай секты Дзэн, что и наш Кинкакудзи, но мы относились к школе Сококудзи, а здесь находился оплот школы Нандзэндзи, то есть мы оказались на территории, принадлежавшей неполным нашим единоверцам. Но мы с Цурукава не стали ломать над этим голову, а просто, как обычные гимназисты, принялись с путеводителем в руках разглядывать яркую роспись потолка, принадлежавшую, по преданию, кисти Моринобу Таню, мастера школы Кано, и Токуэцу Хогэн, мастера школы Тоса. С одной стороны были изображены летающие ангелы с флейтами и бива [2] в руках. Чуть поодаль порхала с белоснежным пионом в клюве сладкоголосая обитательница далекой горы Сэссэн — Калавинка с торсом полногрудой девушки и ногами птицы. А в самой середине потолка красовался феникс, собрат того, что парил над Золотым Храмом; но как же мало походила эта расцвеченная всеми цветами радуги птица на своего строгого, золотистого соплеменника!

Перед статуей Шакья-Муни мы опустились на колени, молитвенно сложив ладони. Потом вышли из зала, но спускаться вниз не хотелось, и мы еще постояли возле лестницы, опираясь на южную балюстраду крыши.

У меня перед глазами словно кружилось подобие некоего разноцветного вихря — наверное, из-за пестрых красок, которыми был расцвечен потолок в храме. Ощущение густоты и богатства цвета было таким, словно где-то внизу, в зеленой листве, пряталась сказочная Калавинка, озаряя все вокруг сиянием своих великолепных крыльев.

Но нет, я ошибался. Прямо под нами, отделенный лишь узкой дорожкой, стоял храм Тэндзю. По незатейливому саду меж невысоких безмятежных деревцов петляла тропинка, обозначенная цепочкой квадратных каменных плит, которые едва касались углами одна другой; тропинка вела к веранде с широко распахнутыми сёдзи [3]. Комната просматривалась насквозь — были видны даже двойные полочки токонома [4]. Пол устилали яркие ковры — судя по всему, помещение сдавалось внаем для проведения чайных церемоний. В комнате сидела молодая женщина, она-то и привлекла мой взор. Еще бы, разве можно было увидеть в военные годы такое роскошное кимоно! Любую женщину, позволившую себе выйти на улицу в столь неуместном одеянии, прохожие застыдили бы за отсутствие патриотизма и заставили пойти домой переодеться.

Кимоно было воистину ослепительно. Я не мог разглядеть мелких деталей, но хорошо видел цветы, то ли нарисованные, то ли вытканные на бледно-голубой ткани, и пунцовый пояс, прошитый золотой ниткой; казалось, женщина окружена сиянием. Она сидела в такой изящной позе, и ее белый профиль был настолько неподвижным, словно точеным, что я поначалу усомнился, да живая ли она. Отчаянно заикаясь, я спросил:

— Слушай, она настоящая?!

— Ага. Прямо как кукла, правда? — ответил Цурукава, наваливаясь грудью на перила и не сводя с женщины глаз.

В этот миг в комнату откуда-то сбоку вошел молодой офицер. Он церемонно уселся на пол в нескольких шагах перед женщиной, и некоторое время оба не двигались.

Потом женщина встала и бесшумно исчезла в темноте коридора. Некоторое время спустя она вернулась с чайной чашкой в руках, длинные рукава ее кимоно слегка колыхались, колеблемые ветерком.

---

[1] Буддийский святой, достигший высшей степени совершенства.
[2] Четырехструнный музыкальный инструмент.
[3] Раздвижные перегородки в японском доме.
[4] Стенная ниша с приподнятым полом.

Женщина предложила чашку офицеру. Потом, согласно ритуалу, села на прежнее место. Мужчина что-то произнес. Чай он даже не пригубил. Время странным образом словно остановилось, и непонятное напряжение охватило меня. Женщина низко склонила голову.

Тут и произошло то самое, невероятное. Женщина медленно, не меняя позы, раскрыла ворот кимоно. Мне показалось, что я слышу, как шуршит шелк, вытягиваемый из-под тугого пояса. Обнажились белые груди — я судорожно вздохнул. Женщина обхватила одну из своих грудей пальцами. Тогда офицер опустился перед ней на колени и протянул вперед чашку — темного, густого цвета. Женщина слегка сжала грудь обеими руками.

Нет, я, конечно, не мог всего видеть, но мне отчетливо представилось, как в пенистый напиток брызнуло горячее молоко, как растворялись в зеленоватой жидкости белые капли, как замутилась и забурлила мирная поверхность чая.

Мужчина поднял чашку и выпил этот странный чай до дна. Женщина спрятала свою белую грудь в кимоно.

Остолбенев, наблюдали мы с Цурукава эту сцену. Позднее, пытаясь найти увиденному какое-то объяснение, мы решили, что нам довелось быть свидетелями прощания отъезжающего на фронт офицера с женщиной, родившей от него ребенка. Однако в тот миг рассудок отказался бы принять любое логическое рассуждение. Потрясенный, я даже не сразу заметил, что комната опустела — лишь пестрели ярким пятном ковры на полу.

Перед моими глазами все стояли точеный профиль и несравненная белая грудь. После того как женщина исчезла, весь остаток дня, и назавтра, и послезавтра мне не давала покоя одна мысль: несомненно, то явилась мне возрожденная к жизни Уико.

Глава третья

Исполнился год со дня смерти отца, и моей матери пришла в голову странная идея. Поскольку я отбывал трудовую повинность и не мог навестить родительский дом, она решила сама приехать в Киото и привезти с собой табличку с посмертным именем отца, чтобы преподобный Досэн Таяма в память об умершем друге почитал над ней сутры — пусть хоть несколько минут. Денег заплатить за поминальную службу у матери, конечно, не было, и она изложила свою просьбу в письме к настоятелю, всецело уповая на его великодушие. Святой отец дал согласие и известил меня о своем решении.

Новость не доставила мне особой радости. Я не случайно до сих пор избегал рассказывать о матери, мне не хотелось касаться этой темы.

Я ни словом не упрекнул мать после той памятной ночи. Ни единым взглядом. Может быть, ей так и осталось невдомек, что я все видел. Но в сердце своем я ее не простил.

Это случилось во время моих первых каникул, когда, отучившись год в гимназии, я вернулся на лето в отчий дом. У нас тогда гостил дальний родственник матери, некий Кураи, который приехал в Нариу из Осака, потерпев крах в каких-то коммерческих делах. Его жена, происходившая из богатой семьи, отказалась пустить незадачливого мужа в дом, и пришлось ему, пока улягутся страсти, попросить убежища под кровом моего отца.

У нас в храме имелась одна-единственная москитная сетка, и все мы — отец, мать и я — вынуждены были спать вместе (как только не заразились мы от отца туберкулезом, не знаю), а тут еще под сеткой стал ночевать и Кураи. Помню, как в ту ночь пронзительно трещали цикады во дворе. Они-то меня, наверное, и разбудили. Раскатисто

шумел прибой, полог светло-зеленой москитной сетки слегка колыхался на ветру. Однако было в этом шевелении нечто необычное.

Сетку раздувало легким бризом, потом она, словно фильтруя поток воздуха, опускалась. Таким образом, ее складки не передавали колебаний ветра; наоборот, казалось, что сетка лишает бриз силы, останавливает его. Слышался тихий шелест, будто шумели листья бамбука — это края сетки скользили по татами. Но движение их явно не совпадало с дуновениями ветра. Сетка колыхалась совсем иначе, шла мелкими волнами; грубая ткань судорожно дергалась, и казалось, что это неспокойная поверхность озера. То ли гладь рассек форштевень далекого судна, то ли это был след за кормой...

Я боязливо перевел взгляд к источнику движения. Вгляделся в темноту — и невидимые иглы впились в мои широко раскрытые глаза.

Я лежал рядом с отцом и, очевидно, ворочаясь во сне, совсем задвинул его в угол. Поэтому между мной и тем, что я увидел, белела пустая, измятая простыня, а в затылок мне дышал свернувшийся калачиком отец.

Я вдруг понял, что он тоже не спит — слишком неровным было это дыхание, отец пытался подавить приступ кашля. И тут мои глаза — а было мне в ту пору всего тринадцать лет — закрыло что-то большое и теплое. И я ослеп. То протянулись сзади ладони отца и легли мне на лицо.

Я и сейчас явственно ощущаю прикосновение отцовских рук. Какими невероятно огромными были эти ладони. Они возникли откуда-то сзади и прикрыли мои глаза, смотревшие в самый ад. Руки из другого мира. Не знаю, что это было — любовь, сострадание или стыд, но ладони в один миг уничтожили зрелище открывшегося мне кошмарного мира и похоронили его во тьме. Спрятанный за этой преградой, я слегка кивнул головой. Отец сразу понял по этому движению, что я исполню его волю, и убрал руки. И, послушный приказу отцовских ладоней, я всю бессонную ночь, до самого утра, пока в комнату не проник снаружи яркий солнечный свет, пролежал с крепко зажмуренными глазами.

Помните — несколько лет спустя, стоя над гробом отца, я так был поглощен с о з е р ц а н и е м его мертвого лица, что не уронил ни единой слезинки. Со смертью отца гнет тех ладоней отпустил меня, и я, глядя на угасшие черты, уверялся в том, что я-то жив, помните? Я не упустил случая сполна отомстить отцовским рукам— тому, что еще зовут любовью,— но матери я никогда отомстить не пытался, хотя и простить ей ту ночь тоже не мог...

Мать должна была приехать в Киото за день до годовщины и провести ночь накануне в храме. Отец настоятель написал в школу записку, что один день меня не будет. В тот вечер, когда должна была приехать мать, я возвращался с завода в храм Рокуондзи с тяжелым сердцем.

Бесхитростный и открытый Цурукава радовался за меня, что после долгой разлуки я наконец увижусь с матерью; остальным послушникам просто было любопытно на нее посмотреть. У меня же она — жалкая, бедно одетая — не вызывала ничего, кроме отвращения. Но как я мог объяснить добросердечному Цурукава, что не желаю встречаться с собственной матерью? Едва закончился рабочий день, как он схватил меня за руку и взволнованно крикнул:

— Ну, бежим скорей!

Впрочем, нельзя сказать, чтобы мне совсем не хотелось взглянуть на мать. Пожалуй, я все-таки по ней соскучился. Просто мне были неприятны те излияния нежных чувств, без которых не умеют обходиться родители, вот я и искал оправдание своей бесчувственности.

Таков уж мой дурной характер. Ничего еще, если я пытался обосновать свои подлинные чувства, но иногда случалось, что придуманные мной самим причины мне же и навязывали совершенно неожиданные эмоции, чуждые моей натуре изначально.

Из всех моих чувств только ненависть была неподдельной, ибо кто заслуживал ненависти более меня самого?

— Зачем бежать? — ответил я.— Устанем только. Давай пойдем не спеша.

— А, понял. Ты хочешь, чтобы мама увидела, как ты устаешь на работе, и пожалела тебя.

О, вечно ошибающийся интерпретатор моих побуждений! Но он вовсе не раздражал меня, более того, он стал мне необходим. Цурукава был моим незаменимым другом, благосклонным толмачом, переводившим мои мысли на язык окружающего мира.

Да-да, временами Цурукава представлялся мне алхимиком, способным превратить свинец в чистое золото. Если я был негативом жизни, он был ее позитивом. Сколько раз с восхищением я наблюдал, как мои грязные, замутненные чувства, пройдя сквозь фильтр его души, выходили наружу чистыми и сияющими! Пока я пыхтел и заикался, он брал мои мысли, выворачивал их наизнанку и являл в таком виде миру. Благодаря поразительному этому превращению я постиг одну вещь: нет различия меж чувством наиблагороднейшим и наиподлейшим, эффект их один и тот же, и даже желание убить неотличимо от глубочайшего сострадания. Цурукава не поверил бы, даже если б я сумел ему все растолковать, но мне эта мысль явилась пугающим откровением. С помощью Цурукава я перестал бояться лицемерия — оно теперь представлялось мне грехом незначительным.

В Киото я так ни разу и не попал под бомбежку, но однажды, когда меня отправили с накладными на какие-то авиадетали в Осака, на наш центральный завод, я угодил под воздушный налет и видел, как несут на носилках рабочего с развороченным осколками животом.

Почему вид обнаженных человеческих внутренностей считается таким уж ужасным? Почему, увидев изнанку нашего тела, мы в ужасе закрываем глаза? Почему человека потрясает зрелище льющейся крови? Чем это так отвратительно внутреннее наше устройство? Разве не одной оно природы с глянцевой юной кожей?.. Интересно, какую рожу скорчил бы Цурукава, скажи я ему, что это он научил меня образу мыслей, позволяющему сводить мое уродство к нулю. Что же бесчеловечного в уподоблении нашего тела розе, которая одинаково прекрасна как снаружи, так и изнутри? Представляете, если бы люди могли вывернуть свои души и тела наизнанку — грациозно, словно переворачивая лепесток розы — и подставить их сиянию солнца и дыханию майского ветерка...

Мать уже приехала и беседовала с отцом настоятелем у него в кабинете. Мы с Цурукава опустились на колени за дверью, в коридоре, освещенном сиянием раннего лета, и подали голос, извещая о нашем прибытии.

Святой отец позвал в кабинет одного меня и стал говорить матери какие-то похвалы в мой адрес. Я стоял, опустив глаза, и на мать почти не смотрел. В поле моего зрения находились лишь блеклые, застиранные шаровары и грязные руки, лежавшие на коленях.

Настоятель позволил нам с матерью уединиться. После многократных поклонов мы удалились. Моя келья, маленькая комнатка в пять татами величиной, находилась на юг от Малой библиотеки и выходила окном во двор. Как только мы остались вдвоем, мать ударилась в слезы. Я был к этому готов и сумел сохранить полное хладнокровие.

— Я теперь принадлежу храму,— сказал я,— и прошу, пока не закончится срок послушничества, меня не навещать.

— Хорошо, хорошо, я понимаю...

Мне доставляло удовольствие бросать матери в лицо жестокие слова. Раздражало только, что она, как всегда, не пыталась ни спорить, ни возражать. Хотя от одной мысли, что мать может переступить запретную черту и вторгнуться в мой внутренний мир, меня охватывал ужас.

На загорелом лице матери хитро поблескивали маленькие, глубоко спрятанные глазки. Губы, ярко-красные и блестящие, жили на этом лице своей жизнью, а за ними белели крупные, крепкие зубы деревенской женщины. Она находилась еще в том возрасте, когда горожанки вовсю пользуются косметикой. Мать же, казалось, нарочно старалась выглядеть поуродливее. Но таилось в ее лице и что-то сдобное, плотское — я остро это почувствовал и содрогнулся от отвращения.

Поплакав сколько положено, мать спокойно вытащила казенного вида полотенце из синтетики и стала вытирать потную загорелую грудь. Грубая блестящая ткань, пропитавшись потом, еще больше заиграла переливчатым светом.

Затем мать достала из рюкзака сверток с рисом. «Для Учителя»,— пояснила она. Я промолчал. Напоследок мать вытащила посмертную отцовскую табличку, замотанную в старую тряпку мышиного цвета, и пристроила ее на моей книжной полке.

— Надо же, как все удачно. Вот почитает завтра преподобный Досэн сутры, и папочкина душа возрадуется.

— Ты после службы возвращаешься в Нариу? — спросил я.

Ответ матери был неожиданным. Оказывается, она передала приход другому священнику и продала наш маленький участок земли. Ей пришлось расплатиться с долгами за лечение отца, и теперь она собиралась поселиться недалеко от Киото, в доме своего дяди.

Стало быть, храма, в который я должен вернуться, уже не существует! И никто теперь не встретит меня, появись я вновь на том забытом богом мысе.

Не знаю, как расценила мать выражение облегчения, отразившееся на моем лице, но она наклонилась к самому моему уху и прошептала:

— Понимаешь? Больше у тебя нет своего храма. Теперь тебе ничего не остается, как стать настоятелем Кинкакудзи. Может быть, преподобный Досэн полюбит тебя и сделает своим преемником. Ты понял? Твоя мамочка будет жить одной этой надеждой.

Я ошеломленно уставился на мать. Но тут же отвел глаза в смятении.

В келье было уже темно. Из-за того что «мамочка» так близко придвинулась ко мне, в нос дохнуло ее потом. Вдруг она тихонько рассмеялась — я очень хорошо это помню. Смутные воспоминания далекого детства охватили меня: я — младенец и сосу смуглую материнскую грудь. Стало неприятно. Прядь вьющихся волос коснулась моей щеки, и в этот миг я увидел в полутемном дворе стрекозу, она присела передохнуть на поросший зеленым мхом каменный таз для умывания. В круглом зеркальце воды лежало вечернее небо. Кругом — тишина, храм Рокуондзи будто вымер.

Наконец я смог взглянуть матери прямо в глаза. Она широко улыбалась — за гладкими губами блеснул золотой зуб.

— Так-то оно так,— ответил я, жестоко заикаясь,— но меня могут призвать в армию... Меня могут убить...

— Ерунда. Если уж таких жалких заик станут призывать, значит, Япония совсем до ручки дошла.

Я весь сжался и посмотрел на нее с ненавистью. Но заикающееся мое лепетание звучало уклончиво:

— Да и Кинкакудзи могут разбомбить...

— Непохоже, что Киото вообще будут бомбить. Американцы, сдается мне, решили оставить город в покое.

Я не ответил. Сгустившиеся сумерки делали двор похожим на дно моря. Камни сопротивлялись-сопротивлялись, но постепенно утонули в тени.

Не обращая внимания на мое упрямое молчание, мать встала и принялась бесцеремонно разглядывать дощатые стены моей кельи.

— Ужинать-то еще не пора? — спросила она.

Оглядываясь назад, я прихожу к выводу, что та встреча с матерью оказала немалое влияние на ход моих мыслей. Именно тогда я понял, что мы с ней существуем в совершенно разных мирах, и тогда же я почувствовал на себе действие ее слов.

Мать принадлежала к той человеческой породе, которой нет дела до красоты Золотого Храма, но зато она обладала чувством реальности, совершенно мне недоступным. Она сказала, что Храму не грозит опасность бомбежки, и, несмотря на все свои мечтания, я понимал: она, видимо, права. Но если Храму не угрожала смертельная опасность, утрачивался самый смысл моей жизни, рассыпался на куски весь созданный мною мир.

К тому же, должен признаться, честолюбивые замыслы матери не оставили меня равнодушным, хотя я и ненавидел их всеми силами души. Отец никогда не говорил со мной на эту тему, но вполне возможно, что втайне он вынашивал те же планы, и именно из-за них пристроил меня в храм. Преподобный Досэн Таяма был холост. Если учесть, что он и сам стал настоятелем Рокуондзи по рекомендации своего предшественника, то почему бы и мне не добиться того же? Ведь тогда Золотой Храм будет принадлежать мне!

Душа моя пребывала в смятении. Когда новая мечта слишком уж тяжким грузом ложилась мне на сердце, я возвращался к старой — о том, что Кинкакудзи будет сожжен; если же эта картина распадалась, не выдерживая трезвого практицизма материнских суждений, я вновь предавался честолюбивым помыслам. Я домечтался до того, что сзади на шее у меня образовалась огромная багровая опухоль.

Я с ней ничего не делал. Опухоль развилась, окрепла и стала давить мне на шею сзади с тяжелой и жаркой силой. Ночами, когда мне удавалось ненадолго уснуть, я видел сон, будто у меня на затылке родилось чистейшее золотое сияние и медленно разливается, окружая мою голову светящимся нимбом. Когда же я просыпался, ничего не было, кроме боли от зловещей шишки.

В конце концов я слег в горячке. Отец настоятель отвел меня к врачу. Хирург, одетый в обычный гражданский китель, с обмотками на ногах, назвал мою опухоль банальным словом «фурункул». Экономя спирт, врач накалил на огне свой скальпель и сделал надрез. Я взвыл, чувствуя, как горячий, мучительный мир взрывается под моим затылком, сжимается и умирает...

* * *

Война кончилась. Слушая в цехе, как зачитывают по радио императорский указ о прекращении боевых действий, я думал только о Золотом Храме.

Едва вернувшись с работы, я, конечно же, поспешил к Кинкакудзи. Щебень, которым была покрыта дорожка, ведшая к Храму, раскалился на солнце, и мелкие камешки то и дело прилипали к грубым резиновым подошвам моих спортивных туфель.

В Токио, услышав о конце войны, толпы людей с рыданиями устремились к императорскому дворцу; у нас, в Киото, было то же самое, хотя киотоский дворец давно пустовал. Впрочем, в древней сто-

лице хватает буддийских и синтоистских храмов, куда можно сходить поплакать по такому случаю. Я полагаю, в этот день повсюду было полно народу. Только в мой Храм кроме меня никто не пришел.

По пышущей жаром щебенке скользила лишь моя собственная тень. Я стоял с одной стороны, Золотой Храм возвышался напротив. Мне достаточно было раз взглянуть на него, чтобы понять, насколько изменились наши отношения.

Храм был неизмеримо выше военного краха и трагедии нации. Или делал вид? Еще вчера Кинкакудзи был другим. Ну конечно, избежав угрозы гибели под бомбами, Храм вновь обрел прежний облик, словно говоривший: «Я стоял здесь всегда и пребуду здесь вечно».

Дряхлая позолота внутренних стен, надежно покрытая лаком солнечного сияния, лившегося на Храм снаружи, ничуть не пострадала, и Кинкакудзи напомнил мне какой-то старинный предмет мебели, дорогостоящий, но абсолютно бесполезный. Огромную пустую этажерку, выставленную кем-то на лужайке перед пылающим зеленью лесом. Что можно поставить на полки такой этажерки? Какую-нибудь невероятных размеров курильницу для благовоний, или невероятных размеров пустоту. Но Храм аккуратнейшим образом избавился от всех нош, смыл с себя самую свою суть и стоял теперь передо мной, до странности пустой. Еще более странным было то, что таким прекрасным, как сегодня, я не видел Храм никогда. Никогда еще он не являлся мне в столь незыблемом великолепии, несказанно превосходившем и мое воображение, и реальность окружающего мира; в его сегодняшней красоте не было ничего бренного, преходящего. Так ослепительно Золотой Храм сиял впервые, отвергая все и всяческие резоны!

У меня задрожали колени — я не преувеличиваю,— а на лбу выступил холодный пот. Если после первой встречи с Храмом, вернувшись в свою деревню, я представлял себе отдельные детали и общий облик Кинкакудзи как бы соединенными некоей музыкальной гармонией, то теперь это сравнение было неуместно: я слышал лишь полную тишину и абсолютное беззвучие. Ничто здесь не текло и ничего не менялось. Золотой Храм навис надо мной звенящим безмолвием, пугающей паузой в гармонии звуков.

«Наша связь оборвалась,— подумал я.— В прах рассыпалась иллюзия, будто мы живем с ним в одном мире. Все будет как прежде, только еще безнадежнее. Я — здесь, а Прекрасное — где-то там. И так будет теперь всегда, до скончания века...».

Поражение в войне означало для меня погружение в пучину отчаяния — по одной-единственной причине. Я и поныне как наяву вижу нестерпимо яркое солнце 15 августа сорок пятого года. Говорят, в тот день рухнули все ценности; для меня же, наоборот, возродилась вечность, воспрянула к жизни и утвердилась в своих правах. Вечность сказала мне, что Золотой Храм будет существовать всегда.

Вечность сочилась с небес, обволакивая наши лица, руки, грудь, погребая нас под своей тяжестью. Будь она проклята!.. Да-да, в день, когда кончилась война, даже в треске горных цикад я слышал проклятый голос вечности. Она словно залепила всего меня густой золотистой штукатуркой.

В тот вечер, перед отходом ко сну, мы долго читали сутры, молясь за здравие императора и за упокой душ погибших на войне. Все военные годы священникам различных сект и религий предписывалось проводить службы в обычных одеяниях, но сегодня Учитель обрядился в алую рясу, которая столько лет пролежала без применения.

Пухлое, в чистеньких морщинках лицо настоятеля светилось свежестью и довольством. В вечерней духоте шелест его шелковых облачений звучал прохладно и отчетливо.

После молитв преподобный Досэн собрал всех нас у себя в кабинете и прочел лекцию.

Темой ему послужил коан[1] «Нансэн убивает кошку» из четырнадцатой главы катехизиса «Мумонкан». Этот коан (встречающийся и в «Хэкиганроку»[2]: глава 63-я «Нансэн убивает котенка» и глава 64-я «Дзёсю возлагает на голову сандалию») издавна считается одним из труднейших.

В эпоху Тан[3] на горе Нанчуань жил знаменитый праведник Пуюаньчаньси, которого по имени горы прозвали Нанчуань (в японском чтении Нансэн). Однажды, когда все монахи обители косили траву, в мирном храмовом саду невесть откуда появился крошечный котенок. Удивленные монахи долго гонялись за пушистым зверьком и в конце концов поймали его. Разгорелся спор между послушниками Восточной и Западной келий — и те и другие хотели взять котенка себе. Увидев это, святой Нансэн схватил зверька и, приставив ему к горлу серп, сказал: «Если кто-нибудь сумеет разъяснить смысл этого жеста, котенок останется жить. Не сумеете — умрет». Монахи молчали, и тогда Нансэн отсек котенку голову и отшвырнул труп.

Вечером в обитель вернулся Дзёсю, старший из учеников мудреца. Старец рассказал ему, как было дело, и спросил его мнение. Дзёсю тут же скинул одну сандалию, возложил ее на голову и вышел вон. Тогда Нансэн горестно воскликнул: «Ах, почему тебя не было здесь днем! Котенок остался бы жив».

Вот, в общем, и вся загадка. Самым трудным считался вопрос, почему Дзёсю возложил на голову сандалию. Но, если верить разъяснениям преподобного Досэна, в коане не таилось ничего такого уж головоломного.

Зарезав котенка, святой Нансэн отсек наваждение себялюбия, уничтожил источник суетных чувств и суетных дум. Не поддавшись эмоциям, он одним взмахом серпа избавился от противоречий, конфликтов и разлада между собой и окружающими. Поступок Нансэна получил название «Убивающий меч», а ответ Дзёсю — «Животворящий меч». Возложив на голову столь грязный и низменный предмет, как обувь, Дзёсю безграничной самоотреченностью этого акта указал истинный путь Бодисатвы.

Истолковав таким образом смысл коана, Учитель закончил лекцию, о поражении в войне не было сказано ни слова. Мы сидели, совершенно сбитые с толку. Почему сегодня, в день краха Японии, настоятель выбрал именно этот коан?

Я спросил Цурукава, когда мы возвращались по коридору в свои кельи, что он думает по этому поводу. Цурукава лишь покачал головой:

— Ох, не знаю. Чтобы это понять, надо стать священником. Я думаю, главный смысл сегодняшней лекции заключается в том, что вот, мол, такой день, а святой отец ни словом не касается самого главного и толкует лишь о каком-то зарезанном котенке.

Не могу сказать, чтобы я особенно переживал из-за нашего поражения в войне, но довольное, торжествующее лицо Учителя видеть было неприятно.

Дух почитания своего настоятеля — это стержень, на котором держится жизнь любой обители, однако за год, что я прислуживал преподобному Досэну, он не внушил мне ни любви, ни какого-то особого уважения. Впрочем, это мало меня заботило. Но с тех пор, как мать зажгла огонь честолюбия в моей душе, я, семнадцатилетний послушник, стал временами оценивать своего духовного отца критически.

---

[1] Афористические загадки, входящие в катехизис секты Дзэн и требующие толкования.

[2] Священная книга дзэн-буддизма школы Риндзай.

[3] Китайская императорская династия (618—907 гг.).

Учитель был, безусловно, справедлив и бескорыстен. Ну и что же, думал я, будь я настоятелем, я мог бы стать таким же. Преподобный Досэн не обладал тем специфическим чувством юмора, который присущ священникам секты Дзэн. Даже странно, ведь обычно полные люди любят и понимают шутку.

Мне приходилось слышать, что святой отец — большой охотник до женского пола. Когда я представлял себе настоятеля, предающегося утехам плоти, мне становилось одновременно смешно и как-то беспокойно. Что, интересно, испытывает женщина, прижимаясь к этому розовому, похожему на сдобную булку телу? Наверное, ей кажется, что мягкая розовая плоть растеклась по всей Вселенной и похоронила свою жертву в этой телесной могиле.

Меня поражало, что дзэн-буддистский монах вообще может иметь плоть. Наверное, думал я, Учитель затем и путается с женщинами, чтобы выразить презрение собственной плоти, избавиться от нее. Но тогда странно, что это презираемое тело так процветает и совершенно скрывает под собой дух. Надо же, какая кроткая, послушная плоть — словно хорошо выдрессированная собачонка. Или, скорее, как наложница, служащая духу святого отца...

Хочу оговорить особо, что означало для меня наше поражение в войне. Я не воспринимал его как освобождение. Нет, только не освобождение. Для меня конец войны означал возвращение к вечному, неизменному, к каждодневной буддийской рутине монашеской жизни.

С первого же дня мира возобновился заведенный веками распорядок: «открытие закона», «утренний урок», «утренняя каша», «наказы», «постижение мудрости», «спасительный камень», «омовение», «открытие подушки»... Отец настоятель запрещал покупать продукты на черном рынке, и поэтому в нашей жидкой каше рису бывало совсем немного — из пожертвований храму, да еще благодаря отцу эконому, который доставал его, выдавая за «пожертвования», на том же черном рынке, чтобы подкормить наши юные, растущие тела. Иногда мы покупали батат. Каша и батат составляли единственную нашу пищу — и на завтрак, и на обед, и на ужин, поэтому нам все время хотелось есть.

Цурукава изредка получал из дома посылки с чем-нибудь сладким, и тогда мы с ним садились ночью на мою постель и устраивали пир. Я помню, как-то мы сидели так вдвоем; в ночном небе то и дело сверкали молнии. Раз его так любят родители и если они такие богатые, что ж он не уедет отсюда в Токио, спросил я.

— Это для воспитания и закалки духа,— ответил Цурукава.— Мне ведь придется рано или поздно наследовать отцовский храм.

Для моего приятеля не существовало сложных проблем. Он отлично чувствовал себя в этой жизни — как палочки для еды, лежащие в своем футляре. Я не отставал от Цурукава и спросил, понимает ли он, что наша страна вступает в новую эпоху и пока даже представить невозможно, какие нас ждут перемены. Мне вспомнилась история, которую все обсуждали в школе на третий день после окончания войны: офицер, директор завода, на котором мы прежде работали, отвез к себе домой целый грузовик готовой продукции, прямо заявив, что собирается торговать на черном рынке.

Я так и вижу перед собой этого смелого и жестокого, с колючим взглядом человека, направляющегося прямым ходом в мир порока. Дорога, по которой устремился он, уверенно грохоча сапогами, представлялась мне столь же сумбурной и озаренной багровым полыханием восхода, как смерть на поле брани. Вот идет он, сгибаясь под тяжестью ворованного, ночной ветер дует ему в лицо, белый шарф вьется по плечам. С головокружительной скоростью несется он к гибели. И я слышу, как где-то вдали невесомо гудит колокол сияющей колокольни всего этого содома...

Подобные поступки были мне чужды — я не обладал ни средствами, ни возможностями, ни внутренней свободой для их совершения. Однако, говоря про «новую эпоху», я был преисполнен решимости, хоть и не знал, чего конкретно надо ждать. «Пусть другие предаются миру зла своими делами и самой своей жизнью,— думал я,— я же погружусь как можно глубже в тот мир зла, который недоступен глазу».

Впрочем, первые мои планы проникнуть в мир зла были неуклюжи и смехотворны: я собирался втереться в доверие к настоятелю, чтобы он назначил меня своим преемником, а потом взять и отравить его — и тогда уж Золотой Храм точно будет мой. От этих замыслов у меня делалось даже как-то спокойнее на душе, особенно когда я убедился, что Цурукава мне не соперник.

— И что же, тебя совсем не тревожит будущее? — спросил я его.— Ты ни о чем не мечтаешь?

— Нет. Тревожься — не тревожься, мечтай — не мечтай, что от этого изменится?

В ответе Цурукава не было и тени горечи или бравады. В этот миг сверкнула молния, осветив тонкие полукружья его бровей — единственную тонкую деталь округлого лица. Похоже, Цурукава просил парикмахера подбривать их. От бровей, и без того узких, вообще оставалась одна ниточка, кое-где виднелся голубоватый след от бритвы.

Увидев эту нежную голубизну, я почувствовал тревогу. Этот юноша, в отличие от меня, горел светом чистой и ясной жизни, находясь на самой ее вершине. Пока огонь не догорит, будущее останется от него сокрытым. Пылающий фитиль будущего плавает в холодном и прозрачном масле. Зачем такому человеку провидеть свое грядущее, чистое и безгрешное? Если, конечно, впереди его ждет чистота и безгреховность...

После того как Цурукава ушел к себе, я от духоты никак не мог уснуть. К тому же я твердо решил не поддаваться дурной привычке рукоблудия, и это тоже лишало меня сна.

Иногда ночью у меня происходила поллюция. Причем мне не снилось ничего сексуального. Например, я видел черного пса, бегущего по темным улицам; из пасти пламенем вырывалось прерывистое дыхание, а на шее у собаки висел колокольчик. Колокольчик звенел все громче и громче, и вместе со звуком росло мое возбуждение; когда же звон доходил до высшей точки, происходило семяизвержение.

Занимаясь блудом наяву, я рисовал себе разные адские картины. Еще мне виделись груди Уико, ее бедра. Себя же я представлял крошечным, безобразным червяком...

Я рывком поднялся с постели, через заднюю дверь Малой библиотеки прокрался во двор.

За храмом Рокуондзи находился храм Юкатэй, а еще дальше к востоку высилась гора Фудосан. Ее склоны поросли соснами, меж стволов которых тянулся к небу молодой бамбук, цвели кусты дейции и дикой азалии. Я настолько успел изучить эти места, что и темной ночью поднимался вверх по тропинке не оступаясь. С вершины горы открывался вид на верхнюю и центральную часть Киото, а вдали синели горы Эйдзан и Даймондзи.

Я карабкался все выше и выше. Из-под ног взлетали, хлопая крыльями, напуганные птицы, но я не обращал на них внимания, а только следил, чтобы не споткнуться о какой-нибудь пенек. Мне стало легче — бездумная прогулка исцелила меня. Наконец я достиг вершины, и прохладный ночной ветер стал обдувать мое разгоряченное тело.

Открывшаяся взору картина меня поразила. Затемнение было отменено, и город разливался по долине морем огней. Это зрелище по-

казалось мне чуть ли не чудом — ведь я впервые после окончания войны смотрел на город сверху.

Светящиеся огни составляли единое целое. Рассыпанные по плоскости, они не казались ни далекими, ни близкими, а как бы представляли собой огромное прозрачное сооружение, созданное из горящих точек; гигантская эта конструкция громоздилась в ночи, светясь причудливыми наростами и ответвлениями. Так вот он какой, город. Лишь парк вокруг императорского дворца был погружен во мрак, похожий на черную пещеру.

Вдали, над горой Эйдзан, в темном небе то и дело вспыхивали молнии.

«Это и есть суетный мир,— подумал я.— Вот кончилась война, и под этими огнями засновали люди, охваченные порочными помыслами. Сонмища женщин и мужчин смотрят там друг другу в лицо, не чувствуя, как в нос им ударяет трупный запах их собственных деяний, отвратительных, как сама смерть. Сердце мое радуется при мысли о том, что все эти огни — огни ада. Так пусть же зло, зреющее в моей душе, растет, множится и наливается светом, пусть не уступит оно ни в чем этому огромному сиянию! И пусть чернота моей души, хранящей огонь зла, сравняется с чернотой ночи, окутавшей этот город!»

* * *

Теперь, с концом войны, число посетителей в Золотом Храме с каждым днем росло. Настоятелю удалось добиться от городских властей разрешения повысить плату за вход, чтобы компенсировать рост инфляции.

До сих пор любоваться Золотым Храмом приходила немногочисленная, неброско одетая публика — военные в форме, штатские в гражданских кителях. Но вот в городе появились оккупационные войска, и вскоре разнузданные нравы суетного мира захлестнули и территорию храма. Впрочем, перемены были не только к худшему, так, возродилась традиция устраивать чайные церемонии, и в Золотой Храм зачастили женщины в нарядных кимоно, до поры до времени припрятанных по шкафам. Мы, послушники, в своих убогих рясах, теперь выделялись из толпы; казалось, будто мы вырядились монахами для потехи или что мы какие-нибудь туземцы из заповедника, наряженные в национальные одежды, чтобы публика могла посмотреть, как жили наши далекие предки. Особенно своим видом мы веселили американцев: те бесцеремонно дергали нас за рукава ряс и покатывались со смеху. Или, сунув немного денег, брали наши одеяния напрокат — сфотографироваться на память. Наш экскурсовод не знал иностранных языков, поэтому иногда вести американских гостей по территории стали отправлять меня или Цурукава, хотя мы объяснялись по-английски с грехом пополам.

Пришла первая послевоенная зима. В пятницу вечером вдруг повалил снег и не прекращался всю субботу. Днем, в школе, я с наслаждением предвкушал, как пойду любоваться заснеженным Золотым Храмом.

Снег все шел и шел. Я свернул с дорожки для посетителей и как был, в резиновых сапогах, с ранцем через плечо, отправился к берегу Зеркального пруда. В воздухе носились легкие и быстрые снежинки. Как прежде, в детстве, я поднял лицо к небу и открыл рот пошире. Снежинки ударялись о мои зубы, и мне казалось, что я слышу легкий звон, будто подрагивают листочки фольги; я чувствовал, как снег падает в теплую полость рта и тает, соприкасаясь с его красной плотью. Мне представился клюв феникса, застывшего над Вершиной Прекрасного, горячий, гладкий рот золотой сказочной птицы.

Когда идет снег, мы снова чувствуем себя детьми. Да и потом, мне ведь было всего восемнадцать. Что же странного, если мою душу охватило детское возбуждение?

Присыпанный снегом Золотой Храм был невыразимо прекрасен. Открытый ветрам, он стоял в пленительной наготе: внутрь свободно задувало снег, жались друг к другу стройные колонны.

Почему не заикается снег?— подумал я. Иногда, ложась на ветви аралии и осыпаясь затем вниз, он действительно словно начинал заикаться. Снег окутывал меня облаком, плавно скользя с небес, и я забыл о душевных своих изъянах, сердце мое забилось в чистом и ровном ритме, как если бы меня обволакивала чудесная музыка.

Из-за снегопада трехмерный Кинкакудзи утратил объемность, в нем больше не ощущалось вызова окружающему миру; Храм стал плоским, превратился в свое собственное изображение. Обнаженные ветви деревьев на лесистых склонах почти не задерживали снег, и лес казался еще более голым. Лишь на хвое растущих кое-где сосен лежали роскошные белые шапки. На льду пруда намело сугробы, но почему-то не везде, а только местами — большие белые пятна, разбросанные по поверхности, напоминали облака, с декоративного панно. Среди сугробов затерялись островок Авадзи и скала Кюсанхаккай, и их молодые сосны, казалось, каким-то чудом пробились сквозь лед и наст заснеженной равнины.

Лишь крыши верхнего и среднего ярусов Храма — Вершины Прекрасного и Грота Прибоя — да еще маленькая кровля Рыбачьего павильона отливали белизной, стены же, сложные переплетения досок на фоне снега, казались черными. Мне доподлинно было известно, что в Храме никто не живет, но очарование этих черных стен было столь велико, что я усомнился: а вдруг все-таки живет? Так мы, разглядывая картину на шелке художника китайской Южной школы, где изображен какой-нибудь замок в горах, придвигаемся поближе, пытаясь угадать, кто скрывается за его стенами. Но если бы я захотел приблизиться к этому Храму, мое лицо уперлось бы в холодный шелк снега.

Двери Вершины Прекрасного, обращенные к заснеженным небесам, были и сегодня настежь. Я представил, как снежинки пролетают через узкое пространство покоев, ударяются о дряхлую позолоту стен и застывают узорами золотистой изморози.

В воскресенье утром меня позвал наш старик экскурсовод. Время осмотра еще не наступило, но у ворот уже стоял американский солдат. Старик жестом попросил его подождать и пошел за мной, «знатоком» английского. Как ни странно иностранный язык давался мне легче, чем Цурукава, и, говоря по-английски, я никогда не заикался.

Перед воротами храма я увидел армейский джип. Вдребезги пьяный американец стоял, опираясь о столб ворот. Он взглянул на меня сверху вниз и насмешливо улыбнулся.

Храмовой двор, засыпанный свежим снегом, сиял ослепительной белизной. На меня в упор посмотрело молодое, в розовых складках жира лицо, обрамленное этим нестерпимым сиянием, и дохнуло белым паром и перегаром. Мне стало немного не по себе, как всегда, когда я пытался представить, что за чувства могут жить в существе, настолько отличающемся от меня по размерам.

Я взял себе за правило никому и ни в чем не перечить, поэтому, несмотря на ранний час, согласился провести американца по территории, попросив только уплатить за вход и экскурсию. К моему удивлению, смертельно пьяный детина безропотно заплатил. Потом обернулся к джипу и буркнул: «А ну давай, выходи» — или что-то в этом роде.

Снег блестел так ярко, что в темноте кабины ничего разглядеть

было нельзя. Под брезентовым верхом шевельнулось что-то белое — будто кролик в клетке.

На подножку джипа высунулась нога в узкой туфле на высоком каблуке. Я удивился, что она голая, без чулка,— было очень холодно. Появилась женщина — обычная проститутка из тех, что путаются с американской солдатней,— это было видно с первого взгляда; ярко-красное пальто, того же пылающего цвета лакированные ногти. Полы пальто распахнулись, и промелькнула грязноватая ночная рубашка из дешевой материи. Женщина тоже была абсолютно пьяна, глаза ее смотрели мутно. Парень хотя бы не забыл одеться, она же просто накинула на рубашку пальто и обмотала шею шарфом — видимо, только что вылезла из постели.

В белом свете снега женщина казалась мертвенно-бледной. На бескровном лице неживым пятном алели намазанные губы. Ступив на землю, женщина чихнула — по тонкому носу пробежали морщинки, пьяные, усталые глаза на миг уставились куда-то вдаль и снова помутнели. Она назвала солдата по имени:

— Дзяк, Дзя-ак, цу корудо, цу корудо [1].

Голос ее жалобно раскатился над заснеженной землей. Парень не ответил.

Впервые женщина этого сорта казалась мне красивой. И вовсе не потому, что она хоть сколько-то походила на Уико — наоборот, ее словно специально создали так, чтобы она ни единой мелочью не напоминала Уико. И может быть, именно благодаря этой несхожести с оставшимся в моем сердце образом проститутка обрела особую, свежую красоту. И было что-то утешительное в таком противопоставлении чувству, которое оставило в моей душе первое соприкосновение с женской красотой.

Только одно, пожалуй, объединяло проститутку с Уико: как и та, она не удостоила мою жалкую фигуру в грязном свитере и резиновых сапогах ни единым взглядом.

Все обитатели храма с раннего утра вышли на уборку снега, но едва-едва успели расчистить дорожки для публики, да и по тем пройти можно было только друг за другом. Я повел американца и его подругу за собой.

Выйдя на берег пруда и увидев открывшуюся картину, солдат замахал своими здоровенными ручищами, радостно загоготал и что-то прокричал. Схватил женщину за плечи и с силой встряхнул. Та недовольно нахмурила брови и снова повторила:

— О-о, Дзя-ак! Цу корудо!

Американец спросил меня, что это за ягоды краснеют на присыпанных снегом ветвях, но я не знал, как они называются по-английски, и просто сказал: «аоки». Быть может, под внешностью громилы скрывался поэт, но мне ясные голубые глаза солдата показались жестокими. В английской детской песенке про Матушку Гусыню поется о том, что черные глаза — злые и жестокие. Видимо, человеку свойственно отождествлять жестокость с чем-то чужеродным и иностранным.

Я начал экскурсию как обычно. В Золотом Храме мертвецки пьяный американец, шатаясь из стороны в сторону, снял сапоги и швырнул их на пол. Закоченевшими от холода пальцами я достал из кармана путеводитель на английском языке и приготовился читать по нему, как делал это всегда, но солдат протянул руку, выхватил у меня брошюру и стал дурашливым голосом декламировать по ней сам, так что необходимость в моих услугах отпала.

Я стоял, прислонившись к одной из колонн Зала Очищения Водой, и смотрел на искрящийся и сверкающий пруд. Никогда еще покои Золотого Храма не заливало такое море света — даже становилось как-то не по себе.

---

[1] Искаж. англ.: «Джек, Дже-ек, очень холодно, очень холодно».

Засмотревшись на пруд, я не заметил, как между солдатом и проституткой, зашедшими в Рыбачий павильон, началась перебранка. Ссора становилась все громче, но слов разобрать я не мог. Женщина ожесточенно кричала что-то своему спутнику, причем я так и не понял — по-японски или по-английски. Переругиваясь на ходу, американец и проститутка двигались в мою сторону, обо мне они уже забыли.

Солдат бранился, нависая над женщиной, и она вдруг со всего размаху ударила его по щеке. Потом повернулась и, быстро надев свои туфли на высоком каблуке, пустилась бежать по дорожке к воротам.

Я не понял, что произошло, но тоже выскочил из Храма и побежал вдоль пруда. Однако длинноногий американец догнал женщину быстрее меня и схватил ее за лацканы ярко-красного пальто.

Потом парень оглянулся на меня и разжал пальцы. Наверное, руки его обладали поистине богатырской силой, потому что женщина тут же навзничь рухнула на снег. Красные полы пальто распахнулись, заголились белые ляжки. Она даже не пыталась встать, а только злобно смотрела снизу на солдата, горой возвышавшегося над ней.

Я инстинктивно опустился рядом с женщиной на колени, чтобы помочь ей подняться.

— Эй, ты! — крикнул американец.

Я обернулся. Он стоял надо мной, широко расставив ноги, и делал какой-то знак рукой. Потом сказал по-английски странно потеплевшим, мягким голосом:

— Ну-ка наступи на нее. Слышишь, ты?

Я сначала не понял, чего он от меня хочет. Но в голубых глазах, глядевших на меня откуда-то сверху, недвусмысленно читался приказ. За широкими плечами солдата сверкал и переливался покрытый снегом Храм, ярко синело ясное, словно свежевымытое, зимнее небо. В этих голубых глазах не было и тени жестокости. Их выражение показалось мне необычайно нежным и даже лиричным.

Толстые пальцы крепко взяли меня за воротник и рывком поставили на ноги. Но голос по-прежнему был мягок и ласков:

— Наступи. Наступи на нее.

Словно завороженный, я поднял ногу в резиновом сапоге. Солдат хлопнул меня по плечу, нога дернулась книзу и опустилась на мягкое — будто я ступил в жидкую весеннюю грязь. Это был живот проститутки. Она зажмурила глаза и взвыла.

— Еще разок. Давай-давай.

Я наступил еще. Охватившее меня поначалу смятение исчезло, сменилось вдруг безудержной радостью. Это женский живот, сказал себе я. А вот это — грудь. Никогда бы не подумал, что человеческое тело так послушно и упруго — прямо как мяч.

— Хватит,— отчетливо произнес американец. Потом вежливо помог женщине подняться, стряхнул с нее снег и грязь и, не оборачиваясь, повел ее под руку вперед. Женщина за все время так ни разу на меня и не взглянула.

Усадив проститутку в джип, солдат посмотрел на меня и с пьяной торжественностью сказал: «Спасибо». Протянул мне какие-то деньги, но я не взял. Тогда он достал с переднего сиденья две пачки сигарет и сунул мне в руки.

Я стоял у ворот, солнечные блики слепили мне глаза. Щеки мои горели огнем. Подняв облако снежной пыли, джип запрыгал по ухабам и скрылся вдали. Я весь дрожал от возбуждения.

Когда же волнение схлынуло, в голову мне пришла восхитительная по своему коварству мысль: я представил, как обрадуется настоятель, заядлый курильщик, получив в подарок эти сигареты. А знать ничего не будет.

Не к чему мне признаваться ему в содеянном. Я лишь подчинился насилию Неизвестно еще, что со мной сталось бы, попробуй я не подчиниться.

Я отправился в Большую библиотеку. Отец эконом, мастер на все руки, как раз брил Учителю голову. Я остался ждать на засыпанной снегом веранде.

Сосна «Парусник», покрытая искристым снегом, сегодня была похожа на настоящий корабль со свернутыми белыми парусами.

Настоятель сидел с закрытыми глазами и держал в руках лист бумаги, о который эконом вытирал лезвие. Из-под бритвы все явственней возникал голый череп — массивный и какой-то животный. Покончив с бритьем, отец эконом накрыл голову Учителя горячим полотенцем. Когда он снял полотенце, взору явилась блестящая, будто новорожденная голова, похожая на вынутое из кипятка яйцо.

Я пробормотал, заикаясь, какие-то объяснения и с поклоном протянул преподобному две пачки «Честерфильда».

— О-о, вот за это спасибо.

По лицу Учителя промелькнула рассеянная улыбка. Только и всего. Потом его рука деловито и одновременно небрежно швырнула обе пачки на стол, заваленный письмами и бумагами.

Отец эконом принялся массажировать преподобному Досэну плечи, и тот снова прикрыл глаза.

Надо было уходить. От разочарования меня бросило в жар. Мой преступный и загадочный поступок, полученные в награду за него сигареты, принявший их, не ведая ни о чем, Учитель — вся эта цепь событий должна была привести к более острому и драматичному эффекту! И то, что человек, именующий себя «Учителем», ничего не почувствовал, лишь усилило мое к нему презрение.

Однако настоятель вдруг велел мне задержаться. Оказалось, что он решил меня облагодетельствовать.

— Ты вот что,— объявил настоятель,— как кончишь школу, будешь поступать в университет Отани. Тебе надо хорошенько учиться, чтобы сдать экзамены как следует, покойный отец взирает на тебя с небес.

Новость, благодаря отцу экономе, незамедлительно распространилась среди всех обитателей храма. То, что отец настоятель сам предлагает послушнику поступать в университет, говорило о многом. Я был наслышан о том, каких трудов стоило другим добиться этой милости: иной каждый вечер месяц за месяцем ходил делать Учителю массаж, чтобы получить желанное разрешение. Цурукава, который собирался учиться в Отани на собственные средства, узнав о решении настоятеля, обрадованно хлопнул меня по плечу, а еще один послушник, обойденный вниманием Учителя, с этого дня перестал со мной разговаривать.

Глава четвертая

Итак, весной сорок седьмого года я поступил на подготовительное отделение университета Отани. Со стороны могло бы показаться, что все складывается как нельзя лучше и я уверенно ступаю по жизни, пользуясь неизменным расположением Учителя и вызывая зависть недругов. На самом же деле поступлению в университет предшествовало событие, при воспоминании о котором меня и поныне охватывает дрожь.

Через неделю после того снежного утра, когда настоятель объявил, что я буду учиться в университете, я, вернувшись из школы, столкнулся лицом к лицу со своим обойденным соперником — тот взглянул на меня со странным ликованием. До этого он делал вид, что не замечает моего существования.

В поведении отца экономе и всех прочих я тоже уловил нечто необычное, хотя внешне все оставалось по-прежнему. Вечером я по-

шел в келью Цурукава и пожаловался ему на непонятную перемену, произошедшую в братии. Поначалу Цурукава отвечал уклончиво, но он никогда не умел скрывать своих чувств и вскоре виновато посмотрел на меня исподлобья.

— Мне рассказал... (тут Цурукава назвал имя третьего из послушников), но его при этом тогда не было, он еще не вернулся из школы... В общем, тут днем произошла какая-то странная история.

У меня все сжалось в груди. Я насел на своего приятеля, и он, заставив меня поклясться, что я его не выдам, посмотрел мне прямо в глаза и рассказал следующее.

Днем в храм приходила проститутка, одетая в красное пальто. Она потребовала встречи с настоятелем. К ней вышел отец эконом, но женщина не пожелала с ним объясняться и вновь потребовала самого главного. На беду по коридору проходил преподобный Досэн. Увидев посетительницу, он вышел в переднюю. Проститутка сказала, что неделю назад, в тот день, когда кругом лежал снег, она вдвоем с одним иностранным солдатом приехала посмотреть Золотой Храм; по словам проститутки, американец повалил ее наземь и заставил какого-то монашка из нашего храма топтать ее ногами. Вечером у нее случился выкидыш. От настоятеля она требовала денежной компенсации. Если же он ничего не даст, женщина грозилась поднять скандал и объявить всему миру, что́ за дела творятся в храме Рокуондзи.

Отец настоятель, ни слова не говоря, дал проститутке денег, и она ушла. Было известно, что в то злосчастное утро экскурсию вел я, однако, поскольку других свидетелей моего проступка не имелось, преподобный Досэн велел ничего мне о случившемся не говорить. Сам он решил счесть рассказ проститутки ложью и небылицей. Однако братия, которой отец эконом не преминул все передать, не сомневалась в моей виновности.

Цурукава, чуть не плача, схватил меня за руку. Глядя на меня ясными глазами, он спросил своим бесхитростным детским голоском:

— Неужели ты и вправду мог совершить такое?

...Я оказался лицом к лицу с обуревавшими меня мрачными страстями. К этому вынудил меня вопрос Цурукава. Почему он задал его? Из дружеских чувств? Знает ли он, что, спрашивая меня об этом, выходит за пределы отведенной ему роли? Понимает ли, что самим своим вопросом совершает предательство по отношению к моему сокровенному «я»?

Я ведь уже говорил, что Цурукава — мой позитив. И если бы он честно играл свою роль, то ему следовало бы не приставать ко мне с вопросами, а перевести мои темные чувства в чувства светлые. Тогда ложь стала бы правдой, а правда обернулась бы ложью. Поступи Цурукава как обычно — преврати он тень в свет, ночь в день, луну в солнце, скользкую плесень во влажную молодую листву — я бы, наверное, заикаясь, во всем ему признался. Но на сей раз Цурукава меня подвел. И таившиеся в моей душе черные страсти обрели новую силу...

Я неопределенно улыбнулся. В храме полночь, не горит ни огонька. Холодные колени. Вокруг нас — древние мощные колонны.

Отчего я дрожал? Скорее всего, просто от холода, но то могла быть и дрожь наслаждения — ведь я впервые открыто лгал в глаза своему единственному другу.

— Ничего этого не было.

— Правда?! Значит, та женщина наврала? Ах, мерзавка! Надо же, отец эконом, и тот поверил!

Цурукава все пуще распалялся праведным гневом, он уже собирался прямо с утра пойти к Учителю и поведать ему, как меня оболга-

ли. В этот миг перед моими глазами возникла свежевыбритая голова настоятеля, так похожая на какой-то только что сваренный овощ. Потом — розовые пухлые щеки. Мной вдруг овладело жгучее отвращение к этому лицу. Необходимо было умерить пыл Цурукава, пока он действительно чего-нибудь не натворил.

— Ты что ж, думаешь, Учитель поверил в мою виновность?

— А?..— Цурукава был сбит с толку.

— Все остальные могут болтать что им вздумается, главное — отец настоятель молчит. А значит, он разобрался, что к чему, и я могу быть спокоен. Так я думаю.

И я объяснил Цурукава, что, начни он уверять остальных в моей невиновности, это лишь убедило бы всех в обратном. Настоятель знает, что я ни при чем, поэтому он и велел оставить историю без последствий. Я говорил это своему приятелю, а сердце трепетало от восторга, радость охватила все мое существо. В голове у меня ликующе звучало: «Никто, никто не видел. Свидетелей нет!»

Сам-то я, конечно, не считал, что настоятель убежден в моей невиновности. Совсем наоборот. Он потому и велел оставить дело без последствий, что твердо знал: женщина не лгала. Может быть, он догадался еще прежде, когда я вручил ему две пачки «Честерфильда». Возможно, он молчит, ожидая, что я сам приду к нему и во всем покаюсь. Более того, не исключено, что и позволение поступать в университет было своего рода приманкой: утаи я свою вину, и настоятель накажет меня, отменив распоряжение; покайся я, он смилостивится и оставит решение в силе — если, конечно, будет убежден, что мое раскаяние искренне. А самая главная ловушка, вне всякого сомнения, заключается в том, что преподобный велел отцу эконому сохранить все в тайне от меня. Если на мне вины нет, я ничего не почувствую и буду жить как ни в чем не бывало, пребывая в счастливом неведении. Если же моя совесть нечиста, придется мне (конечно, если я не круглый идиот) кривить душой и притворяться, изображая спокойствие и безмятежность духа, как будто каяться мне абсолютно не в чем... Итак, я должен буду притворяться. Это — лучшее из всего, что мне остается, единственная возможность уйти от наказания. В этом-то и состоит тайный умысел настоятеля, вот в какую ловушку хочет он меня заманить!

При этой мысли я пришел в ярость. Можно подумать, мне нечего сказать в свое оправдание! Да если б я не наступил на проститутку, американец вполне мог бы выхватить пистолет — под угрозой оказалась бы моя жизнь! Им, оккупантам, законы не писаны! Я же был жертвой насилия!

Все это так, но прикосновение моего сапога к женскому животу, податливая упругость, те стоны, ощущение, будто давишь едва распустившийся цветок из нежной плоти; чувственное содрогание, наконец, некая таинственная молния, рожденная телом женщины и пронзившая мою ногу,— кто мог заставить меня испытать подобное наслаждение? Я и сейчас помню всю сладость тех мгновений. И настоятель знал, что́ я ощущал тогда, прекрасно понимал, какое я чувствовал блаженство!

Весь последующий год я прожил подобно птице, попавшей в клетку. Решетка постоянно была у меня перед глазами. Я твердо решил ни ь чем не сознаваться, и дни мои были лишены покоя. Странно, но мое деяние, которое и прежде не казалось мне преступным, со временем начало приобретать в моем восприятии некий ореол. И не только потому, что у женщины, как выяснилось, произошел выкидыш. Осев в памяти, мой поступок, подобно опустившемуся на дно золотому песку,

стал источать сияние. Сияние зла. Да-да, пусть содеянное мной зло было ничтожным, но все же я его совершил, теперь я твердо это знал. И злое свершение сияло на мне подобно ордену — только подвешенному с внутренней стороны груди...

Что же касается повседневной жизни, то мне ничего не оставалось, кроме как ждать вступительных экзаменов, настороженно наблюдая за настоятелем и стремясь угадать его мысли. Он ни разу не пытался отменить данное ранее обещание, но и не давал мне распоряжения начинать подготовку к экзаменам. Как же ждал я развязки — той или иной! Но настоятель хранил злорадное молчание, подвергая меня долгой и мучительной пытке. Я тоже не заговаривал с ним об университете — отчасти из страха, отчасти из духа противоречия. Постепенно фигура настоятеля, к которому я прежде относился с довольно нейтральным уважением, приправленным известной долей скепсиса, выросла в моих глазах до размеров совершенно гигантских, и мне уже с трудом верилось, что в этой махине бьется человеческое сердце. Я пытался не обращать внимания на Учителя, но он вечно нависал надо мной, словно стена таинственного замка.

Помню день в конце осени. Настоятеля пригласили на похороны одного его давнего прихожанина. До дома усопшего было часа два езды на поезде, поэтому преподобный Досэн накануне вечером предупредил нас, что отправится в путь в полшестого утра. Сопровождал его отец эконом. Для того чтобы успеть сделать уборку, приготовить завтрак и проводить Учителя, нам пришлось вставать в четыре часа.

Пока отец эконом собирал настоятеля в дорогу, мы читали утренние сутры. Беспрестанно позвякивала бадья у колодца на темном холодном дворе — обитатели храма спешили ополоснуть лицо. Предрассветные осенние сумерки резко разорвало звонкое петушиное кукареканье. Подобрав широкие рукава ряс, мы торопились занять свои места перед алтарем в Зале Гостей.

Покрытый соломенными матами пол, на котором никто никогда не спал, был холодным и будто съеживался от прикосновения ног. Подрагивал огонь светильников. В такт ударам гонга мы трижды совершили поклон: сначала стоя, потом сидя.

Во время утренней службы я всегда чувствовал в хоре мужских голосов какую-то особую свежесть. Эти утренние голоса звучали мощно, словно разгоняя и распыляя ночные химеры — мне казалось, что от стройных звуков разлетается мелкая черная капель. Не знаю, обладал ли тем же эффектом и мой голос, но сама мысль, что он тоже участвует в хоре, изгоняющем грязь ночных мужских помыслов, странным образом придавала мне мужества.

Мы еще не приступили к «утренней каше», когда настоятель отправился в путь. Для церемонии проводов вся братия выстроилась рядком в передней.

Рассвет еще не наступил, небо было усыпано звездами. Смутно белела вымощенная камнем дорожка, что вела к воротам, тень от огромного дуба сливалась с тенями сосен и слив. Холод проникал в дыры моего драного на локтях свитера.

Церемония проходила в полном молчании. Мы низко склонились в прощальном поклоне, настоятель, сопровождаемый экономом, едва кивнул в ответ. Потом стук их деревянных сандалий по камню дорожки стал удаляться, постепенно затихая. Этикет дзэн-буддистской обители требует провожать Учителя взглядом до тех пор, пока он не скроется из виду.

Собственно говоря, в темноте мы могли видеть лишь белые подбои ряс и белые таби [1]. Иногда пропадали и они — это их заслоняли деревья. Когда же во мраке снова появлялись белые пятна, казалось, будто и стук шагов становится громче.

---

[1] Носки с плотной подошвой.

Мы не сводили глаз с двух удаляющихся фигур, прошла целая вечность, прежде чем они окончательно скрылись за воротами.

Именно в этот миг во мне что-то дрогнуло. Душевный импульс поднялся из груди и обжег мне горло, точно так же застревали из-за моего проклятого заикания самые важные слова. Мне страстно захотелось освобождения. Я не желал более ни исполнения честолюбивых замыслов, внушенных мне матерью, ни места в университете. Я жаждал лишь одного — избавиться от той невыразимой силы, что владела и управляла мной.

Не то чтобы меня вдруг оставило мужество, нет. Да и много ли надо мужества, чтобы покаяться? Особенно такому, как я, молчавшему все двадцать лет своей жизни. Кому-то может показаться, что я драматизирую, но упрямое мое нежелание покаяться, поддаться молчанию отца настоятеля, было не чем иным, как экспериментом на тему: «Возможно ли зло?» Если бы я выдержал и смолчал, значит, зло — пускай самое незначительное — мне по плечу.

Я смотрел вслед исчезавшим за деревьями белым точкам, и побуждение, огнем горевшее в моем горле, становилось нестерпимым. Покаяться, во всем покаяться! Побежать за настоятелем, припасть к рукаву его рясы и во весь голос признаться в злодеянии, совершенном мной в то снежное утро. На этот поступок меня толкало не почтение к святому отцу — я ощущал исходившую от него силу, почти физическое принуждение...

Но мысль о том, что, если я покаюсь, первое в моей жизни злодейство утратит цену, остановила меня; что-то не дало мне тронуться с места. Учитель прошел под сводом ворот и исчез в предрассветном мраке.

Все облегченно вздохнули и с шумом устремились к дверям прихожей. Я, окаменев, стоял на месте, когда Цурукава хлопнул меня по плечу. Плечо мое очнулось. Тощее и жалкое, оно вновь обрело былую гордость.

* * *

Как уже было сказано, несмотря на все переживания, в университет я в конце концов попал. Признаваться и каяться мне так и не пришлось. Через несколько дней настоятель вызвал меня и Цурукава и коротко известил нас, что отныне мы освобождаемся от работ по храму и должны начинать подготовку к экзаменам.

Итак, я поступил в университет, но это событие не решило всех моих проблем. Поведение настоятеля по-прежнему было для меня загадкой, вопрос о том, кто станет его преемником, тоже оставался открытым.

Университет Отани. Там впервые познакомился я с идеями, которые сам для себя избрал; там жизнь моя приняла иное направление.

Древнему учебному заведению было без малого триста лет; его история восходила к пятому году эпохи Камбун (1665 г.), когда училище при храме Цукуси-Кандзэон переехало на новое место — в усадьбу Кикоку. Там открылся монастырь для молодых послушников школы Отани, принадлежавшей к секте Хонгандзи. Во времена пятнадцатого главы секты некий Сокэн Такаги, родом из Нанива, последователь учения Хонгандзи, пожертвовал все свое состояние храму. На эти средства и был основан университет, построенный в северной части столицы, в квартале Карасумагасира, где он находится и поныне. Участок площадью 12 700 цубо [1], конечно, тесноват для университета, но в этих стенах, ставших колыбелью буддийского богословия, обучаются юноши, принадлежащие к самым различным сектам и школам.

[1] Примерно 4 га.

Старые кирпичные ворота, обращенные на запад, к горе Хиэйдзан, отделяли территорию университета от улицы, по которой ходили трамваи. Посыпанная гравием дорожка вела к центральному подъезду главного корпуса, старого и мрачного двухэтажного здания красного кирпича. Над строением возвышалась крытая башенка, назначение которой было не вполне ясно: она не являлась часовой, так как на ней отсутствовали часы, и не могла претендовать на звание колокольни, поскольку не имела колокола. Из этой башни, увенчанной чахлым громоотводом, через квадратное оконце, неизвестно для чего пробитое в крыше, открывался вид на синие небеса.

Возле подъезда росла древняя смоковница, чьи царственные листья отливали на солнце красной медью. Учебные корпуса представляли собой старые, одноэтажные, в основном деревянные пристройки, беспорядочно жавшиеся к главному зданию. Вход внутрь в обуви строго-настрого воспрещался, поэтому корпуса соединялись между собой бесчисленными галереями с бамбуковыми полами. Бамбук давно обветшал, и пол, насколько мне помнится, пестрел свежими заплатами. Идешь, бывало, из корпуса в корпус, а под ногами настоящая мозаика из заплат всех оттенков.

Как у любого новичка, дни мои были полны свежих впечатлений, но в голову то и дело лезли разные вздорные мысли. Я никого здесь не знал, кроме Цурукава, поэтому поначалу мы разговаривали только друг с другом. Однако из-за этого пропадало ощущение, что ты попал в новый мир; Цурукава испытывал, видимо, те же чувства, и уже через несколько дней после начала учебы мы на переменах стали специально расходиться в разные стороны, ища новых знакомств. Число приятелей Цурукава постоянно росло, у меня же с моим заиканием не хватало мужества вступить с кем-нибудь в разговор, и я постоянно пребывал в полном одиночестве.

На подготовительном курсе университета преподавали десять предметов: этику, японский, иероглифику, китайский, английский, историю, священное писание, логику, математику и гимнастику. Труднее всего с самого начала давалась мне логика. Однажды после особенно сложной лекции, во время перерыва, я наконец рискнул приблизиться к одному из студентов, который давно был у меня на примете, чтобы задать ему несколько вопросов по конспекту.

Этот юноша всегда держался особняком, вот и теперь он сидел в одиночестве возле цветочной клумбы и ел свой завтрак. Поглощение пищи, кажется, было для него целым ритуалом, к тому же смотреть, с каким мизантропическим видом совершает он свою трапезу, было не слишком приятно, поэтому рядом с ним никто не пристроился. Мне показалось, что этот студент, как и я, не имеет друзей; более того, он и не стремится ни с кем дружить.

Я знал, что его фамилия Касиваги. Главная отличительная особенность Касиваги заключалась в сильно выраженной косолапости обеих ног. Его манера ходить была неподражаема: казалось, он всегда утопает в грязи — едва успеет выдернуть одну ногу, а уже завязла вторая. Все его тело при этом дергалось из стороны в сторону, будто Касиваги танцевал некий диковинный танец — нет, его походка была ни на что не похожа.

Вполне понятно, почему я сразу выделил Касиваги из прочих. Его уродство придавало мне уверенности. Искривленные ноги Касиваги ставили нас с ним на одну доску, уравнивали наши условия.

И вот он сидел во дворе, среди цветов клевера, и ел свой завтрак. Сюда выходили зияющие окна полуразвалившегося сарая, в котором располагались залы для занятий каратэ и пинг-понгом. Во дворе росло несколько чахлых сосен, над клумбами торчали голые цветочные рамы, голубая краска с них облезла и висела лохмотьями, напоми-

навшими искусственные цветы. Тут же стояло несколько полок для карликовых деревьев бонсай, цвели гиацинты и примулы, а чуть поодаль красовалась гора мусора.

Сидеть на траве, среди клевера, было, наверное, приятно. Мягкие стебли поглощали свет, и лужайка, вся в мелких пятнышках тени, словно парила над землей. Сидящий Касиваги в отличие от Касиваги идущего имел вид самого обычного студента. Его бледное лицо дышало своеобразной, суровой красотой. Калеки, по-моему, чем-то похожи на красивых женщин. И те и другие устали от вечно обращенных на них взглядов, они пресыщены постоянным вниманием, они затравлены этим вниманием и открыто отвечают взглядом на взгляд. Кто не отводит глаз, тот выигрывает. Касиваги смотрел вниз, на коробку с едой, но я чувствовал, что он изучающе озирает все вокруг.

Он сидел, ярко освещенный солнцем, с видом гордым и независимым — таково было мое первое впечатление. Я интуитивно понял, что этому юноше, окруженному цветами и сиянием весеннего дня, неведомы мучающие меня застенчивость и душевные муки. Он являл собой саму уверенность, саму прочность. Солнечному свету не под силу было проникнуть сквозь эту твердую кожу.

Завтрак, который самозабвенно, но с явным отвращением поедал Касиваги, действительно был скуден, впрочем, не хуже того, что приносил с собой я. В сорок седьмом году прилично питаться можно было, только покупая продукты на черном рынке.

Я остановился перед Касиваги, держа в руках тетрадь с конспектами и коробочку с завтраком. Накрытый моей тенью, Касиваги поднял голову. Мельком взглянул на меня и снова склонился над едой, жуя мерно и монотонно, словно шелковичный червь лист тутовника.

— Извините, я только хотел спросить кое-что по лекции,— заикаясь, проговорил я на токийском диалекте — в университете я решил говорить только правильным языком.

— Ничего не понимаю,— заявил вдруг Касиваги.— Нечленораздельный лепет какой-то.

Мое лицо вспыхнуло. Облизав палочки для еды, Касиваги добавил:

— Ты думаешь, я не понимаю, чего ты ко мне подкатываешься? Как там тебя, Мидзогути, что ли? Если ты хочешь предложить нам объединиться в Союз калек, я в принципе не против, но тебе не кажется, что по сравнению с моими ногами твое заикание немногого стоит? По-моему, ты чересчур носишься с собой. А заодно и со своим заиканием, а?

Позже я узнал, что Касиваги — сын священника той же дзэн-буддийской школы Риндзай, это в какой-то степени объясняло такой чисто дзэнский град вопросов, однако в первый миг, должен признаться, я был совершенно сражен.

— Давай-давай, заикайся! — насмешливо подбодрил меня Касиваги, слушая, как я безуспешно пытаюсь что-то сказать.— Валяй, наконец-то у тебя появился слушатель, которого ты можешь не стесняться. Верно я говорю? Ничего, все люди подыскивают себе пару именно по этому принципу... Послушай, а ведь ты, поди, еще девственник. Точно?

Я с серьезным видом кивнул. Касиваги задал этот вопрос с таким медицинским хладнокровием, что я почувствовал — ложь будет во вред самому себе.

— Ну, конечно. Невинный ягненок. Разве что не смазливенький — уж чего нет, того нет. Девицам ты не нравишься, а пойти к шлюхе смелости не хватает. Все с тобой ясно. Только знаешь, приятель, если ты надеялся обрести во мне столь же девственного друга, ты здорово ошибся. Рассказать тебе, как я распрощался с невинностью?

Я, дружок, родился на свет с кривыми лапами. Папочка мой служил священником дзэнского храма в Мицуномия... Ты, наверное, думаешь, раз я рассказываю про себя, значит, я несчастный калека, которому дай только поплакаться, все равно кому? Черта с два, я не из тех, кто откровенничает с первым встречным. Стыдно признаваться, но, по правде говоря, я тоже с самого начала глаз на тебя положил. И знаешь почему? Потому что подумал: этому парню пригодится мой опыт, как раз то самое, что ему нужно. Рыбак рыбака видит издалека — вроде как сектант, который сразу чует единоверца, или трезвенник, сразу распознающий другого такого же придурка.

Ну так вот. Я стыдился сам себя. Считал, если примирюсь с такой жизнью, успокоюсь — грош мне цена. Если бы я копил обиды, за поводами дело бы не стало. Взять хотя бы драгоценных родителей — что им стоило еще в раннем детстве сделать мне операцию, и я стал бы нормальным. Теперь-то уже, конечно, поздно. Но плевал я на родителей, мне и в голову не приходило на них дуться.

Я раз и навсегда убедил себя, что меня не может полюбить ни одна женщина. Ты-то знаешь, насколько утешительна и приятна эта уверенность, другим и невдомек, верно? Не примиряться с условиями своего существования и одновременно верить, что никто тебя не полюбит,— тут никакого противоречия нет. Ведь если я допустил бы мысль, что в меня можно влюбиться, это означало бы, что я уже примирился с жизнью. И я понял одну вещь: надо иметь мужество трезво оценивать вещи, но не менее важно иметь мужество бороться с этой оценкой. Улавливаешь — я палец о палец не ударил, а выходило, будто я уже с чем-то борюсь.

Я не мог, как мои нормальные приятели, лишиться невинности, обратившись к услугам проститутки — это тебе объяснять не надо. Ведь шлюхи отдаются клиентам, не испытывая к ним любви. Им наплевать: будь ты старик, бродяга, раскрасавец или кривой,— да хоть прокаженный, если это у тебя на роже не написано. Большинство мужчин такое равноправие устраивает в самый раз, и первую свою женщину они покупают за деньги. Только мне эта демократия не подходила. Чтобы меня принимали так же, как здорового и нормального — да ни за что на свете, думал я, нипочем не унижусь до такого. Я боялся, что, если на мои кривые лапы не обратят внимания, не дай бог, проигнорируют их — все, мне конец. Тебе этот страх знаком, верно? Мое существование на белом свете нуждалось во всестороннем признании, и удовлетворить меня могло только какое-нибудь особое, сверхубедительное доказательство. Вот так и надо строить жизнь, говорил я себе.

Наше недовольство миром, сколь бы яростным оно ни было, в принципе излечимо: достаточно, чтобы изменился либо ты сам, либо окружающий тебя мир. Но меня тошнило от всяких мечтаний на эту тему, я вообще запретил себе любое дурацкое фантазирование. Путем долгих рассуждений я пришел к такому логическому выводу: если мир изменится, я существовать не смогу; а если изменюсь я, то не сможет существовать мир. И должен тебе сказать, что эта мысль, как ни странно, меня успокоила, даже смягчила. Моя убежденность в том, что любить мою персону невозможно, и белый свет вполне могли уживаться друг с другом. Главная ловушка, в которую обязательно попадает урод,— это не отказ от противопоставления себя миру, а слишком уж большое увлечение этим противопоставлением. Вот что делает урода неизлечимым...

И вот однажды, когда я был, как говорится, в самом расцвете юности, со мной произошел невероятный случай. Одна хорошенькая прихожанка из богатой семьи, да еще образованная — колледж кончила, вдруг призналась мне в любви. Я прямо ушам своим не поверил.

Несчастливые люди поневоле становятся специалистами по части психологии, поэтому я, конечно, и не пытался отнести это неожиданное признание за счет жалости к калеке. Уж я-то знал, что из одной только жалости женщина полюбить не может. Я решил, что чувство этой девушки ко мне вызвано ее совершенно невероятной гордыней. Красавице, прекрасно знавшей себе цену, претила мысль о том, что ее будет добиваться какой-нибудь уверенный в себе хлюст. Она ни за что не согласилась бы класть на чаши одних весов свою гордость и его самовлюбленность. Ей предлагали массу так называемых «хороших партий», но чем они были престижнее, тем меньше они ей нравились. В итоге девица брезгливо отказалась от мысли о любви, в которой есть хотя бы намек на равенство (и решение ее было твердым, уж можешь мне поверить) — ну и положила глаз на меня.

Я не колебался ни секунды. Хочешь верь, хочешь нет, но я сразу ответил ей: «Я тебя не люблю». Да и что еще мог я ответить? Это было сущей правдой, я нисколько не кокетничал. Если бы я ухватился за предоставленную мне чудесную возможность и пролепетал: «Я тоже тебя обожаю», это было бы уже даже не смехотворно, а, я бы сказал, трагично. Между тем я прекрасно усвоил, что человек, обладающий комичной внешностью, не может позволить себе роскоши выглядеть трагичным. Пустись я в трагедии, люди не будут знать, как им себя со мной вести. Я не должен вызывать жалости — хотя бы из жалости к окружающим. Поэтому-то я ей и заявил в лоб: «Я тебя не люблю».

Ее мой ответ не смутил. Она сказала, что я вру. Это надо было видеть — как она пыталась прибрать меня к рукам, осторожненько так, чтобы не оскорбить мою гордость. Красотка не могла себе представить, что ее можно не любить. Он просто самого себя обманывает, решила она. Стала препарировать мою душу и пришла к выводу, что я, конечно же, схожу по ней с ума, причем уже давно. Вообще-то мозгов ей было не занимать. Если предположить, что девушка действительно меня любила, то следует отдать ей должное: она хорошо понимала трудность своей задачи. Она не могла назвать красивым мое некрасивое лицо — это меня бы обидело, не могла назвать прекрасными мои ноги — я оскорбился бы еще больше, ну и совсем я бы вышел из себя, если б она заявила, что любит не мое тело, а мою душу. Девица прекрасно это понимала и потому повторяла, не вдаваясь в подробности, одно: «Я тебя люблю». Аналитическим путем она вычислила, что во мне пылает ответное чувство.

Такая абсурдная логика найти во мне отклика, конечно, не могла. Хотеть-то я эту девицу хотел и с каждым днем все сильнее, но ее любовь вряд ли могла быть вызвана половым чувством. Я должен был обладать чем-то таким, чего нет больше ни у кого. А чем отличался я от других, кроме своего уродства? Выходит, красавица полюбила меня за косолапые ноги, хоть и не признается в этом? По моей теории такого произойти никак не могло. Может быть, я принял бы ее любовь, если бы моя индивидуальность не ограничивалась искалеченными ногами. Но стоило мне допустить, что я обладаю еще чем-то, кроме косолапости, еще каким-то правом на существование, и я неминуемо вынужден был бы признать, что это право принадлежит и всем остальным людям. Тогда получилось бы, что я признаю свою связь с окружающим меня миром. Нет уж, не надо мне было никакой любви. Девушка просто выдумала, что любит меня, а я и подавно любить ее не мог. День за днем я твердил ей: «Я тебя не люблю».

И странная штука, чем чаще повторял я эти слова, тем сильнее становился ее самообман. И как-то вечером она решила мне отдаться. Тело у нее было — ослепнуть можно. Да только ничего у меня не вышло.

Моя неудача поставила все на свои места. Наконец-то девица

поверила, что я действительно ее не люблю. И оставила меня в покое.

Я, понятное дело, сгорал от стыда, но что был этот стыд по сравнению с главным моим позором — уродливыми ногами? Гораздо больше мучило меня другое. Ведь я отлично знал, почему оказался импотентом. Я просто на миг представил, как мои искореженные лапы коснутся ее хорошеньких ножек. И все, конец. Это открытие нанесло удар по миру, царившему в моей душе, миру, который опирался на уверенность, что любить меня невозможно.

Понимаешь, все это время во мне жила лихая такая веселость: я собирался с помощью обычной похоти, точнее удовлетворения обычной похоти, доказать самому себе невозможность любви. Но меня предало мое собственное тело — оно взяло на себя роль, которую я предназначал только духу. Новое противоречие поставило меня в тупик. Говоря языком банальным, я, всю жизнь уверяя себя, что недостоин любви, только о ней и мечтал. Напоследок же решил подменить любовь похотью и успокоился на этом. Но даже похоть, приятель, требует, чтобы я забыл о своем уродстве, то есть, чтобы я отказался от единственной преграды на пути к любви, все той же моей веры в собственную непривлекательность. У меня будто глаза открылись. Оказывается, я всегда считал похоть более примитивной, чем она есть на самом деле, мне и в голову не приходило, что для физической любви тоже нужно уметь видеть себя приукрашенным.

С тех пор тело стало интересовать меня куда больше, чем душа. Но я не мог предаться похоти, мне оставалось только мечтать о ней. Я стал этаким эфиром, которого не видит никто, но который видит всех. Легким ветерком подлетал я к объекту своей страсти, осыпал ласками вожделенное тело и тайно проникал в заветную плоть... Что ты представляешь себе, когда слышишь слово «плоть»? Верно, нечто плотное, массивное, непрозрачное — одним словом, материальное. Для меня же плоть, плотское желание — это ветер, прозрачный и невидимый глазу.

Но мои косолапые ноги торчали вечной помехой, они никак не желали становиться прозрачными. Это, собственно, были даже не ноги, а сгусток духа, материя, причем более твердая, чем любая плоть.

Нормальные люди полагают, что увидеть себя можно только в зеркале, но калека всю жизнь смотрится в зеркало, постоянно висящее перед самым его носом. Каждую минуту он вынужден любоваться собственным отражением. Забвение исключается. Поэтому для меня то, что люди называют «смущением» или «моральным дискомфортом»,— не более чем детские игрушки. Нет никакого дискомфорта — мое существование так же определенно и несомненно, как существование солнца, земли, прекрасных островов и безобразных крокодилов. Мир незыблем, словно могильная плита.

Ни малейшего дискомфорта и ни единой точки опоры — вот на чем основывается моя жизненная позиция. Для чего я живу? Этот вопрос не дает другим покоя, некоторые аж накладывают на себя руки. А мне начхать. У меня косолапость — и условие, и причина, и цель, и смысл жизни... Да что там — это и есть моя жизнь. Мне хватает и самого факта моего существования. Более чем. Я вообще думаю, что беспокойство по поводу смысла жизни — это роскошь, позволительная тем, кто не в полной мере ощущает себя живущим на белом свете.

Для начала я приглядел одну старую вдову, жившую в нашей деревне. Ей было лет шестьдесят, а то и больше. Как-то раз, в годовщину смерти ее отца, я пошел к ней вместо папаши читать сутры. В доме никого не было — перед алтарем сидели только мы со старухой. Когда я покончил с поминанием, вдова отвела меня в другую комнату и стала поить чаем. Дело было летом, и я сказал, что хочу освежиться. Разделся догола, а старуха поливала меня водой. Когда

я увидел, что она соболезнующе рассматривает мои ноги, в голове у меня моментально возник план.

Мы вернулись в дом, и я, вытираясь полотенцем, стал с торжественным видом плести старухе разные небылицы. Мол, когда я родился, моей матери во сне явился Будда и поведал: «Женщина, которая всей душой возлюбит больные ноги твоего сына, попадет прямиком в рай». Эта благочестивая дура уставилась на меня, знай только четки перебирает. Тут я прочитал приличествующую случаю сутру, сложил руки с четками на груди и хлоп на спину, как был, нагишом. И глаза закрыл. А сам все сутры бормочу.

Ты представить себе не можешь, чего стоило мне сдержаться и не расхохотаться. Меня просто распирало от смеха. И ничего такого в этот миг я о себе не воображал. А старуха тем временем тоже напевала сутры и молилась моим ногам. Я представлял себе свои кривые лапы и мысленно корчился от хохота. «Косолапый, косолапый»,— повторял я про себя и ничего не видел, кроме скособоченных моих ног. Кошмарные, безобразные уродцы. Какой нелепый фарс! А старуха еще и кланялась, щекоча мне ступни своими седыми космами, от этого становилось еще смешней.

Оказалось, что мои представления о похоти, создавшиеся у меня после рокового прикосновения к хорошеньким ножкам, были неверными. В самый разгар этого маразматического богослужения я вдруг почувствовал, что возбуждаюсь. Ничего этакого о себе не воображая — ты понял?! Да еще в каких условиях!

Я вскочил и завалил старуху. Мне даже не показалось странным, что она приняла мои действия как должное. Вдовица смирно лежала, закрыв глаза, и читала сутру. Я отлично помню, что это была за сутра — «Заклинание Большого Утешения»: «Ики́-ики́. Сино́-сино́. Ора-сан. Фура́-сяры́. Хадза́-хадза́ фура́-сяры́». Ты, конечно, знаешь, как это переводится: «Взываем к Тебе, взываем к Тебе. Даруй нам суть чистейшей из чистот, изгоняющей Три Зла — корысть, гнев и безумие».

Я видел прямо перед собой грубое, обожженное солнцем лицо с зажмуренными глазами, лицо шестидесятилетней женщины, готовой мне отдаться. И возбуждение мое ничуть не спадало. Самое же потешное во всей этой комедии было то, что моими движениями словно бы кто-то р у к о в о д и л, словно бы я тут и ни при чем.

Хотя чего там «ни при чем». Все я видел, все понимал. Такова уж особенность ада — ни одна мелочь не укроется от твоих глаз. Будь кругом хоть мрак кромешный!

В морщинистом лице старухи не было ни красоты, ни какой-нибудь там одухотворенности. Но своим уродством, своей старостью оно в самый раз соответствовало моему внутреннему настрою — никаких грез, никаких фантазий. Кто поручится, что любая раскрасавица не обернется такой же старой ведьмой, если попристальней взглянуть на нее абсолютно трезвыми глазами? Мои ноги и это лицо — ты понял? Мне открылась истинная суть физического возбуждения. Я впервые испытал дружескую симпатию к собственной похоти, поверил в нее. И потом, я понял еще одну штуку: надо не стараться сократить дистанцию, отделяющую тебя от объекта страсти, а, наоборот, всячески ее сохранять, чтобы женщина так и оставалась абстрактным объектом страсти — и не больше.

Зато смотреть можно сколько хочешь. У калеки своя логика: он еще не тронулся с места, а ему кажется, что он уже достиг конечной точки; он неподвластен чувству душевного дискомфорта — на этой основе я и создал свою «эротическую теорию». Я разработал схему, имитирующую то, что у людей называется страстью. Для меня сияние, рождаемое ослепляющим желанием, которое можно сравнить с плащом-невидимкой или порывом ветра,— недоступная фантазия; я должен все видеть и знать, что видят меня. Тогда мое увечье и моя

женщина оказываются рядом на одинаковом от меня удалении. Реальность — там, а похоть — всего лишь иллюзия. Я смотрю туда и бесконечно падаю, погружаясь в эту иллюзию; семя мое брызжет прямо в реальность. Моя косолапость и моя женщина не соприкасаются, между ними не возникает связи — и та и другая остаются за гранью... Желание нарастает и нарастает — ведь тем прекрасным ножкам никогда не придется дотрагиваться до моих уродливых лап.

Наверное, тебе нелегко во всем этом разобраться. Что, требуется разжевать? Но главное, я думаю, ты понял: с тех пор я успокоился и уверовал, что никакой любви нет и быть не может. Никакого дискомфорта. Никакой любви. Мир на веки вечные застыл на месте, но цель движения уже достигнута. Можно не пояснять, что речь идет о нашем с тобой мире.

Так мне удалось дать краткое определение всеобщей иллюзии, именуемой «любовью». Иллюзия эта пытается связать реальность с химерой... Я знаю твердо: уверенность, что никто тебя не полюбит,— вообще основа человеческого существования... Вот так, приятель, лишился я невинности.

Касиваги замолчал. Все это время я слушал его с напряженным вниманием и только теперь перевел дух. Впечатление от его рассказа было глубоким и горьким, неведомые доселе идеи открылись мне, и заныло сердце. Но прошло несколько мгновений, и весеннее солнце вновь засияло надо мной, вновь вспыхнула усыпанная ярким клевером трава. Стали слышны крики, доносившиеся с баскетбольной площадки. Весенний день оставался совершенно таким же, но значение его и смысл теперь виделись мне иначе.

Не в силах выдержать паузу, я, заикаясь, попытался поддержать разговор и, конечно же, сморозил глупость:

— И с тех пор ты все время один?

Касиваги нарочно сделал вид, что не понимает меня, и заставил повторить вопрос еще раз. Впрочем, ответил он тоном довольно дружелюбным:

— Один? Чего это мне быть одному? Познакомимся получше — узнаешь, как было дальше.

Зазвенел звонок, извещая о начале лекции. Я было поднялся, но Касиваги ухватил меня за рукав и усадил рядом с собой. В университет я ходил в том же кителе, что и в школу, только пуговицы были новые; ткань совсем вытерлась и обветшала. К тому же форма меня так тесно обтягивала, что хилая моя фигура казалась еще более жалкой.

— Сейчас у нас что, иероглифика? Ну ее, тоска одна. Пойдемка лучше погуляем,— предложил Касиваги и стал подниматься, что стоило ему огромных усилий: сначала он будто разобрал свое тело на детали, а потом собрал вновь. Это напоминало мне встающего на ноги верблюда — я видел его в кино.

Я еще не прогулял ни одного занятия, но не хотелось упускать возможности узнать о Касиваги побольше. Мы направились к воротам.

На улице невообразимая походка моего нового приятеля потрясла меня с новой силой, и я испытал некое подобие стыда. Поразительно, как могло во мне возникнуть столь обыденное чувство, и только из-за того, что рядом ковылял хромой калека.

Касиваги впервые открыл мне самую суть стыда, жившего в моей душе. И в то же время он подтолкнул меня к жизни. Касиваги вскрыл все постыдное и скверное во мне, и оно приобрело новую свежесть. Может быть, от этого, когда мы шли по усыпанной гравием дорожке к воротам, освещенная весенним солнцем гора Хиэйдзан явилась мне по-новому, словно я видел ее в первый раз. Так же, как

многие из окружавших меня предметов, гора будто бы проснулась и обрела иной смысл. Вершина ее остро вздымалась ввысь, но бег склонов вниз казался бесконечным, как затухающий резонанс музыкального аккорда. Нависая над морем крыш, гора была совсем близко; она сияла выпуклостями складок, впадины же терялись в черно-синей весенней дымке.

На улице перед университетскими воротами было тихо — мало прохожих и мало машин. Лишь изредка, лязгая, пробегал трамвай, ходивший от депо в Карасума до железнодорожного вокзала и обратно. По ту сторону проезжей части, напротив главного входа, находились старинные ворота университетского стадиона; слева шумела молодой листвой аллея деревьев гинкго.

— Пойдем, что ли, по стадиону погуляем? — сказал Касиваги и первым захромал через трамвайные пути. Он пересек пустынную мостовую, яростно дергаясь всем телом, похожий сейчас на крутящееся колесо водяной мельницы.

Стадион был просторен, вдали несколько студентов — то ли тоже сбежали с лекции, то ли у них занятия уже кончились — перебрасывались мячиком; группа из пяти-шести человек размеренно бежала по дорожке, тренируясь перед марафоном. Двух лет не прошло, как кончилась война, а юнцам уже опять некуда девать свою энергию, подумал я и вспомнил скудную храмовую пищу.

Мы присели на полусгнившее спортивное бревно и стали рассеянно смотреть на бегунов, которые то приближались к нам, то снова мчались прочь по кольцевой дорожке. Дивное это было ощущение — прогуливать занятия, словно свежее прикосновение впервые надетой новенькой рубашки. Как ярко светило солнце, как нежно дул ветерок! Вновь, тяжело дыша, сюда неслись бегуны; они запыхались, бег их стал неровным; вот, окутав нас облаком пыли, они протрусили мимо.

— Идиоты,— кивнул на них Касиваги, в голосе его не чувствовалось ни малейшей зависти.— Ну чем они занимаются? «Полюбуйтесь, какие мы крепкие да здоровые»? Кому нужен этот спектакль? Сейчас повсюду устраивают спортивные состязания. Верный признак упадка. Людям надо показывать вовсе не это. А знаешь что? Смертную казнь, вот что. И почему только у нас не устраивают публичные экзекуции,— мечтательно вздохнул Касиваги.— Не кажется ли тебе, что порядок в стране во время войны удавалось поддерживать только потому, что из насильственной смерти сделали своего рода представление? Публичную казнь человечество отменило якобы для того, чтобы не ожесточать людские сердца. Чушь собачья! Знаешь, какие благостные, оживленные лица были у тех, кто убирал трупы после бомбежек? Зрелище страданий и крови, предсмертные стоны ближнего учат человека смирению, делают его душу тоньше, светлее и мягче. Корни зверства и кровожадности надо искать не здесь. Жестокость рождается совсем в иные минуты — например, в такой вот славный весенний день, когда сидишь на подстриженном газончике и разглядываешь солнечные пятна на травке, а, как по-твоему? Все жутчайшие кошмары, произошедшие в истории человечества, начинались именно так. Вид же корчащегося в предсмертной агонии, окровавленного тела — причем среди бела дня, заметь,— придает кошмару конкретность, материальность. Это уже не наша мука, а мука кого-то там другого, страшная и абсолютно реальная. Только и всего. Чужую же боль мы не чувствуем. Представляешь, как здорово?

Однако меня в тот момент интересовала не столько кровожадная концепция Касиваги (хотя она и была чем-то мне близка), сколько его отношения с женщинами после того, как он лишился невинности. Я уже говорил, что надеялся с помощью Касиваги приблизиться к жизни. Очень путанно и туманно я спросил его об этом.

— Ты о бабах? Ха! Я, брат, теперь в два счета распознаю женщин, которые готовы влюбиться в косолапого калеку. Есть среди женского пола такая особая разновидность. Баба этого сорта может всю жизнь прожить и в могилу улечься, так и не сказав никому о своей тайной склонности, а сама год за годом только и мечтала об уроде с ногами как у меня. Ну так вот, признаки, по которым я определяю любительницу косолапости, таковы: это, как правило, красотки высшего класса; носик у них непременно остренький и надменный, но зато в рисунке рта есть этакая легкая распущенность...

В этот момент мимо нас проходила молодая женщина.

Глава пятая

Она шла не по стадиону, а по примыкавшей к нему улочке, которая с противоположной стороны была застроена жилыми домами. Тротуар находился на полметра ниже уровня спортивной площадки.

Женщина вышла из дверей роскошного особняка в испанском стиле. Над крышей торчали две трубы, окна были забраны ажурными решетками, стеклянная крыша оранжереи придавала дому вид хрупкий и беззащитный, однако двор окружала высокая проволочная изгородь.

Мы с Касиваги сидели на бревне как раз напротив этой ограды. Я случайно взглянул в лицо женщине и, ошеломленный, замер — аристократичные черты в точности соответствовали приметам, по которым Касиваги определял «любительниц косолапости». Позднее мне стало стыдно за свое изумление; я решил, что Касиваги давно приметил эту женщину и, может быть, даже заранее имел на нее виды.

Мы ждали, пока незнакомка подойдет поближе. Ярко светило весеннее солнце, синей громадой дыбилась гора Хиэйдзан, к нам приближалась молодая женщина. Я еще не успел оправиться от впечатления, которое произвели на меня странные речи Касиваги: он говорил, что его косолапые ноги и его женщина существуют в реальном мире независимо, словно две звезды, а сам Касиваги тем временем вкушает наслаждение, все глубже погружаясь в химеры и иллюзии. В это мгновение солнце скрылось за тучей, и на нас с Касиваги легла тень; мне почудилось, что мир приоткрыл нам свой призрачный лик. Все вдруг стало пепельно-серым и ненадежным, ненадежным показалось мне и собственное существование. Незыблемыми и реальными оставались только темно-фиолетовая вершина горы да еще шагавшая по тротуару грациозная фигурка.

Женщина несомненно приближалась, но время тянулось мучительно, словно нарастающая боль, и с каждым шагом в лице незнакомки все яснее проглядывали иные, не имевшие к ней никакого отношения черты.

Касиваги поднялся и сдавленно прошептал мне на ухо:

— Пошли. Делай все, как я скажу.

Я вынужден был подчиниться. Мы шли по самому краю спортплощадки, по парапету, рядом с женщиной, но на полметра выше.

— Прыгай вниз! — ткнул мне в спину острым пальцем Касиваги. Я спрыгнул на тротуар, благо было невысоко. Тут же рядом со мной с ужасающим грохотом приземлился на свои больные ноги Касиваги и, конечно, упал.

Тело в черной студенческой форме распласталось у моих ног, в нем не было ничего человеческого, и на миг мне показалось, что это какая-то грязная лужа, оставшаяся на асфальте после дождя.

Касиваги свалился прямо под ноги женщине, и она замерла на месте. Я опустился на колени, чтобы помочь ему подняться. Посмотрев снизу на гордый, правильный нос, чувственный рот, влажно бле-

стевшие глаза незнакомки, я отчетливо увидел перед собой лицо Уико, освещенное луной.

Но мираж тут же рассеялся, и передо мной вновь оказалась молодая женщина, точнее девушка — ей не могло быть больше двадцати; она презрительно оглядела меня и собралась продолжить свой путь. Касиваги почувствовал ее намерение еще прежде, чем я. Он громко закричал. Страшный вопль далеко разнесся по пустынному в этот полуденный час кварталу.

— Какая жестокость! Неужели ты хочешь уйти и бросить меня здесь?! Ведь это из-за тебя я так расшибся!

Девушка обернулась, и я увидел, что она вся дрожит. Тонкими, сухими пальцами она провела по бледной щеке и спросила у меня:

— А что я могу сделать?

Касиваги, подняв голову, пристально посмотрел ей в глаза и очень отчетливо произнес:

— Йод-то, поди, у тебя дома есть?

Немного помолчав, девушка повернулась к нам спиной и пошла обратно к дому. Я помог Касиваги подняться на ноги. Он тяжело навалился на меня, дыхание его было прерывистым; но стоило мне, подставив ему плечо, тронуться с места, как он пошел с неожиданной легкостью.

Я добежал до остановки «Трамвайное депо» и прыгнул в трамвай, направлявшийся в сторону Храма. Только тогда смог я перевести дыхание. Руки были липкими от пота.

Со мной произошло вот что: я, следуя за девушкой, довел Касиваги до дверей особняка, но на пороге меня вдруг охватил такой ужас, что я бросил своего приятеля и без оглядки кинулся бежать. Даже в университет не вернулся. Я несся по тихим улицам мимо аптек, кондитерских, магазинов. Один раз краем глаза я увидел что-то лиловое и еще алое — наверное, то были бумажные фонари с изображением цветков сливы, украшавшие стены и ворота синтоистского храма Котоку. Я сам не знал, куда бегу.

Лишь когда трамвай проехал квартал Мурасаки-но, я понял, что мое бешено колотящееся сердце влечет меня к Золотому Храму.

Несмотря на будний день, Кинкакудзи одолевали толпы посетителей — туристский сезон был в самом разгаре. Старый экскурсовод проводил меня подозрительным взглядом, когда я проталкивался к Храму через людское скопище.

И вот я вновь оказался перед ним, на сей раз окруженный клубами пыли и толпами зевак. Во весь голос надрывался экскурсовод, а Золотой Храм стоял как ни в чем не бывало, наполовину скрыв от досужих взглядов свою красоту. Лишь его силуэт, отраженный в пруду, сиял прозрачностью и чистотой. Однако, если присмотреться, клубы пыли напоминали золотые облака, которые окутывают бодисатв, окружающих Будду на картине «Сошествие Божества на землю»; сам же Храм, замутненный пыльной тучей, был похож на старую, выцветшую картину или на полустертый временем узор. Я не усмотрел ничего странного в том, что шум и толчея, царившие внизу, впитывались стройными колоннами нижнего яруса и через Вершину Прекрасного, через золотистого феникса уходили, сжимаясь и слабея, в белесое небо. Кинкакудзи самим фактом своего существования восстанавливал порядок и приводил все в норму. Чем суетливее становилась толкотня внизу, тем разительнее был эффект Кинкакудзи, этого мудреного асимметричного сооружения с его вытянувшимся на запад Рыбачьим павильоном и суженным обрубком Вершины Прекрасного; Храм действовал подобно фильтру, превращающему грязный поток в родниковую воду. Кинкакудзи не отвергал жизнерадостной болтовни людской толпы, он просто втягивал ее меж точеных своих колонн и

выпускал наружу уже нечто умиротворенное и ясное. Так Храму удавалось достичь на земле той же неподвижности, которой обладало отражение в глади пруда.

Душа моя умирилась, страх, владевший ею, исчез. Вот каким в моем представлении должно быть Прекрасное. Оно обязано отгородить, защитить меня от жизни.

«Если меня ожидает такая же жизнь, как у Касиваги,— взмолился я,— спаси меня, Храм, спаси и защити. Я этого не вынесу».

В словах Касиваги, в разыгранном им передо мной спектакле мог заключаться только один смысл: жить и уничтожать — одно и то же. Что же это за жизнь? В ней нет ни естественности, ни красоты, присущей Золотому Храму, какое-то мучительное содрогание — и больше ничего. Что скрывать, такое существование было исполнено для меня соблазна, я чувствовал, что именно в этом направлении лежит мой путь; но прежде придется изранить в кровь руки об острые осколки жизни — вот какая мысль вселяла в меня ужас. Касиваги с одинаковым презрением относился и к инстинктам и к интеллекту. Все его существо, словно некий диковинный мяч, катилось вперед с единственной целью — пробить стену реальности. Никаких конкретных действий не подразумевалось. Жизнь, которую предлагал мне Касиваги, представляла собой рискованный фарс: разбить вдребезги реальность, дурачащую нас множеством неведомых обличий, и пока с реальности сорвана маска, а новая, неизвестная, еще не надета, вычистить весь мир добела.

Я это понял позднее, когда побывал в комнате, которую снимал Касиваги, и увидел висевший на стене плакат. Обычная реклама туристического агентства, приглашающая посетить Японские Альпы: белые пики гор на фоне синего неба и поперек призыв: «Приглашаем вас в мир неведомого!» Касиваги крест-накрест перечеркнул ядовито-красным эту надпись и горные вершины, а сбоку написал своим характерным, скачущим почерком, похожим на его дерганую походку: «Терпеть не могу неведомого!»

На следующий день я отправился на занятия, снедаемый беспокойством за Касиваги. С моей стороны было, конечно, не по-товарищески бросать приятеля в беде и бежать от него со всех ног. Не то чтобы меня мучила совесть, но волноваться я волновался: вдруг он сегодня не придет в университет? Однако перед самым началом лекции Касиваги, целый и невредимый, вошел в аудиторию, как всегда неестественно дергая плечами на ходу.

Как только прозвенел звонок, я приблизился к нему и схватил за руку. Уже само это порывистое движение было для меня необычным. Касиваги засмеялся, скривив углы рта, и повел меня в коридор.

— Как твои ушибы?

— Какие еще ушибы? — взглянул он на меня снисходительно улыбаясь.— Ну откуда им взяться? А? С чего тебе в голову-то взбрело, что я действительно ушибся?

Я ошарашенно уставился на Касиваги, а он, еще немного помучив меня, снисходительно объяснил:

— Это же был цирк чистой воды. Я столько тренировался падать на асфальт, что достиг в этом деле совершенства. Так могу грохнуться — любому покажется, будто я все кости себе переломал. Правда, я не ожидал, что она попытается пройти мимо, словно ничего не случилось. Но это ерунда. Зато она в меня уже втюрилась. Нет, не так. Она втюрилась в мои косолапые ноги. Представляешь, сама их йодом мазала.

Касиваги задрал штанину и предъявил желтую от йода щиколотку.

Мне показалось, что я разгадал его трюк: конечно, Касиваги упал на тротуар, чтобы привлечь к себе внимание девушки, но дело не толь-

ко в этом; уж не пытался ли он ложной травмой отвлечь внимание от своего уродства? Но эта догадка не вызвала во мне презрения к приятелю, наоборот, он стал мне ближе. И еще была у меня одна, вне всякого сомнения, наивная мысль: чем больше таких трюков и мелких обманов в философии Касиваги, думал я, тем, значит, серьезнее его подлинное отношение к жизни.

Надо сказать, что мое сближение с Касиваги не очень понравилось Цурукава. Он стал приставать с разными «дружескими» советами, но они только раздражали меня. Помнится, я даже ответил, что Цурукава имеет возможность заводить себе любых, самых расчудесных друзей, мне же, мол, в самый раз подходит компания калеки. Как мучили меня потом угрызения совести, когда я вспоминал невыразимую печаль, с которой взглянул на меня тогда Цурукава!

* * *

Как-то в мае Касиваги предложил — не дожидаясь воскресенья, когда кругом будет полно народа, а прямо в один из будних дней — вместо занятий отправиться на гору Арасияма на пикник. Характерно, что при этом он заявил: «В ясную погоду не поеду. Только если будет пасмурно». Компанию составить нам должны были та самая барышня из испанского особняка и еще соседка Касиваги, которую он пригласил специально для меня.

Встретиться мы договорились на станции Китано. К счастью, погода в тот майский день выдалась на редкость унылая и мрачная.

Цурукава на неделю уехал в Токио, к родным,— что-то у них там стряслось. Это тоже было кстати: конечно, Цурукава не донес бы на меня, но пришлось бы по дороге в университет отвязываться от него под каким-нибудь предлогом.

Да, тяжело мне вспоминать события той прогулки. Мы были совсем молодыми, но весь день оказался окрашен в мрачные, злые, беспокойные и нигилистские тона, которые, впрочем, свойственны юности. Касиваги, несомненно, предвидел это заранее и выбрал столь неподходящую для прогулки погоду не случайно.

Дул порывистый юго-западный ветер; он то набирал силу, то внезапно затихал, и временами в воздухе проносились лишь легкие нервные дуновения. Небо налилось свинцом, но о том, где находится солнце, все же можно было догадаться: облака в одном месте источали беловатое сияние — так под покровом одежд угадывается белая женская грудь; однако тусклое свечение тут же растворялось в монотонной серости туч.

Касиваги сдержал слово. Я увидел его у вокзального турникета рядом с двумя женскими фигурами. Одну из них я сразу узнал: тонкий, надменный нос, припухшие губы. Через плечо красавицы, поверх дорогого заграничного платья, висела на ремешке фляга. Рядом с этой барышней пухленькая и низкорослая соседка Касиваги, скромно одетая и неприметная, выглядела жалковато. Пожалуй, только маленький подбородок да поджатые губки были по-девичьи привлекательны.

Настроение, которому по всем понятиям следовало бы быть праздничным, испортилось у меня еще в электричке. Касиваги и его подруга все время ссорились между собой (слов, правда, разобрать я не мог); несколько раз она прикусывала губу, явно сдерживая слезы. Вторая девица сидела с безразличным видом и тихонько напевала модную песенку. Вдруг она обернулась ко мне и затараторила:

— Знаешь, у меня по соседству живет одна дамочка, красивая такая, уроки икэбаны дает. Она мне на днях одну романтическую историю рассказала — ужас до чего грустная! У нее во время войны был любовник, офицер, ну и отправили его, значит, на фронт. Напоследок они устроили церемонию прощания в храме Нандзэндзи. Родители не разрешали им пожениться, а у нее уже ребенок родился, умер, правда, родами, бедняжка, прямо перед тем, как ему, ну офи-

церу в смысле, на фронт идти. Так уж он убивался, так убивался, а когда они прощались, он, значит, говорит: хочу, говорит, молока твоего попробовать. Представляешь? Ну, времени уже не было, так она ему прямо в чашку с чаем нацедила, а он взял и выпил. И что ты думаешь — месяца не прошло, а офицера-то и убило. Так она с тех пор одна и живет, уроки дает. Жалко — молодая, красивая.

Я слушал и не верил своим ушам. Вновь перед моим взором предстала та немыслимая сцена в Нандзэндзи, невольными свидетелями которой оказались мы с Цурукава в конце войны. Девушке я ничего об этом рассказывать не стал. Нарочно — иначе я предал бы таинственное волнение, охватившее меня тогда; если же я промолчу, подумалось мне, разъяснение этой истории не обесценит ее, а, наоборот, еще более усугубит ее загадочность.

Поезд тем временем проезжал мимо бамбуковых рощ Нарутаки. Листья тростника пожелтели, ведь шел уже май. Ветер шелестел ветвями, срывал пожухшие листья, и они падали на густую траву; но корням бамбука, казалось, не было дела до увядания, они стояли незыблемо, в беспорядочном переплетении отростков. Лишь те стволы, что росли ближе всего к железнодорожному полотну, вовсю раскачивали ветвями в вихре, поднятом поездом. Мне бросился в глаза один молоденький, сияющий зеленью бамбук. В мучительном изгибе его ствола чувствовалось нечто грациозное и фантастическое; он еще долго стоял у меня перед глазами, пока не исчез навсегда...

Выйдя из поезда, мы направились к горе Арасияма и возле моста Тогэцу увидели гробницу фрейлины Кого.

Согласно легенде, прекрасная фрейлина Кого, фаворитка императора Такакура, страшась гнева всемогущего Киёмори Тайра [1], скрылась из столицы в Сагано. По приказу императора беглянку отправился разыскивать Накакуни Минамото и однажды в середине осени, лунной ночью, обнаружил ее убежище по едва слышному звону струн бива. Красавица пела песню «С любовью думая о нем». В пьесе театра Но «Кого» эта сцена описывается следующим образом:

«Зачарован лунным светом, прибыл он в долину Хорин и услышал среди ночи струн далекий перезвон. Он не понял поначалу, то ли это голос ветра, то ли отзвук лютой бури, проносившейся в горах. Но когда ему сказали: «Это песнь тоски сердечной», он возрадовался, ибо в песне слышалась любовь».

Остаток жизни фрейлина провела в Сагано, удалившись от мира, и каждодневно возносила молитвы за упокой души своего возлюбленного императора.

Гробница представляла собой небольшую каменную башенку, к которой вела узкая тропинка. По сторонам могилы росли огромный клен и древняя, наполовину засохшая слива. Мы с Касиваги с самым благочестивым видом прочитали короткую сутру в память легендарной фрейлины. Напускная набожность, с которой Касиваги произносил слова молитвы, была настолько кощунственна, что я поневоле поддался его примеру и тоже загнусавил с преувеличенной торжественностью. Это небольшое святотатство необычайно оживило меня, я стал чувствовать себя гораздо свободнее.

— Жалкий вид имеют все эти прославленные гробницы,— заявил Касиваги.— Богатые и власть имущие оставляют потомкам на память роскошные надгробия и сногсшибательные усыпальницы. У этой публики при жизни полностью отсутствовала фантазия, вот и могилы они себе сооружали такие, что смотреть тошно — никакого простора воображению. Что же касается так называемых «благородных героев и героинь», то они как раз имели фантазию будь здоров, их гробницы уповают исключительно на наше с тобой воображение. Только это,

[1] Правитель Японии (1118—1181).

по-моему, еще противнее: представляешь, человек давно умер, а все выпрашивает, все чего-то клянчит у людей.

— Выходит, благородство — не более чем игра воображения? — весело спросил я.— Вот ты часто говоришь о реальности. В чем, по-твоему, реальность благородства?

— А вот в этом,— Касиваги шлепнул ладонью по заросшему мхом камню башенки.— В неорганике, остающейся после смерти человека.

— Ты прямо буддийский проповедник,— усмехнулся я.

— Ерунда, при чем тут буддизм? И благородство, и культура, и разные выдуманные человеком эстетические категории сводятся к бесплодной неорганике. Возьми хоть пресловутый Сад Камней — обычные булыжники, и больше ничего. А философия? Тот же камень. И искусство — камень. Стыдно сказать, но единственным органическим увлечением человечества является политика. Человек — это такая тварь, которая сама на себя гадит.

— А куда ты относишь половое чувство?

— Половое чувство? Оно где-то посередине. Человек и камень играют друг с другом в пятнашки, один переходит в другого, а потом обратно.

Я хотел возразить, воспротивиться его представлению об эстетических категориях, о Прекрасном, но нашим спутницам наскучила отвлеченная дискуссия, они направились назад, к дороге, и нам пришлось последовать за ними.

С тропинки открывался вид на реку Ходзугава, на дамбу, перекрывавшую поток к северу от моста Тогэцу. Гора Арасияма, высившаяся на противоположном берегу, была покрыта тусклой и мрачной зеленью, лишь вода у плотины жизнерадостно кипела белой пеной, журчание и плеск заглушали все прочие звуки.

По реке скользило немало лодок, но когда мы вошли в парк Камэяма, людей там почти не было, лишь бумажки и мусор на траве.

У ворот парка мы обернулись и еще раз окинули взглядом реку, гору и деревья, покрытые молодой листвой. Напротив, на другом берегу, по склону сбегал небольшой водопад.

— Красивый ландшафт — это и есть ад, верно? — сказал Касиваги.

Несет первое, что взбредет в голову, с раздражением подумал я, но все же попытался взглянуть на пейзаж глазами Касиваги, стараясь усмотреть в нем что-нибудь инфернальное. И не без успеха. В тихой картине природы, покрытой молодой зеленью, я уловил дыхание ада. Оно давало почувствовать себя и днем и ночью, всегда и везде — достаточно было только о нем подумать. Стоило призвать ад, и он сразу оказывался тут как тут.

Знаменитые вишневые деревья Арасияма, по преданию пересаженные сюда в XIII веке с горы Ёсино, уже отцвели, и теперь их ветки зеленели молодыми листочками. В этих краях вишни после цветения утрачивают всякий смысл, словно имена умерших красавиц.

Впрочем, больше всего в парке Камэяма росло сосен, неподвластных временам года. Высокие деревья на крутых склонах тянулись ввысь и обрастали ветвями лишь на значительном удалении от земли; вид пересекающихся под разными углами голых стволов создавал беспокойное ощущение нарушенной перспективы.

Дорожка, опоясывавшая территорию парка, то резко поднималась вверх, то снова шла вниз; вырубки перемежались кустарниками, посадками молодых сосенок, а возле огромного белого камня, глубоко вросшего в землю, пышно цвели пурпурные азалии. Яркий этот цвет на фоне угрюмого неба показался мне зловещим.

Мы миновали качели, на которых раскачивалась юная пара, поднялись чуть выше по склону и на вершине небольшого холма присели

передохнуть в беседке. На востоке от нас раскинулся обширный парк, на западе, за деревьями, виднелась река. Снизу беспрестанно доносился пронзительный скрип качелей, похожий на визг пилы.

Барышня развернула сверток с завтраком. Не зря Касиваги говорил, что еду мне брать с собой не обязательно: здесь были и бутерброды, и заморские сладости, и даже бутылка виски, которым снабжали оккупационные войска,— японец мог его купить разве что на черном рынке. В то время Киото был центром спекуляции всего района Осака — Киото — Кобэ.

Я обычно не пил спиртного, но тут, следуя примеру Касиваги, с поклоном принял рюмку из рук девушки. Наши спутницы предпочитали чай из фляги.

Я до сих пор не мог поверить, что Касиваги и эту красавицу связывают близкие отношения. Почему такая гордячка снизошла до нищего, хромого студента? Словно отвечая на мой невысказанный вопрос, Касиваги после двух-трех рюмок заговорил:

— Видел, как мы с ней собачились в электричке? Понимаешь, родители заставляют ее выходить замуж за одного типа, которого она терпеть не может. Ну, она сразу хвост поджала и лапки кверху. А я ее попеременно то утешал, то пугал, что расстрою к чертовой матери эту свадьбу.

Все это Касиваги говорил мне, словно девушка и не сидела тут же, вместе с нами. Она молча слушала его, и на лице ее не дрогнул ни единый мускул. Нежную шею украшали голубые фарфоровые бусы, роскошные волосы бросали мягкую тень на лицо, сиявшее почти нестерпимой свежестью на фоне хмурого неба. Затуманенный взгляд придавал этому лицу обнаженное и беззащитное выражение. Припухлые губы, как всегда, были слегка приоткрыты, и в узкой щели сухо белели зубки — мелкие, ровные и острые, словно у какого-нибудь зверька.

— О-о! Как больно! — закричал вдруг Касиваги и, согнувшись пополам, схватился руками за щиколотки. Я испуганно кинулся к нему, но он оттолкнул меня, незаметно подмигнув,— по лицу его скользнула холодная улыбка. Я отпрянул.

— А-а! Больно! — снова застонал Касиваги, в его крике звучала неподдельная мука. Я непроизвольно взглянул на барышню. Лицо ее разительным образом переменилось: глаза лихорадочно заблестели, задрожали губы, лишь гордый точеный носик оставался все тем же, странно контрастируя с остальными чертами и нарушая гармонию этого лица.

— Прости меня! Прости! Сейчас я тебя вылечу! Сейчас!

Впервые я услышал, чтобы она говорила таким пронзительным голосом, словно кроме них двоих здесь никого не было. Девушка поспешно огляделась по сторонам, опустилась на колени и обняла ноги Касиваги. Сначала она прижалась к ним щекой, потом стала осыпать поцелуями.

Вновь, как и при первой их встрече, меня охватил непреодолимый ужас. Я обернулся на вторую девушку. Она смотрела в другую сторону и с безразличным видом мурлыкала песенку...

В это мгновение сквозь тучи проглянуло солнце. А может быть, мне только показалось. Однако несомненно одно: тихому спокойствию пейзажа пришел конец; вся прозрачная картина, окружавшая нас,— сосновые рощи, блеск речной воды, синевшие вдали горы, белые скалы, яркие пятна азалий — вдруг словно покрылась сеткой мельчайших трещин.

Чудо, которого, очевидно, жаждала барышня, свершилось — стоны Касиваги постепенно затихли. Он поднял голову и опять послал мне холодный насмешливый взгляд.

— Прошло! Чудеса да и только. Надо же, стоит тебе так сделать, и боль сразу куда-то уходит.

Он взял барышню обеими руками за волосы и поднял ее лицо кверху. Она глядела на него снизу, словно преданная собака, и искательно улыбалась. В безжалостном свете пасмурного дня лицо юной красавицы внезапно показалось мне уродливой физиономией старухи, о которой рассказывал Касиваги.

После «совершения чуда» мой приятель пришел в отличное расположение духа. В его безудержном веселье временами сквозило чуть ли не безумие. Он то заливался громким хохотом, то сажал барышню себе на колени и начинал с ней целоваться. Смех его раскатывался эхом по лесистому склону.

— Ну что сидишь как пень? — крикнул мне Касиваги.— Я же специально для тебя подружку привел, так давай, обхаживай ее! Или ты боишься, что она станет смеяться над твоим заиканием? Ничего, ничего, заикайся! Может, ей нравятся заики!

— Так ты заика? — спросила меня его соседка, словно впервые услышав об этом.— Ничего себе компания собралась — сплошные калеки.

Ее слова больно кольнули меня, стало невмоготу оставаться здесь. Я испытал к этой девице жгучую ненависть, но — странное дело — тут же закружилась голова, и на смену ненависти пришло желание.

— Ну, расходимся,— объявил Касиваги, поглядывая на юную пару, все еще качавшуюся на качелях.— Встречаемся в этой же беседке через два часа.

Они с барышней ушли. Мы спустились немного вниз, а потом вновь стали подниматься по отлогому склону.

— Снова девушке голову морочит своими чудотворными фокусами. Обычный его трюк,— заметила девица.

Я спросил, заикаясь:

— А откуда ты знаешь?

— Подумаешь, у меня у самой с ним роман был.

— А сейчас уже нет? И ты не ревнуешь?

— Вот еще. Что с него, с калеки, возьмешь.

Эти ее слова придали мне мужества, и я продолжил свой допрос:

— Ты что, тоже с ума сходила по его ногам?

— Брр,— передернула плечами девушка.— Не говори мне об этих лягушачьих лапах. Вот глаза у него красивые, это да.

Воскресшее ненадолго мужество опять оставило меня. Что бы там ни фантазировал себе Касиваги, эта девушка, оказывается, любила его за красоту, о которой он сам и не подозревал. Мое же чувство собственного превосходства основывалось на убеждении, что я знаю о самом себе абсолютно все и что во мне ничего привлекательного нет и в помине.

Взобравшись на возвышенность, мы оказались на небольшой уединенной лужайке. Сквозь ветви сосен и криптомерий вдали виднелись силуэты гор Даймондзияма и Нёигадакэ. Весь склон холма, на котором мы находились, был покрыт бамбуковой порослью, спускавшейся к самым городским домам, а вдалеке белела запоздалыми цветами одинокая вишня. «Что-то отстала ты от подруг,— подумал я,— тоже, наверное, заикаешься».

Мне сдавило грудь, тяжестью налился желудок. Выпитое виски было тут ни при чем, это мое желание набирало силу и вес, оно давило мне на плечи, превратившись в некую абстрактную конструкцию, существующую отдельно от меня. Желание напоминало массивный черный заводской станок.

Не раз уже говорил я, что многого ожидал от Касиваги: из лучших, а может быть из худших, побуждений он должен был ввести меня в жизнь. Я, тот самый мальчишка, что некогда изуродовал блестящие ножны кортика своего старшего товарища, твердо знал: дорога, ведущая к светлой поверхности жизни, мне заказана. А Касиваги впервые показал мне, что в жизни существует и еще один путь — окольный,

с черного хода. На первый взгляд могло показаться, что путь этот ведет лишь к разрушению и гибели, но как богат он был неожиданными хитрыми поворотами, подлость он превращал в мужество; его следовало бы назвать алхимией, поскольку он регенерировал злодейство, возвращая его в исходное состояние — чистую энергию. Разве это была не настоящая жизнь? Она тоже шла своим чередом, претерпевала изменения, имела свои свершения, в конце концов, ее тоже можно было лишиться! Безусловно, обычной ее не назовешь, но все необходимые атрибуты присутствовали и в ней. Если где-то там, за невидимой нашему глазу чертой, заранее определено, что всякое существование лишено цели и смысла, значит, жизнь, которой жил Касиваги, была ничем не хуже любой другой.

Вряд ли суждения Касиваги можно признать вполне трезвыми, подумал я. В любом рассудочном построении, сколь бы мрачным и зловещим оно ни было, обязательно есть элемент опьянения — хотя бы собственной рассудочностью. А хмель всегда один и тот же, от чего бы ни пьянел человек...

Мы присели на траву возле увядших, изъеденных насекомыми ирисов. Я никак не мог понять, что заставляет мою спутницу оставаться со мной. Почему решилась она о с к в е р н и т ь с я (я специально употребляю это страшное слово) общением со мной. Существует, наверное, в мире пассивность, исполненная нежности и застенчивости, но соседка Касиваги просто сидела и равнодушно наблюдала, как мои пальцы скользят по ее пухлым ручкам — словно мухи по лицу спящего.

Долгий поцелуй и прикосновение к мягкому девичьему подбородку вновь пробудили во мне желание. Я столько мечтал о подобной минуте, но теперь ощущения реальности не возникало, желание жило само по себе, мчалось по своей собственной траектории. Хаотичный и разобщенный мир ничуть не изменился: плыли в небе белые облака, шелестели ветви бамбука, по листику ириса натужно карабкалась божья коровка...

Чтобы избавиться от этого наваждения, я попытался свести мое желание и сидевшую рядом девушку воедино. Именно здесь была жизнь. Стоило мне разрушить последнее препятствие, и путь стал бы свободным. Если я упущу предоставленный шанс, жизнь никогда больше не дастся мне в руки. В памяти вновь возникли бесчисленные унижения, перенесенные мной, когда в горле сбивались и застревали слова. Я должен был что-то сейчас сказать, пусть даже заикаясь, обязан был заявить на жизнь свои права. Я вновь услышал грубый, жестокий голос Касиваги, приказывавший: «Ну, давай, заикайся!» — и голос этот придал мне сил... Наконец моя рука скользнула под платье девушки.

И тут передо мной возник Золотой Храм. Замысловатое, мрачное сооружение, исполненное глубокого достоинства. Сверкнула облезшая позолота, напоминание о днях былого великолепия. Прозрачный Храм невесомо парил на непостижимом уму расстоянии — одновременно далекий и близкий, родной и бесконечно чужой.

Кинкакудзи встал между мной и жизнью, к которой я так стремился; сначала он был мал, словно изображение на миниатюре, но постепенно становился все больше и больше, пока, наконец, не заполнил собой весь мир без остатка, все его углы и закоулки. Впервые прообраз гигантского этого Храма я увидел в искусном макете, выставленном в первом ярусе Кинкакудзи. Бескрайнюю вселенную огласила одна мощная мелодия, и в этой музыке заключался смысл всего мироздания. Храм, временами изгонявший меня прочь, обрывавший все связи, теперь принял меня в свои стены, прикрыл и поглотил.

Жалкой пылинкой сдуло с лица земли мою спутницу, ставшую сразу крошечной и далекой. Храм отверг ее, а значит, была отверг-

нута и жизнь, что так влекла меня. Как мог я тянуться руками к жизни, когда весь мой мир наполняло Прекрасное? Оно имело право требовать, чтобы я отрекся от всего остального. Невозможно касаться одной рукой вечности, а другой — суетной повседневности. В чем смысл действий, посвящаемых сиюминутной жизни? Поклясться в верности избранному мгновению и заставить его остановиться. Если так, то Золотому Храму это было прекрасно известно, ибо он, на миг отменив изгнание, на которое сам же меня обрек, явился в такое мгновение моему взору и открыл мне тщету тоски по жизни. В суете каждодневного бытия нас пьянит мгновение, обернувшееся вечностью, Храм же показал мне всю ничтожность этого превращения по сравнению с вечностью, сжатой в одно мгновение. Именно тогда вечное существование Прекрасного заслоняет и отравляет нашу жизнь. Чего стоит рядом с этим мимолетная красота, которую жизнь позволяет увидеть нам краешком глаза? Под действием этого яда земная красота меркнет и рассыпается в прах, да и сама жизнь предстает перед нашим взглядом в безжалостном бело-коричневом свете разрушения...

Под действием чар Золотого Храма я находился недолго. Вскоре я очнулся, Храма как не бывало. Да и откуда ему было здесь взяться, этому архитектурному сооружению, находящемуся далеко на северо-востоке отсюда? Явившееся мне видение, будто Кинкакудзи принял и защитил меня, растаяло как дым. Я лежал на холме, в парке Камэяма, среди травы, цветов, глухого жужжания насекомых, а рядом со мной непристойно раскинулась чужая девушка.

Раздосадованная моей внезапной робостью, девушка приподнялась, резко повернулась ко мне спиной и достала из сумочки зеркальце. Она не сказала мне ни слова, но презрение ее было безгранично, оно вонзилось прямо в мою кожу, словно репейник, что липнет осенью к одежде.

Небо низко нависло над нашими головами. Мелкий дождь брызнул на траву и на ирисы. Мы поспешно поднялись и побежали по дорожке к беседке.

* * *

Пикник закончился весьма плачевно, но это не единственная причина, по которой тот майский день оставил столь тяжкий осадок в моей душе. Вечером, перед самым «открытием подушки», на имя настоятеля пришла телеграмма из Токио, и ее содержание моментально стало известно всем обитателям храма.

Умер Цурукава. В телеграмме коротко сообщалось, что он стал жертвой несчастного случая; подробности мы узнали позднее. Накануне вечером Цурукава пошел в гости к дяде, который жил в Асакуса[1] и там выпил вина, к чему был совершенно не приучен. На обратном пути, возле самой станции, его на перекрестке сбил грузовик. Цурукава сильно ударился головой и скончался на месте. Потрясенная горем семья только на следующий день к вечеру догадалась послать телеграмму в храм Рокуондзи.

Когда умер отец, глаза мои оставались сухими, но здесь я не мог сдержать слез. Смерть Цурукава была в моей жизни событием куда более значительным, чем смерть отца. Хоть, сблизившись с Касиваги, я и отдалился от прежнего товарища, теперь, лишившись его, я понял, что с этой потерей оборвалась единственная нить, связывавшая меня с миром светлого и ясного дня. Я рыдал, оплакивая навек утраченные свет, день, лето...

У меня не было даже денег съездить в Токио, чтобы выразить соболезнование семье погибшего друга. Учитель выдавал мне на карманные расходы пятьсот иен в месяц. У матери и гроша за ду-

[1] Район Токио.

шой не было — раза два в год она посылала мне по двести—триста иен, вот и все. Она и к дяде-то на житье подалась только потому, что, расплатившись с долгами покойного отца, не могла прожить на жалкую префектуральную пенсию и те несчастные пятьсот иен, которые выплачивали ей ежемесячно прихожане.

Меня мучил один вопрос: я не видел Цурукава мертвым, не присутствовал на его похоронах — как я могу уверить свое сердце в том, что моего друга больше нет? Как сияла тогда белоснежная рубаха Цурукава, что обтягивала трясущийся от смеха живот, весь в пятнах тени и солнца! Кто бы мог представить, что тело и дух, предназначенные, нет, специально созданные для яркого света, поглотит мрак могилы? Ни малейшего знака, намекающего на возможность преждевременной кончины, в Цурукава не было; казалось, ему неведомы ни тревога, ни горе. Смерть просто не могла иметь с ним ничего общего! Может быть, именно поэтому так внезапно оборвалась его жизнь? Чем чище выведенная порода, тем меньше сопротивляемость болезням. Так, может, и Цурукава, состоявший из одних лишь чистейших частиц, не обладал защитой против смерти? Если моя догадка верна, то мне обеспечено исключительное долголетие, будь оно проклято.

Прозрачный мир, в котором жил Цурукава, всегда казался мне непостижимой загадкой, и с гибелью моего приятеля загадка эта стала еще более устрашающей. Грузовик на бешеной скорости наехал на прозрачный мир, словно на стену из тончайшего, невидимого глазу стекла, и она рассыпалась на мелкие осколки. То, что Цурукава умер не от болезни, прекрасно вписывалось в эту аллегорию; смерть в результате несчастного случая, чистейшая из всех смертей, подходила к непревзойденной по чистоте жизненной конструкции моего приятеля наилучшим образом. Один удар, одно-единственное мгновенное прикосновение — и жизнь обернулась смертью. Стремительная химическая реакция... Очевидно, лишь таким экстремальным способом мог этот необычный, лишенный тени юноша встретиться со своей тенью и своей смертью.

Мир, в котором существовал Цурукава, наполняли светлые и добрые чувства, и я уверен, что в их основе лежало не ложное, приукрашенное восприятие жизни. Ясная душа моего друга, не принадлежавшая этой жизни, обладала великой и гибкой силой, которая определяла все его мысли и поступки. Было нечто бесконечно надежное в той уверенности, с которой он переводил мои темные думы и чувства на свой светлый язык. Мое черное и его белое настолько соответствовали друг другу, являли собой такую точную аналогию, что временами у меня закрадывалось подозрение: не может быть, чтобы Цурукава иногда не проникал в тайники моей души. Я ошибался! Его душевное устройство было столь незамутненным, чистым и однозначным, что породило уникальную систему, по сложности и аккуратности своей почти не уступающую системе зла. Этот светлый, прозрачный мир, верно, давно бы распался, если бы его не поддерживало тело, не ведавшее усталости. Цурукава мчался по жизни вперед на полной скорости. И в это тело врезался грузовик.

Теперь, когда не стало веселого лица и стройной фигуры, так располагавших к себе людей, я вновь задумался о магии видимой части человеческого тела. Как это странно, что внешняя форма одним своим видом может оказывать на других столь сильное влияние, думал я. Душе стоит многому поучиться у тела, чтобы обрести такую простую и действенную силу очевидности. Меня учили, что суть дзэн-буддизма — в мире чистой духовности, в отсутствии всякой формы. Истинное умение видеть заключено в знании, что твоя душа не имеет ни очертаний, ни границ. Но для того, чтобы разглядеть нечто, лишенное формы, надо, наверное, обладать сверхтонкой

восприимчивостью к очарованию, таящемуся в зримом образе. Разве смог бы человек, неспособный с самозабвенной остротой чувствовать прелесть формы, увидеть и познать отсутствие формы и всяческих границ? Существо, которое, подобно Цурукава, излучает свет самим своим присутствием, которое можно увидеть глазами и потрогать руками, живет просто ради того, чтобы жить. Теперь, когда этого существа больше нет, его четкая форма обратилась в очевиднейшую аллегорию отсутствия всяческой формы, его несомненная реальность превратилась в убедительнейший макет небытия, и поневоле возникает мысль: а не было ли и само это существо всего лишь аллегорией? Ну вот, скажем, явная сочетаемость и даже сходство Цурукава с майскими цветами — не означало ли оно всего лишь, что цветы эти будут весьма уместны, если их бросить в гроб человека, которому суждено скончаться внезапной майской смертью?

Что ни говори, мне недоставало того уверенного символизма, которым была исполнена жизнь Цурукава. Вот почему я испытывал в этом юноше такую нужду. Больше всего я завидовал одному: Цурукава удалось закончить свой жизненный путь, нисколько не утруждая себя тяжким бременем сознания своей исключительности или, по крайней мере, исключительности возложенной на него миссии. Вот я ощущал себя не таким, как все, и это чувство лишало мое существование символизма, возможности, подобно Цурукава, представлять собой аллегорию чего-то вне себя; жизнь моя утратила широту и сопричастность, я оказался обреченным на вечное, неизбывное одиночество. Как странно. Я не мог чувствовать себя солидарным ни с кем и ни с чем — даже с небытием.

* * *

Опять настали дни полного одиночества. С той девицей я больше не встречался, с Касиваги мы теперь общались не так тесно, как прежде. Притягательность его образа жизни не стала для меня меньше, но я почему-то считал, что должен, хотя бы отдавая последнюю дань покойному Цурукава, попробовать бороться с чарами Касиваги, и какое-то время держался от него подальше, пусть даже против желания. Матери я написал резкое письмо и прямо потребовал, чтобы она не появлялась в храме, пока не закончится мое обучение. Раньше я высказывал свое желание на словах, но мне казалось, что я не могу быть вполне спокоен на этот счет, если не напишу сурового письма. В сбивчивом ответном послании мать жаловалась мне, как тяжело ей работать на ферме у дяди, давала разные немудрящие наставления, а в конце приписала: «Увидеть бы, как ты стал настоятелем Рокуондзи, а потом уже можно и помереть спокойно». Я прочел приписку с ненавистью и несколько дней ходил сам не свой.

Даже в летние каникулы я не навещал мать. Я тяжело переносил зной и духоту — летом особенно сказывалась скудность монашеской пищи.

Однажды в середине сентября по радио передали, что на город надвигается мощный тайфун. Кто-то должен был нести ночное дежурство в Кинкакудзи, я вызвался добровольно.

Мне кажется, именно в это время в моем отношении к Золотому Храму наметилась едва заметная перемена. Не зачатки ненависти, нет — просто предчувствие, что рано или поздно наступит день, когда некая зреющая во мне сила не сможет больше уживаться с Храмом. Это ощущение явственно возникло еще в памятный день пикника, но я страшился дать название зарождавшемуся чувству. Однако моя радость по поводу того, что Золотой Храм будет целую ночь принадлежать только мне, была велика, и я не пытался ее скрыть.

Мне вручили ключ от Вершины Прекрасного. Верхний ярус считался главной ценностью бесценного Храма. На стене, ровно в со-

рока двух сяку[1] от земли висела картина, написанная императором Го-Комацу.

По радио регулярно передавали сводки о приближении тайфуна, однако ничто в природе не предвещало урагана. Мелкий дождик, моросивший во второй половине дня, кончился, небо очистилось, взошла полная луна. Обитатели храма, глядя на небо, говорили, что это затишье перед бурей.

Постепенно обитель погрузилась в сон. Я остался наедине с Кинкакудзи. Оказавшись в темном углу, куда не проникал лунный свет, я вдруг испытал восторг при мысли, что меня обволакивает тягучий и великолепный мрак Золотого Храма. Это ощущение постепенно охватило все мое существо, и я стал грезить наяву. Меня вдруг осенило, что я очутился внутри того самого миража, который явился мне в парке Камэяма.

Я был совсем один, Золотой Храм, абсолютный и всеобъемлющий, окутывал меня со всех сторон. Кто кому принадлежал — я Храму или он мне? Или же нам удалось достичь редчайшего равновесия и Храм стал мною, а я стал Храмом?

Часов с одиннадцати задул ветер. С карманным фонариком в руке я поднялся по лестнице и вставил ключ в дверь, ведущую в Вершину Прекрасного.

Я стоял, опираясь на перильца верхнего яруса Кинкакудзи. Ветер дул с юго-запада. Небо пока не изменилось. В Зеркальном пруду, зацепившись за водоросли, сияла луна; кругом ни звука — лишь кваканье лягушек да треск цикад.

Когда мне в лицо ударил первый резкий порыв ветра, по телу пробежала почти чувственная дрожь. Дуло все сильней и сильней, это был уже настоящий шквал, и буря показалась мне предзнаменованием нашей общей с Храмом гибели. Моя душа находилась внутри Храма и внутри урагана. Кинкакудзи, стержень, на котором держался весь мой мир, стоял незыблемо в лунном свете под натиском бури; не было в нем ни ширм, ни занавесей — ничего, что могло бы затрепетать под напором ветра. И все же я не сомневался: могучий ураган, злая моя воля заставят Храм очнуться от вечного сна и содрогнуться, в самый миг гибели сорвут с него маску надменности.

Было так. Я находился внутри Прекрасного, оно обволакивало меня со всех сторон, но вряд ли подобное слияние стало бы возможным, если б не безумная, могучая сила тайфуна. Точно так же, как Касиваги кричал мне: «Давай, давай, заикайся!»— я взывал к ветру, подгонял его, словно мчащегося во весь опор скакуна: «Сильней! Быстрей! Дуй во всю мочь!»

Застонал лес. Затрещали ветви деревьев, что росли на берегу пруда. Ночное небо утратило спокойный чернильно-синий оттенок, замутилось тревожной голубизной. Цикады, правда, не умолкли, но их теперь заглушал таинственный свист флейты ветра.

Я смотрел, как по лику луны стремительно проносятся полчища облаков. Словно некая великая армия, двигались они с юга на север, появляясь из-за далеких гор. Облака шарообразные и плоские, гигантские и изорванные на мелкие клочки. Все это воинство пролетало над Золотым Храмом, отчаянно торопясь куда-то на север. Мне послышалось, что вслед им несется крик золотистого феникса, венчающего крышу.

Ветер то ослабевал, то снова крепчал. Лес чутко прислушивался к урагану — тоже то успокаивался, то начинал шуметь и стонать. Отражение луны в пруду попеременно светлело и темнело, а временами собирало воедино свои разбросанные осколки и на мгновение озаряло поверхность воды. Жутко было смотреть, как надвигаются с гор многослойные тучи, захватывая все небо в мощные свои объятия. Открывшаяся ненадолго прозрачная синь вмиг исчезла, прогло-

[1] Сяку=30,3 см.

ченная этим новым нашествием. Временами сквозь тонкую тучу проглядывала окруженная призрачным нимбом луна.

Всю ночь небо ни на миг не прекращало стремительного своего бега. Однако ветер больше не усиливался. Я так и уснул, прикорнув возле перил. А ранним утром — тихим и ясным — меня разбудил старик служитель и сообщил, что, благодарение богу, тайфун обошел город стороной.

Глава шестая

Почти целый год продолжался мой добровольный траур по Цурукава. Едва начались дни одиночества, как я сразу почувствовал, что безо всякого усилия возвращаюсь к жизни полного уединения и молчания. Суета и волнение больше не смущали мою душу. Каждый новый безжизненный день был мне одинаково приятен.

Излюбленным моим пристанищем стала университетская библиотека. Я не изучал там трактатов по дзэн-буддизму, а просто читал все, что попадалось под руку — от трудов по философии до переводных романов. Пожалуй, я не стану называть здесь имена заинтересовавших меня философов и писателей. Они, безусловно, оказали определенное влияние на ход моих мыслей и, возможно, отчасти подтолкнули меня к Деянию. Но все же мне хочется верить, что Деяние — детище мое, и только мое, и я решительно возражаю против того, чтобы совершенное мною относили за счет воздействия какой-либо уже известной философской идеи.

С детских лет единственной моей гордостью была уверенность, что я недоступен ничьему пониманию; я ведь уже говорил, что мне совершенно чуждо стремление выразить людям свои мысли и чувства понятным им образом. Я всегда хотел иметь ясное и неприкрашенное представление о самом себе, это верно, но не думаю, чтобы причиной тому было желание до конца себя понять. Подобное желание, вообще говоря, свойственно человеческой природе, оно необходимо, чтобы наладить контакт между собой и окружающими. Однако пьянящее воздействие красоты Золотого Храма делало часть моей души непрозрачной и лишало меня возможности поддаться любому иному виду опьянения, поэтому, чтобы сохранить разум, я должен был всеми силами беречь вторую половину души, ту, что еще оставалась незамутненной. Я ничего не знаю о других людях, во мне же главенствовала эта ясная и трезвая часть натуры — не я распоряжался ей, а она мною...

Миновал год с тех пор, как я поступил на подготовительное отделение университета. Шли весенние каникулы сорок восьмого года. Отец настоятель куда-то отлучился, и я отправился на прогулку — для меня, лишенного друзей, это был единственный способ использовать выдавшийся свободный вечер. Я вышел с территории храма через главные ворота. Вдоль стены тянулась канава, а на самом ее краю была установлена табличка. Я видел ее несчетное количество раз, но теперь, не зная, чем заняться, остановился и стал разглядывать старую надпись, освещенную луной:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Запрещается каким-либо образом видоизменять облик храмовых построек без специального на то разрешения.
2. Запрещается производить какие-либо действия, могущие нанести вред сохранности памятников архитектуры.

Несоблюдение вышеуказанных предписаний карается законом.

Министерство
внутренних дел
31 марта 1928 года

Объявление явно относилось в первую очередь к Кинкакудзи. Однако смысл казенных фраз был туманен, и я никак не мог их соотнести с вечным и неизменным Храмом. Надпись намекала на возможность каких-то таинственных и абсолютно невероятных действий. Создавалось впечатление, что сам закон затруднялся определить их точнее. Если преступление может совершить только безумец, как испугать его угрозой наказания? Нужны какие-то особые письмена, понятные лишь безумцам...

Пока в моей голове рассеянно бродили подобные мысли, я разглядывал одинокую фигуру, приближавшуюся к воротам по широкому тротуару. Время посетителей уже кончилось, темноту рассеивал лишь лунный свет, лившийся на ветви сосен, да отсвет фар автомобилей, что изредка проезжали по улице.

Вдруг я понял, что человек, идущий в мою сторону,— Касиваги. Его выдала походка. И я тут же решил, что не буду больше сторониться своего сокурсника, ведь я не общался с ним целый бесконечный год. Мне вспомнилось, какое благотворное влияние оказывали на мой характер те беседы. Конечно, благотворное. С первой же нашей встречи Касиваги своими уродливыми ногами, своими грубыми и жестокими речами, своей откровенностью врачевал мои больные мысли. Впервые испытал я наслаждение общения с равным, с таким же, как я. Я вкусил истинное блаженство, хоть и было в этой радости нечто глубоко безнравственное; я самозабвенно погрузился в сознание своей сути, которую можно выразить двумя словами: заика и монах. А дружба с Цурукава заставляла меня временами забывать и о первом, и о втором...

Я, улыбаясь, шагнул навстречу Касиваги. Он был в студенческой тужурке, в руке держал какой-то продолговатый узкий сверток.

— Идешь куда-нибудь? — спросил Касиваги.

— Да нет...

— Хорошо, что я тебя встретил.— Касиваги уселся на каменную ступеньку и развернул сверток. Там оказалась флейта сякухати — спаренные ее трубки сверкнули холодным темным блеском.— Понимаешь, какая штука, у меня тут дядя умер и на память завещал вот эту дудку. Он мне уже дарил такую — давно, еще когда учил на ней играть. Эта, кажется, классом повыше, но я привык к старой, а две мне вроде ни к чему. Вот я и решил тебе презент сделать.

Мне прежде не приходилось ни от кого получать подарки, и я обрадовался. Я осторожно взял свирель в руки. На ней было четыре отверстия спереди и одно сзади.

— Меня учили играть в стиле Кинко,— продолжал Касиваги.— Я вообще-то чего сюда шел — луна нынче больно хороша, вот и захотелось поиграть в Золотом Храме. Да и тебя надо бы поучить.

— Очень кстати,— обрадовался я.— Настоятеля нет, а служитель совсем обленился и уборку там еще не делал. После уборки Храм всегда запирают.

Появление Касиваги у ворот обители было внезапным, как и высказанное им желание поиграть на флейте в залитом луной Кинкакудзи — именно таким я и знал своего приятеля. Да и потом, в серой и монотонной моей жизни любой сюрприз был радостью. Зажав в руке подаренную свирель, я повел Касиваги к Храму.

Я плохо помню, о чем мы разговаривали. Наверное, ни о чем существенном. Касиваги на сей раз был не настроен дурманить мне голову своей эксцентричной философией и ядовитыми парадоксами.

Быть может, он пришел сегодня, чтобы открыть мне еще одну сторону своей натуры, о существовании которой я и не подозревал. И действительно, в тот вечер язвительный и циничный Касиваги, казалось, поглощенный одной-единственной страстью — надругаться

над Прекрасным, открылся мне в новом и сложном качестве. Я узнал, что у него есть своя теория красоты, гораздо более совершенная, чем моя. Он изложил мне ее не словами, а телодвижениями, выражением глаз, пением флейты, отсветом луны, падавшим на его высокий лоб.

Мы сидели у перил второго яруса Храма, Грота Прибоя. Террасу, над которой плавно изгибались края крыши, поддерживало снизу восемь деревянных колонн в стиле Тэндзику; она словно парила над прудом и лежавшей в нем луной.

Сначала Касиваги исполнил небольшую мелодию под названием «Дворцовая колесница». Я поразился его мастерству. Когда же я приложил губы к мундштуку флейты и попытался извлечь из нее звук, у меня ничего не вышло. Касиваги терпеливо показал мне все с самых азов: как держать свирель сверху левой рукой, как зажимать пальцами отверстия, как прикладывать губы и выдувать воздух. Однако, сколько я ни старался, флейта молчала. Щеки и глаза ныли от напряжения, и мне казалось, что плавающая в пруду луна рассыпалась на тысячу осколков, хоть не было ни малейшего ветерка.

Скоро я совсем выбился из сил, и на миг у меня возникло подозрение: не выдумал ли Касиваги эту пытку специально, чтобы только поиздеваться над заикой. Однако постепенно физическое усилие создать звук, никак не желающий рождаться, стало приобретать для меня иной смысл: оно словно очищало то духовное напряжение, которое всегда требовалось мне, чтобы произнести без заикания первое слово. Я ощутил уверенность в том, что звук, пока еще неслышный, уже существует и занимает строго определенное место в этом мирном лунном царстве. Мне нужно было лишь, приложив определенное усилие, пробудить звук ото сна.

Но как добиться того, чтобы флейта пела у меня столь же волшебно, как у Касиваги? Меня воодушевила такая мысль: мастерство достигается тренировкой, а красота — это и есть мастерство; если Касиваги, несмотря на свои уродливые ноги, может создавать чистую, прекрасную музыку, значит, и мне при известном прилежании это будет под силу. Но тут же я понял и еще одну вещь. Сыгранная мелодия показалась мне обворожительной не только из-за ночи и луны, но и потому, что исполнил ее косолапый урод.

Когда я узнал Касиваги ближе, мне стало ясно, что ему претит долговечная красота. Поэтому он с презрением относился к литературе и архитектуре, но зато любил музыку, что отзвучит и тут же исчезнет, или икэбану, которой суждено постоять день-другой и увянуть. Касиваги и в Храм-то пришел лишь потому, что его привлекал не Кинкакудзи вообще, а Кинкакудзи, залитый лунным светом. Однако что за странное явление — прекрасная музыка! Быстротечная красота, рожденная музыкантом, превращает вполне конкретный отрезок времени в чистейшую беспредельность; точное воспроизведение ее вновь невозможно; она исчезает, едва успев возникнуть, и все же это истинный символ земной жизни, истинное ее детище. Нет ничего более близкого к жизни, чем музыка; Золотой Храм не менее прекрасен, но он бесконечно далек от жизни и взирает на нее с презрением. Стоило Касиваги доиграть «Дворцовую колесницу», и мелодия, эта воображаемая жизнь, тут же оборвалась, умерла; осталось лишь безобразное тело музыканта и его черные мысли — причем от смерти музыки тело и мысли не пострадали, не претерпели ни малейших изменений.

Не знаю, чего хотел Касиваги от Прекрасного, но уж во всяком случае не утешения. Это я понял сразу. Ему нравилось создавать своим дыханием мимолетную, воздушную красоту, а потом с еще большей остротой ощущать собственное уродство и предаваться сумрачным размышлениям. «Я пропустил красоту через себя, и она не оставила во мне ни малейшего следа»,— так, верно, думал Каси-

ваги, именно это ценил он в Прекрасном: его бессмысленность, его неспособность что-либо изменить. Если б только я мог относиться к Прекрасному так же, насколько легче стала бы моя жизнь!..

Я пробовал снова и снова, а Касиваги меня поправлял. Лицо мое налилось кровью, я задыхался. И наконец флейта издала пронзительный звук, будто я вдруг обернулся птицей и разорвал криком тишину.

— Вот так! — засмеялся Касиваги.

Потом свирель уже не умолкала, хотя издаваемые ею звуки вряд ли можно было назвать красивыми. Загадочный этот голос не мог иметь со мной ничего общего, и я представлял себе, что слышу пение сидящего надо мной золотого феникса.

* * *

Теперь я каждый вечер учился играть на флейте по самоучителю, который подарил мне Касиваги. К тому времени, когда я освоил несложные мелодии вроде «Красного солнца на белой земле», наша дружба окрепла вновь.

В мае мне пришло в голову, что следовало бы сделать Касиваги какой-нибудь ответный подарок, но совершенно не было денег. Когда же я, набравшись смелости, сказал об этом приятелю, он ответил, что ему не нужны подарки, которые можно купить за деньги. Странно скривив губы, Касиваги добавил:

— Впрочем, раз уж ты сам завел этот разговор, кое-чего мне все же хотелось бы. Понимаешь, я в последнее время увлекся икэбаной, а с цветами проблема — больно дороги. Сейчас как раз пора, когда возле Кинкакудзи цветут ирисы, так вот, не мог бы ты принести штучек пять — все равно, распустившихся или в бутонах. И еще хорошо бы шесть-семь побегов хвоща. Можно прямо сегодня вечером. Ну как, принесешь их мне домой?

Я тогда легко согласился с его просьбой и лишь позднее понял, что фактически он подбивал меня на воровство. Теперь хочешь не хочешь, чтобы сдержать слово, я должен был красть храмовые цветы.

В тот вечер «спасительный камень» состоял из концентрата, куска черного липкого хлеба и вареных овощей. К счастью, была суббота, и после обеда часть монахов покинула храм. Сегодня разрешалось лечь спать пораньше или гулять где хочешь до одиннадцати. В воскресенье утром полагалось «сонное забвение», то есть поднимали позже обычного. Настоятель отправился куда-то еще до ужина.

В половине седьмого солнце стало клониться к закату. Поднялся ветер. Я ждал первого ночного колокола. Ровно в восемь колокол «Осикидзё», висевший слева от центрального входа, отзвенел восемнадцать раз, извещая своим высоким, ясным голосом о наступлении ночи.

Возле самого Рыбачьего павильона, окруженный полукруглой изгородью, шумел миниатюрный водопад, по которому воды Пруда Лотосов сбегали в Зеркальный пруд. Там было царство ирисов. Последние несколько дней они цвели, и лужайка стала необычайно красивой.

Когда я пришел туда, лепестки ирисов слегка трепетали, колеблемые ветром. Тихо журчал водопад, гордо покачивали вознесенными вверх головками лиловые цветы. Уже совсем стемнело, лиловые лепестки и зеленые листья казались одинаково черными.

Я нагнулся, чтобы сорвать несколько бутонов, но те с тихим вздохом словно отшатнулись от моих рук под порывом ветра, а один из листьев своим острым краем порезал мне палец.

Когда я принес Касиваги букет ирисов и хвощей, он лежал на

кровати и читал книгу. Я очень боялся, что встречу его соседку, но ее, кажется, не было дома.

Мелкое воровство настроило меня на радостный лад. Все мои встречи с Касиваги неминуемо вели к небольшим грехам, маленьким святотатствам и крошечным подлостям, и каждое такое падение приносило мне радость, но я вовсе не был уверен, что увеличение масштабов этих падений будет прямо пропорционально росту наслаждения.

Касиваги был рад моему подарку и тут же отправился к квартирной хозяйке за принадлежностями для икэбаны. Дом был одноэтажный, Касиваги занимал небольшую комнатку в пристройке.

Я взял флейту-сякухати, лежавшую на почетном месте, в токонома, и попробовал сыграть на ней. Звук получился такой чистый, что Касиваги, вернувшись, был поражен моими успехами. Но сегодня он был, увы, не тот, что в памятную лунную ночь.

— Гляди-ка, играя на сякухати, ты нисколечко не заикаешься. А я-то подарил тебе флейту в надежде услышать заикающуюся музыку.

Этой репликой он вновь поставил каждого из нас на свое место, как во время самой первой встречи. Касиваги снова восстановил себя во всех правах. Теперь я мог без стеснения задать давно интересовавший меня вопрос — что сталось с барышней из испанского особняка?

— А-а, с той-то. Давным-давно замуж вышла,— ответил он как ни в чем не бывало.— Я ее научил, как скрыть от жениха, что она не девушка. Ей достался такой олух, что никаких проблем, кажется, не возникло.

Тем временем он доставал из ведерка с водой ирисы и один за другим внимательно их осматривал. Потом опускал в ведерко руку с ножницами и обрезал стебель под водой. Когда Касиваги вертел в руках очередной цветок, тень от него металась по соломенным матам пола. Внезапно мой приятель заговорил о другом:

— Ты помнишь знаменитое изречение из «Риндзайроку»[1]: «Встретишь Будду — убей Будду, встретишь патриарха — убей патриарха...»?

— «Встретишь святого — убей святого,— подхватил я,— встретишь отца и мать — убей отца и мать, встретишь родича — убей и родича. Лишь так достигнешь ты освобождения от оков греховного мира».

— Вот-вот. Тот самый случай. Барышня — это святой, который встретился мне на пути.

— Значит, ты теперь освободился от оков греховного мира?

— Угу,— промычал Касиваги, задумчиво разглядывая только что обрезанный цветок.— Но убить еще недостаточно.

Поднос, наполненный хрустально-чистой водой, отливал серебром. Касиваги осторожно выпрямил слегка погнувшуюся иглу на кэндзане [2].

Мне стало не по себе, и, чтобы нарушить наступившее молчание, я спросил:

— Ты, конечно, знаешь коан «Нансэн убивает кошку». Представляешь, в день, когда закончилась война, Учитель собрал всех нас и стал почему-то толковать про эту самую кошку...

— «Нансэн убивает кошку»? Как же, как же.— Проверив длину каждого из стеблей хвоща, Касиваги прикинул будущее их расположение на подносе.— С этим коаном, в разных его формах, человеку за свою жизнь приходится сталкиваться неоднократно. Коанчик из коварных. В поворотные моменты судьбы он вновь и вновь возникает перед тобой, каждый раз меняя облик и смысл. Ну, прежде всего

[1] Священная книга школы Риндзай, содержащая изречения ее основателя Риндзая (ум. в 867 г.).

[2] Усыпанная иглами подставка, используемая для укрепления цветов в икэбане.

позволь тебе заметить, что котенок, зарезанный Нансэном, был сущее исчадие ада. Хорошенький до невозможности, просто само олицетворение красоты. Глазки золотистые, шерстка бархатная. Все наслаждения и радости жизни сжатой пружиной таились в этом пушистом комочке. Толкователи коана почему-то всегда забывают о том, что котенок был прекраснейшим существом на свете. Только я-то об этом помню. Так вот, котенок вдруг выскочил из травы и, игриво поблескивая нежными, кокетливыми глазками, дал монахам себя поймать. Послушники двух келий переругались из-за него между собой. И неудивительно — красота может отдаваться каждому, но не принадлежит она никому. Прекрасное — с чем бы его сравнить? — ну вот хотя бы с гнилым зубом. Когда у тебя заболел зуб, он постоянно заявляет о своем существовании: ноет, тянет, пронзает болью. В конце концов мука становится невыносимой, ты идешь к врачу и просишь вырвать зуб к чертовой матери. Потом, глядя на коричневый, покрытый кровью, грязный комок, человек поневоле поражается: «Как? И это все? То самое, что так крепко укоренилось во мне, мучило, ни на минуту не давало забыть о себе — всего лишь кусочек мертвой кости? Не может быть, это не оно! Если боль была частицей мертвой материи, как же она смогла пустить во мне такие корни и причинить столько страданий? В чем первопричина этих мук? Во мне или в ней? Да нет же, этот жалкий осколок, лежащий на моей ладони,— нечто совершенно иное. Он не может быть т е м с а м ы м». Вот так же и с прекрасным. Может показаться, что, зарезав котенка,— иными словами, вырвав гнилой зуб,— Нансэн выкорчевал красоту, но окончательно ли такое решение? А вдруг корни прекрасного уцелели, вдруг красота не умерла и после гибели котенка? И Дзёсю, желая высмеять упрощенность и несостоятельность метода, избранного старцем, кладет себе на голову сандалию. Он как бы заявляет: нет иного выхода, кроме как терпеливо сносить боль от гнилого зуба.

Толкование коана было оригинальным и вполне в духе Касиваги, но у меня вдруг возникло подозрение, что приятель видит меня насквозь и издевается над нерешительностью моего характера. Впервые я по-настоящему испугался Касиваги. И, боясь молчания, спросил:

— Ну а кто в этой истории ты — Нансэн или Дзёсю?

— Я-то? Сейчас, пожалуй, я — Нансэн, а ты — Дзёсю, но может настать день, когда мы поменяемся ролями. Этот коан переменчив, как кошачий глаз.

Все это время руки Касиваги непрестанно двигались, то расставляя на подносе маленькие заржавленные кэндзаны, то укрепляя на них побеги хвоща (им отводилась в оранжировке роль Неба), то устанавливая ирисы, которые он расположил трилистником. Постепенно вырисовывалась композиция в стиле Кансуй. Возле подноса, дожидаясь своей очереди, лежала горка чисто вымытых камешков — белых и коричневатых.

Движения пальцев Касиваги были поистине виртуозны. Одна удачная идея следовала за другой, все усиливая эффект перемежающихся контрастов и симметрий; растения, следуя замыслу творца, на глазах занимали свои места в искусственно созданной системе. Цветы и листья, еще недавно росшие, подчиняясь лишь собственной прихоти, теперь принимали тот вид, который им н а д л е ж а л о иметь: хвощи и ирисы перестали быть безымянными представителями своих видов, они являли собой чистое и несомненное воплощение сути в с е х ирисов и в с е х хвощей.

Было в руках Касиваги что-то жестокое. Он действовал так, будто имел над растениями некую тайную и безрадостную власть. На-

верное, поэтому каждый раз, слыша щелканье ножниц, обрезавших стебли, я представлял, как цветы истекают кровью.

Но вот композиция в стиле Кансуй была закончена. Справа на подносе, где прямые линии хвощей смешивались с изгибами листьев, Касиваги расположил три ириса — два бутона и один распустившийся. Икэбана заняла маленькую нишу токонома почти целиком. Когда рябь успокоилась, я увидел, что галька, скрывая кэндзаны, одновременно подчеркивает прозрачность воды и создает иллюзию речного дна.

— Здорово! Где ты этому научился? — спросил я.

— Тут живет неподалеку одна преподавательница икэбаны. Она скоро должна зайти. Я с ней роман кручу, а заодно икэбане учусь. Но теперь, как видишь, я уже кое-что могу сам, поэтому эта учительница начинает мне надоедать. Она вообще-то баба красивая и молодая еще. Во время войны у нее были шуры-муры с каким-то офицериком, даже родила от него. Но ребенок умер, а любовника убили, вот она и пустилась во все тяжкие. Деньжата у нее водятся, так что преподаванием она занимается для собственного удовольствия. Хочешь, забирай ее себе. Она с тобой пойдет, вот увидишь.

Целая буря противоречивых чувств охватила меня. Когда я увидел ту женщину с крыши храма Нандзэндзи, рядом со мной находился Цурукава; теперь, три года спустя, она вновь предстанет передо мной, но смотреть я на нее буду уже глазами Касиваги. Прежде ее трагедия казалась мне светлой загадкой, сейчас же взгляд мой будет черен и бездушен. Мне никуда не уйти от фактов: той белой и круглой, как полная луна, груди уже касалась рука Касиваги, к тем коленям, некогда прикрытым изысканным кимоно, прижимались его уродливые ноги. Можно было не сомневаться, что женщина вся замарана Касиваги, точнее, его знанием.

Эта мысль причинила мне боль, я почувствовал, что больше не могу здесь оставаться. Однако любопытство не давало мне уйти. Я с нетерпением ждал той, что некогда показалась мне возрожденной Уико, а теперь должна была предстать в качестве брошенной любовницы юного калеки. Я и сам не заметил, как стал сообщником Касиваги, мне не терпелось вкусить того иллюзорного наслаждения, когда собственными руками заляпываешь грязью дорогие сердцу воспоминания.

Когда же она пришла, я ровным счетом ничего не почувствовал. Я очень хорошо все помню: ее хрипловатый голос, безукоризненные манеры и вежливые речи, с которыми странно контрастировал лихорадочный блеск глаз; мольбу, явственно звучавшую в ее словах, когда она обращалась к Касиваги, пытаясь сохранить при постороннем видимость приличия... Я понял истинную причину, по которой Касиваги позвал меня сегодня к себе,— ему надо было прикрыться кем-то от докучливой любовницы.

Женщина, пришедшая к Касиваги, не имела ничего общего с рисовавшимся мне когда-то образом. Это был совершенно незнакомый человек, которого я видел впервые. В голосе женщины все громче звучало отчаяние, хотя речь ее продолжала оставаться изысканно вежливой. На меня любовница Касиваги не смотрела.

Когда ее душевные муки стали, казалось, невыносимыми, она вдруг взяла себя в руки, видимо решив на время отказаться от попыток смягчить сердце Касиваги. Прикинувшись абсолютно спокойной, женщина окинула взором тесную комнатку и впервые заметила икэбану, что стояла в токонома.

— О, какая прелестная композиция! Прекрасная работа!

Касиваги словно ждал этих слов и нанес последний удар:

— По-моему тоже, получилось неплохо. Вряд ли ты можешь меня еще чему-то научить. Так что наши уроки больше ни к чему.

Увидев, как изменилось при этих жестоких словах лицо учительницы, я отвел глаза. Она попыталась рассмеяться, потом, не поднимаясь с колен, как того требовала вежливость, приблизилась к токонома.

— О боже, да что же это! Будь они прокляты, эти цветы! — вдруг вскрикнула учительница, и поднос с водой оказался на полу, побеги хвоща полетели в разные стороны, от ирисов остались одни клочки — все украденные мной цветы лежали смятые и растерзанные. Я невольно вскочил, но, не зная, что делать, прижался спиной к окну. Касиваги стал выкручивать женщине тонкие руки, потом схватил ее за волосы и с размаху ударил по лицу. Действовал он совершенно с той же размеренностью и жестокостью, будто продолжал обрезать ножницами стебли и листья ирисов для икэбаны.

Учительница закрыла ладонями лицо и бросилась вон из комнаты. Касиваги же взглянул на меня — потрясенный, я стоял ни жив ни мертв,— улыбнулся странной, детской улыбкой и сказал:

— Что же ты, беги за ней. Утешь ее. Ну же, торопись.

Мне и самому не вполне понятно, что двигало мной — искренняя жалость к женщине или боязнь ослушаться Касиваги,— но я тут же бросился следом за учительницей. Она успела уйти совсем недалеко. Я нагнал ее возле трамвайного депо. Лязг трамваев, заезжавших в ворота, поднимался в самое небо, хмурое и облачное; во мраке ослепительным фейерверком рассыпались пурпурные искры от проводов. Женщина, пройдя квартал Итакура, свернула на восток и пошла по узкой, темной улочке. Она плакала на ходу, а я молча шагал рядом. Заметила она меня не сразу, но тут же придвинулась к моему плечу и голосом, от слез еще более хриплым, чем прежде, стала жаловаться на свои обиды, умудряясь сохранять при этом манеры светской дамы.

Бесконечно долго бродили мы по ночным улицам. Учительница сбивчиво обвиняла Касиваги в подлости и низком коварстве, а я слышал лишь одно слово: «жизнь, жизнь, жизнь»... Жестокость Касиваги, его тщательно рассчитанные поступки, предательство, бессердечие, гнусные способы, которыми он вытягивал у любовниц деньги,— все это только усугубляло его привлекательность, поистине необъяснимую. Я ничего в Касиваги не понимал и был уверен лишь в одном — серьезно он относится только к своему косолапию.

После внезапной гибели Цурукава я долгое время существовал, оторванный от жизни, но вот меня повлекла новая судьба — зловещая и не такая жалкая, но требующая взамен, чтобы я ежедневно приносил страдания другим людям. «Но убить еще мало»,— сказал Касиваги, эти простые слова вновь зазвучали у меня в ушах. И мне вспомнилась молитва, которую я шептал в первую ночь мира, глядя с горы Фудосан на расстилавшееся внизу море огней большого города: «Пусть чернота моей души сравняется с чернотой ночи, окутавшей этот город!»

Женщина вовсе не собиралась вести меня к себе. Ей просто нужно было выговориться, и она сворачивала все в новые и новые закоулки, не в силах прекратить это бесконечное блуждание по городу. Когда же наконец мы подошли к ее дому, я уже не мог определить, в какой части Киото мы находимся.

Была половина одиннадцатого, следовало торопиться в храм, но женщина чуть ли не насильно заставила меня зайти. Она вошла первой, зажгла свет и сказала вдруг:

— Вам случалось проклясть человека и желать ему смерти?

— Да,— ответил я не задумываясь.

И действительно, хоть теперь это казалось мне смешным, но еще совсем недавно я желал смерти соседке Касиваги, свидетельнице моего позора.

— Я тоже. О, как это страшно!

Женщина вся как-то обмякла и обессиленно опустилась на татами. В комнате горела сильная лампа — ватт сто, не меньше,— за годы постоянной нехватки электроэнергии я отвык от такого яркого света; жалкая лампочка в конуре Касиваги была раза в три слабее. Теперь я мог рассмотреть женщину как следует. Широкий пояс в стиле Нагоя был ослепительно бел, подчеркивая пурпур глициний, составлявших узор кимоно фасона Юдзэн.

От крыши храма Нандзэндзи до комнаты, где проходила чайная церемония, разве что птица могла долететь, но вот прошло несколько лет, и я смог сократить это расстояние, приблизить заветную цель — так мне теперь казалось. Оказывается, все это время я неотвратимо, мгновение за мгновением, подбирался к тайне, заключенной в той чайной церемонии. Так все и должно было произойти, подумал я. И ничего удивительного, что за прошедшие годы она настолько переменилась — ведь пока свет далекой звезды достигнет Земли, на ней все тоже успевает измениться. Если в тот миг, когда я смотрел на женщину с крыши храма, между нами возникла связь, предвещавшая сегодняшнюю встречу, все или почти все перемены, произошедшие с тех пор, можно аннулировать; мы вернемся в прошлое и окажемся лицом к лицу — прежний я и прежняя она.

И я заговорил. Заикаясь и задыхаясь от волнения. Вновь перед моими глазами ожила та молодая листва, вспыхнули яркими красками небожители и сказочные птицы, изображенные на потолке Башни Пяти Фениксов. Щеки учительницы запунцовели, лихорадочный блеск в глазах сменился выражением смятения и растерянности.

— Неужели? Неужели то, что вы говорите, правда? О, какая странная вещь судьба, какая странная!

Слезы горделивой радости выступили у нее на глазах. Она уже не помнила свое унижение и вся предалась воспоминанию; один вид возбуждения сменился другим, еще более сильным; мне показалось, что женщина близка к помешательству. Кимоно с узором из пурпурных глициний смялось и распахнулось.

— Молока больше нет,— всхлипнула она.— О, бедное мое, горькое мое дитя!.. Пусть молока нет, но я покажу вам снова то, что вы уже видели. Ведь вы любите меня с тех самых пор, правда? Я представлю себе, что вы — это о н, и мне не будет стыдно. Пусть все будет точь-в-точь как тогда!

Объявив с торжественным видом о своем решении, женщина так и поступила. Я не знаю, что она чувствовала в тот миг — безумную радость или безумное отчаяние. Возможно, ей самой казалось, что она испытывает душевный подъем, но истинной причиной этого эксцентричного поступка было, по-моему, все же отчаяние брошенной любовницы; во всяком случае, я явственно ощущал вязкий привкус этого отчаяния.

Не в силах оторваться, смотрел я, как она распускает пояс, развязывает бесчисленные тесемки, как с визгом скользит, распахиваясь, шелковая ткань. Вот края кимоно раздвинулись, открылись белые груди, женщина взяла пальцами левую и приподняла ее, показывая мне.

Не стану лгать, я испытал нечто вроде головокружения. Я смотрел на эту грудь. Разглядывал ее во всех деталях. Но оставался лишь сторонним наблюдателем — и не более. Таинственное белое пятнышко, виденное мной с крыши храма, не могло иметь ничего общего с этой вполне конкретной, реальной плотью. Слишком долго вынашивал я в сердце тот образ, чтобы связать его с вполне реальной грудью, объектом чисто материальным, просто каким-то куском мяса. Ничего привлекательного или манящего в нем не было. Лишь бессмысленное доказательство бытия, отрезанное от тела жизни.

И снова меня тянет солгать, поэтому повторю еще раз: голова моя действительно закружилась. Но слишком уж дотошным был мой

взгляд, и грудь постепенно перестала восприниматься мной как часть женского тела, а превратилась в лишенный всякого смысла безжизненный предмет...

Потом произошло самое поразительное. Пройдя весь мучительный круг превращений, грудь вдруг снова показалась мне прекрасной. И сразу же стерильность и бесчувственность Прекрасного наложили на нее свой отпечаток, грудь обрела самостоятельное значение и смысл, подобно тому как обладает самостоятельным значением и смыслом цветущая роза.

Прекрасное открывается мне с опозданием, не сразу, как другим людям. У всех остальных красота вызывает немедленную эмоциональную реакцию, у меня же реакция задерживается. Когда грудь восстановила свою связь со всем телом, это была уже не плоть, а бесчувственная и бессмертная субстанция, принадлежащая вечности.

Мне очень важно, чтобы меня поняли. Дело в том, что передо мной возник все тот же Золотой Храм, это грудь взяла и обратилась Золотым Храмом.

Я вспомнил свое ночное дежурство в начале осени, когда городу угрожал тайфун. Все вокруг было освещено луной, но меж решетчатых оконцев и деревянных дверей храмовых покоев, под облупившейся позолотой потолков царила густая, величественная тьма. И это было естественно, ибо Кинкакудзи представлял собой не что иное, как тщательно сконструированную и построенную Пустоту. Такой же явилась мне и женская грудь: сверху светлая, сияющая плоть, а внутри — тьма, густая и величественная тьма.

Это открытие отнюдь не привело меня в восторг, наоборот, я испытал чувство глубочайшего презрения к собственному извращенному рассудку. Еще более жалкими представлялись мне в этот миг жизнь и плотское желание. И все же весь я находился во власти экстаза и, застыв на месте, не мог оторвать взгляда от обнаженной груди...

Наконец женщина запахнула кимоно, и я взглянул в ее холодные, насмешливые глаза. Я сказал, что мне пора. Она проводила меня до прихожей и громко захлопнула за моей спиной дверь.

До самого храма чувство экстаза не оставляло меня. Перед глазами возникали, сменяя друг друга, то Золотой Храм, то белоснежная грудь. Странная бессильная радость переполняла душу.

Однако когда за темными соснами показались ворота Рокуондзи, сердце мое уже успокоилось; не осталось ничего, кроме бессилия, и на смену опьянению пришла ненависть, только я сам не понимал, к чему или к кому.

— Он снова заслонил от меня жизнь! — пробормотал я.— Снова, как тогда! Почему Храм оберегает меня? Зачем не подпускает к жизни, ведь я не просил об этой опеке! Может быть, он хочеть спасти меня от ада? Но благодаря ему я стал хуже ввергнутых в ад грешников, ибо знаю о преисподней больше, чем любой из них!

Ворота обители мирно чернели во мраке, лишь сбоку, у калитки, тускло светилась лампада, которую гасили только после утреннего колокола. Я надавил на калитку, и она приоткрылась, загремев старой, ржавой цепью. Привратник давно отправился спать. С внутренней стороны ворот висело напоминание, гласившее, что калитку должен запирать последний, вернувшийся в храм. Судя по деревянным табличкам с именами монахов, кроме меня, отсутствовали еще двое: настоятель и старый садовник.

Направляясь к храму, я заметил слева от дорожки несколько деревянных досок, их светлая древесина в лунном свете казалась белой. Подойдя ближе, я увидел, что земля вокруг покрыта опилка-

ми — словно лужайка, усыпанная желтыми цветами; в воздухе вкусно пахло свежей стружкой. Постояв у колодца, я хотел было уже идти в главное здание, но вдруг повернул назад.

Я должен был, прежде чем лягу спать, повидаться с Золотым Храмом. Оставив позади замершую в сонной тишине обитель, я зашагал по дорожке, ведущей к Кинкакудзи.

Вот вдали показался силуэт Храма. Его окружали колеблемые ветром кроны, но сам он высился неподвижный и бессонный, словно страж ночи... Я никогда не видел, чтобы он спал, подобно нашей обители. Здесь давно не жили люди, и поэтому, наверное, Храм забыл, что такое сон. А тьма, обитавшая в этих стенах, была неподвластна людским законам.

Впервые в жизни обратился я к Золотому Храму с дерзкими словами, звучавшими почти как проклятье:

— Когда-нибудь ты покоришься мне! Я подчиню тебя своей воле, и ты больше не сможешь мне вредить!

Голос мой раскатился эхом над гладью ночного пруда.

Глава седьмая

Все происходившее со мной было словно зашифровано некой странной тайнописью; моя жизнь напоминала движение по коридору с зеркальными стенами, изображение в которых, множась, уходит в бесконечность. Мне казалось, что я сталкиваюсь с новым явлением, но на нем уже лежала тень виденного прежде. Я все шел и шел по нескончаемому этому коридору, влекомый подобными совпадениями, и не знал, в какие неведомые дебри заведет меня мой путь. Судьба, ожидающая каждого из нас, определена не волей случая. Если человека в конце пути ожидает смертная казнь, он всю жизнь поневоле в каждом телеграфном столбе, в каждом железнодорожном переезде видит тень предначертанного ему эшафота и постепенно свыкается со своей участью.

Мой жизненный опыт всегда оставался однослойным, лишенным углублений и утолщений. Ни к чему на свете, кроме Золотого Храма, не был я привязан, даже к собственным воспоминаниям. Но я не мог не видеть, что воспоминания эти, точнее отдельные их обрывки, не проглоченные темным морем времени и не стертые бессмысленным повторением, выстраиваются в цепочку, образуют зловещую и омерзительную картину.

Что же то были за обрывки? Иногда я всерьез задумывался над этим вопросом. Но в воспоминаниях было еще меньше смысла и логики, чем в осколках пивной бутылки, поблескивающих на обочине дороги. Я не мог думать об этих осколках как о частицах, некогда составлявших прекрасное и законченное целое, ибо при всей своей нынешней никчемности и бессмысленности каждое из воспоминаний несло в себе мечту о будущем. Подумать только — эти жалкие осколки бесстрашно, бесхитростно и бесстрастно мечтали о будущем! Да еще о каком будущем — непостижимом, неведомом, неслыханном!

Неясные думы такого рода иногда приводили мою душу в несвойственное ей состояние поэтического восторга. Если подобное настроение охватывало меня в ясную лунную ночь, я брал флейту и шел к Золотому Храму. Я уже достиг такого мастерства, что мог играть мелодию «Дворцовая колесница», так понравившуюся мне в исполнении Касиваги, не заглядывая в ноты.

Музыка подобна сновидению. И в то же время, в противоположность сновидению, она обладает большей конкретностью, чем любая явь. Куда же все-таки следует отнести музыку, думал я. Ей под си-

лу менять сон и явь местами. Иногда она и самого меня превращала в мою любимейшую мелодию. Моя душа познала наслаждение этого превращения, и для меня, в отличие от Касиваги, музыка стала истинным утешением.

Каждый раз, кончив играть, я думал, отчего Золотой Храм не мешает мне обращаться в мелодию, не осуждает меня, а просто молчаливо взирает на эту метаморфозу? Ведь он ни разу не позволил мне слиться со счастьем и радостью обычной жизни. Разве не пресекал Храм любые мои попытки уйти от него, разве не возвращал меня обратно? Почему же только в музыке позволяет он мне находить забвение и усладу?

И при одной мысли о том, что наслаждение это дозволено Храмом, радость ослабевала. Выходило, что, раз Кинкакудзи не препятствует мне сливаться с музыкой, значит, музыка при всей своей похожести на жизнь — обман, подделка, и мое превращение — не более чем иллюзия.

Не подумайте, что я признал свое поражение и сдался после двух первых неудачных попыток сблизиться с женщиной и с жизнью. До конца сорок восьмого года мне еще не раз предоставлялись удобные случаи взять реванш (чаще всего с помощью Касиваги), и я без колебаний стремился использовать каждый из этих шансов. Однако результат вечно был один и тот же. Между мной и женщиной, между мной и жизнью неизменно вставал Золотой Храм. И сразу же все, к чему тянулись мои руки, рассыпалось в прах, а мир вокруг превращался в голую пустыню.

Однажды, работая на небольшом поле, что находилось за нашей кухней, я видел, как пчела садится на желтую летнюю хризантему. Собирательница меда прилетела, жужжа золотистыми крылышками, на залитый солнцем цветник, выбрала из множества хризантем одну и некоторое время висела над ней в воздухе.

Я попробовал представить себя пчелой. Передо мной желтела огромная хризантема, раскрывшая безукоризненные в своей правильности, лишенные изъянов лепестки. Цветок не уступал по красоте и совершенству Золотому Храму, однако вовсе не стремился в него превратиться, а так и оставался цветком. Да-да, очевидной и несомненной хризантемой, конкретной формой, не отягощенной потаенным смыслом. Таким образом, соблюдая правила своего бытия, цветок преисполнялся несказанного очарования и отлично выполнял для пчелы роль предмета ее вожделений. Какое, должно быть, мистическое ощущение — затаившись под оболочкой хризантемы, чувствовать себя объектом этого бесплотного, летающего и жужжащего вожделения! Форма постепенно слабеет, ее охватывает дрожь, она уже на пороге гибели. Однако безупречная хризантема создана именно для того, чтобы утолить жажду пчелы, в предвкушении этого акта и раскрыла она свои лепестки, именно сейчас ослепительно вспыхнет смысл самого существования формы. Она, форма,— это изложница, в которую вливается вечно подвижная, не имеющая очерченных границ жизнь; но и свободный полет жизни — тоже своего рода изложница, создающая различные формы в нашем мире...

Наконец пчела решительно устремилась в глубь хризантемы; опьянев от восторга, она всем тельцем зарылась в цветочную пыльцу. Цветок, приняв в себя гостью, сам превратился в пчелу, облаченную в роскошные доспехи из желтых лепестков, взволнованно закачался, и на миг показалось, что сейчас он сорвется со стебля и полетит.

От яркого света и от свершавшегося при этом ярком свете действа у меня закружилась голова. Затем я перестал быть пчелой и вновь стал самим собой; тут мне пришло в голову, что теперь мои

глаза уподобились глазам Золотого Храма. Да, именно. Точно так же, как я вернулся от взгляда пчелы к своему взгляду, в моменты, когда жизнь вот-вот коснется меня, мой собственный взгляд превращается во взгляд Храма. Именно тогда Кинкакудзи заслоняет от меня жизнь...

Итак, я вновь смотрел на мир своими глазами. Пчела и цветок заняли отведенные им места в бескрайнем мире вещей. Теперь полет пчелы и трепетание лепестков хризантемы встали в один ряд со всеми прочими явлениями — например, с дуновением ветерка. В этом неподвижном, холодном мире все предметы были равны; формы, таившей в себе столько очарования и соблазна, более не существовало. Хризантема осталась красивой, но не из-за неповторимой прелести формы, а лишь потому, что в самом названии «хризантема» для нас содержится обещание чего-то прекрасного. Я не был пчелой, и цветок не обладал для меня могучей притягательной силой; не был я и хризантемой, никакая пчела ко мне не вожделела. Исчезло родство многообразных форм с вечным движением жизни. Мир снова был отброшен в бездну всеобщей относительности, и двигалось теперь только время. В миг, когда передо мной возникал бесконечный и абсолютный Кинкакудзи, когда мои глаза становились его глазами, мир менялся, и в этой трансформированной вселенной один только Храм обладал формой и красотой, а все прочее обращалось в тлен и прах... И хватит об этом. С тех пор как у стен этого Храма я наступил на проститутку, а в особенности после внезапной смерти Цурукава, я задавал себе один и тот же вопрос: «Возможно в этом мире зло или нет?»

* * *

Это случилось в один из первых дней нового, сорок девятого года, в субботу. У меня был свободный вечер, и я отправился прогуляться по оживленной улице Синкёгоку. В густой толпе прохожих мне вдруг встретилось знакомое лицо, но прежде, чем я успел сообразить, кто это, лицо исчезло в людском море.

Человек, привлекший мое внимание, был в дорогом пальто, с элегантным кашне на шее, на голове его красовалась фетровая шляпа; рядом с ним шла молодая женщина в ржаво-красном плаще — судя по виду, гейша. Кто же это был такой? Розовое, пухлое лицо, немолодое, но какое-то по-младенчески свежее и чистое, мясистый нос... Да это же Учитель! — вдруг понял я. Просто тень от шляпы помешала мне узнать его сразу. Пугаться вроде бы было нечего, но я похолодел при мысли о том, что настоятель меня увидит. Тогда я поневоле стану очевидцем его предосудительных забав, нежелательным свидетелем, и между нами неминуемо возникнет тесная связь, основанная на взаимном доверии — или недоверии. Нет, мне это было совсем ни к чему.

Тут я увидел черного лохматого пса, бредущего сквозь новогоднюю толпу. Видимо, он привык к таким скоплениям людей и ловко лавировал меж полами роскошных дамских манто и потрепанных военных шинелей, пробираясь поближе к витринам магазинов. У сувенирной лавки, которая, верно, торговала на этом месте еще с незапамятных времен, пес замер и стал принюхиваться. Оказалось, что у пса выбит глаз — кровавая корка запеклась в глазнице ярко-красным кораллом. Уцелевшим глазом собака рассматривала что-то на асфальте. Грязная шерсть на спине свалялась и торчала заскорузлыми клочками.

Не знаю, чем так заинтересовал меня этот пес. Возможно, абсолютным своим несоответствием праздничной и светлой атмосфере улицы; он упрямо тащил за собой какой-то иной, совершенно отличный от всего окружающего мир. Пес брел по своей собственной мрачной вселенной, где из всех чувств царило только обоняние. Это

был город, ничем не похожий на город людей, в нем сиянию уличных фонарей, грому музыки и взрывам смеха угрожали зловещие и вездесущие запахи. Мир запахов куда более упорядочен и конкретен; от мокрых лап пса несло мочой, и этот смрад имел самую непосредственную связь с едва уловимым зловонием, которое исходило от внутренних органов прохожих.

Было очень холодно. Мимо меня прошла компания молодых парней, скорее всего, спекулянтов с черного рынка; они обрывали на ходу сосновые ветки, украшавшие по случаю Нового года двери домов, и потом сравнивали, кто нарвал больше. Парни показывали друг другу ладони, затянутые в новенькие перчатки, и громко хохотали. Одним удалось выдернуть по целой ветке, у других в руке оказалось всего несколько зеленых иголок.

Я шел следом за бездомным псом. Иногда я терял его из виду, но каждый раз он появлялся вновь. Мы свернули в переулок, который вел к улице Каварамати. Здесь было не так светло, как на Синкёгоку; по мостовой пролегали трамвайные рельсы. Пес исчез куда-то и больше не появлялся. Я остановился и стал высматривать его по сторонам. Потом дошел до угла и все вертел головой, надеясь увидеть пса.

В это время прямо передо мной притормозил шикарный лимузин. Шофер распахнул дверцу, и в машину села какая-то женщина. Я обернулся и посмотрел на нее. Садившийся следом за ней в автомобиль мужчина, увидев меня, замер на месте.

Это был Учитель. Для меня осталось загадкой, как вышло, что он, сделав круг, снова наткнулся на меня. Как бы там ни было, но я оказался лицом к лицу с настоятелем, а на севшей в машину женщине краснел уже знакомый мне плащ цвета ржавчины.

Теперь прятаться было уже бессмысленно. Потрясенный неожиданной встречей, я не мог вымолвить ни слова. Я еще ничего не успел сказать, а заикание уже трепетало у меня во рту. И тут произошло нечто необъяснимое, никак не связанное с ситуацией и владевшими мною чувствами: глядя прямо в лицо настоятелю, я засмеялся. Я не смог бы объяснить природу этого смеха, он словно обрушился на меня откуда-то извне и залепил весь рот вязкой массой. Настоятель переменился в лице.

— Да ты, никак, шпионить за мной вздумал! Идиот! — гневно бросил он и, не удостоив меня больше ни единым взглядом, сел в машину и громко захлопнул дверцу. Взревев мотором, наемный лимузин умчался прочь. Мне стало ясно, что настоятель заметил меня и прежде, на улице Синкёгоку.

Я ждал, что на следующий день Учитель вызовет меня к себе и сурово отчитает, тогда я смогу все ему объяснить и оправдаться. Однако, как и в том памятном случае с проституткой, настоятель предпочел молчать, и для меня началась новая пытка.

Изредка я получал письма от матери. В каждом из них она писала, что ждет не дождется, когда я стану настоятелем Рокуондзи, только этим и живет.

Чем чаще вспоминал я гневный окрик Учителя («Да ты, никак, шпионить за мной вздумал! Идиот!»), тем недостойнее звания священника он мне казался. Настоящий монах секты Дзэн должен обладать чувством юмора и смотреть на вещи шире, никогда бы не обратился он к своему ученику с таким вульгарным упреком. Он произнес бы что-нибудь остроумное и куда более действенное. А теперь сказанного, конечно, не воротишь. Настоятель, несомненно, решил, что я специально выслеживаю своего Учителя, да еще открыто издеваюсь над его грешками. Мое поведение сбило его с толку, вот он и сорвался на недостойный своего положения крик.

Так или иначе, зловещее молчание настоятеля день ото дня все больше тревожило меня. Тень Учителя вновь разрослась до громадных размеров и постоянно маячила у меня перед глазами, словно рой назойливых мошек.

Прежде, отправляясь куда-нибудь проводить службу, настоятель всегда брал с собой отца эконома, теперь же, в результате так называемой «демократизации монастырской жизни», сопровождать Учителя, кроме отца эконома, должны были по очереди отец ключарь и мы, трое послушников. Ведавший ранее внутренним распорядком монах, о строгости которого я был немало наслышан, во время войны угодил в солдаты и погиб, так что его обязанности пришлось взять на себя сорокапятилетнему отцу эконому. Третий послушник появился в обители недавно, заняв место умершего Цурукава.

Однажды Учителя пригласили на торжественную церемонию. Вступал в должность новый настоятель храма, принадлежащего к той же дзэнской школе Сококудзи, что и наш Рокуондзи. Был как раз мой черед сопровождать преподобного Досэна. Святой отец ничего не сделал, чтобы освободить меня от этого поручения, и я надеялся, что по дороге представится возможность оправдаться перед ним. Однако накануне вечером я узнал, что с нами пойдет еще и новенький, и моя надежда угасла.

Те, кто знаком с литературой Годзан [1], несомненно помнят монаха Дзэнкю Исимуро, ставшего настоятелем киотоского храма Мандзю в первый год эры Коан [2]. Летопись сохранила прекрасные слова, произнесенные новым пастырем, когда он обходил свои владения. Указав рукой на Мандзю, Дзэнкю возрадовался, что отныне становится настоятелем этого знаменитого храма, и горделиво воскликнул: «Ныне, пред стенами императорского дворца, у ворот священных Мандзю скажу: «Нищий, открываю дверь сию; разутый, восхожу на гору Конрон [3]!»

Началась церемония воскурения фимиама в честь Наставника. В древние времена, когда секта Дзэн еще не обросла традициями и условностями, главное значение придавалось духовному прозрению верующего. В ту пору не Учитель подбирал себе учеников, а наоборот, послушник выбирал наставника, причем мудрости он должен был учиться не у одного своего духовного отца, а у всех монахов обители. Во время же службы в честь Наставника ученик объявлял имя Учителя, чьим последователем он себя считал.

Наблюдая эту торжественную церемонию, я думал, назову ли имя преподобного Досэна, доведись мне принимать после него храм Рокуондзи. Или, нарушив семивековую традицию, объявлю во всеуслышание какое-нибудь другое имя? Стояла ранняя весна, в зале было прохладно; вился, смешиваясь, аромат пяти разных благовоний, холодно посверкивал драгоценный венец на статуе Будды, разливался сиянием нимб, окружающий лик Всевышнего; яркими пятнами выделялись облачения монахов... Я мечтал о том, как буду сам воскурять фимиам в честь Наставника, представлял себя на месте новоиспеченного настоятеля.

Будет такой же, как сегодня, холодный весенний день, когда я изменю древней традиции! Выстроившиеся в ряд монахи разинут рты от изумления, позеленеют от такого кощунства! Решено: я и не подумаю называть имя Досэна, назову имя... А кого мне назвать своим наставником? Кто направил меня на путь просветления? Я растерялся. Да и как вообще произнести что-то при моем заикании? А ведь

[1] Исторические хроники, поэзия, сборники изречений и дневниковая литература, созданные в средние века монахами дзэн-буддистской секты Годзан.

[2] 1361 г.

[3] Мифическая гора древнекитайских легенд, на которой обитали божества.

я непременно начну заикаться. Представляю, как я стану лепетать, что истинным моим учителем было Прекрасное. Или, может, Пустота? Все, конечно, покатятся со смеху, а я буду стоять перед ними дурак дураком...

Я очнулся от грез. Настал черед Учителя, и я должен был ему помогать. Вообще-то мне следовало бы гордиться тем, что я сопровождаю Досэна — настоятель Рокуондзи считался самым почетным из гостей. Закончив курить благовония, Учитель торжественно поднял Белый Молот, этот символический ритуал означал, что новый настоятель храма — подлинный священник, а не самозванец. Сначала Досэн произнес ритуальные слова, а потом громко ударил молотом в гонг, и я вновь почувствовал, какой великой властью обладает Учитель.

Мне становилось невмоготу выносить молчание настоятеля, тем более что я не знал, как долго оно может продлиться. Если ты испытываешь к человеку какие-то чувства, думал я, ты вправе рассчитывать на ответную реакцию — не важно, любовь это будет или ненависть.

У меня выработалась жалкая привычка при каждом удобном и неудобном случае искательно заглядывать в лицо Учителю, стараясь угадать, о чем он думает, но ни разу не увидел я на этом лице и тени живого чувства. То была даже не холодность. Бесстрастность этого лица могла означать презрение, но презрение не ко мне одному, а ко всему человеческому роду или вообще к чему-то абстрактному.

Я заставлял себя думать о грубой, животной силе массивного черепа настоятеля, о низменности физической его природы. Я представлял, как Учитель испражняется или как он совокупляется с девкой — той, в ржаво-красном плаще. Тогда бесстрастность исчезала с его лица и сменялась блаженно-страдальческой гримасой наслаждения.

Я воображал, как пухлая, мягкая плоть настоятеля сливается со столь же пухлой и мягкой плотью женщины, так что невозможно определить, где кончается одно тело и начинается другое, как круглый живот Учителя трется о круглый живот его подруги. Но, странное дело, сколько ни напрягал я фантазию, животное выражение появлялось на лице настоятеля сразу, безо всякого перехода от обычной застывшей маски. Никакой радуги нюансов и переходов одного чувства в другое — просто скачок из крайности в крайность. Пожалуй, единственная связь, которую можно было наметить между двумя этими полюсами, заключалась в грубом окрике: «Ты, никак, шпионить за мной вздумал! Идиот!»

Измученный домыслами и ожиданием, я в конце концов с непреодолимой силой возжаждал только одного: хоть раз увидеть, как лицо настоятеля исказится от ненависти. И я разработал некий план — безумный, инфантильный и, вне всякого сомнения, чреватый для меня большими неприятностями; я все это понимал, но остановиться уже не мог. Я даже не подумал о том, что моя выходка еще более укрепит настоятеля в его несправедливом подозрении.

В университете я спросил у Касиваги, где находится нужный мне магазин. Мой приятель тут же объяснил, даже не спросив, зачем мне это понадобилось. В тот же день я отправился по указанному адресу и просмотрел целую кипу открыток с фотографиями гейш квартала Гион.

Поначалу из-за толстого слоя грима все женщины казались мне одинаковыми, но постепенно я стал различать под схожими масками из пудры и помады живые черты: здесь были лица умные и глупые, веселые и печальные, счастливые и несчастные. Наконец, я нашел то, что искал. Глянцевый снимок так блестел в чересчур яр-

ком электрическом освещении, что я чуть его не просмотрел; но стоило мне взять открытку в руки, как она сразу же перестала отсвечивать, и я узнал лицо гейши в ржаво-красном плаще.

— Вот эту, пожалуйста,— сказал я продавщице.

Сам не пойму, откуда взялась моя смелость; впрочем, не менее странной была и необъяснимая веселость, неудержимая радость, охватившая меня, как только я начал осуществлять свой план. Поначалу я собирался выбрать момент, когда Учителя не будет в храме, чтобы меня нельзя было уличить. Но вновь обретенная веселая храбрость заставила меня избрать наиболее опасный из способов, не оставляющий сомнений в том, кто истинный виновник.

В мои обязанности по-прежнему входило относить в кабинет настоятеля утреннюю почту. В тот холодный мартовский день я, как обычно, отправился в прихожую за газетами. Фотографию гейши из квартала Гион я засунул между газетными страницами. Сердце мое бешено колотилось.

Посередине храмового двора росла саговая пальма, окруженная живой изгородью. Была отчетливо видна грубая кора дерева, ярко высвеченная утренним солнцем. Слева от пальмы раскинула ветви небольшая смоковница. Оттуда доносилось щебетание запоздалых чижей, похожее на пощелкивание четок. Я мимоходом удивился, что они еще не улетели, но сомнений не было — желтогрудые пичужки, скакавшие по залитым солнцем веткам, могли быть только чижами. Двор, посыпанный белым гравием, дышал миром и покоем.

Я осторожно ступал по мокрому после недавнего мытья полу, стараясь не угодить в стоявшие там и сям лужи. Сёдзи Большой библиотеки, где находился кабинет Учителя, были плотно задвинуты. Раннее утро сияло такой свежестью, что бумага перегородок казалась белоснежной.

Я привычно опустился на колени и произнес:

— Можно войти?

Настоятель отозвался, и я, раздвинув сёдзи, положил согнутые пополам газеты на край стола. Учитель сидел, уткнувшись носом в какую-то книгу, на меня он даже не взглянул... Я попятился, закрыл за собой перегородку и, стараясь не терять хладнокровия, медленно зашагал по коридору к себе.

До самого ухода на занятия я сидел неподвижно, чувствуя, как все большее волнение охватывает мою душу. Казалось, никогда еще не испытывал я такого жгучего нетерпения. Моя выходка преследовала единственную цель — вывести настоятеля из себя, но теперь я с замиранием сердца предвкушал страстную и драматическую сцену, в которой сольются, поняв друг друга, две страдающие души.

Может быть, сейчас дверь моей кельи распахнется, на пороге возникнет Учитель и объявит, что прощает мне все прегрешения. И тогда впервые в жизни я, прощенный, достигну чистоты и просветления — обычного состояния моего погибшего друга Цурукава. Мы с Учителем, наверное, обнимемся и скажем: жаль, что мы не поняли друг друга раньше.

Я, конечно, недолго тешил себя подобными фантазиями, но удивительно, как вообще могла прийти мне в голову такая несусветная чушь! Впоследствии, трезво анализируя свое поведение, я понял, что идиотским этим поступком окончательно восстановил против себя настоятеля, уничтожил все шансы стать кандидатом в его преемники и, следовательно, навек утратил возможность властвовать над Золотым Храмом. Я был настолько возбужден, что на время вообще забыл об извечной своей страсти!

Я напрягал слух, пытаясь уловить какие-нибудь звуки из Большой библиотеки, но там было тихо.

Теперь я не сомневался, что на меня обрушится яростный гнев настоятеля. Я ждал этого гнева, меня не испугали бы ни бешеная ругань, ни удары, ни пинки, ни вид собственной крови.

Но из Большой библиотеки не доносилось ни звука, и ничьи шаги не приближались по коридору к моей двери...

Когда настало время отправляться в университет, я чувствовал себя разбитым и усталым, моя душа была опустошена. Я не слышал лекции. Когда же преподаватель меня о чем-то спросил, я ответил невпопад. Все студенты обрадованно засмеялись, один только Касиваги с безразличным видом глядел в окно. Он, несомненно, видел, какая буря бушует в моем сердце.

Когда я вернулся с занятий, в храме все было по-прежнему. Жизнь обители, вся пропитанная заплесневелым запахом вечности, специально строилась так, чтобы ничто в ней не менялось, и сегодняшний день как две капли воды был схож со вчерашним. Два раза в месяц все монахи собирались в кабинете настоятеля, и он толковал нам священные тексты. Сегодня был как раз день такого занятия, и я ждал, что Учитель в качестве иллюстрации к какому-нибудь коану разберет перед всей братией мой проступок и осудит меня.

У меня были кое-какие основания так думать. Сегодня, сидя прямо напротив настоятеля, я чувствовал небывалый приток мужества — состояние, совершенно мне несвойственное. Я надеялся, что Учитель ответит на мое мужество столь же мужественным великодушием: сначала покается перед всеми в собственном лицемерии и ханжестве, а потом уже разберет мерзость моего поступка...

Тускло светила лампочка, все обитатели храма сидели, склонившись над текстами из книги «Мумонкан». Вечер выдался холодный, но только возле настоятеля лежала маленькая грелка. Монахи зябко хлюпали носами. На расчерченных тенями лицах, и старых и молодых, застыло одинаковое выражение бессилия. Новый послушник в дневное время работал учителем в начальной школе; он был очень близорук и то и дело поправлял очки, сползавшие с его маленького носика.

Я был здесь единственным, в ком жила сила,— так мне по крайней мере казалось. Поднимая глаза от текста, Учитель по очереди оглядывал всех присутствующих, и я все пытался встретиться с ним взглядом. Мне хотелось, чтобы он увидел: я от него не прячусь. Но окруженные припухшими складками глазки настоятеля безразлично скользили по моему лицу, и взгляд их переходил на соседа.

С самого начала занятия я с нетерпением ждал, когда же Учитель заговорит обо мне. С напряженным вниманием слушал я каждое его слово. Тонкий голос настоятеля не смолкал ни на минуту, но голоса его души я так и не услышал...

Ночью я не сомкнул глаз. Меня переполняло презрение к Учителю, я мысленно издевался над его жалким лицемерием. Но постепенно меня стали одолевать запоздалые сожаления, полностью вытеснив гордое негодование. Возмущение недостойным малодушием настоятеля странным образом подкосило мое мужество; поняв, насколько ничтожен противник, я уже начал подумывать: а не попросить ли мне у него прощения, все равно такое покаяние не будет знаком поражения. Моя душа, прежде взлетевшая в недостижимые высоты, теперь стремительно падала вниз.

Утром же пойду каяться, решил я. Но когда наступило утро, я перенес объяснение с Учителем на попозже. Его лицо оставалось все таким же непроницаемым.

День выдался ветреный. Вернувшись с лекций, я зачем-то открыл ящик стола и вдруг увидел белый сверток. Развернув бумагу, я обнаружил свою открытку. На бумаге не было написано ни единого слова.

Очевидно, Учитель таким образом давал мне понять, что ставит на всем деле точку. Скорее всего, возвращение открытки должно было означать примерно следующее: я не закрыл глаза на твою выходку, но считаю ее бессмысленной. Однако странный поступок настоятеля всколыхнул целый рой чувств в моей душе.

«Значит, Учитель тоже страдал,— с волнением думал я.— Представляю, какие муки он вынес, прежде чем решился. Должно быть, он теперь ненавидит меня лютой ненавистью. Причем не столько даже за эту открытку, сколько за то, что ему пришлось красться, как вору, по собственному храму, тайком пробираться в келью ученика, где он прежде никогда не бывал, и подсовывать в стол злосчастную улику».

От этой мысли в груди у меня волной поднялась странная радость. И я занялся весьма приятным делом.

Я изрезал открытку ножницами на мелкие кусочки, завернул их в вырванный из тетрадки листок и отправился к Золотому Храму.

Дул сильный ветер, Кинкакудзи стоял под звездным небом, сохраняя извечное свое угрюмое равновесие. В серебристом лунном свете тонкие, вытянутые вверх колонны напоминали мне струны, и весь Храм становился похож на какой-то огромный и таинственный музыкальный инструмент. Зависел этот эффект от того, насколько высоко поднималась в небе луна. Сегодня сходство Храма с гигантским бива было поистине разительным. Но ветер напрасно старался, пытаясь извлечь звук из этих безмолвных струн.

Я подобрал с земли камешек, засунул его в скомканный листок с клочками открытки и, размахнувшись, бросил в пруд. По зеркальной глади неторопливо разошлись круги, мелкая рябь докатилась почти до самых моих ног.

* * *

Мое внезапное бегство в ноябре было прямым следствием всех этих событий. Впрочем, оно только казалось внезапным, на самом же деле побегу предшествовал длительный период раздумий и колебаний, хотя мне нравилось убеждать себя, что поступок мой был неподготовленным и чисто импульсивным. Поскольку импульсивность изначально чужда моей природе, мне доставляло удовольствие воображать, будто я способен действовать под влиянием минутного порыва. Представим такую ситуацию: человек собирается завтра съездить на могилу отца; вот завтра настает, он отправляется в путь, но у самой станции вдруг поворачивается и идет в гости к собутыльнику. Можно ли сказать, что этот человек поступил импульсивно? А что, если это был не импульс, а месть собственной воле, гораздо более продуманная, чем первоначальное намерение съездить на кладбище?

Непосредственным поводом к моему побегу послужил разговор, состоявшийся у меня накануне с Учителем. Он впервые прямо сказал:

— Было время, когда я собирался назначить тебя своим преемником. Время это прошло, так и знай.

Хотя настоятель никогда раньше не говорил со мной на эту тему, я давно уже ждал подобного приговора и был к нему готов. Решение Учителя вовсе не стало для меня громом средь ясного неба, я не остолбенел от ужаса и не содрогнулся от горя. Тем не менее впоследствии я предпочитал думать, что именно слова настоятеля явились толчком к моему бегству.

Убедившись после эксперимента с открыткой, что настоятель затаил на меня зло, я намеренно стал хуже учиться. После первого курса я был лучшим в группе по китайскому и истории, набрав по этим предметам восемьдесят четыре балла[1]; по результатам года я

[1] В японских учебных заведениях принята стобалльная система.

оказался двадцать четвертым из восьмидесяти четырех студентов. Прогулял я всего четырнадцать занятий из четырехсот шестидесяти. По итогам второго года я оказался уже тридцать пятым из семидесяти семи, но окончательно распустился на третьем курсе: теперь я стал прогуливать лекции просто так, безо всякой особенной причины, хотя денег на то, чтобы с приятностью проводить свободное время, у меня не водилось. Первый семестр начался как раз вскоре после истории с открыткой.

После окончания полугодия в храм пришла жалоба из деканата, и Учитель сурово меня отчитал. Досталось мне и за плохие отметки, и за прогулы, но больше всего разъярило настоятеля то, что я пропустил занятия по дзэн-буддистскому воспитанию, на которые по программе и так отводилось всего три дня. Курс по дзэн-буддизму преподавался в университете точно так же, как в других духовных академиях и семинариях, лекции по нему читались последние три дня в конце каждого семестра, перед самыми каникулами.

Чтобы сделать внушение, Учитель вызвал меня в свой кабинет, что случалось не так уж часто. Осыпаемый упреками, я стоял и молчал. Настоятель ни словом не коснулся истории с открыткой и давнего скандала с проституткой, хотя я в глубине души ждал этого разговора.

С той поры Учитель стал относиться ко мне с подчеркнутой холодностью. Выходит, я своего добился, ведь именно к этому я стремился. Можно сказать, я одержал своего рода победу, а понадобилось для нее всего лишь немного лености. За один только первый семестр третьего курса я пропустил шестьдесят занятий — в пять раз больше, чем за весь первый курс. Прогуливая лекцию, я не читал книг, не предавался развлечениям (у меня просто не было на это денег), а разговаривал с Касиваги или чаще всего слонялся в одиночестве, без всякого дела. Мной владела апатия, я почти все время был один и почти все время молчал — этот период учебы в университете так и запомнился мне как эпоха бездействия. Можно сказать, что я сам устраивал себе занятия по дзэн-буддистскому воспитанию — только на свой собственный манер, и скуки во время этих «занятий» я не ведал.

Иногда я садился на траву и часами наблюдал, как муравьи деловито тащат куда-то крошечные кусочки красной глины. Причем муравьи не вызывали у меня ни малейшего интереса. Или я мог бесконечно долго смотреть, как вьется дым из трубы заводика, находившегося по соседству с университетом. И дым и завод тоже были мне абсолютно безразличны... Я сидел, всецело погруженный в самого себя. Частицы, из которых состоял окружавший меня мир, то остывали, то нагревались вновь. Я не могу подобрать нужных слов: мир словно покрывался пятнами, а потом вдруг делался полосатым. Внутреннее и внешнее неторопливо и бессистемно менялись местами: мое зрение фиксировало бессмысленный окрестный пейзаж, и он проникал внутрь меня; те же его детали, что не желали становиться частицей моего существа, назойливо сверкали где-то вне моего «я». Это мог быть флаг на заводском корпусе, грязное пятно на заборе или старая деревянная сандалия, валявшаяся на траве. Самые различные образы рождались во мне и тут же умирали. Или то были неясные, бесплотные воспоминания? Самое важное и самое ничтожное имели здесь равные права: какое-нибудь крупное событие в европейской политике, о котором я накануне читал в газете, неразрывно было связано с той же выброшенной сандалией.

Однажды я надолго задумался, глядя на острый стебелек травы. Нет, «задумался», пожалуй, не то слово. Странные, мимолетные эти мысли то обрывались, то снова, наподобие песенного припева, возникали в моем сознании, которое в эти минуты пребывало где-то на грани жизни и небытия. Почему травинке необходимо быть такой

острой? — думал я. Что, если б ее кончик вдруг затупился, она изменила бы отведенному ей виду и природа в этой своей ипостаси погибла бы? Возможно ли погубить природу, уничтожив микроскопический элемент одной из гигантских ее шестерней?.. И долго еще я лениво забавлялся, размышляя на эту тему.

Прослышав о том, что настоятель сурово отчитал меня, обитатели храма стали в моем присутствии вести себя вызывающе. Мой давний недоброжелатель, завидовавший тому, что я попал в университет, теперь победоносно ухмылялся мне прямо в лицо. За все лето и зиму я не перемолвился ни с кем из монахов ни единым словом. А в день, предшествовавший побегу, рано утром, ко мне заглянул отец эконом и сказал, что я должен идти к Учителю.

Это было девятого ноября. Я готовился идти на занятия и уже переоделся в студенческую форму.

Беседа со мной была настоятелю тягостна, и его лицо, вечно светящееся довольством, странным образом сжалось. Учитель смотрел на меня с отвращением, словно на прокаженного, и видеть это было приятно. Все-таки я добился от него хоть какого-то живого, человеческого чувства.

Впрочем, настоятель тут же отвел взгляд и заговорил, потирая руки над небольшой жаровней. Мягкие ладони, соприкасаясь, издавали едва различимое шуршание, и тихий этот звук разрушал свежесть осеннего утра. Слишком уж любовно льнули друг к другу два куска плоти.

— Представляю, как страдает твой бедный отец. Взгляни-ка на это письмо — снова на тебя из деканата жалуются. Смотри, ты можешь плохо кончить. Подумай о своем поведении как следует.— И затем Учитель произнес те самые слова: — Было время, когда я собирался назначить тебя своим преемником. Это время прошло, так и знай.

Я долго молчал, а потом спросил:

— Значит, вы лишаете меня своего покровительства?

Настоятель ответил не сразу и ответил вопросом:

— А как же иначе могу я поступить, когда ты так себя ведешь?

Я снова промолчал, а когда, заикаясь, заговорил, то уже совсем о другом. Слова вырвались у меня как бы помимо воли:

— Учитель, вам известно обо мне все. И мне про вас тоже все известно.

— Мало ли что тебе известно!— Настоятель насупился.— Что толку-то? Это тебе не поможет.

Никогда еще не доводилось мне видеть лица, на котором было бы написано такое пренебрежение к бренному миру. Настоятель по уши погряз в блуде, стяжательстве и прочих грехах и при этом всей душой презирал жизнь! Я почувствовал тошнотворное отвращение, словно коснулся теплого и розовощекого трупа.

Мной овладело непреодолимое, острое желание бежать как можно дальше от всего, что окружало меня в обители,— хотя бы на время. Это чувство не оставило меня и после того, как я покинул кабинет настоятеля. Ни о чем другом я думать уже не мог.

Я завернул в платок буддийский словарь и флейту, что подарил мне Касиваги. Этот узелок я прихватил с собой, отправляясь в университет. Всю дорогу я думал только о побеге.

На мою удачу, свернув к главному корпусу, я увидел ковыляющего впереди Касиваги. Догнав, я отвел его в сторону и попросил одолжить мне три тысячи иен, а взамен предложил словарь и им же самим подаренную свирель.

С лица Касиваги исчезло обычное философски-жизнерадостное выражение, с которым он изрекал свои ошеломляющие парадоксы. Сузившиеся, затуманенные глаза пристально взглянули на меня.

— А ты помнишь, что говорил Лаэрту отец? «В долг не бери и взаймы не давай; легко и ссуду потерять, и друга» [1].

— У меня, в отличие от Лаэрта, отца нет,— ответил я.— Не хочешь, не давай.

— Разве я сказал, что не дам? Ну-ка, пойдем потолкуем. Да и потом, я не уверен, что наскребу три тысячи.

Я чуть было не заявил Касиваги, что учительница рассказала мне, как он вытягивает у женщин деньги, но сдержался.

— Прежде всего надо решить, как поступить со словарем и флейтой,— сказал Касиваги и вдруг направился назад, к воротам. Я пошел за ним, укорачивая шаги, чтобы его не обгонять. Разговор зашел об одном нашем сокурснике, президенте студенческого клуба «Слава», арестованном полицией по подозрению в подпольном ростовщичестве. В сентябре его выпустили из-под стражи, но с подмоченной репутацией ему приходилось теперь нелегко. Последние полгода Касиваги очень интересовался этим субъектом, и он часто фигурировал в наших беседах. Мы оба считали его сильной личностью и, конечно, не могли и предположить, что через каких-нибудь две недели «сильная личность» покончит с собой.

— А зачем тебе деньги?— внезапно спросил Касиваги. Это было настолько на него не похоже, что я удивился.

— Хочу съездить куда-нибудь.

— А ты вернешься?

— Наверно...

— И от чего же ты хочешь сбежать?

— От всего, что меня окружает. От запаха бессилия, которым несет тут со всех сторон... Учитель тоже бессилен. Абсолютно. Я теперь понял это.

— И от Золотого Храма сбежишь?

— И от него.

— Он что, тоже бессилен?

— Нет, Храм не бессилен. Какое там. Но в нем корень всеобщего бессилия.

— Понятно. Именно так ты и должен рассуждать,— весело прищелкнул языком Касиваги, дергаясь всем телом в обычном своем нелепом танце.

Он отвел меня в промерзшую насквозь антикварную лавчонку, где мне дали за свирель всего четыреста иен. Потом мы зашли к букинисту и за сто иен продали мой словарь. За остальными деньгами надо было идти к Касиваги домой.

У себя в комнате Касиваги неожиданно заявил: флейта и так не моя, я ее просто возвращаю, а словарь он вполне мог бы получить от меня в подарок,— значит, вырученные пятьсот иен по праву принадлежат ему. Он добавит еще две с половиной тысячи, и получится, что он мне дал ровнехонько три тысячи иен. За ссуду с меня будет причитаться по десять процентов в месяц — это же сущий пустяк, прямо благодеяние по сравнению с тридцатью четырьмя процентами, которые брал президент «Славы».

Касиваги достал листок бумаги, тушечницу и с важным видом записал условия сделки, а потом потребовал, чтобы я приложил к расписке большой палец. Думать о будущем мне было противно, я безропотно окунул палец в тушечницу и шлепнул им по бумаге.

Сердце мое билось учащенно. Засунув за пазуху три тысячи иен, я вышел из дома Касиваги, сел на трамвай, доехал до парка Фунаока и взбежал по каменной лестнице храма Татэисао. Мне хотелось купить омикудзи [2], чтобы определить маршрут своего путешествия. Справа от лестницы высился еще один синтоистский храм — ярко-красный Ёситэру-Инари, перед дверями которого стояли друг на-

[1] Перевод М. Лозинского.

[2] Табличка с предсказанием (в синтоистском храме).

против друга два каменных лиса-оборотня, окруженные золотого цвета решеткой. Каждый лис держал в зубах по бумажному свитку, острые уши сказочных зверей были изнутри выкрашены в тот же кровавый цвет.

Было холодно, то и дело начинал дуть ветер; солнце светило тускло, слабые его лучи просеивались сквозь ветви деревьев — казалось, что каменные ступени лестницы слегка припорошило пеплом.

Когда я оказался наверху и вышел на широкий двор храма Татэисао, мое лицо после быстрого подъема было мокрым от пота. Прямо передо мной начиналась новая лестница, ведущая к святилищу. Двор храма был вымощен каменными плитами. Над лестницей шумели кронами невысокие сосны. Справа я увидел небольшой домик с почерневшими от времени деревянными стенами, над дверью висела табличка «Научный центр по исследованию судьбы». Между домиком и святилищем притулился приземистый сарай с белыми оштукатуренными стенами, за ним торчали верхушки криптомерий, а еще дальше, под холодным небом, испещренным ослепительно-белыми облачками, высились горы, подступившие к городу с запада.

Главным божеством Татэисао считался дух Нобунага [1], а вторым — дух его старшего сына Нобутада. Храм был строг и незамысловат, монотонность цветовой гаммы нарушали только красные перила балюстрады, окружавшей святилище.

Я поднялся по ступенькам, сотворил поклон и взял в руки деревянный шестиугольный ящичек, стоявший по соседству с ларцом для пожертвований. В дне ящичка была прорезь, и когда я потряс его, оттуда выскочила маленькая бамбуковая палочка, на которой чернело выведенное тушью число 14.

«Четырнадцать, четырнадцать...» — бормотал я, спускаясь по лестнице назад, к домику. Слово застревало на языке, и постепенно в его звучании мне стал чудиться какой-то смысл.

Я подошел к двери «научного центра» и постучал. Ко мне вышла немолодая женщина. Видимо, я оторвал ее от стирки или мытья посуды — она тщательно вытирала руки полотенцем. Взяв у меня десятииеновую монетку, она равнодушно спросила:

— Какой номер?

— Четырнадцать.

— Посидите пока.

Я присел на краешек веранды и стал ждать. Я прекрасно сознавал бессмысленность веры в то, что мою судьбу могут определить эти мокрые мозолистые руки, но ведь я и пришел сюда, чтобы отдаться на волю бессмысленного случая, это вполне меня устраивало. Из-за двери донеслось лязганье ключа, который никак не хотел поворачиваться в каком-то замке, потом раздалось шуршание бумаги. Наконец, дверь приоткрылась, в щель просунулось свернутое трубочкой предсказание.

— Вот, пожалуйста.— И дверь снова захлопнулась.

На бумаге еще остались мокрые следы от пальцев. Я развернул и прочитал. *«Номер 14. Несчастье»*,— значилось там. А ниже: *«Если ты останешься здесь, тебя поразит гнев восьмидесяти божеств.*

Пройдя испытание пылающими камнями и жалящими стрелами, принц Окуни покинул край сей, как указывали ему духи предков. Сокрыться, бежать втайне от всех».

В комментарии объяснялось, что смысл пророчества таков: берегись всевозможных напастей и тревог. Предсказание нисколько меня не испугало. Внизу, где были перечислены различные жизненные ситуации, я нашел пункт *«Путешествие»: «В дороге жди несчастья. Опасней всего северо-запад».*

Ну что ж, решил я, значит, путь мой лежит на северо-запад.

---

[1] Нобунага Ода (1534—1582) — первый из объединителей Японии.

* * *

Поезд на Цуруга отправлялся в 6.55 утра. Подъем в храме был в половине шестого. Десятого ноября я прямо с утра оделся в студенческую форму, но это никому не показалось подозрительным. К тому же за последнее время все обитатели храма привыкли делать вид, что не замечают моего существования. Разбредясь по окутанному предрассветными сумерками храму, монахи и послушники занялись обычной утренней уборкой, на которую отводился один час.

Я подметал храмовой двор. Замысел мой был прост: сбежать прямо отсюда, не обременяя себя поклажей,— р-раз, и меня нет, меня унесли духи. Помахивая метлой, я не спеша продвигался по усыпанной гравием дорожке, которая смутно белела в полумраке. Еще чуть-чуть — и метла упадет наземь, я испарюсь, и в серых сумерках останется одна лишь эта дорожка. Да, именно так и произойдет мое исчезновение.

Вот почему не стал я прощаться с Золотым Храмом. Необходимо было, чтобы я сгинул в мгновение ока, перестал существовать для всего, что меня здесь окружало, в том числе и для Кинкакудзи. Ритмично работая метлой, я стал постепенно двигаться по направлению к воротам. Сквозь переплетения сосновых веток было видно, как мерцают в небе утренние звезды.

Сердце билось все сильнее. Пора! Слово это звенело в воздухе, трепетало крылышками у самого моего уха. Пора бежать, бежать от постылых будней, от тяжких оков Прекрасного, от прозябания и одиночества, от заикания, от ненавистной этой жизни!

Метла выпала из моих рук — естественно и закономерно, словно срывающийся с ветки плод; метла канула в темную траву. Я осторожно прокрался к воротам, вышел на улицу и пустился бежать со всех ног. К остановке подошел первый трамвай. В вагоне было всего несколько пассажиров,— судя по виду, рабочих. Яркий электрический свет омывал мое лицо, и мне казалось, что никогда еще не бывал я в таком светлом и радостном месте.

Я помню свое путешествие до мельчайших деталей. Куда держать путь, я уже решил. В том городке я однажды побывал — еще гимназистом, на экскурсии. Однако теперь, когда цель была близка, мной все сильнее овладевало возбуждение, вызванное побегом и обретенной свободой; казалось, что поезд сейчас умчит меня в какие-то неведомые дали.

Дорога была мне знакома, она вела в те края, где я появился на свет, но даже ржавый, дряхлый вагон, и тот представлялся мне сегодня необыкновенным и свежим. Вокзальная суета, свистки паровоза, даже хриплое рычание вокзального громкоговорителя, разрывавшее утреннюю тишину,— все вызывало единое, постоянно крепнущее чувство; мир представал передо мной в ослепительно поэтическом сиянии. Взошло солнце и разделило длинную, широкую платформу на секторы света и тени. В самых незначительных мелочах видел я тайные знаки и предвестия судьбы, на милость которой отдавался: в стуке грохочущих по платформе каблуков, в треске разорвавшегося ремешка на сандалии, в монотонном дребезжании звонков, в корзине с оранжевыми мандаринами, которую тащил мимо вокзальный торговец.

Все сливались воедино, усиливая одно чувство: уезжаю, трогаюсь в путь. Вот платформа церемонно и торжественно поплыла назад. Я смотрел на нее и видел, как бесчувственный, плоский бетон озаряется отблеском движения, отъезда, расставания...

Я доверял поезду. Конечно, это звучит нелепо, но как иначе мог я ощутить, что невероятное свершилось и я наконец удаляюсь прочь от Киото. Сколько раз по ночам прислушивался я к паровозным гудкам — за стеной храмового сада проходила железная дорога. И вот я

сам сижу в одном из тех поездов, что днем и ночью, в одни и те же часы, пробегали где-то невообразимо далеко от меня. Как же это было странно!

За окном вагона показалась река Ходзугава, когда-то давным-давно вдоль этих берегов я проезжал с больным отцом. Здесь, к западу от гор Атаго и Араси, видимо изменявших направление воздушных потоков, был совсем другой климат, чем в Киото. С октября по декабрь от реки каждый вечер в одиннадцать поднимался густой туман и до десяти часов утра обволакивал всю местность плотной пеленой. Туман плыл над землей, в нем почти не бывало просветов.

Над полями клубилась зыбкая дымка, жнивье отливало бледно-зеленой плесенью. По межам были разбросаны редкие деревья с высоко обрезанными ветвями. Тонкие стволы надежно защищал толстый слой соломы (у здешних крестьян это называется «паровая клетка»), и одинокие силуэты, один за другим выраставшие в тумане, были похожи на призраки живых деревьев. А иногда на почти неразличимом, размытом фоне полей возле самого окна вдруг на миг отчетливо возникала какая-нибудь огромная ива, слегка покачивая висячими влажными листьями.

В момент отправления поезда моя душа трепетала от радости, теперь же в памяти вставали лица тех, кого я прежде знал и кого не было уже в живых. Невыразимая нежность охватила меня, когда я стал думать об отце, Уико и Цурукава. Неужели я способен испытывать любовь только к мертвым? — подумалось мне. О, насколько проще любить мертвых, чем живых!

В полупустом вагоне третьего класса сидели те самые живые, любить которых так непросто; они болтали, дымили сигаретами, швыряли на пол кожуру от мандаринов. На соседней скамейке громко беседовала о своих делах компания пожилых людей,— кажется, служащих какой-то общественной организации. Они были одеты в поношенные, висевшие мешком пиджаки, а у одного из рукава торчал клок оторвавшейся полосатой подкладки. В который раз поразился я тому, что заурядность с возрастом ничуть не ослабевает. Эти загорелые, морщинистые, широкие лица, эти охрипшие от пьянства голоса являли собой чистейший образец, квинтэссенцию человеческой заурядности.

Они обсуждали, с кого можно получить пожертвования в фонд их организации. Один из стариков, совершенно лысый, не принимал участия в общей беседе, а без конца с флегматичным видом тер руки желтым от частых стирок платком.

— Безобразие какое,— пробормотал он.— Вечно от этой паровозной копоти все руки черные. Ну что ты будешь делать!

— Как же, как же,— обратился к нему сосед.— Вы ведь по этому поводу в газету жаловались, правильно?

— Ничего я не жаловался,— покачал головой лысый.— Но вообще-то это безобразие.

Против воли я прислушивался к их разговору — дело в том, что они без конца поминали Золотой Храм и Серебряный Храм. Вот уж с кого непременно следует потребовать взносов, так это с храмов,— таково было единодушное мнение. Даже Серебряный Храм — и тот гребет деньги лопатой, а что уж говорить о Золотом. Доход Кинкакудзи никак не меньше пяти миллионов иен в год, а много ли денег надо дзэн-буддистской обители — ну, там, плата за воду и электричество, туда-сюда, двухсот тысяч на все расходы с лихвой хватит. А остальные денежки известно, на что идут: послушники на холодном рисе сидят, а преподобный что ни день по веселым кварталам шикует. Да еще и налогом их не облагают! Прямо государство в государстве. Нет, с таких надо три шкуры драть!

Лысый старик, все вытиравший платком ладони, дождался, пока в разговоре наступит пауза, и изрек:

— Эх, какое безобразие.

Его слова прозвучали окончательным приговором. На руках лысого не было и пятнышка копоти, наоборот, они прямо сияли белизной, словно только что разрезанная редька. Казалось, это не живая кожа, а лайковые перчатки.

Как это ни странно, но я впервые услышал, что говорят миряне о нашей обители. До сих пор я общался только с монахами, ведь и в университете учились такие же послушники и будущие священники, как я; мы никогда не обсуждали между собой храмовые дела. То, что я услышал от соседей по вагону, нисколько меня не удивило. Все было сущей правдой. Нас действительно кормили одним холодным рисом. Настоятель действительно частенько наведывался в веселый квартал. Но мысль о том, что эти старики могут точно так же обсудить и разобрать м о и поступки, заставила меня содрогнуться от отвращения. Сама мысль, что обо мне можно толковать и х с л о в а м и, была невыносимой. Для этого подходили только м о и с л о в а. Не следует забывать, что, даже увидев Учителя с гейшей, я не испытал и тени праведного негодования.

Поэтому разговор пожилых служащих недолго занимал мои мысли, их слова растаяли, оставив после себя едва заметный душок заурядности и легкий привкус ненависти. Мои идеи не нуждались в «общественной поддержке». Я не собирался втискивать свои мысли и чувства в тесные рамки, доступные пониманию общества. Я уже говорил и повторю снова: основой самого моего существования была убежденность, что я недоступен ничьему пониманию.

Вдруг дверь вагона распахнулась, и в проходе появился разносчик, расхваливая сиплым голосом товары, что лежали у него в корзине. Я вспомнил, что с утра ничего не ел, и купил коробочку с завтраком: какую-то зеленоватую лапшу, явно приготовленную не из риса, а из водорослей. Туман рассеялся, но небо оставалось хмурым. К подножию горы Таба лепились дома; местные жители выращивали на здешних скудных почвах бумажные деревья и занимались производством бумаги.

Майдзурская бухта. Это название волновало меня точно так же, как прежде, сам не знаю отчего. Все мое детство, проведенное в деревне Сираку, слова «Майдзурская бухта» обозначали для меня близкое, но невидимое море, в них звучало п р е д ч у в с т в и е моря.

Впрочем, невидимую эту бухту отлично можно было рассмотреть с вершины горы Аоба, чьи склоны начинались сразу за деревней. Дважды взбирался я на самый верх. Помню, во второй раз на рейде военного порта стояла вся Объединенная эскадра. Наверное, корабли собрались вместе и теперь покачивались на якоре посреди сверкающих просторов бухты, готовясь к выполнению какого-то секретного задания. Существование эскадры вообще было окружено такой таинственностью, что иногда я даже сомневался, а есть ли она на самом деле. Вот почему флот напомнил мне стаю редких птиц, знакомых по названию и фотографиям, но никогда не виденных в жизни; не зная, что за ней наблюдают человеческие глаза, стая села на воду и наслаждалась купанием в бухте, охраняемая бдительным и грозным вожаком...

Голос проводника заставил меня очнуться от воспоминаний: поезд приближался к станции «Западный Майдзуру». Прежде здесь бросались к выходу многочисленные матросы, поспешно вскидывая на плечи поклажу. Теперь же с места кроме меня поднялись всего несколько мужчин, сильно смахивавших на дельцов черного рынка.

Все тут переменилось. Майдзуру превратился в иностранный порт: на каждом углу угрожающе пестрели указатели на английском языке. По улицам толпами ходили американские военные.

Низко нависло небо, уже дышавшее зимой, по широкой улице, ведущей к военному порту, гулял холодный соленый ветер. Но пахло не морем, а чем-то неживым — ржавым железом, что ли. Море вонзалось узким, похожим на канал языком в самую сердцевину города; от безжизненной воды, от вытащенного на скалы военного катерка веяло миром и покоем, но слишком уж все стало чистеньким, вылизанным и гигиеничным; некогда исполненный мужественной силы и энергии порт теперь напоминал огромный госпиталь.

Здесь я не собирался знакомиться с морем поближе, если, конечно, меня ради забавы не столкнет с пирса в воду какой-нибудь американский джип. Пожалуй, как думается мне сейчас, в побуждении бежать из обители таился и зов моря, но не этой укрощенной, искусственной бухты, а тех буйных свободных волн, что бились о скалы мыса Нариу в далеком-далеком детстве. Да, меня звало ярое, грубое, вечно злое море западного побережья.

Именно поэтому конечной целью моего путешествия я выбрал городок Юра. Песчаные пляжи, на которых летом теснятся купальщики, давно опустели; теперь там никого — только берег и море, столкнувшиеся в мрачном единоборстве. От Западного Майдзуру до Юра было три ри, и мои ноги еще смутно помнили эту дорогу.

Надо было идти на запад, вдоль отлогого берега бухты, потом пересечь железнодорожные пути, преодолеть перевал Такидзири и спуститься к реке Юрагава. Перейдя на другой берег по мосту Огава, следовало повернуть на север, а затем держаться реки, пока она не выведет к устью.

Я вышел за городскую окраину и зашагал по дороге...

Когда ноги отяжелели от усталости, я спросил себя: «А что там есть, в этом Юра? Зачем бреду я туда, каких ищу доказательств? И чему? Ведь там ничего нет — только берег и волны Японского моря». Но ноги упрямо несли меня вперед. Мне надо было дойти — все равно куда. Название городка, в который я держал путь, ничего для меня не значило, но странное, почти аморальное по своей силе мужество родилось в моей душе — я был готов встретить любую судьбу лицом к лицу.

Временами сквозь облака ненадолго проглядывало неяркое солнце, и тогда росшие вдоль дороги могучие дзельквы манили меня отдохнуть под сенью их раскидистых ветвей, но что-то подсказывало мне: нельзя терять времени, нужно спешить.

К широкой пойме реки не было пологого спуска, Юрагава вырывалась на равнину внезапно, из горной расщелины. Но здесь бег ее обильных голубых вод замедлялся, и она не спеша, словно нехотя, текла под хмурым небом к морю.

Я перешел по мосту на другой берег, дорога здесь была безлюдной. Иногда мне попадались мандариновые плантации, но ни одной живой души я так и не увидел. Даже когда я проходил мимо деревушки Кадзуэ, мне встретился лишь одинокий пес, высунувший из высокой травы черную лохматую морду.

Мне было известно, что неподалеку находится главная местная достопримечательность — развалины усадьбы знаменитого злодея древности Даю Сансё, но я, не задерживаясь, прошел мимо, достопримечательности меня не интересовали, да и смотрел я все время в другую сторону, на реку. Там был большой остров, заросший бамбуком. Ветви низко клонились под ветром, хотя на берегу было тихо и безветренно. На острове уместилось довольно большое заливное поле, но сейчас никто на нем не работал, только у самой воды спиной ко мне застыла фигура с удочкой в руке.

Я так давно уже не встречал людей, что испытал к рыболову теплое, почти родственное чувство.

«Похоже, лобанов ловит,— подумал я. — А если так, значит, и до устья недалеко».

В это время бамбук зашелестел еще пуще, заглушив журчание воды, и над ним повисла какая-то прозрачная пелена — наверное, дождь. Песок на острове потемнел от влаги, а тем временем полило и на моем берегу. Я мок под холодными струями, на островке же дождь успел кончиться. Рыболов не двинулся с места, так и сидел, скрючившись над водой. Наконец, тучу унесло.

Заросли мисканта и высокие осенние травы на каждом повороте дороги заслоняли обзор, но я знал, что до устья уже рукой подать. Холодный морской ветер задул мне в лицо.

У самого устья по речной шири было разбросано несколько пустынных островков. До моря оставалось совсем недалеко, соленая вода, наверное, уже пыталась растворить в себе поток, но река пребывала в безмятежном спокойствии, ничем не намекая на свой близкий конец. Я подумал, что так же незаметно умирает лежащий без сознания человек.

Горло реки было неожиданно узким. Море, вбиравшее и поглощавшее пресноводный поток, лежало, сливаясь с мрачным нагромождением облаков в единую темную массу.

Для того чтобы ощутить прикосновение моря, я должен был еще немного побродить по берегу, насквозь продуваемому порывистым ветром с полей. Ветер рисовал свои узоры по всему огромному северному морю. Поля были пустынны, и вся нерастраченная мощь воздушных потоков предназначалась только этим волнам. Таково зимнее море здешних краев — слитое с небом, подавляющее и почти невидимое.

Вдали слоились пепельно-серые волны, а прямо напротив устья плавала диковинная шляпа-котелок — остров Каммури, заповедное обиталище редчайших птиц; до него было восемь ри.

Я шел через поле. Огляделся по сторонам. Какие унылые, заброшенные места!

В этот миг что-то очень важное открылось моему сердцу. Вспыхнуло — и погасло, прежде чем рассудок успел уловить смысл. Я остановился и немного постоял, но ледяной ветер выдувал прочь все мысли. Я снова зашагал ему навстречу.

Тощие поля перемежались каменистыми пустошами, травы наполовину высохли, там же, где зелень еще уцелела, она жалась к земле, измятая и похожая на мох. Земля здесь была перемешана с песком.

Раздался низкий дрожащий звук. Потом я услышал голоса — в тот самый миг, когда, повернувшись на минуту спиной к ветру, взглянул на пик Юрагатакэ.

Я осмотрелся, пытаясь понять, где люди. Узкая тропинка петляла меж невысоких скал, спускаясь к морю. Я увидел, что там ведутся работы по укреплению берега. У кромки прибоя валялись бетонные опоры, похожие на кости, их свежая белизна ярко выделялась на тусклом фоне песка. Услышанный мной странный вибрирующий звук оказался шумом работающей бетономешалки. Несколько красноносых рабочих с любопытством оглядели мою фигуру в студенческой тужурке, когда я проходил мимо. Я тоже посмотрел на них, этим контакт между членами семьи человечества и ограничился.

Берег врезался в море острым конусом. Приближаясь по песку к линии прибоя, я ощущал прилив жгучей радости; мелькнувшее молнией, а затем погасшее озарение с каждым моим шагом делалось все ближе. Ветер обжигал меня холодом, руки совсем закоченели без перчаток, но какое это имело значение!

Вот оно, настоящее Японское море! Здесь источник всех моих несчастий и черных мыслей, моего уродства и моей силы. Дикое, неистовое море. Волны катились к берегу одна за другой, между ними пролегали глубокие пепельные впадины. Над мрачным простором громоздились тяжелые, замысловатые тучи. Массивные и бесформенные,

они были обрамлены холодной и легкой как перышко каймой, а в самой их гуще призрачно серел кусочек серо-голубого неба. Вдали над свинцовыми волнами вставали черно-красные скалы мыса. В этой картине были слиты воедино движение и неподвижность, беспрестанное шевеление темных сил и застывшая монолитность металла.

Мне вдруг вспомнились слова Касиваги, сказанные в день нашего знакомства. Он говорил, что самые кошмарные зверства и жестокости зарождаются в ясный весенний день, когда вокруг зеленеет подстриженная травка и ласково светит солнце.

Сейчас я стоял над яростным морем, в лицо мне дул злой ветер. Не было здесь ни зеленого газона, ни весеннего солнца. Но дикая эта природа была куда ближе моему сердцу, чем сияние тихого и ясного дня. Здесь я ни от кого и ни от чего не зависел. Ничто мне не угрожало.

Можно ли назвать жестокими овладевшие мной в этот миг думы? Не знаю, но всколыхнувшееся в моей душе чувство озарило меня изнутри, высветило значение явившегося мне на поле откровения. Я не пытался охватить его рассудком, а просто замер, ослепленный сиянием идеи. Мысль, никогда прежде не возникавшая у меня, набирала силу и разрасталась до неохватных размеров. Уже не она принадлежала мне, а я ей. Мысль была такова: «Я д о л ж е н с ж е ч ь З о л о т о й Х р а м».

Глава восьмая

Я шел, не останавливаясь, до железнодорожной станции «Танго-Юра». Когда-то, еще в гимназии, наш класс совершил экскурсию по тому же маршруту и вернулся отсюда в Майдзуру на поезде. Дорожка, ведущая к станции, была почти безлюдна — городок существовал за счет недолгого курортного сезона, а на остальную часть года вымирал.

Я решил остановиться в маленькой пристанционной гостинице, носившей длинное название «Гостиница «Юра» для любителей морского купания». Приоткрыв стеклянную дверь, я крикнул: «Есть тут кто-нибудь?» — но ответа не дождался. Слой пыли на ступеньках, закрытые ставни, темнота внутри — все говорило о том, что гостиница давно стоит пустая.

Я обошел дом вокруг и позади него обнаружил маленький садик с увядшими хризантемами. Наверху был установлен бак для воды, от него тянулся шланг душа,— видимо, летом, возвращаясь с пляжа, постояльцы смывали здесь песок, приставший к телу.

Чуть поодаль стоял домик, в котором, очевидно, жила семья владельца гостиницы. Сквозь закрытую дверь гремело радио, включенное на полную мощность. Громкие звуки гулко отдавались в доме, и казалось, что он тоже пуст. Я поднялся в переднюю, где валялось несколько пар обуви, подал голос и подождал. Опять никого.

Тут я почувствовал, что сзади кто-то стоит. Я заметил это по тени на ящике для обуви, которая вдруг едва заметно шевельнулась — солнце еле-еле просвечивало сквозь облака.

На меня смотрела расплывшаяся от жира женщина с узенькими, терявшимися в складках глазками. Я спросил, можно ли снять комнату. Она повернулась и, ни слова не говоря, зашагала к гостинице.

Я поселился в маленькой угловой комнатке второго этажа, обращенной окном в сторону моря. Женщина принесла небольшую жаровню, и дым очень скоро сделал застоявшийся запах плесени невыносимым — комната слишком долго была заперта. Я распахнул окно и подставил лицо северному ветру. Над морем облака все водили свой неторопливый грузный хоровод, не предназначенный для зрителей. Облака двигались, словно следуя каким-то бесцельным импуль-

сам самой природы. Но кое-где сквозь белую пелену непременно проглядывали кусочки неба, маленькие голубые кристаллы чистого разума. Моря не было видно.

Стоя у окна, я обдумывал свою идею. Почему мне пришло в голову сжечь Золотой Храм, а, скажем, не убить Учителя, спрашивал я себя.

Мысль уничтожить настоятеля иногда возникала у меня и прежде, но я прекрасно понимал тщетность подобного акта. Ну убью я его, а что толку — обритая голова и проклятое бессилие будут являться мне вновь и вновь, выползая откуда-то из-за ночного горизонта.

Нет, живые существа не обладают раз и навсегда определенной однократностью жизни, присущей Золотому Храму. Человеку дана лишь малая часть бесчисленных атрибутов природы; пользуясь ею, он живет и размножается. Вечное заблуждение — пытаться уничтожить кого-нибудь бесследно при помощи убийства, думал я. Контраст между существованием Храма и человеческой жизнью несомненен: может показаться, что человека убить очень легко, но это ошибка, над ним ореол вечной жизни; в то же время красоту Золотого Храма, представляющуюся несокрушимой, вполне можно стереть с лица земли. Нельзя вывести с корнем то, что смертно, но не так уж трудно истребить нетленное. Как люди до сих пор не поняли этого? Честь открытия, несомненно, принадлежала мне. Если я предам огню Золотой Храм, объявленный национальным сокровищем еще в конце прошлого века, это будет акт чистого разрушения, акт безвозвратного уничтожения, который нанесет несомненный и очевидный урон общему объему Прекрасного, созданного и накопленного человечеством.

От этих мыслей я даже пришел в игривое расположение духа. «Сожжение Храма даст невероятный педагогический эффект,— весело думал я.— Я продемонстрирую человечеству, что простая аналогия еще не дает права на бессмертие. Если Храм благополучно простоял на берегу Зеркального пруда пять с половиной столетий, это вовсе не гарантирует, что он будет пребывать там и дальше. Глядишь, люди наконец забеспокоятся, уяснив, что все так называемые самоочевидные аксиомы, которые они себе напридумывали, в любой миг могут оказаться несостоятельными».

Вот-вот, именно так. Наше существование поддерживается за счет определенных сгустков времени. Представьте себе, что столяр сделал выдвижной ящик для стола. Через десятилетия и века время кристаллизуется, приняв форму этого ящика, подменяет его собой. Небольшой кусочек пространства поначалу был занят вещью, но постепенно предмет как бы вытесняется сгустившимся временем. На смену материальному объекту приходит его дух. В начале средневековой книги волшебных преданий «Цукумогами» есть такое место: «В сказаниях об Инь и Ян [1] говорится, что по истечении каждых ста лет старые вещи превращаются в духов и вводят в соблазн людские души. Зовутся они «Цукумогами» — «Духами скорби». Ежегодно по весне люди выбрасывают из домов ненужное старье, это называется «очищением дома». И лишь раз в сто лет сам человек становится жертвой Духов скорби...»

Мой поступок откроет человечеству глаза на бедствия, приносимые «Духами скорби», и спасет от них людей. Я превращу мир, где существует Золотой Храм, в мир, где Золотого Храма нет. И суть Вселенной тогда коренным образом переменится...

Все большая радость охватывала меня. Падение и крах окружавшего меня, маячившего перед моими глазами мира были близки как никогда. Косые лучи заходящего солнца легли на землю, и мир, несущий в себе Золотой Храм, вспыхнул в их сиянии, а затем медленно, но неумолимо, словно шуршащий меж пальцев песок, стал рассыпаться...

---

[1] По древнекитайской натурфилософии, два полярных первоначала: темное и светлое, женское и мужское.

* * *

Моя жизнь в гостинице «Юра» продолжалась три дня. Конец ей положила хозяйка — встревоженная моим упорным нежеланием выходить куда-либо из номера, она привела полицейского. Увидев человека в мундире, входящего в комнату, я поначалу испугался, что мой план раскрыт, но тут же понял всю нелепость своего страха. Отвечая на вопросы, я сказал правду: что решил немного отдохнуть от храмовой жизни. Показал студенческое удостоверение и немедленно сполна расплатился за гостиницу. Позвонив в Рокуондзи и убедившись, что я не солгал, полицейский решил отнестись ко мне по-отечески и объявил, что лично доставит беглеца в обитель. Он даже переоделся в штатское, чтобы «не повредить моему будущему».

Пока мы ждали поезда на станции, полил дождь, укрыться от которого на перроне было негде. Полицейский отвел меня в станционную контору, с гордостью пояснив, что начальник и прочие служащие — его друзья. Меня неугомонный страж порядка представил им как своего племянника, приезжавшего из Киото навестить дядю.

Я подумал, что понимаю психологию революционера. Этот провинциальный полицейский и начальник станции сидели у раскаленной докрасна железной печки и весело болтали, ничуть не подозревая о надвигающемся перевороте всей их жизни, о неминуемой и близкой гибели существующих порядков. «Храм сгорит,— рассуждал я,— да-да, Храм сгорит, и мир этих людей переменится, все их извечные устои перевернутся вверх дном, нарушится расписание поездов, утратят силу законы!»

Они и понятия не имели, что рядом с самым невинным видом греет руки будущий преступник — эта мысль изрядно меня веселила. Один из железнодорожных служащих, молодой жизнерадостный парень, громко рассказывал, какой фильм пойдет смотреть в ближайший выходной. Картина — закачаешься, говорил он, жалостная до жути, но действия тоже хватает. Надо же, в следующий выходной он пойдет в кино! Этот юноша, крепкий и пышущий здоровьем — не то что я,— посмотрит свою картину, потом, наверное, переспит с женщиной и вечером, довольный, спокойно уснет.

Он без конца сыпал шутками, поддразнивая начальника станции, тот беззлобно отругивался. Парень ни минуты не сидел на месте — то ворошил угли в печке, то писал мелом на доске какие-то цифры. Снова соблазн жизни, зависть к живущим пытались взять меня в плен. Ведь я тоже мог бы жить как он — не поджигать Храм, а уйти из обители, навек распрощаться с монашеством...

Но темные силы с новой мощью всколыхнулись в моей душе и увлекли меня за собой. Я должен сжечь Кинкакудзи. Когда я свершу это, начнется невероятная, удивительная жизнь, скроенная специально по моему заказу.

Зазвонил телефон. Поговорив, начальник станции подошел к зеркалу и аккуратно надел фуражку с золотым кантом. Потом откашлялся, расправил плечи и, словно выходя на сцену, шагнул на мокрую после дождя платформу. Вскоре послышался шум поезда, скользившего по рельсам прорубленного в скалах пути. Стук колес далеко разносился во влажном воздухе.

* * *

Мы прибыли в Киото без десяти восемь, и полицейский в штатском довел меня до ворот Рокуондзи. К вечеру сильно похолодало. Когда черные стволы сосновой рощи остались позади и угловатая громада ворот нависла над самыми нашими головами, я увидел, что у входа стоит мать. Она ждала возле знакомой грозной таблички, гласившей, что «несоблюдение вышеуказанного карается законом». В свете фонаря казалось, будто каждый волос на растрепанной голове

матери стоит дыбом и что голова эта совсем седая. Маленькое личико под сбившейся прической было неподвижным.

Щуплая фигурка матери вдруг стала раздуваться прямо у меня на глазах и достигла исполинских размеров. За ее спиной в открытых створках ворот чернела тьма храмового двора; на этом зловещем фоне мать, одетая в видавшее виды кимоно, которое поверху было подпоясано ветхим златотканым поясом, показалась мне похожей на труп.

Я остановился. не решаясь подойти к ней ближе. Непонятно было, откуда она здесь взялась. Это потом я узнал, что, обеспокоенный моим исчезновением, настоятель известил о случившемся мать, которая, страшно перепугавшись, немедленно приехала в Рокуондзи и оставалась тут до самого моего возвращения.

Полицейский подтолкнул меня в спину. По мере приближения к воротам силуэт матери сжимался, приобретая свои обычные очертания. Уродливо искаженное лицо смотрело на меня снизу вверх.

Интуиция никогда меня не обманывала. Глядя в маленькие, хитрые, глубоко запавшие глазки, я подумал, что моя ненависть к матери вполне оправданна. Уже одно то, что эта женщина повинна в моем появлении на свет, вызывало ненависть; мучительное же воспоминание, о котором я уже говорил, отдаляло меня от матери и делало месть ей невозможной. Но невозможно было и оборвать связующие нас нити.

Теперь же, видя это лицо, искаженное материнским горем, я вдруг почувствовал, что отныне свободен. Сам не знаю почему, но внезапно я ощутил, что матери никогда уже не удастся запугать меня.

Она всхлипнула, сдавленно простонала, а потом слабо ударила меня по щеке.

— Неблагодарный! Бесстыжий!

Полицейский молча наблюдал, как мать осыпает меня пощечинами. В разбросанных пальцах не было силы, ногти ударялись о мою щеку мелким градом. Даже сейчас лицо матери сохраняло приниженное, молящее выражение. Я отвел глаза. Наконец, она угомонилась и уже совсем другим тоном спросила:

— А деньги? Где ты деньги достал на такую поездку?

— Деньги? У товарища занял.

— Не врешь? Ты их не украл?

— Ничего я не крал.

Мать облегченно вздохнула, словно это было единственное, что ее беспокоило.

— Точно? Значит, ты ничего такого уж ужасного не натворил?

— Нет.

— Ох, ну тогда еще ладно... Попросишь прощения у святого отца. Я уже умоляла простить тебя, но ты должен убедить его, что раскаялся. Святой отец милосерден, он не станет тебя наказывать. Но учти, если ты не возьмешься за ум, твоей бедной матери останется только умереть. Так и знай! Ты меня в гроб загонишь, если не образумишься. Помни, ты должен стать большим человеком... А теперь иди и умоляй отца настоятеля простить тебя.

Она пошла вперед, мы с полицейским последовали за ней. Мать забыла даже поздороваться с моим спутником.

Я смотрел ей в спину, на слегка отвисший пояс кимоно. Почему мать мне так отвратительна?— думал я. Надежда — вот в чем дело. Ее уродует постоянно живущая в ней надежда, непобедимая, словно угнездившаяся в грязной коже чесотка, что без конца выходит наружу мокнущей красной сыпью.

* *

Наступила зима. Моя решимость крепла день ото дня Я без конца откладывал осуществление своего замысла, и бесконечные эти проволочки ничуть мне не надоедали.

В течение последующего полугодия меня мучило совсем другое. В конце каждого месяца ко мне приставал Касиваги, сообщал мне, сколько набежало процентов на мой долг, и, грязно ругаясь, требовал уплаты. Деньги ему возвращать я не собирался. А чтобы не встречаться с кредитором, достаточно было просто не ходить в университет.

Пусть никого не удивляет, что, приняв столь роковое решение, я не терзался сомнениями, не колебался и не пытался отказаться от своей идеи. Нерешительность и переменчивость исчезли без следа. Все полгода мой взгляд оставался неподвижным, прикованный к некой точке в будущем. Наверное, в этот период я впервые узнал, что такое счастье.

Прежде всего, моя жизнь в обители стала легкой и приятной. Раз решив, что Золотому Храму суждено погибнуть в огне, я перестал обращать внимание на неприятности, ранее казавшиеся мне невыносимыми. Словно больной, готовящийся к скорой смерти, я был приветлив и любезен со всеми, ничто не могло лишить меня душевного равновесия. Я примирился даже с природой. Всю зиму по утрам я с глубокой симпатией наблюдал за пушистыми птичками, прилетавшими клевать ягоды падуба.

Ненависть к Учителю — и та оставила меня! Я разом освободился и от него, и от матери, и от многого другого. Однако я был не настолько глуп, чтобы поверить, будто обретенное мной благополучие означает, что мир вдруг переменился — сам по себе, безо всякого вмешательства с моей стороны. Любое событие и явление можно извинить, если смотреть на него с точки зрения конечного результата. Именно такими глазами смотрел я на жизнь — на этом, да еще на сознании того, что конечный результат зависит только от меня, и зиждилась моя свобода.

Идея сжечь Кинкакудзи возникла у меня неожиданно, но она пришлась моей душе впору, словно сшитый на заказ костюм. Казалось, что именно к этому и стремился я всю свою жизнь. Во всяком случае, с того дня, когда отец впервые привел меня к Золотому Храму,— еще тогда семя упало в мое сердце, чтобы со временем взойти и расцвести. Подросток увидел творение, с красотой которого не могло сравниться ничто на земле. Вот она, причина, по которой я стал поджигателем!

17 марта 1950 года я закончил подготовительное отделение университета Отани. Два дня спустя мне исполнился двадцать один год. Итоги трех лет обучения были поистине впечатляющими: из семидесяти девяти студентов я вышел семьдесят девятым, мне же принадлежал и рекордно низкий балл — сорок два по-японскому. Я прогулял двести восемнадцать часов из шестисот шестнадцати, то есть более трети всех занятий. Несмотря на это, меня благополучно перевели на основное отделение — университетское начальство руководствовалось буддийской доктриной милосердия, и неуспевающих из Отани не отчисляли. Настоятель молча наблюдал за моими достижениями.

Я продолжал пропускать лекции. Прекрасную пору поздней весны и начала лета я провел, бродя по буддийским и синтоистским храмам — благо платы за вход там не требовали. Я ходил и ходил — сколько выдерживали ноги.

Помню один из тех дней. Я шел по улице мимо храма Мёсиндзи и вдруг увидел впереди себя студента, бредущего той же рассеянной походкой, что и я. Он свернул в старую табачную лавку, и я увидел в профиль его лицо под козырьком форменной фуражки.

В глаза мне бросились насупленные брови, резкие, угловатые черты и очень белая кожа. На фуражке красовалась эмблема Киотоского университета. Студент краешком глаза взглянул в мою сторону, и меня словно накрыло густой тенью. Я интуитивно почувствовал: передо мной еще один поджигатель.

Было три часа дня. Время, малоподходящее для поджога. Над асфальтом мостовой порхала бабочка. Вот она подлетела к табачной

лавке и села на увядшую камелию, сиротливо торчавшую в вазе. Лепестки белого цветка по краям потемнели, будто опаленные огнем. Улица была пуста, время на ней словно остановилось.

Не знаю, с чего я решил, что студент готовит поджог. Почему-то я был уверен, что это поджигатель. Он специально выбрал самое трудное время, разгар дня, и теперь твердо идет к намеченной цели. Там, куда он направляется,— огонь и уничтожение, а позади остаются поверженные в прах устои. Так думал я, глядя на маячившую впереди напряженную спину в студенческой тужурке. Именно так в моем представлении должна была выглядеть спина поджигателя. Обтянутая черным сержем, она казалась мне преисполненной гнева и несчастья.

Я замедлил шаг, решив следовать за студентом. Я смотрел на эту фигуру — левое ее плечо было заметно ниже правого — и не мог отделаться от ощущения, будто вижу самого себя со спины. Студент был красивее меня, но я не сомневался, что та же смесь одиночества, злосчастия и опьянения Прекрасным направила его по моему пути. Чувство, что передо мной разворачивается картина моего будущего свершения, все крепло.

Подобные фантазии легко возникают в мае, когда так светел день и так тягуч прозрачный воздух. Я раздвоился, и вторая моя половина, имитируя предстоящее деяние, показывала, как все будет, когда я решусь привести свой замысел в исполнение.

На улице по-прежнему не было машин, да и прохожие словно под землю провалились. Впереди показались величественные Южные ворота храма Мёсиндзи. Широко распахнутые створки обрамляли богатый и многообразный мир — моему взору открылся вид на Зал Гостей, на густой лес колонн храма, на черепицу крыши, на сосны и еще на аккуратный квадрат ярко-синего неба, усыпанный мелкими облачками. По мере приближения к воротам мир, заключенный в них, расширялся, вбирая в себя каменные дорожки, пагоды и многое-многое другое. Я знал, что если пройти под широким сводом этих таинственных ворот, то окажется, что они поглотили весь бескрайний небосвод и все бесчисленные облака. Вот он, истинный храм, подумал я.

Студент вошел в ворота. Обойдя стороной Зал Гостей, он остановился перед главным зданием, возле пруда, в котором цвели лотосы. Постоял немного, поднялся на каменный китайский мостик, соединявший берега пруда, и, задрав голову, стал смотреть на храм. Его-то он и хочет поджечь, решил я.

Храм действительно был великолепен и вполне заслуживал чести погибнуть в огне. В такой ясный день пожар заметят не сразу. Лишь когда клубы дыма потянутся вверх, тая в себе невидимые языки пламени, лишь когда задрожит и исказится голубой небосклон, все поймут, что произошло.

Студент подошел к самому храму, а я, чтобы не спугнуть его, прижался к стене. Был час, когда в обитель возвращаются нищенствующие монахи, на мощенной камнем дорожке как раз появились три мужские фигуры с широкими соломенными шляпами в руках. Согласно уставу, нищенствующие монахи до самого возвращения в свои кельи должны смотреть только под ноги и не могут разговаривать друг с другом. Молчаливая троица прошла мимо меня и, свернув направо, исчезла за углом.

Студент нерешительно топтался у стены храма. Наконец он прислонился к одной из деревянных колонн и достал из кармана купленные недавно сигареты, все время беспокойно озираясь. Я догадался, что он хочет зажечь огонь, притворяясь, будто прикуривает. Вот студент сунул в рот сигарету, нагнул голову и чиркнул спичкой.

Я увидел маленький прозрачный огонек. Думаю, что и сам студент не смог бы определить, какого цвета это пламя,— солнце заливало храм с трех сторон, оставляя в тени лишь мою, восточную. Огонь жил всего какое-то мгновение. Потом курильщик отчаянно затряс

рукой, и спичка погасла. Этого ему показалось мало, он бросил спичку на каменную ступеньку и еще притоптал ботинком. Со вкусом затянувшись, студент повернул назад: прошел по китайскому мостику, миновал Зал Гостей и неторопливым шагом направился к Южным воротам, за которыми смутно виднелась улица. Я остался наедине со своим разочарованием...

Оказывается, никакой это был не поджигатель, а самый обыкновенный студентик. Наверное, не знал, чем себя занять, вот и вышел прогуляться.

Я наблюдал за его поведением с самого начала и до самого конца, все в нем теперь было мне неприятно: и то, как боязливо озирался он по сторонам — не потому, что собирался устроить поджог, а просто зная, что на территории храма курить запрещено; и то, как мелко, чисто по-школярски, радовался он своей проделке; а больше всего то, с какой тщательностью топтал он уже погасшую спичку,— тоже мне «защитник цивилизации». Из-за этой самой цивилизации крошечный огонек спички находился под строжайшим контролем. Студентик явно считал себя лицом, ответственным за спичку, гордился тем, как надежно и старательно защищает от огня общество.

То, что со времени революции Мэйдзи [1] старинные храмы в Киото и его окрестностях больше не гибнут от пожаров, тоже следует отнести за счет «благ» этой пресловутой цивилизации. Если и загорится где-нибудь, сразу тут как тут пожарные: локализуют, рассекают, контролируют. Раньше было иначе. Например, храм Тионъин в 3 году эры Эйкё [2] выгорел дотла, да и в последующие века не раз становился жертвой огня. В 4 году эры Мэйтоку [3] произошел большой пожар в храме Нандзэндзи, уничтоживший главное здание, Зал Закона, Алмазный Зал и Дом Большого Облака. Во втором году Гэнки [4] в пепел обратился храм Энрякудзи. В 21 году Тэмбун [5] сгорел в огне междоусобной войны храм Кэндзиндзи. В 1 году Кэнтё [6] выгорел храм Сандзюсангэндо. В 10 году Тэнсё [7] погиб в пламени храм Хоннодзи...

В минувшие века от одного пожара до следующего было рукой подать. Тогда огонь не рассекали на части, не подавляли с такой легкостью; один очаг пожара протягивал руку другому, и иногда они сливались в единое море пламени. Такими же, наверное, были и люди. Начавшийся пожар всегда мог воззвать к своим собратьям, и его голос непременно бывал услышан и подхвачен. Храмы горели по чьей-то неосторожности, загорались от соседних строений, пылали в военных вихрях. В летописях ничего не говорится о преднамеренных поджогах, но это и понятно: если бы в древние времена и родился мой единомышленник, ему было бы достаточно просто затаиться и ждать своего часа. Рано или поздно любой храм непременно сгорал. Пожары были обильны и неукротимы. Только выжди — и огонь обязательно вспыхнет, сольется с соседним, и вместе они сделают за тебя всю работу. Поистине чудо, что Кинкакудзи избежал всеобщей участи. Пожары были в порядке вещей, разрушение и отрицание являлись непременными составляющими бытия, все возведенные храмы неминуемо сгорали — одним словом, принципы и законы буддизма безраздельно господствовали на земле. Если и случались поджоги, то акт этот настолько напоминал призыв к стихийным силам природы, что летописцам и в голову не приходило отнести свершившееся на счет чьей-то злой воли.

Тогда миром управлял хаос. Но и ныне, в 1950 году, сумятицы и содома хватает. Так почему же, если в прежние смутные времена

[1] 1868 г.
[2] 1431 г.
[3] 1393 г.
[4] 1571 г.
[5] 1552 г.
[6] 1249 г.
[7] 1582 г.

храмы сгорали один за другим, в теперешнюю, не менее лихую годину Кинкакудзи должен уцелеть?

* * *

Хоть я и перестал посещать занятия, в библиотеку ходил по-прежнему часто. И вот как-то в мае столкнулся на улице с Касиваги, от которого давно уже прятался. Я поторопился пройти мимо, но мой бывший приятель, весело улыбаясь, заковылял вдогонку. Мне ничего не стоило убежать от хромого калеки, и именно поэтому я остановился.

Касиваги, тяжело дыша, поравнялся со мной и схватил за плечо. Помнится, шел шестой час, занятия в университете уже закончились. Выйдя из библиотеки, я специально, чтобы не наткнуться на Касиваги, прошел задами, выбрав окольную дорогу между западной стеной и крайним из бараков. Здесь был пустырь, росли дикие хризантемы, валялись пустые бутылки и бумажки. Стайка мальчишек, тайком пробравшихся на территорию университета, играла в мяч. От их звонких голосов безлюдные аудитории казались еще более унылыми — через разбитые окна барака виднелись ряды пустых пыльных столов. Я как раз миновал пустырь и уже вышел к главному корпусу, когда наткнулся на Касиваги. Остановились мы возле сарайчика, гордо именуемого «студией» — там проходили занятия кружка икэбаны. За университетской оградой начиналась аллея камфарных лавров, тень от их крон накрывала крышу «студии» и ложилась на стену главного корпуса. Красные кирпичи весело пунцовели в предвечернем свете.

Запыхавшийся от спешки Касиваги прислонился к этой стене, на хищном его лице трепетала тень от листвы. А может быть, иллюзию подвижности создавал красный фон, столь мало подходивший к этим резким чертам.

— Пять тысяч сто иен,— объявил Касиваги.— Общий итог на конец мая. Смотри, с каждым месяцем расплатиться будет все труднее.

Он вытащил из нагрудного кармана тщательно сложенную расписку, которую всегда носил с собой, развернул и сунул мне под нос. А потом, видимо, испугавшись, что я вырву вексель у него из рук, снова сложил его и поспешно спрятал назад в карман. Я успел разглядеть лишь отпечаток моего большого пальца, ядовито-красный и безжалостно отчетливый.

— Гони денежки, и поживее. Тебе же, дураку, лучше будет. Расплачивайся как хочешь, хоть из своей платы за обучение.

Я молчал. Мир находился на краю гибели, а я должен отдавать долги? Я заколебался, не намекнуть ли Касиваги на грядущее деяние, но вовремя удержался.

— Ну, что молчишь? Заикаться стесняешься? Чего уж там, я и так знаю, что ты заика. Стена,— он постучал кулаком по освещенному солнцем кирпичу, ребро ладони окрасилось красной пылью,— стена, и та знает. Весь университет об этом знает. Что ж ты молчишь?

Я молча смотрел ему в лицо. В этот момент мяч, которым перебрасывались мальчишки, отлетел в нашу сторону и упал как раз между нами. Касиваги наклонился, чтобы подобрать его. До мяча было с полшага, и я со злорадным интересом стал наблюдать, как придвинется к нему Касиваги на своих искалеченных ногах. Непроизвольно мой взгляд скользнул вниз. Касиваги с невероятной быстротой уловил это едва заметное движение. Он стремительно разогнулся и взглянул на меня в упор. Всегда холодные глаза его сверкнули жгучей ненавистью.

Подбежавший мальчишка подобрал мяч и умчался прочь.

— Ладно,— процедил Касиваги.— Раз ты со мной так, то предупреждаю: через месяц я еду домой, и перед этим я вытрясу из тебя свои деньги. Так и знай.

* * *

В июне занятия по основным предметам закончились, и студенты стали потихоньку собираться домой, на каникулы. Десятое июня — этот день я не забуду никогда.

С самого утра накрапывал дождь, а вечером начался настоящий ливень. Поужинав, я сидел у себя в келье и читал. Часов в восемь кто-то прошел по коридору от Зала Гостей к Большой библиотеке. Это был один из тех редких вечеров, которые настоятель проводил в обители. Похоже, гость направлялся к нему. Но звук шагов показался мне каким-то странным — словно дождевые капли барабанили по дощатой двери. Ровно и чинно семенил впереди послушник, а за ним медленно и тяжело шествовал гость — пол громко скрипел под его шагами.

Темные анфилады комнат Рокуондзи были заполнены шумом дождя. Ливень словно ворвался в окутанные мраком бесчисленные залы и коридоры. И на кухне, и в кельях, и в Зале Гостей все звуки утонули в рокоте дождя. Я представил, как небесный поток заливает Золотой Храм. Немного приоткрыв сёдзи, я выглянул наружу. Внутренний дворик был покрыт водой, в огромной луже блестели черные спины камней.

В дверь моей кельи просунулась голова послушника — того, что поселился в храме не так давно.

— К Учителю пришел какой-то студент по имени Касиваги,— сообщил он.— Говорит, что твой друг.

Меня охватила тревога. Молодой очкастый послушник, в дневное время работавший учителем в начальной школе, повернулся, чтобы идти, но я удержал его. Мысль, что придется сидеть одному, мучаясь догадками о разговоре в Большой библиотеке, была мне невыносима.

Прошло минут пять. Потом послышался звон колокольчика из кабинета настоятеля. Резкий звук повелительно ворвался в шум дождя и тут же затих. Мы переглянулись.

— Это тебя,— сказал послушник. Я медленно поднялся.

На столе настоятеля лежала моя расписка с красным оттиском пальца. Учитель показал на нее и спросил меня, стоявшего на коленях у порога кабинета:

— Это твой отпечаток?

— Да,— ответил я.

— Что же ты вытворяешь?! Если твои безобразия не прекратятся, я выгоню тебя из храма. Заруби себе на носу. Ты уже не первый раз...— Настоятель замолчал, видимо не желая продолжать этот разговор при Касиваги, и добавил:— Я заплачу твой долг. Можешь идти.

Тут я впервые взглянул на Касиваги. Он чинно сидел с самым невинным выражением лица. На меня он не смотрел. Каждый раз, когда Касиваги совершал очередную гнусность, его лицо светлело, словно приоткрывались самые сокровенные глубины его души. Один я знал за ним эту особенность.

Я вернулся к себе. Послушник уже ушел. Яростно грохотал ливень; я чувствовал себя совсем одиноким и — свободным.

«Я выгоню тебя из храма»,— сказал настоятель. Впервые слышал я от него такие слова, такую недвусмысленную угрозу. И вдруг понял: решение о моем изгнании Учителем уже принято. Я д о л ж е н с п е ш и т ь.

Если б не донос Касиваги, настоятель нипочем бы не проговорился, и я снова отложил бы исполнение своего замысла. Я испытал нечто вроде благодарности к бывшему приятелю — ведь это его поступок дал мне силы приступить к задуманному.

Ливень и не думал стихать. Несмотря на июнь, было зябко, и моя крошечная келья в тусклом свете лампочки имела вид заброшенный и неприютный. Вот оно мое жилище, из которого вскоре, вполне вероятно, я буду изгнан. Ни одного украшения, края выцвет-

ших соломенных матов пола почернели и растрепались. Заходя в темную комнату, я вечно задевал их ногами, но так и не удосужился заменить настил. Огонь пылавшей во мне жизни был бесконечно далек от каких-то там соломенных матов.

Тесная комнатка с наступлением лета пропитывалась кисловатым запахом моего пота. Мое тело, тело монаха, пахло точно так же, как тело обыкновенного юноши,— смешно, не правда ли? Его испарения впитывались в дощатые стены, черную древесину толстых столбов, стоявших по углам кельи. Звериный смрад молодого тела сочился из всех щелей старинного дерева, покрытого патиной веков. Все эти доски и колонны казались мне каким-то животным, неподвижным и пахучим.

По коридору загрохотали уже знакомые шаги. Я встал и вышел из кельи. Касиваги замер на месте, словно механическая игрушка, у которой кончился завод. Во дворе, за его спиной, высоко вздымала свой потемневший от влаги «нос» сосна «Парусник», на которую падал свет из окна настоятельского кабинета. Я улыбнулся Касиваги и с удовлетворением отметил, что на его лице впервые промелькнуло нечто, напоминающее страх.

— Ты ко мне не зайдешь? — спросил я его.

— Ты чего это? Никак, пугать меня вздумал? Странный ты тип.

В конце концов он согласился войти и боком, весь скрючившись, уселся на предложенный ему тощий дзабутон[1]. Не спеша обвел взглядом комнату. Гул дождя закрыл от нас весь внешний мир плотной завесой. Струи хлестали по настилу открытой веранды, временами капли звонко ударяли по бумажным сёдзи.

— Ты на меня зла не держи,— сказал Касиваги.— В конце концов сам виноват... Ну и будет об этом.

Он достал из кармана конверт со штемпелем храма Рокуондзи и вынул оттуда купюры, три новехоньких бумажки по тысяче иен каждая.

— Свеженькие совсем,— заметил я.— Наш настоятель чистюля, каждые три дня гоняет отца эконома в банк менять мелочь на банкноты.

— Гляди, всего три тысячи. Ну и скупердяй ваш преподобный. Говорит, товарищу под проценты в долг не дают. А сам прямо лопается от барышей.

Разочарование приятеля доставило мне немало радости. Я от души рассмеялся, и Касиваги присоединился к моему смеху. Однако мир между нами воцарился ненадолго. Касиваги оборвал свой смех и, глядя куда-то поверх меня, спросил, словно отрезал:

— Думаешь, я не вижу? По-моему, приятель, ты вынашиваешь кое-какие разрушительные планы, а?

Я с трудом выдержал его тяжелый взгляд, но почти сразу понял, что под «разрушительными планами» он имеет в виду нечто совсем иное, и успокоился. Ответил я, не заикаясь:

— Нет. Какие там еще планы.

— Да? Нет, ей-богу, чудной ты парень. Более странного экземпляра в жизни не встречал.

Эта реплика несомненно была вызвана дружелюбной улыбкой, не исчезавшей с моих губ. Я подумал, что Касиваги нипочем не догадаться о той благодарности, которую я к нему испытываю, и мои губы расползлись еще шире. Самым дружеским тоном я спросил:

— Что, домой едешь?

— Ага. Завтра. Проведу лето в Санномия. Ну и скучища там...

— Теперь не скоро в университете увидимся.

— Какая разница, все равно ты на занятия носа не кажешь,— Касиваги расстегнул пуговицы студенческого кителя и зашарил ру-

[1] Плоская подушка для сидения.

кой во внутреннем кармане.— Вот, смотри, какой я тебе на прощанье подарочек принес. Ты ведь обожал своего дружка, верно?

Он бросил на стол несколько писем. Увидев на конвертах имя отправителя, я вздрогнул, а Касиваги небрежно обронил:

— Почитай, почитай. Память о Цурукава.

— Вы что, с ним были друзья?

— Вроде того. Я-то был ему другом. На свой манер. А вот он себя моим другом не считал. Тем не менее душу выворачивал наизнанку именно передо мной. Я думаю, он не обидится, что я даю тебе его письма, как-никак три года уже прошло. Да и потом, ты был с ним ближе всех, я давно собирался показать тебе его признания.

Все письма были написаны незадолго до гибели Цурукава, в мае сорок седьмого. Оказывается, в последние дни своей жизни мой друг писал из Токио Касиваги чуть ли не ежедневно. Надо же, а я не получал от него ни строчки. Это несомненно была рука Цурукава — я узнал его детский квадратный почерк. Я испытал легкий укол ревности. Подумать только, Цурукава, такой ясный и прозрачный, оказывается, втайне от меня поддерживал тесную связь с тем самым Касиваги, о котором столь дурно отзывался, осуждая мою с ним дружбу.

Я стал читать тонкие, убористо исписанные листки почтовой бумаги, разложив письма по датам. Стиль был ужасен, мысль писавшего без конца перескакивала с одного на другое, и уследить за ней было непросто. Но от неуклюжих этих строк веяло таким страданием, что, читая последние письма, я физически ощущал всю глубину испытываемых Цурукава мук. Я не мог удержаться от слез, в то же время не переставая поражаться тривиальности этих терзаний. Всему причиной была самая обычная любовная история: неискушенный в житейских делах юноша влюбился в девушку, жениться на которой ему запрещали родители. Быть может, Цурукава преувеличивал свою трагедию, но одно место из последнего письма потрясло меня: «Теперь я думаю, что причина несчастья моей любви во мне самом. С самого рождения моей душой владели темные силы, я никогда не ведал радости и света».

Письмо обрывалось на ноте отчаяния, и мне в душу впервые закралось страшное подозрение.

— Неужели... — выдохнул я. Касиваги кивнул:

— Да. Он покончил с собой. Я просто уверен в этом. Историю про грузовик придумали родители, чтобы соблюсти приличия.

Страшно заикаясь,— на сей раз от гнева — я спросил:

— Ты ему ответил на последнее письмо?

— А как же. Но мой ответ опоздал.

— И что ты ему написал?

— «Не умирай». И больше ничего.

Я замолчал. Моя уверенность в том, что чувства не способны меня обмануть, оказывается, была ошибочной.

Касиваги нанес последний удар:

— Ну как? Твой взгляд на жизнь переменился? Все разрушительные планы долой?

Я понял, почему Касиваги именно сегодня, три года спустя, дал прочитать мне эти письма. Но, хоть потрясение было и велико, воспоминание о пятнах солнца и тени, рассеянных по белоснежной рубашке юноши, который лежал в густой летней траве, не стерлось из моей памяти. Образ друга через три года после его гибели коренным образом переменился, но, как это ни парадоксально, все те чувства, которые, как мне казалось, навек умерли вместе с Цурукава, теперь возродились и приобрели особую реальность. Я верю в воспоминания, но не в их смысл, а в глубинную их суть. Вера эта так велика, что, не будь ее, весь мир, кажется, раскололся бы на куски... Касиваги,

снисходительно поглядывая на меня, любовался результатами хирургической операции, проведенной им на моей душе.

— Ну? Чувствуешь, как у тебя в сердце что-то дало трещину и рассыпалось? Мне невмоготу смотреть, как мой друг живет, неся в душе такой хрупкий и опасный груз. Я сделал доброе дело, избавил тебя от этой ноши.

— А что, если не избавил?

— Брось! Ты как ребенок, который проиграл, но не желает это признавать,— насмешливо улыбнулся Касиваги.— Я забыл объяснить тебе одну очень важную вещь. Мир может быть изменен только в нашем сознании, ничему другому эта задача не под силу. Лишь сознание преобразует мир, сохраняя его неизменным. Вселенная навсегда застыла в неподвижности, и одновременно в ней происходит вечная трансформация. Ну и что толку, спросишь ты. А я тебе отвечу: человеку для того и дано сознание, чтобы вынести все тяготы жизни. Зверю подобное оружие ни к чему, он не считает жизнь источником тягот. Это прерогатива человека, она и вооружила его сознанием. Только бремя от этого не стало легче. Вот и вся премудрость.

— И нет способов облегчить бремя жизни?

— Нет. Если не считать смерть и безумие.

— Ерунда,— воскликнул я, рискуя себя выдать,— вовсе не сознание преобразует мир! Мир преобразуют деяния! Деяния — и больше ничего!

Касиваги встретил мою взволнованную реплику своей обычной холодной, словно накленной, улыбкой:

— Так-так. Вот мы уже и до деяния дошли. Но тебе не кажется, что красота, которой ты придаешь столько значения, только и жаждет сна и забвения под надежной защитой сознания? Красота — это тот самый котенок из коана. Помнишь котенка, прекраснее которого не было ничего на свете? Монахи двух келий потому и перессорились, что каждому хотелось взять кошечку под опеку своего сознания, покормить ее и уложить бай-бай. А святой Нансэн был человек действия. Он рассек котенка пополам и швырнул наземь. Помнишь Дзёсю, который положил себе на голову сандалию? Итак, что же он хотел этим сказать? Он-то знал, что красоте надлежит мирно почивать, убаюканной сознанием. Но штука в том, что не существует личного, индивидуального сознания. Это — море, поле, одним словом, общее условие существования человечества. Думаю, что именно это хотел сказать Дзёсю. А ты у нас теперь выступаешь в роли Нансэна, так, что ли?.. Красота, с которой ты так носишься,— это химера, мираж, создаваемый той избыточной частью нашей души, которая отведена сознанию. Тем самым призрачным «способом облегчить бремя жизни», о котором ты говорил. Можно, пожалуй, сказать, что никакой красоты не существует. Сказать-то можно, но наше собственное сознание придает этой химере силу и реальность. Красота не дает сознанию утешения. Она служит ему любовницей, женой, но только не утешительницей. Однако этот брачный союз приносит свое дитя. Плод брака эфемерен, словно мыльный пузырь, и так же бессмыслен. Его принято называть искусством.

— Красота...— начал я и зашелся в жестоком приступе заикания. Помню, в этот миг у меня в голове промелькнуло подозрение, вне всякого сомнения нелепое, что в моем заикании повинно преклонение перед Прекрасным. — Красота — теперь злейший мой враг!

— Враг?! — изумленно поднял брови Касиваги. Но удивление, промелькнувшее на его лице, тут же сменилось обычным выражением философского довольства.— Скажите, какие метаморфозы. Если ты так запел, придется мне подкрутить окуляры своего сознания.

Наш дружеский, как в старые времена, спор продолжался еще долго. Дождь лил и лил. Касиваги рассказывал мне о Санномия и морском порте в Кобэ, где я никогда не бывал. Он говорил об огром-

ных судах, уходящих летом в океанское плавание, и еще о многом другом. Слушая его, я вспоминал Майдзуру. И впервые мы, двое нищих студентов, в чем-то сошлись: никакое сознание и никакое деяние, решили мы, не сравнится с наслаждением уплыть по волнам в неведомые дали.

Глава девятая

Вероятно, не случайно всякий раз, когда я заслуживал суровой кары, настоятель вместо наказания меня чем-то поощрял. Через пять дней после того, как Касиваги приходил за своим долгом, Учитель вызвал меня и вручил деньги: плату за первый семестр — 3400 иен, 350 иен на трамвай и 550 иен на книги и канцелярские принадлежности. Деньги за первый семестр действительно полагалось вносить перед летними каникулами, но после истории с Касиваги я не думал, что настоятель сочтет нужным идти на этот расход, а если и уплатит, то не через меня, а почтовым переводом.

То, что доверие это показное, я понимал, наверное, даже лучше, чем сам настоятель. Было в этих безмолвных благодеяниях Учителя что-то схожее с его мягкой розовой плотью. Обильное, насквозь фальшивое мясо, доверяющее тому, что непременно предаст, и предающее то, что взывает о доверии; это мясо недоступно разложению, оно беззвучно разрастается все шире и шире, тепленькое и розоватое...

Точно так же, как при появлении в гостинице «Юра» полицейского я испугался, что мой замысел раскрыт, теперь я затрепетал от ужаса, вообразив, будто настоятель обо всем догадался и специально дает мне денег, чтобы лишить меня только-только обретенной решимости. Я чувствовал, что, пока у меня есть такая сумма, я не наберусь мужества сделать последний шаг. Деньги надо было как можно скорее растратить. А это не такая уж простая задача для человека, никогда не имевшего за душой ни гроша. Мне нужно было спустить деньги очень быстро и притом еще каким-нибудь особо предосудительным способом, чтобы Учитель зашелся от ярости и немедленно прогнал меня из обители.

В тот день я дежурил на кухне. Моя миски после «спасительного камня», я рассеянно посматривал на пустую столовую. Возле выхода высилась лоснящаяся от черной копоти колонна, на которой висел свиток с заклинанием: «Оборони нас, Господи, от пожара».

Мне показалось, что в выцветшем листке бумаги томится бледный призрак плененного огня. Я увидел, как некогда веселое и могучее пламя побелело и сжалось, запертое древним заклинанием. Поверят ли мне, если я скажу, что в последнее время образ огня вызывал у меня самое настоящее плотское желание? Впрочем, что ж тут удивительного — все мои жизненные силы были обращены к пламени. Мое желание придавало огню сил, и, чувствуя, что я вижу его сквозь черную твердь колонны, он нежно поднимался мне навстречу. Как хрупки и беззащитны были его руки, ноги, грудь!

Вечером 18 июня я, спрятав деньги за пазуху, потихоньку выбрался из храма и направился в квартал Китасинти, более известный под названием Пятой улицы. Я слышал, что там берут недорого и охотно привечают послушников из окрестных храмов. От Рокуондзи до Пятой улицы было пешком минут тридцать-сорок.

Вечер выдался душный, луна неярко светила сквозь тонкую завесу облаков. На мне были штаны цвета хаки и свитер, на ногах — деревянные сандалии.

Пройдет всего несколько часов, и, одетый точно так же, я вернусь в обитель, но откуда эта уверенность, что под прежним обличьем будет скрываться новый человек?

Мне было необходимо сжечь Золотой Храм для того, чтобы я мог нормально жить, но мои действия напоминали приготовления к смерти. Я направлялся в бордель, словно обычный юнец, собирающийся покончить с собой, но прежде решивший непременно расстаться с невинностью. Ничего, мне можно было не беспокоиться, визит к проститутке — не более чем своего рода подпись на заранее заготовленном бланке; даже утратив невинность, я «новым человеком» не стану.

Всё, теперь в решающий момент между мной и женщиной не возникнет Кинкакудзи, как это неоднократно случалось прежде. В сторону мечты, я больше не надеюсь за счет женщины вступить в контакт с жизнью. Цель моего существования твердо определена, и все предшествующие действия — лишь мрачная и жестокая формальность.

Так говорил я себе, и мне вспомнились слова Касиваги: «Шлюхи отдаются клиентам, не испытывая к ним любви. Им наплевать: будь ты старик, бродяга, раскрасавец или кривой — да хоть прокаженный, если это у тебя на роже не написано. Большинство мужчин такое равноправие устраивает в самый раз, и первую свою женщину они покупают за деньги. Только мне эта демократия не подходила. Чтобы меня принимали так же, как здорового и нормального — да ни за что на свете, думал я, нипочем не унижусь до такого...»

Воспоминание неприятно кольнуло меня. Но все же я не калека, как Касиваги. Пусть я заикаюсь, но, в конце концов, мое уродство не выходит за рамки обычной непривлекательности. Тут же мной овладело новое идиотское опасение: а вдруг, глядя в мое некрасивое лицо, женщина инстинктивно различит на нем печать прирожденного преступника? Я даже остановился. Голова шла кругом от беспорядочных мыслей, и мне уже самому было непонятно: то ли я собираюсь лишиться невинности, чтобы недрогнувшей рукой спалить Золотой Храм, то ли я решился на поджог, желая расстаться с проклятой невинностью. Вдруг, безо всякой связи, в ушах у меня прозвучал красивый буддийский оборот «тэмпо-каннан» — «напасти, грозящие миру», и я продолжил свой путь, бессмысленно бормоча в такт шагам: «тэмпо-каннан, тэмпо-каннан»...

Вскоре яркие вывески баров и салонов патинко[1] остались позади, и я оказался на тихой, темной улочке. Через равные промежутки на домах горели белые бумажные фонари.

С той самой минуты, когда я выбрался за ворота храма, мне грезилось, что где-то на этой улице, прячась от всех, живет чудом спасшаяся Уико. Эта фантазия придавала мне мужества.

Решившись поджечь Золотой Храм, я словно вернулся в светлую и чистую пору детства. Так отчего бы, думал я, мне не повстречать вновь тех людей, которых я знал на заре жизни.

Казалось бы, только теперь начинал я жить, но, странное дело, с каждым днем меня все сильнее одолевало предчувствие несчастья, временами мерещилось, что завтра я умру, и я начинал молиться, умоляя смерть пощадить меня до той поры, пока я не сделаю свое дело. Я вовсе не был болен. Просто день ото дня ноша ответственности и разом смешавшихся параметров моего существования давили мне на плечи все сильнее.

Накануне, подметая двор, я занозил указательный палец — даже такая малость испугала меня не на шутку. Мне вспомнилось, как

[1] Игральные автоматы.

умер поэт, уколов палец о шип розы. Обычному человеку подобная смерть не грозит. Но я теперь стал личностью выдающейся и драгоценной, поэтому любая мелочь могла оказаться для меня роковой. К счастью, ранка не загноилась, и сегодня, даже нажимая на нее, я уже почти не чувствовал боли.

Разумеется, перед походом на Пятую улицу я принял все необходимые гигиенические предосторожности. Накануне я специально сходил в дальнюю аптеку, где никто меня не знал, и приобрел пачку неких резиновых изделий. Присыпанная каким-то порошком тонкая пленка имела цвет мрачный и болезненный. Вечером я решил опробовать свое приобретение. В моей келье, где на стене висел календарь Киотоского туристического агентства и нарисованная красным карандашом карикатура на Будду, где лежала раскрытая книга с дзэнскими сутрами, а на измочаленных татами валялись грязные носки, мне явился новый символ — гладкий и серый, он напоминал зловещее изваяние Будды, лишенное носа и глаз. Зрелище было отвратительным, я почему-то вспомнил древний изуверский обычай, дошедший до наших времен только в преданиях, который назывался «отсекновение беса»...

Итак, я свернул на тихую улочку, освещенную вереницей бумажных фонарей.

Здесь было больше сотни домов, построенных по единому образцу. Я слышал, что хозяин этого квартала иногда прячет беглецов, скрывающихся от правосудия. Говорили, у него есть специальный звонок, нажав на который, он извещает все заведения Пятой улицы о появлении полиции.

Дома были двухэтажные, возле каждой двери чернело зарешеченное оконце. Вытянулись ровной полосой старые черепичные крыши, влажно блестя в лунном свете. Вход в заведение прикрывала неизменная темно-синяя штора, на которой белой краской было написано название здешнего района «Нисидзин». В дверях сидели хозяйки в белых передниках и, высовываясь из-за шторы, вглядывались в прохожих.

Я не испытывал ни малейшего предвкушения удовольствия. Казалось, что я отринут законом, отбился от людей и бреду по пустыне, устало передвигая ноги. Желание сдавливало мне колени, я чувствовал его уродливый горб.

«Я должен, просто обязан истратить здесь все деньги,— твердил я себе.— Хотя бы плату за университет. Тогда у настоятеля появится отличный повод выгнать меня вон».

Я не отдавал себе отчета в том, что в моей логике есть странное противоречие: если я действительно так думал, это означало, что Учитель дорог моему сердцу.

Видимо, основной наплыв посетителей начинался позже — на улице было совсем пусто. Стук моих сандалий разносился на весь квартал. Монотонные, зазывные голоса хозяек словно повисали в душном и влажном воздухе июньской ночи. Я вспомнил, как вскоре после войны смотрел с вершины горы Фудосан на город, и подумал, что в том море огней таился и этот квартал.

Ноги вели меня к месту, где скрывалась Уико. Возле перекрестка я увидел вывеску с надписью «Водопад» и, не задумываясь, откинул синюю штору. Я оказался в небольшой комнате, пол которой был выложен плиткой. Сбоку со скучающим видом, словно дожидаясь поезда, сидели три женщины. У одной, одетой в кимоно, шея была обмотана бинтом. Остальные две были в европейском платье. Та, что с краю, спустив чулок, лениво почесывала лодыжку. У и к о з д е с ь н е б ы л о. Это меня успокоило. Женщина, чесавшая ногу, услышав мои шаги, подняла голову, будто собака, которую окликнул

хозяин. У нее было круглое, немного припухшее лицо, наивно, как на детском рисунке, раскрашенное белым и красным. Она смотрела на меня как-то очень доброжелательно — другого слова я не подберу. Как будто мы на секунду встретились взглядами где-нибудь на людном перекрестке и сейчас навсегда разойдемся. Эти глаза отказывались видеть желание, приведшее меня сюда.

Раз Уико здесь не было, меня устраивала любая из женщин. Суеверное чувство говорило мне, что если я стану выбирать или ждать чего-то необыкновенного, меня вновь ждет неудача. Проститутка лишена права выбирать себе клиента, так пусть и я буду в том же положении. Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы в происходящем присутствовала хоть малая доля красоты — страшной силы, лишающей человека воли.

— Кто из девочек вам больше нравится? — спросила хозяйка.

Я ткнул пальцем в ту, что чесала ногу. Наверное, ее укусил комар, их тут было полно. Благодаря этому укусу между мной и женщиной возникла невидимая связь. Маленькая боль дала проститутке право стать в будущем важным свидетелем...

Она встала, подошла ко мне, растянула рот в улыбке и дотронулась до рукава моего свитера.

Поднимаясь по темной лестнице на второй этаж, я думал об Уико. Как же она может отсутствовать в такую минуту моей жизни? Раз Уико здесь нет сейчас, значит, я уже никогда и нигде не смогу ее найти. Она покинула этот мир — просто и обыденно, словно отправилась помыться в баню за углом.

Даже когда Уико была еще жива, мне казалось, что она свободно переходит из одного мира в другой и обратно. В ту трагическую ночь она то отвергала все окружающее, то вновь сливалась с ним воедино. Возможно, и смерть явилась для нее лишь временным превращением. Лужица крови на полу галереи храма Конго была, наверное, столь же эфемерна, как пятнышко пыльцы, остающееся после бабочки, которая заночевала на вашем подоконнике. Утром вы отворили окно — и бабочка упорхнула.

Посередине второго этажа находилась открытая терраса, окруженная старинной резной балюстрадой. Между перилами были протянуты веревки, на которых сушились красные нижние юбки, трусики, ночные рубашки. В темноте развешенное нижнее белье было похоже на человеческие силуэты.

Из какой-то комнаты доносился поющий женский голос. Он был ровен и мелодичен. Иногда, отчаянно фальшивя, песню подхватывал мужчина. Внезапно пение оборвалось, недолгое молчание — и взрыв пронзительного женского хохота.

— Ох уж эта Акико,— сказала хозяйке моя избранница.

— Вечно одна и та же история.— Хозяйка недовольно повернулась к заливистому смеху квадратной спиной.

Меня провели в крошечную убогую комнатку. В углу стояла тумбочка, на которой красовались две статуэтки: пузатый бог изобилия Хотэй и кошка, призывно манящая лапой. На стене висел календарь и длинный перечень правил. Свет давала тусклая лампочка. Через открытое окно с улицы были слышны шаги искателей ночных удовольствий. Хозяйка спросила, на ночь я или на время. Если на время, то это стоит четыреста иен. Я попросил принести сакэ и закуски.

Хозяйка ушла, но проститутка не сделала ни шага в мою сторону. Она подошла ко мне лишь после того, как принесли сакэ. Я увидел у нее на верхней губе красное пятнышко. Наверное, расчесала еще один укус, предположил я. А может быть, просто смазалась помада.

Не стоит удивляться, что в столь ответственный момент своей жизни я так дотошно разглядывал любую мелочь. Во всем, что меня окружало, я пытался усмотреть доказательство грядущих наслаждений. Я словно изучал гравюру — малейшие детали на ней были аккуратно пропечатаны, но все они находились на одинаковом от меня расстоянии, изображение оставалось плоским.

— По-моему, я тебя уже видела,— сказала женщина, сообщив, что ее зовут Марико.

— Нет, я раньше тут не был.

— Тебе видней. Вишь, как руки-то трясутся.

Я заметил, что мои пальцы, держащие чашку с сакэ, действительно дрожат.

Хозяйка, разливавшая сакэ, усмехнулась:

— Если он не врет, считай, Марико, тебе сегодня повезло.

— Это мы скоро увидим,— небрежно обронила Марико, но в ее тоне не было и тени чувственности. Ее душа, как мне казалось, держалась в стороне от тела, словно ребенок, тихо играющий сам по себе вдали от шумной детворы. Марико была одета в бледно-зеленую блузку и желтую юбку. Ногти сияли красным лаком, но только на больших пальцах — наверное, она взяла лак на пробу у кого-нибудь из подруг.

Наконец, мы перешли из комнатки в спальню. Марико наступила одной ногой на постель, расстеленную поверх татами, и дернула за шнур торшера. Яркими красками вспыхнуло пестрое покрывало из набивного шелка. Спальня была обставлена куда лучше, чем «гостиная», в стене имелась даже токонома, где стояли дорогие французские куклы.

Я неуклюже разделся. Марико привычным жестом накинула на плечи розовый халатик и сняла под ним платье. У изголовья стоял кувшин с водой, и я жадно припал к нему. Услышав бульканье, Марико, не оборачиваясь, засмеялась:

— Ишь, водохлеб какой!

Когда мы уже лежали в постели лицом к лицу, она легонько тронула меня кончиком пальца за нос и, улыбаясь, спросила:

— Ты что, правда в первый раз?

Торшер едва освещал темную спальню, но это не мешало мне смотреть во все глаза. Для меня наблюдение — лучшее доказательство того, что я живу. Но сегодня я в первый раз видел так близко от себя глаза другого человека. Законы перспективы, управлявшие моим видением, нарушились. Посторонний человек безо всякой робости вторгался в мой мир, я чувствовал тепло чужого тела, вдыхал аромат дешевых духов; вскоре это нашествие поглотило меня всего, без остатка. Впервые прямо у меня на глазах мир другого человека сливался с моим.

Для этой женщины я был просто безымянным представителем породы мужчин. Я и помыслить не мог, что меня можно воспринимать таким образом. Сначала я снял одежду, но следом меня лишили и всех последующих покровов — заикания, непривлекательности, бедности. Это, безусловно, было приятно, но я никак не мог поверить, что такие чудесные вещи происходят с о м н о й. Физическое наслаждение существовало где-то вне меня. Потом оно оборвалось. Я тут же отодвинулся от женщины и лег подбородком на подушку. Обритая голова мерзла, и я слегка похлопал по ней ладонью. Вдруг нахлынуло чувство заброшенности, но плакать не хотелось.

Потом, когда мы отдыхали, лежа в постели, Марико рассказывала мне о себе. Кажется, она была родом из Нагоя. Я слушал вполуха,

а сам думал о Золотом Храме. Но мои мысли о нем были сегодня рассеянными и абстрактными, они утратили страстность и глубину.

— Приходи еще,— сказала Марико. Я подумал, что она, наверное, на несколько лет меня старше. Ее потная грудь была перед самыми моими глазами. Настоящая плоть, и не собирающаяся оборачиваться Золотым Храмом. Я робко дотронулся до нее пальцами.

— Что, никогда раньше не видал?

Марико приподнялась и, опустив голову, слегка тронула одну из грудей, словно приласкала маленького зверька. Плоть нежно заколыхалась, и я вдруг почему-то вспомнил закат в Майдзурской бухте. Переменчивость уходящего за горизонт солнца и переменчивость колеблющейся плоти странным образом слились в моем восприятии. На душе у меня стало спокойно, когда я подумал, что, подобно заходящему солнцу, которое непременно скроется в пене вечерних облаков, эта грудь вскоре исчезнет с моих глаз, погребенная в темной могиле ночи.

* * *

На следующий день я снова пришел в «Водопад» к Марико. И дело было не только в том, что денег оставалось еще предостаточно. Первый опыт физической любви оказался настолько убогим по сравнению с рисовавшимися мне райскими картинами, что я просто обязан был попробовать еще раз, чтобы хоть немного приблизиться к образу, который существовал в моем воображении. Такова уж моя натура: все действия, совершаемые мной в реальной жизни, становятся лишь верным, но жалким подобием фантазий. Впрочем, фантазии — не то слово, я имею в виду внутреннюю память, питаемую источниками моей души. Меня всегда преследовало чувство, что любые события, происходящие со мной, уже случались прежде, причем были куда ярче и значительней. То же самое я ощущал и сейчас: мне казалось, что где-то когда-то — только теперь уже не вспомнить где и когда (может быть, с Уико?) — я испытал несравненно более жгучее чувственное наслаждение. Оно стало первоисточником всех моих удовольствий, и с тех пор реальные радости плоти — лишь жалкие брызги былого блаженства.

Ощущение было такое, будто некогда мне выпало счастье увидеть божественный, ни с чем не сравнимый заход солнца. Разве я виноват, что с тех пор любой закат кажется мне блеклым?

Вчерашняя женщина обращалась со мной, словно я был обычным человеком из толпы. Поэтому сегодня я прихватил с собой одну книжку, купленную за несколько дней до того у букиниста. Называлась она «Преступление и наказание», ее написал итальянский криминалист восемнадцатого века Беккариа. Я прочитал несколько страниц и бросил — обычная для восемнадцатого века смесь просветительских идей и рационализма. Но на проститутку интригующий заголовок мог произвести впечатление.

Марико встретила меня той же улыбкой, что и вчера. Казалось, событий минувшей ночи и не было. Опять она смотрела на меня приветливо, но безразлично, словно на случайное лицо в толпе на перекрестке. Впрочем, ее тело и было чем-то вроде перекрестка.

Мы сидели втроем — я, Марико и хозяйка — и пили сакэ. Сегодня я чувствовал себя уже не так скованно.

— Правильно чашку дéржите,— одобрительно сказала мне хозяйка,— задней стороной к себе. Молодой, а обхождение знаете.

— А настоятель не заругается, что ты каждый день повадился сюда ходить? — спросила вдруг Марико и, поглядев на мое изумленное лицо, рассмеялась: — Тоже мне загадка. Сейчас все парни с чубами ходят, а раз стриженный под ноль — ясно, что монах. У нас тут много вашего брата перебывало, кое-кто теперь в большие бонзы вышел... Послушай, хочешь, я тебе спою?

И Марико вдруг затянула популярную песенку про девушку из порта.

Во второй раз, в обстановке, ставшей уже привычной, все произошло легко и просто. Я даже испытал определенное удовольствие, но оно было далеко от воображавшегося мне райского наслаждения. Скорее, я чувствовал самоуничижительное удовлетворение при мысли о том, что предаюсь низменным страстям.

Затем Марико с видом старшей сестры прочла мне целую лекцию, чем окончательно погубила все жалкие зачатки удовольствия.

— Ты не больно-то шляйся по таким местам,— поучала меня Марико.— Не доведет тебя эта жизнь до добра. Я же вижу, ты парень хороший, серьезный. Вот и занимайся своим делом. Конечно, я рада, что ты ко мне ходишь, но... Ну, в общем, ты понимаешь, что я хочу сказать. Ты мне вроде как младший братишка.

Наверное, Марико почерпнула эту речь из какого-нибудь бульварного романа. Произносилась она, конечно, не всерьез, а с намерением произвести на меня впечатление. Марико, несомненно, надеялась, что я расчувствуюсь, оценив ее благородство. А уж если бы я разрыдался, она вообще была бы на седьмом небе от счастья.

Но я не доставил ей этого удовольствия, а просто взял и, ни слова не говоря, сунул ей под нос «Преступление и наказание».

Марико старательно полистала книжонку, но, быстро утратив интерес, швырнула ее на подушку и тут же о ней забыла.

Мне хотелось, чтобы Марико каким-то образом ощутила предчувствие грядущих роковых событий, услышала голос судьбы, сведшей ее со мной. Она должна была хоть как-то почувствовать свою причастность к надвигающемуся крушению Вселенной. В конце концов, это не может быть ей безразлично, подумал я. И, не в силах справиться с собой, сказал то, о чем должен был молчать:

— Через месяц... Да, не позже... Через месяц мое имя будет во всех газетах. Тогда ты вспомнишь обо мне.

Когда я замолчал, меня всего трясло от возбуждения. Но она встретила мое признание взрывом хохота. Грудь ее заколыхалась; пытаясь сдержать смех, Марико закусила рукав халата, но, взглянув на меня, снова прыснула и уже не могла остановиться. Думаю, она сама не смогла бы объяснить, что ее до такой степени развеселило. Наконец, Марико успокоилась.

— Что смешного я сказал? — задал я дурацкий вопрос.

— Ой, ну ты трепач. Ну, врать здоров!

— Я не вру!

— Ладно, брось. Ох, насмешил! Чуть не лопнула. Ой, трепач! А с виду серьезный, нипочем не догадаешься! — снова залилась Марико. Может быть, причина ее смеха была совсем проста — ее рассмешило то, как я заикаюсь от волнения? Так или иначе, она не поверила ни единому моему слову.

Не поверила. Наверное, если бы у нее перед самым носом разверзлась земля, она бы тоже не поверила. Кто знает, может быть, эта женщина уцелеет, даже когда рухнет весь мир. Марико верила лишь в те вещи, которые укладывались в ее сознании. А мир, по ее разумению, рухнуть никак не мог, ей подобное и в голову не приходило. Этим Марико напоминала Касиваги. Она и была женской разновидностью Касиваги, только без склонности к умничанью.

Говорить нам больше было не о чем. Марико сидела, выставив голые груди, и тихонько напевала. Ее мурлыканье сливалось с жужжанием мух. Одна назойливая муха все кружила у нее над головой, а потом села ей на грудь — Марико только пробормотала: «Фу, как щекотно», но сгонять муху не стала. Та словно прилипла к коже. К моему удивлению, это прикосновение не внушало Марико ни малейшего отвращения.

По крыше застучал дождь. Казалось, что туча повисла только над нашими головами. Шум капель был лишен объемности, дождь словно специально забрел на эту улицу и решил на ней задержаться. Так же как и я, звук дождя был отрезан от беспредельности ночи, он вжался в тесный кусочек пространства, вырезанный из темноты серым светом торшера.

Муха — спутница гниения, думал я. Значит ли это, что в Марико происходит процесс гниения? Может быть, и ее недоверчивость — признак этого недуга? Категоричный, абсолютный мир, в котором живет Марико, и визит мухи — я не мог понять, в чем связь между двумя этими явлениями.

Вдруг до меня дошло, что Марико уснула. Спящая женщина была похожа на труп, а на ее круглой груди, освещенной торшером, неподвижно застыла муха, будто тоже внезапно погрузилась в спячку.

* * *

Больше в «Водопад» я не ходил. Моя цель была достигнута. Теперь оставалось только дать настоятелю понять, что я истратил плату за обучение, и понести долгожданную кару.

Однако я ни единым словом не намекал Учителю, что деньги растрачены. Я считал, что признаваться ни к чему — настоятель и так должен был обо всем догадаться.

Сам не пойму, почему я все продолжал верить в могущество Учителя и надеялся почерпнуть в нем силы. Отчего необходимо было увязывать последний шаг с изгнанием из обители? Я ведь уже говорил, что давным-давно понял, насколько беспомощен наш преподобный.

Через несколько дней после второго похода в публичный дом я вновь убедился, что правильно оценивал святого отца.

В то утро, еще до открытия храмовых ворот, настоятель отправился на прогулку в сторону Кинкакудзи, что само по себе уже было редкостью. Мы, послушники, подметали двор. Учитель похвалил нас за усердие и, шелестя своей свежей белой рясой, стал подниматься по каменным ступенькам лестницы, ведшей к храму Юкатэй. Я поначалу подумал, что он направляется в чайный павильон отдохнуть и очистить душу.

Раннее солнце еще было окрашено в резкие цвета рассвета. Плывшие в голубом небе облака отливали пурпуром, словно покраснев от стыда.

Закончив подметать двор, монахи ушли в главное здание, один я отправился в обход Большой библиотеки — надо было привести в порядок дорожку к храму Юкатэй.

С метлой в руке я поднялся по каменной лестнице наверх. Деревья не успели обсохнуть после прошедшего накануне дождя. На кусты выпала обильная роса, ее капли вспыхивали на солнце алым, и казалось, что ветки, несмотря на раннее лето, уже усыпаны ягодами. Розовой сеткой пламенела потяжелевшая от влаги паутина.

С волнением смотрел я вокруг — все земное приобрело цвета неба. И капли, лежавшие на листьях, тоже упали с небес. Листва вся сочилась влагой, словно насквозь пропитанная сошедшей сверху благодатью. Пахло свежестью и гнилью — земля принимала и расцвет и гниение.

Как известно, к храму Юкатэй примыкает Башня Северной Звезды. Но это не то знаменитое сооружение, что некогда было построено здесь по приказу сёгуна Ёсимицу. В прошлом веке башню перестроили, придав ей округлые очертания чайного павильона. В храме Учителя не оказалось. Значит, он в башне.

Мне не хотелось встречаться с настоятелем один на один, поэтому я крался по дорожке пригнувшись — живая изгородь должна была заслонить меня от глаз преподобного.

Дверь в Башню Северной Звезды была открыта. В токонома висел на своем обычном месте свиток работы художника школы Маруяма. Под картиной стоял резной ковчежец сандалового дерева, почерневший за века, что миновали с тех пор, как его вывезли из Индии. Разглядел я и полки тутового дерева в стиле Рикю, и расписные ширмы. Однако Учителя что-то не было видно. Я непроизвольно приподнялся, пытаясь получше рассмотреть помещение.

В самом темном углу, возле колонны, я увидел что-то белое, похожее на большой сверток. Приглядевшись, я вдруг понял, что это настоятель. Коленопреклоненный, он скрючился на полу, опустив голову и прикрывая лицо рукавами белой рясы.

Тело Учителя застыло в неподвижности. Я смотрел на эту окаменевшую фигуру, целый вихрь чувств поднялся в моей душе. Сначала я решил, что настоятелю вдруг стало плохо, что его скрутил приступ какой-то болезни. Первым побуждением было поспешить ему на помощь. Однако я не тронулся с места. Ни малейшей любви к Учителю я не испытывал; может быть, уже завтра запылает подожженный мной Храм, так зачем же я буду проявлять лицемерное участие, рискуя к тому же заслужить благодарность преподобного, которая может ослабить мою решимость?

Но вскоре я понял, что Учитель не болен. Он напоминал спящее животное, настолько низменна, настолько лишена достоинства и гордости была его поза. Присмотревшись получше, я заметил, что белые рукава слегка подрагивают; казалось, невидимая тяжесть придавила Учителя к полу.

Что же на него давит, подумал я. Страдание? Или ощущение собственного бессилия?

Мой слух различил приглушенное бормотание, будто настоятель еле слышно читал сутры, но слов разобрать я не мог. Оказывается, душа Учителя жила своей собственной темной жизнью, о которой я не имел ни малейшего представления. По сравнению с этой мрачной бездной все мои мелкие злодейства и пороки были настолько ничтожны, что я почувствовал себя уязвленным.

И вдруг я понял. Настоятель лежал на полу в позе, получившей название «ожидание во дворе». Так, преклонив голову на свой дорожный мешок, должен ожидать ночи бродячий монах, которому запретили войти в храм. Велико же, значит, смирение Учителя, если он, обладатель столь высокого сана, подвергал себя унизительному обряду, предназначенному для монахов низшего ранга. Я не мог понять, чем вызвано такое невероятное самоуничижение. Неужели смирение Учителя, покорно и приниженно мирящегося с чуждыми его естеству пороками и скверна мира, сродни смирению травы, листьев и паутины, послушно погружающихся в цвета рассветного неба?

«Это же делается для меня!» — внезапно догадался я. Да-да, именно! Он знал, что я должен подметать здесь дорожку, и специально разыграл этот спектакль! Сознавая собственное бессилие, Учитель изобрел невиданный, смехотворный способ, не произнеся ни единого слова, разбить мне сердце, вызвать во мне сострадание, заставить меня смиренно склонить колени!

Глядя на униженно ожидающего Досэна, я едва не поддался чувству. Не стану скрывать, я был близок к тому, чтобы полюбить Учителя, хоть и отрицал изо всех сил саму возможность подобной любви. Но мысль о том, что я присутствую на спектакле, специально разыгранном в мою честь, поставила все на свои места. Сердце мое стало еще тверже, чем прежде.

Именно в этот миг я решил, что мне нет нужды ждать изгнания из храма. Отныне я и Учитель были обитателями двух обособленных миров и никак повлиять друг на друга не могли. Ничто теперь не стояло у меня на пути. Не к чему было дожидаться сигнала извне, я имел право определить час свершения сам.

Яркие краски восхода поблекли, небо заволокло тучами, и свежий солнечный свет больше не озарял влажную зелень листвы. Учитель не менял своей нелепой позы. Я отвернулся и быстро зашагал прочь.

* * *

25 июня началась война в Корее. Мое предчувствие надвигающегося конца света оказалось верным. Надо было спешить.

Глава десятая

Вообще-то первый шаг на пути к достижению цели я уже сделал. На следующий же день после визита на Пятую улицу я выдернул из заколоченной северной двери Золотого Храма два гвоздя.

В первом ярусе Кинкакудзи, Гроте Прибоя, имелось два входа — восточный и западный. Обе эти двери были двустворчатыми. По вечерам старик экскурсовод запирал западную изнутри на задвижку, а восточную снаружи на замок. Однако мне было известно, что в Храм можно проникнуть и без ключа. С северной стороны, сразу за макетом Храма, находилась еще одна дверь, которой уже много лет никто не пользовался. Она вся рассохлась, и вытащить те шесть или семь гвоздей, которыми она была приколочена к косяку, ничего не стоило. Гвозди так расшатались, что легко вынимались голыми пальцами — вот я и вытащил два на пробу. Свою добычу я завернул в бумажку и спрятал поглубже в ящик стола. Прошло несколько дней. Никто не обратил внимания на исчезновение из заколоченной двери пары гвоздей. Вечером двадцать восьмого я незаметно вставил их на место.

В тот день, когда я увидел коленопреклоненного Учителя и решил всецело положиться только на свои собственные силы, я отправился в аптеку, что находилась неподалеку от полицейского участка Нисидзин, и купил мышьяку. Сначала аптекарь подал мне маленький пузырек таблеток на тридцать, но я попросил побольше и за сто иен купил бутылочку со ста таблетками. В соседней скобяной лавке я приобрел за девяносто иен складной нож в футляре.

Я немного походил перед ярко освещенными окнами полицейского участка. В дверь торопливо вошел инспектор, на нем была рубашка с открытым воротом, в руке — портфель. Никто не обращал на меня внимания. Никто не обращал на меня внимания все двадцать лет моей жизни, так что ничего странного в этом не было. Моя персона еще не представляла никакой важности. Я был одним из миллионов и десятков миллионов людей, которые тихо существуют себе в нашей Японии, ни у кого не вызывая ни малейшего интереса. Обществу нет дела до того, жив такой человек или умер, но в самом факте его существования есть что-то успокаивающее. Вот и инспектор был настолько спокоен на мой счет, что прошел мимо, даже не взглянув в мою сторону. Красный свет фонаря освещал надпись «Полицейский участок Нисидзин». Один из иероглифов выпал, и вместо него зияло пустое место.

На обратном пути в храм я думал о своих покупках, они будоражили мне душу.

Хотя нож и яд я купил на случай, если надо будет себя убить, настроение было приподнятое, словно я только что женился и теперь обзаводился домашним скарбом для новой, семейной жизни. Вернувшись в келью, я все не мог насмотреться на свои сокровища. Я вынул нож из футляра и лизнул лезвие. Оно затуманилось, а язык ощутил холод металла и странный, слегка сладковатый привкус. Сладость шла откуда-то из сердцевины тонкой полоски стали, из самой ее сути. Отчетливость формы, синий блеск металла, похожий на гладь моря... Еще долго ощущал я на кончике языка чистую сладость стали. Постепенно ощущение ослабло. Я с вожделением стал думать о том дне,

когда все мое тело допьяна изопьет этой манящей сладости. Небо смерти представлялось мне таким же ясным, как и небо жизни. Мрачные мысли унеслись куда-то прочь. В мире не было места страданию.

Вскоре после войны в Золотом Храме установили новейшую пожарную сигнализацию. Стоило воздуху нагреться до определенной температуры, и в канцелярии храма Рокуондзи тут же срабатывал аварийный сигнал. Вечером 29 июня экскурсовод сообщил, что сигнализация не работает. Я случайно зашел на кухню и услышал, как старик рассказывает о поломке отцу эконому. Я решил, что это знак, ниспосланный мне небом.

На следующее утро отец эконом позвонил на завод-изготовитель и попросил отремонтировать систему. Простодушный экскурсовод сам мне об этом рассказал. Я прикусил губу. Оказывается, минувшей ночью мне был дан редчайший шанс, а я его упустил!

Вечером пришел рабочий. Все обитатели храма окружили его и с любопытством наблюдали, как он возится с сигнализацией. Однако ремонт затянулся. Рабочий не столько чинил, сколько качал головой и цокал языком, и постепенно зрители стали расходиться. Ушел и я. Теперь мне оставалось только ждать пробного аварийного звонка, который разнесется по всей территории храма, извещая о завершении ремонта и крушении всех моих надежд... Я ждал. Храм окутали мягкие сумерки, рабочий зажег фонарь. Сигнала все не было. Наконец, ремонтник прекратил работу и ушел, сказав, что закончит завтра.

Однако назавтра, первого июля, он так и не появился. Особого беспокойства в храме это не вызвало — куда, в конце концов, было торопиться?

Вечером тридцатого я снова отправился в магазин и купил сладких булочек и вафель с мармеладной начинкой. Я и прежде частенько сюда наведывался, чтобы купить на свои скудные карманные деньги немного хлеба — слишком велики были интервалы между монастырскими трапезами. Но сегодня меня пригнал сюда не голод. Не собирался я и начинять сладости мышьяком. Просто снедавшее меня беспокойство требовало какого-то действия.

Я возвращался с бумажным пакетом в руке и думал о том, как странно все устроено — что может быть общего между этими жалкими булками и тем поступком, на который толкает меня мое бесконечное одиночество... Временами сквозь низкие облака проглядывало солнце, и старую улицу словно обволакивало жарким туманом. По спине потаенной холодной струйкой стекал пот. Страшная вялость охватила меня.

Булка и я. Какая между нами связь? Каких бы высот ни достигал мой дух, готовясь к Деянию, вечно заброшенный и одинокий желудок все равно потребует своего. Собственные внутренности казались мне облезлым, прожорливым псом, не желающим слушаться хозяина. О, как отчетливо я сознавал: душа может сколько угодно стремиться к возвышенному, но эти тупые и скучные органы, которыми набито мое тело, будут стоять на своем и мечтать о пошлом и обыденном.

О чем мечтает мой желудок, я знал. О сладкой булочке и вафле. Душа могла грезить о неземной красоте алмазов, но брюхо упрямо требовало теста... Представляю, как обрадуются этим треклятым булкам люди, которые будут ломать головы, тщетно пытаясь уразуметь мои мотивы. «Смотрите-ка, он хотел есть! — воскликнут они облегченно.— Хоть что-то в нем было человеческое!»

* * *

И вот день настал. Первое июля 1950 года. Как я уже сказал, рабочий не явился, и было ясно, что сегодня сигнализацию не отремонтируют. К шести часам вечера последние сомнения исчезли: экскурсовод позвонил на завод еще раз, и ему ответили, что сегодня, к сожа-

лению, у них слишком много вызовов, но завтра ремонт непременно будет закончен.

В этот день Кинкакудзи посетило около ста человек, но к шести часам территория храма опустела — до закрытия оставалось всего полчаса. Поговорив по телефону, старый экскурсовод стоял возле кухни и рассеянно смотрел на огород; его работа была закончена.

Моросил мелкий дождь. Он с самого утра то начинал накрапывать, то переставал. Дул легкий ветерок, и было не так душно, как обычно по вечерам. На огороде мокли грядки с тыквами, влажно чернела земля на участке, где в прошлом месяце посадили бобы.

У старика экскурсовода была привычка, когда он о чем-нибудь задумывался, двигать подбородком. При этом его плохо подогнанные вставные челюсти пощелкивали. Каждый день он повторял посетителям одно и то же, но из-за этих разболтанных челюстей понимать его шамканье становилось все труднее. Сколько раз ему говорили, чтобы он сходил к протезисту, но старик ни в какую. Он стоял, смотрел пустым взглядом на грядки и бормотал что-то себе под нос. Пошевелит губами, щелкнет челюстью, потом опять невнятно зашамкает. Наверное, ворчит из-за ремонта, подумал я.

Я прислушивался к этому бормотанию, и мне казалось, будто экскурсовод сетует на то, что теперь ничего уже не починить и не исправить — ни его вставных зубов, ни поврежденной сигнализации.

Вечером настоятеля посетил гость, что случалось не часто. Это был преподобный Дзэнкай Куваи, настоятель храма Рюходзи в префектуре Фукуи, когда-то они с Досэном вместе учились в духовной академии. С ними учился и мой отец.

Как только преподобный Дзэнкай прибыл в Рокуондзи, тут же позвонили Учителю, которого, конечно же, в храме не было. Он ответил, что вернется через час. Гость намеревался провести у нас денек-другой.

Я помнил, с каким удовольствием отец всегда рассказывал о Дзэнкае, к которому относился с уважением и любовью. И по облику, и по характеру отец Куваи являл собой классический образец дзэн-буддистского монаха, мужественного и сурового. Ростом он был почти шесть сяку, лицо загорелое, брови густые. Его зычный голос рокотал словно раскаты грома.

Один из послушников зашел в мою келью и передал, что отец Дзэнкай желает со мной побеседовать, пока не вернулся Учитель. Я заколебался, опасаясь, не разгадают ли мой замысел ясные и проницательные глаза святого отца.

Преподобный Дзэнкай сидел в Зале Гостей и попивал принесенное экономом сакэ, закусывая чем-то постным. Прислуживал ему один из монахов, но теперь он удалился, и подливать сакэ гостю стал я. За моей спиной была тьма и бесшумно моросящий дождь, так что картина перед отцом Дзэнкаем открывалась не из веселых: мое угрюмое лицо, а за ним — унылый, мокрый двор.

Но святой отец был не из тех, кого смущают подобные пустяки. Он видел меня впервые, но говорил просто и спокойно. Как ты похож на отца. Гляди-ка, ты совсем уже взрослый. Какое несчастье, что твой отец умер так рано.

В Дзэнкае была естественность, которой не хватало Учителю, и сила, которой не обладал мой отец. Почерневшая от солнца кожа, широкий нос, мохнатые сдвинутые брови делали Дзэнкая похожим на грозную маску Обэсими из театра Но. Это лицо никак нельзя было назвать красивым — слишком уж чувствовалась в нем внутренняя сила, она так и вылезала наружу, нарушая гармонию черт. Острые скулы напоминали скалистые вершины, из тех, что изображают художники Южной школы.

Но, несмотря на грозный облик и грохочущий бас, в Дзэнкае уга-

дывалась подлинная, неподдельная доброта. Доброта его не имела ничего общего с тем, что люди обычно вкладывают в это понятие, а была сродни гостеприимной щедрости ветвей какого-нибудь раскидистого лесного дерева, готового принять под свою сень усталого путника. Грубая, бесхитростная доброта. Беседуя с преподобным Дзэнкаем, я все время был настороже — боялся, что моя решимость не выдержит соприкосновения с этой всеобъемлющей силой. У меня на минуту даже закралось подозрение, не нарочно ли Учитель вызвал в храм преподобного Дзэнкая, но я тут же отмел эту нелепую мысль — станет святой отец тащиться аж из Фукуи в Киото из-за какого-то монашка. Нет, настоятель храма Рюходзи был здесь случайным гостем, он станет всего лишь свидетелем невиданной доселе катастрофы.

Белый фарфоровый кувшинчик, вмещавший почти два го [1] сакэ, опустел, и я, поклонившись настоятелю, отправился на кухню принести еще. Когда я нес обратно кувшин, наполненный горячим сакэ, странное побуждение овладело мной. Я никогда и ни с кем не стремился достичь взаимопонимания, но тут вдруг страстно захотелось, чтобы отец Дзэнкай — да, да, именно он! — меня понял. Наливая гостю сакэ, я взглянул на него, и по лихорадочному блеску моих глаз он сразу заметил произошедшую во мне перемену.

— Что вы обо мне думаете, святой отец? — спросил я.

— Что думаю? По-моему, парень ты серьезный и прилежный. Погулять, наверное, тоже не дурак. Денег, правда, у всех сейчас маловато, не то что раньше. Эх, помню, и куролесили же мы в твои годы с Досэном и твоим покойным отцом!

— Значит, по-вашему, я самый обыкновенный?

— Нет ничего плохого в том, чтобы выглядеть обыкновенным. Ты и будь обыкновенным, глядишь, и люди станут к тебе лучше относиться.

Отец Дзэнкай был лишен тщеславия. Священников высокого ранга вечно просят высказать суждение о чем-нибудь — от произведений искусства до человеческих характеров. Обычно они отвечают уклончиво и иносказательно, боясь ошибиться и выставить себя на посмешище. За словом в карман они, конечно, не лезут, у них всегда наготове какой-нибудь дзэнский афоризм, но понять его можно и так, и этак. Преподобный Дзэнкай был из другого теста. Он говорил то, что видел и чувствовал,— это я сразу понял. Он не пытался обнаружить в предметах какой-либо тайный смысл помимо того, который сразу открывался его сильному и ясному взгляду. Был смысл — хорошо, нет — и ладно. И вот что больше всего покорило меня в преподобном Дзэнкае: глядя на что-нибудь или на кого-нибудь (в данном случае на меня), он не стремился увидеть нечто, доступное одному ему, а смотрел как бы глазами всех людей сразу. В примитивном мире объективно существующих предметов святой отец и не пытался обнаружить глубокий смысл. Я понял то, к чему призывал меня настоятель Рюходзи, и на душе вдруг стало очень спокойно. До тех пор, пока я остаюсь обыкновенным в глазах других, я и на самом деле обыкновенен, и какой бы странный поступок я ни совершил, моя заурядность останется при мне, словно просеянный сквозь веялку рис.

Мне казалось, что я небольшое скромное деревце, растущее возле преподобного Дзэнкая.

— Скажите, святой отец, значит, нужно совершать только те поступки, которых ожидают от тебя окружающие?

— Вряд ли это у тебя получится. Но если ты и выкинешь что-нибудь неожиданное, люди лишь слегка изменят свое мнение о тебе, и вскоре ты снова станешь для них привычным. Человек забывчив.

— Но кто долговечнее — я, каким меня видят люди, или тот я, каким я сам представляюсь себе?

— Недолговечны и тот и другой. Сколько ни пытайся продлить

[1] Го — 0,18 л.

их век, рано или поздно всему наступает конец. Когда мчится поезд, пассажиры неподвижны. Когда поезд останавливается, пассажиры приходят в движение. Все имеет конец — и движение, и неподвижность. Последняя из всех неподвижностей — смерть, но кто знает, нет ли и у нее своего конца?

— Загляните в мою душу,— попросил я.— Я не таков, каким вам кажусь. Прочтите истинную мою суть.

Святой отец отхлебнул из чарки и внимательно посмотрел на меня. Огромное и темное молчание, похожее на мокрую от дождя черную крышу храма Рокуондзи, навалилось на меня. Я затрепетал. Отец Дзэнкай вдруг рассмеялся — неожиданно весело и звонко:

— К чему мне заглядывать в твою душу? Все написано у тебя на лице.

Я почувствовал, что понят, понят до самых глубин моего существа. Впервые я ощутил себя чистым и опустошенным. И в эту вновь образовавшуюся пустоту неудержимым потоком хлынуло мужество, необходимое для совершения Деяния.

В девять часов вернулся наш настоятель. Как обычно, в сопровождении трех монахов он обошел территорию храма. Все было в порядке. Учитель присоединился к своему другу; в половине первого ночи монахи проводили гостя в опочивальню. Затем Учитель принял ванну, называемую в обители «погружением в воды». Наконец, к часу ночи, когда отстучал своей колотушкой ночной сторож, в храме воцарилась тишина. За окном по-прежнему беззвучно накрапывал дождь.

Я сидел на разобранной постели и ждал, когда жизнь в храме утихнет. Ночь становилась все плотнее и тяжелее, казалось, это древняя тьма давит на стены моей кельи.

Я попробовал сказать что-нибудь вслух. Как обычно, слово никак не хотело срываться с моих губ — словно в темноте роешься в мешке, набитом вещами, и все не можешь достать единственно нужную. Тяжесть и густой мрак моего внутреннего мира были под стать окружавшей меня ночи, и слово шло откуда-то из черных глубин со скрежетом и натугой, как полная бадья из колодца.

«Уже скоро,— подумал я.— Еще немного терпения. Ржавый ключ превосходно откроет дверь, отделяющую мой внутренний мир от внешнего. И тогда откроется простор, вольный ветер загуляет туда и обратно. Тяжелая бадья, слегка покачиваясь, поднимется из черной дыры колодца, и моему взору откроется бескрайняя ширь, рухнут стены потаенной кельи... Еще чуть-чуть, и весь этот мир будет в моих руках...»

Целый час просидел я в полной темноте, чувствуя себя счастливым. Мне казалось, что с самого рождения не испытывал я такого блаженства.

Внезапно я поднялся на ноги. Прокрался к задней двери Большой библиотеки, надел, стараясь не шуметь, соломенные сандалии и пошел через дождь по направлению к мастерской. Там не было ни бревен, ни досок, только пахло мокрыми опилками. Здесь хранились связки соломы. Обычно отец эконом закупал сразу по сорок штук, но сейчас я обнаружил в сарае всего три.

Забрав их с собой, я вернулся к главному зданию. На кухне было тихо. Но когда я проходил под окнами покоев отца эконома, в уборной вдруг зажегся свет. Я пригнулся.

Из-за дощатой стены раздалось покашливание. Да, это был эконом. Потом донесся шум льющейся струйки, он очень долго не кончался.

Боясь, что солома отсыреет под дождем, я прикрывал ее телом. Заросли папоротника, в которых я прятался, колыхались под дуновением ветра. В сыром воздухе запах уборной чувствовался отчетливей. Наконец, эконом кончил мочиться. Послышался глухой удар о дере-

вянную перегородку — старика, наверное, шатало спросонья. Свет в окошке погас. Я подхватил связки соломы и двинулся дальше.

Все мое имущество состояло из корзины, в которой лежали предметы нехитрого обихода, и ветхого чемоданчика. Я собирался предать все свои вещи огню. Одежду, записи и разные принадлежавшие мне мелочи я упаковал заранее. Я предусмотрел все до тонкостей: те предметы, которые могли загреметь при переноске, и те, что не сгорели бы в огне — чашки, пепельницу, чернильницу и прочее — я засунул в подушку. Еще надо было сжечь тюфяк и два одеяла. Весь этот багаж я потихоньку вытащил на улицу. Затем отправился к Золотому Храму — открыть заколоченную дверь.

Гвозди вышли из гнилой древесины легко, словно из земли. Дверь накренилась, я подпер ее плечом. Мокрое, трухлявое дерево нежно коснулось моей щеки. Дверь была гораздо легче, чем я думал. Я приподнял ее и отставил в сторону. Внутри Храма чернела густая тьма. Дверной проем оказался совсем узким, и войти можно было только боком. Я зажег спичку и шагнул в черноту. Впереди возникло чье-то лицо, и я содрогнулся от ужаса, но тут же понял, что это мое отражение в стеклянной призме, прикрывавшей макет Кинкакудзи.

Я остановился и долго рассматривал его, хотя медлить было нельзя. По миниатюрному Храму, словно луной освещенному моей спичкой, метались тени, затейливая деревянная конструкция трепетала в тревоге. И снова мир погрузился во мрак — спичка погасла.

Красная точка тлела на полу, и — странное дело — я непроизвольно затоптал ее, как тот студент, которого я принял за поджигателя в храме Мёсиндзи. Я снова чиркнул спичкой. Прошел мимо Зала Сутр, мимо трех статуй Будды и остановился перед ящиком для пожертвований. Сверху он был забран деревянной решеткой, на ней дрожали тени, и казалось, что это рябь на воде. За ящиком возвышалась деревянная статуя сёгуна Ёсимицу Асикага, считающаяся национальным сокровищем. Сёгун был изображен в монашеском облачении с длинными и широкими рукавами, в руках он сжимал скипетр. В просторном вороте рясы тонула маленькая наголо обритая голова с широко раскрытыми глазами. Глаза вспыхнули в темноте огнем, но я не испугался. Изваяние действительно было жутковатым, но я чувствовал, что власть этого сёгуна, который засиделся в здании, некогда построенном специально для него, осталась где-то там, в глухой древности.

Я открыл дверь в Рыбачий павильон. Как я уже говорил, она отпиралась изнутри. Меня встретили дождь и темнота, но все же под открытым небом было светлее, чем в Храме. Дверь заговорщицки заскрипела ржавыми петлями, и с легким порывом ветра в Кинкакудзи ворвался синий ночной воздух. «Ох, Ёсимицу, Ёсимицу,— думал я, бегом возвращаясь к Большой библиотеке.— Все свершится прямо у тебя на глазах. Прямо перед носом у слепого, давно умершего свидетеля».

В кармане штанов что-то побрякивало на бегу. Спички. Я остановился, вынул коробок и засунул в него салфетку. Бутылочка с мышьяком и нож, завернутые в платок, лежали в другом кармане. Их я упаковал как следует.

В карманах свитера у меня лежали булка, вафли и сигареты. С этим все тоже было в порядке.

Теперь предстояло выполнить чисто механическую работу. В несколько заходов я перенес весь свой багаж от задней двери Большой библиотеки в Храм и свалил его в кучу перед статуей Ёсимицу. Сначала я притащил москитную сетку и матрас. Потом два одеяла. В третий заход — чемоданчик и корзину, в четвертый — солому. Все три вязанки я уложил поверх сетки и тюфяка. Сетка, по моему разуме-

нию, должна была загореться легче всего, и я растянул ее пошире, накрыв остальные вещи.

Напоследок я сходил за узлом с негорючими предметами. Их я отнес на берег Зеркального пруда. Совсем рядом белел островок Ёхаку, над головой, укрывая меня от дождя, склонились ветви сосен.

Поверхность пруда, в которой отражалось затянутое облаками небо, смутно мерцала во мраке. Пруд так густо зарос водорослями, что казался продолжением суши, и лишь редкие блики выдавали присутствие воды. Дождь был слишком мелким, чтобы тревожить сонную гладь. Над ней повисла пелена из мелких капель, и создавалось ощущение, что пруд уходит куда-то в бесконечность.

Я подобрал с земли камешек и бросил его в воду. Оглушительный всплеск словно разорвал ночное безмолвие. Я весь сжался, будто пытаясь погасить гулкое эхо.

Стоило мне окунуть в воду руку, как к ней тут же прильнули скользкие водоросли. Сначала я опустил на дно металлическую палку от москитной сетки. Затем сунул в воду пепельницу, словно хотел ее сполоснуть, и разжал пальцы. Чашки и чернильница последовали за пепельницей. Все, вода свое дело сделала. У моих ног лежала только подушка, в которой я нес вещи. Теперь оставалось бросить и ее в груду, сваленную перед изваянием Ёсимицу. И поджечь.

Внезапно я почувствовал, что страшно голоден. Этого и следовало ожидать — тело предало меня. В кармане лежали булочка и вафли, оставшиеся со вчерашнего дня. Я вытер мокрые руки о свитер и начал жадно есть, не различая вкуса. Желудку не было дела до вкуса, он кричал, требуя насыщения, и я поспешно запихивал сладости себе в рот. Сердце чуть не выскакизало из груди. Утолив приступ голода, я зачерпнул из пруда воды и запил свою трапезу.

...До Деяния оставался всего один шаг. Длительная и кропотливая подготовка была закончена, я стоял на самой кромке, и оставалось только кинуться в бездну. Еще одно маленькое усилие — и цель будет достигнута.

Пропасть, отделявшая меня от Деяния, была столь велика, что без труда поглотила бы мою жизнь, но я об этом не задумывался.

В этот момент я был всецело поглощен созерцанием Кинкакудзи, я навсегда прощался с ним.

Храм едва различимо темнел во мраке, его контуры угадывались с трудом. Казалось, что в том месте просто немного сгустилась чернота ночи. Лишь напрягая зрение, мог я разглядеть силуэт Храма Очищения Водой, Грота Прибоя, сужение третьего яруса, вереницу стройных колонн... Но изящество линий, некогда так волновавшее мне душу, растворилось в темноте.

Однако по мере того, как в душе оживала память о Прекрасном, знакомый образ все отчетливей вырисовывался на фоне ночи. В этой сумрачной форме для меня таилась вся красота мироздания. Память воскрешала одну за другой волшебные черты, они начинали источать сияние, и постепенно Золотой Храм предстал передо мной целиком, залитый странным свечением, не похожим ни на свет дня, ни на свет ночи. Никогда еще Храм не являлся мне в столь ослепительном великолепии всех своих линий. Я будто обрел особый дар видения, присущий только слепым. Подсвеченный собственным сиянием, Кинкакудзи стал прозрачным, и я без труда различал и фрески на потолке Грота Прибоя, и потускневшую позолоту стен Вершины Прекрасного. Причудливые детали внешней отделки смешались с внутренним убранством покоев. Одним взглядом мог я охватить во всей полноте нюансов симметрии и контраста простой рисунок общей композиции и сложное переплетение ее составных частей, раскрывающих основную тему. Два нижних яруса, Храм Очищения Водой и Грот Прибоя, хоть и не были похожи, но имели одинаковую ши-

рину и находились под одним и тем же навесом крыши; они напоминали пару схожих сновидений или два близких воспоминания о чем-то необычайно приятном. Существуй они по отдельности, им бы не удержаться в памяти, но так один дополнял и поддерживал другого, и сновидение становилось явью, а воспоминание о приятном обретало прочность архитектурной конструкции. Однако выше Храм внезапно сжимался, и сон, казалось, превратившийся в несомненную реальность, вновь обращался химерой, подчиняясь возвышенной философии мрачной и величественной эпохи. А высоко над крытой дранкой крышей застыл бронзовый феникс, вперившись взглядом в вечную беспросветную ночь.

Но и этого было мало зодчему. С западной стороны он пристроил к Храму Очищения Водой маленький и невзрачный Рыбачий павильон. Древний строитель вложил всю силу своего эстетического видения в этот акт вопиющего нарушения симметрии. Пристройка являла собой метафизическое противопоставление основной конструкции. Нависший над прудом павильон был совсем мал, но он создавал ощущение бегства, отрыва от сердцевины Кинкакудзи. Мне он представлялся птицей, вырвавшейся на волю из клетки Храма; птица взмахнула крылами и взметнулась над прудом, устремившись к бренному, суетному и земному. Рыбачий павильон — это мост из мира упорядоченности в мир хаоса и чувств. Именно! Душа Золотого Храма начинается отсюда, с этого оборванного посередине моста; образовав трехъярусную структуру, композиция возвращается к исходной точке, и здесь душа Храма вырывается на волю. Мощная чувственная сила, таящаяся в водах пруда,— это тот источник, из которого родился Кинкакудзи; она создала гармоничное и безупречное в своем совершенстве здание, но не смогла существовать в нем и через мост Рыбачьего павильона снова вернулась в пруд, на родину, в бескрайнее море чувств. Мне и прежде всякий раз, когда над Зеркальным прудом дрожал утренний или вечерний туман, казалось, что здесь обитает могучая чувственная сила, создавшая прекрасный Храм.

А красота вбирала в себя все мелкие столкновения, противопоставления и контрасты и властвовала над ними! Точно так же, как тщательно, иероглиф за иероглифом, выписывают золотой краской на темно-синей бумаге священные сутры, был воздвигнут в вечной кромешной тьме Золотой Храм; и теперь невозможно уже определить, что такое Прекрасное — то ли сам Храм, то ли пустота беспросветной ночи, в которую Храм погружен. Может быть, то и другое вместе? И часть, и целое; и Кинкакудзи, и окружающая его тьма. Я почувствовал, что тайна красоты Золотого Храма, мучившая меня так долго, наполовину раскрыта. Если очень внимательно рассматривать каждую из составных частей чуда — колонны, резные перильца, двери, фигурные оконца, загнутые углы крыши... Храм Очищения Водой, Грот Прибоя, Вершину Прекрасного, тот же Рыбачий павильон... отражение Храма в пруду, островки, сосны, даже лодочный причал — ни одна из деталей не будет законченной и прекрасной, но каждая окажется предвестницей красоты всех прочих компонентов. Здесь не найти спокойствия завершенности. Составные части не ведают совершенства, они — лишь переход к гармонии целого, лишь обещание очарования, что таится где-то рядом, по соседству. Одно обещание прекрасного наслаивается на другое, и все эти предвестья не существующей на самом деле красоты и образуют главную суть Кинкакудзи. Посулы не несут в себе ничего, кроме пустоты. Пустота, Ничто и есть основа Прекрасного. Незавершенность каждого из компонентов сулит не красоту, а Пустоту, и в преддверии этой Пустоты затейливый деревянный каркас Храма трепещет, словно драгоценное ожерелье, колеблемое ветром.

И все же Кинкакудзи был вечно и неизменно прекрасен! Отзвук

этой красоты слышался мне отовсюду. Эхо Храма звучало во мне всегда — непрекращающимся звоном в ушах, и я давно привык к этому гулу. С чем бы его сравнить, этот звук? С перезвоном золотого колокольчика, не умолкающего вот уже пять с половиной столетий? Или с пением струн бива?..

Что произойдет, если этот звук оборвется?..

Страшная усталость навалилась на меня. Фантастический Кинкакудзи все еще сиял, заслоняя реальный Храм, окутанный ночной тьмой. Перила первого яруса смиренно жались к кромке воды, а балюстрада Грота Прибоя, вознесенная вверх деревянными опорами в стиле Тэндзику, горделиво парила над прудом. Углы крыши, подсвеченные смутными бликами, тревожно подрагивали во мраке. Близость искрящейся под солнцем или луной воды всегда придавала Храму подвижность и трепетность. Игра живого света как бы освобождала Кинкакудзи от пут застывшей формы, и он обретал природу вечно подвижной субстанции — ветра, воды или пламени.

Нет, Храм все-таки был прекраснее всего на свете! Я знал, откуда взялась эта внезапная усталость. Прекрасное в последний раз давало мне бой, вновь, как прежде, пыталось обрушить на мои плечи бремя бессилия. Опустились руки, стали ватными ноги. Только что меня отделял от Деяния всего один шаг, и вот я снова оказался отброшенным назад.

«Я все подготовил, осталось совсем чуть-чуть,— забормотал я.— Ведь я уже представил себе Деяние, пережил его в своем воображении, так, может быть, этого достаточно? Все равно ничего изменить не удастся... Наверное, прав был Касиваги. Мир невозможно изменить действием, это под силу только сознанию. Иногда сознание способно очень точно копировать действие. Мой разум именно таков. Эта разновидность сознания и делает всякое действие невозможным... Не потому ли и готовился я так тщательно к Деянию, что в глубине души знал: совершать его на самом деле вовсе не обязательно?.. Нет, в самом деле. Действие было бы сейчас совершенно излишне. Оно существует вне всякой связи с моей жизнью и моей волей, оно стоит передо мной, словно холодный стальной станок, ожидающий пуска. Между мной и действием нет ничего общего: я — здесь, а там уже что-то другое, не имеющее ко мне отношения... Почему же я должен перестать быть собой и превратиться в это самое другое?»

Я прислонился к сосне. Холодное и влажное прикосновение коры подействовало на меня магически. Я почувствовал, что эта леденящая неподвижность и есть я сам. Мир застыл в вечной неизменности, в нем не было места желаниям, и всеобъемлющее довольство сошло на меня.

«Какая мучительная усталость,— подумал я.— Жар, и вялость, и не слушаются руки. Несомненно, я болен».

Кинкакудзи сверкал в ночи. Я вспомнил, как в пьесе театра Но «Бродячий монах» слепой Сюнтоку-мару любуется пейзажем. В вечной тьме ему вдруг является картина захода солнца в заливе Нанива, и слепой ясно видит синее, безоблачное небо, островки и скалы, освещенные вечерней зарей...

Странное оцепенение сковало меня, неудержимым потоком хлынули слезы. Я готов был стоять здесь до самого утра, пока кто-нибудь меня не обнаружит. И я не скажу ни слова в свое оправдание...

Я много говорил о том, что воспоминания обладают способностью лишать человека силы, но это не совсем так. Иногда внезапно возникшее воспоминание может дать могучий живительный импульс. Прошлое не всегда тянет назад. В нем рассыпаны немногочисленные, но мощные пружины, которые, распрямляясь, толкают нас в будущее.

Тело мое застыло в оцепенении, но в душе бродили какие-то смутные воспоминания. Какие-то знакомые слова то всплывали в памяти, то уходили вновь. Вот-вот готовы были зазвучать, но, не успев, затихали. Эти слова звали меня, делались все слышнее, они должны были придать мне сил.

«Смотри по сторонам, и назад смотри, и убей всякого, кого встретишь»,— вдруг отчетливо услышал я первую строчку. Знаменитое место из «Риндзайроку»! Слова полились без запинки: «Встретишь Будду — убей Будду, встретишь патриарха — убей патриарха, встретишь святого — убей святого, встретишь отца и мать — убей отца и мать, встретишь родича — убей и родича. Лишь так достигнешь ты освобождения от оков греховного мира. Лишь так достигнешь ты просветления и избавления от бренности бытия».

Магические слова сняли с меня заклятие бессилия. Все мое тело налилось мощью. Голос рассудка еще твердил, что Деяние мое будет тщетным, но проснувшуюся во мне силу это не пугало. Пусть тщетным, именно поэтому я и должен его совершить!

Я поднял подушку, зажал ее под мышкой и поднялся на ноги. Взгляд мой обратился к Храму. Сияние Кинкакудзи меркло на глазах. Исчезли во мраке перильца балюстрад, растаяли колонны. Погас блеск воды в пруду, и тут же потухли блики на изгибах крыши. Ночь поглотила детали, и Золотой Храм превратился в неясный черный силуэт...

Я обежал Кинкакудзи с севера. Ноги уверенно несли меня, я ни разу не споткнулся в темноте. Ночь расступалась передо мной, указывая путь.

Я ворвался в Храм со стороны Рыбачьего павильона, через дверь, оставленную открытой. Швырнул с размаху подушку в груду вещей, сваленных перед статуей.

Сердце радостно трепетало в груди, влажные пальцы мелко дрожали. Спички отсырели — первая не пожелала загораться, вторая сломалась. Лишь третья вспыхнула в сложенных ковшиком ладонях.

Я уже забыл, куда бросил связки соломы, и принялся высматривать их в темноте. Когда я их обнаружил, как раз догорела спичка. Я присел на корточки и чиркнул двумя спичками сразу. Пламя осветило сухие стебли соломы, по ним заметались причудливые тени, и крошечный огонек пополз по первой из связок. Повалил дым, и пламя скрылось в его клубах, но тут же взметнулось совсем в другой стороне, пробежав по москитной сетке. Все словно ожило вокруг.

В эти мгновения мой мозг работал трезво и спокойно. Надо было беречь спички. Я осторожно зажег еще одну, подпалил вторую связку соломы и отнес ее в другой угол. Вид поднявшегося пламени радовал мне душу. Во всей обители никто не умел так ловко разжигать костры, как я.

По стенам Храма Очищения Водой заплясали огромные тени. Три священных изваяния — Амида, Каннон и Сэйси — озарились багровым светом. Вспыхнули искрами глаза Ёсимицу, за его спиной тоже заколыхалась черная тень.

Я почти не ощущал жара. Увидав, как занялся ящик для пожертвований, я с облегчением подумал, что теперь, кажется, все в порядке!

Я совсем забыл о ноже и мышьяке! Вдруг возникла мысль покончить с собой в охваченной пожаром Вершине Прекрасного. Пятясь от пламени, я поднялся по узкой лестнице на второй этаж. Меня не удивило, что дверь в Грот Прибоя была незаперта — старик вечно забывал закрыть ее.

Дым полз за мной по пятам. Сотрясаясь от кашля, я кинул прощальный взгляд на расписной потолок и на статую Каннон, припи-

сываемую великому Кэйсину. Грот Прибоя затягивало дымом. Я поднялся еще выше и толкнул дверь, ведущую в третий ярус.

Она не подалась. Вход в Вершину Прекрасного оказался запертым на ключ.

Я заколотил по двери кулаками. Наверное, поднялся страшный грохот, но я ничего не слышал. Я бил и бил в закрытую дверь. Мне казалось, что кто-то сейчас откроет ее изнутри. Первоначально я устремился в Вершину Прекрасного, чтобы там умереть, но теперь, когда огонь подобрался совсем близко, я уже сам не понимал, почему так яростно рвусь туда, чего ищу за этой дверью — гибели или спасения. Там, за преградой, находилась всего-навсего обычная тесная комнатка. Я прекрасно знал, что позолота ее стен давно облупилась, но в этот миг мне грезилось, будто золото уцелело и попрежнему украшает Вершину Прекрасного. Не могу передать, до чего жаждал я проникнуть в эту залитую ослепительным сиянием комнату! Только бы попасть туда, только бы попасть в этот золотой чертог, думал я.

Я колотил в дверь изо всех сил, бился о нее с разбегу плечом, но она стояла незыблемо.

Грот Прибоя уже весь был в дыму. Снизу доносилось потрескивание огня. Я начинал задыхаться и чувствовал, что вот-вот потеряю сознание. Но, давясь кашлем, я продолжал штурмовать неприступную дверь.

Наконец, я со всей ясностью понял, что Вершина Прекрасного отказывается меня принять. Я не колебался ни секунды — повернулся и, низко пригнувшись, бросился вниз по лестнице. В густых клубах дыма я скатился на первый этаж, пробежал сквозь самый огонь и через западный выход выскочил из Храма наружу, но не остановился, а понесся сломя голову дальше, вперед, куда глаза глядят...

Я бежал и бежал. Не знаю, сколько длился этот безумный бег, не помню, что было вокруг. Судя по всему, я миновал башню Кёхоку, промчался под северными воротами, потом мимо храма Мёодэн и взлетел вверх по тропинке, сквозь заросли бамбука и кусты азалий, на гору Хидаридаймодзи. Во всяком случае, именно там, под сосной, повалился я на траву, не в силах унять бешеного сердцебиения. Гора Хидаридаймодзи высилась прямо к северу от Храма.

Меня привели в чувство встревоженные крики птиц. Одна из них пронеслась прямо над моим лицом, отчаянно хлопая крыльями. Я лежал навзничь и смотрел в ночное небо. Огромная птичья стая с криком носилась над верхушками сосен, редкие искры алели во тьме, поднимаясь все выше и выше.

Я приподнялся и посмотрел вниз. Странные звуки доносились оттуда. Словно разом взрывались сотни шутих. Или захрустела суставами сразу целая толпа людей.

Самого Храма с вершины горы было не видно — лишь дым и длинные языки пламени. Над деревьями плыли бесчисленные искры, казалось, что вокруг Кинкакудзи поднялся вихрь из золотой пыли. Я сел, скрестив ноги, и долго смотрел на эту картину.

Окончательно придя в себя, я увидел, что все мое тело покрыто ожогами и ссадинами, кое-где сочилась кровь. На костяшках пальцев, которыми я колотил в запертую дверь, запеклась кровавая корка. Как дикий зверь, ушедший от погони, я стал зализывать раны. Сунув руку в карман, я наткнулся на замотанные в тряпку пузырек с мышьяком и нож. Размахнувшись, я швырнул их куда-то вниз.

В другом кармане мои пальцы нащупали пачку сигарет. Я закурил. На душе было спокойно, как после хорошо выполненной работы. Еще поживем, подумал я.

■

Колумбийская лирика: два новых имени

■

Вступление и перевод с испанского СЕРГЕЯ ГОНЧАРЕНКО

Кто спорит — романы Габриэля Гарсиа Маркеса и поэзия Леона де Грейффа в наши дни символизируют литературную славу всего латиноамериканского континента. Настолько, что не всякий европейский почитатель их творчества сразу вспомнит, откуда они родом. Из Колумбии! Как и поэт XVII века Эрнандо Домингес Камарго — родоначальник латиноамериканского барокко или Хосе Асунсьон Сильва, поэт конца XIX века — предтеча латиноамериканского «модернизма».

Колумбия, эта «земля поэтов, страна, озаренная поэзией»[1], и впрямь, похоже, поэтическим временем и пространством превзошла свои естественные географические и исторические границы. Литературоведы грядущего столетия разберутся, в чем тут дело и как это вышло.

Не обязательно, конечно, но все-таки, может быть, они в этой связи отметят и такую характерную, хотя и не слишком странную деталь, как преобладание любовной лирики в творчестве колумбийских поэтов. Не слишком странную — ибо во второй половине нашего беспощадно технократического века, когда обрушились в прах многие железобетонные твердыни политических и религиозных розовых и черных «заблуждений» (Леон де Грейфф), в картине мира нескольких поколений землян искренняя любовь оказалась — или показалась? — едва ли не единственной философией и практикой очеловеченного общения между людьми. А интимная лирика — единственно адекватным отражением этой «картины».

Сам по себе это феномен не колумбийского происхождения. Вспомним, что и у чилийца Пабло Неруды самая читаемая книга — «Двадцать стихотворений о любви», ставшая «песнью песней XX века, произведением, по количеству экземпляров стоящим на втором месте после Библии»[2]. Феномен-то по происхождению не колумбийский, но именно в Колумбии, пожалуй, впервые получивший полные права гражданства. Любовная лирика здесь, оставаясь, как и повсюду в мире, «экспозицией идеалов и жизненных ценностей человека» (Л. Я. Гинзбург)[3], развилась в целостную энциклопедическую систему этического бытия и саморазвития мыслящей и чувствующей личности — систему, из которой выводимы остальные аспекты одухотворенности живого (а не вожделенно-искусственного) интеллекта.

Как литератору, мне хотелось бы надеяться, что публикуемые переводы стихотворений двух из наиболее популярных в Колумбии, но наименее известных у нас колумбийских поэтов — Хорхе Гайтана Дурана (1924—1962) и Эдуардо Каррансы (р. в 1913) — хоть в некоторой мере подтвердят этот тезис. Между прочим, Х. Гайтан Дуран и сам писал: «Все эстетическое здание покоится на этическом фундаменте»...

---

[1] Карлос Мартин. Камень и Небо в колумбийской поэзии. В кн.: «Культура Колумбии». М., «Наука», 1974, с. 172.

[2] Володя Тейтельбойм. Неруда целый и неделимый. В сб.: «Венок Неруде». М., 1974, с. 468.

[3] Л. Я. Гинзбург. О лирике. Л., 1974, с. 8.

ХОРХЕ ГАЙТАН ДУРАН

Знаю, что живу

Сегодня знаю точно, что — живу.
Лежу с тобой. Гляжу и вижу: лето.
И плод в твоей руке — почти планета,
плывущая сквозь листья и траву.

Но знал ли этот мир свой вес и рост
до встречи наших губ? Вольно в нем выжить,
поскольку можно из желанья выжать
любовь, чей вызов выше вечных звезд!

Коснусь морской волны ногой. Нагой
вернусь в тебя, впаду в твой сон рекой,
а не далекой маркой на конверте.

И — алое вино. И в унисон —
кровавые цветы. Не жизнь, а сон,
отчетливо напомнивший о смерти.

Мгновение

Солнце распустилось розой.
И певчая птица луны
улетела. Мы глядим друг на друга,
обнаженные. Над нами
простирает ветви красное дерево
солнца. Вот они мы — на берегу
реки, два вечно юных
тела. Мы — видишь? — друг друга
узнали. Мы умерли, да, но очнулись
от сна смерти и времени. Протяжно
смотрим друг в друга. И ночь
покарает нас, памятливых, снова.

Объятье обнаженных

Два обнаженных тела слились
друг с другом, одинокие,— в городе,
где обитают только звезды.

Жадный пожар жажды
соединил их в одно, и они не видят себя,
не зная, красивы ли или — безобразны.
Пылают, как два мира, чьи орбиты
пересекаются раз в тысячелетье.
В зеркале слова, в этом осколке луны,
только и можно увидеть друг друга —
какие мы в минуту страсти, нежности и страха,
скрежетанья столкнувшихся скал,
враждебных звезд, воюющих империй.
Ласковое касанье среди рушащихся звезд!
Глупый поцелуй до самой глуби.
Два белых дельфина в дюнах дня.
Одинокий костер в поющей, ознобной ночи.

Любовники-1

Кто мы — любящие люди
или же — нелюди?
Обнажившись, обнаруживаем в себе
незнакомцев, узнающих друг друга на ощупь
по широким шрамам, по ожогам
жестокого желанья. Зачем нам зренье?
Подозревать небожителей
в дурацком адюльтере?
Влюбление заранее значит затмение:
столкновение кровожадных звезд,
безжалостную битву двух династий,
оспаривающих права на королевство.
Жаждем справедливости, расставляя засады,
капаем в сердце яд, яростно желая милосердья.
Такою метой небо метит влюбленных.
И ради того, чтобы тысячекратно
обуяла буря объятий,
они готовы каждый день
тысячекратно умереть.

Любовники-2

Бросаемся в омут обнаженности,
словно обнажив ножи —
два заблудших ангела,
два красных солнца в черной чаще,
два вампира на пиру рассвета.
Губы на снегу раскаленных коленей,
рот, ищущий рот,
мраморный поцелуй статуй,
взыскующий молнии мрака,
которая испепелит нас непобедимой вспышкой
все сметающей смерти.
Примем ее стоя, как летние тополя,
сидя, как захмелевшие боги,
да вспенят мой пепел две твои звезды,
две родины, рассекшие мою зарю.
Я теплюсь в теле твоем жилкой жизни.

Послание

Прости, я не забыл тебя. Не смог.
Нет, невозможно, сколько ни усердствуй.
Тук-тук — как в дверь. Все тот же стук у сердца,
стучащего к тебе. И даже бог

мне в этом не указ. Хотел открыть я
задутый им твой свет, как Новый Свет,—
и тоже не сумел. Таланта нет,
а может, просто не было наитья.

Как много было у меня причин
любить тебя. Как мало величин
величественней вещей водоверти

любви. Хочу тебя запеленать
в слова, в стихи, в свирель, чтобы опять
тебя обнять — хотя бы в долгой смерти.

Ночное мимолетное

Вглядевшись попристальней во время, вижу — ночь.
Стало быть, все мои костры напрасны.
И не были они кострами — просто мириады звезд,
заполнившие небо. Всюду — небо.
Все было у меня, кроме безоблачных богов,
разомлевших от счастья. Жил миражем
сияющих в гармонии миров.

Скользя со звезды на звезду, ныряя в бездну,
могли же, наконец, мои глаза
постичь ничтожность моего мира!
Могла же, дыша галактической глубью,
душа моя проникнуться трепетом
перед твердью бессонных небес,
где ничто не убывает — все бессмертно?
Но пропела труба тревожной сини,
и соловей упорхнул за порог времени.
Лесные листья прильнули трелью полета
к звездам. И светозарный олень
просквозил во влажной тайне рощи.
В тени ветвей очнулась твоя обнаженность,
и вновь моя земля зажгла меня желаньем.

Потеряв эту землю

Только из надежды соединиться с Софьей фон Кюн
Новалис, влюбленный в нее с тринадцати лет,
решил поверить — и поверил — в загробный мир.
Я же принял иную веру: в солнце, снег и деревья,
в белую бабочку на красном лепестке,
во вьющуюся траву и в день ее увядания.

Ибо только эта вера могла мне подарить
короткое счастье сжимать тебя в объятьях
и, подобно богу отцу,
сотворить себя заново в твоих глазах.
Потеряв эту землю, я и тебя потеряю.

Хочу

Хочу сам прожить все имена,
которыми пожар мирозданья
озарил смертные предметы.
Например, «скала», «суть», «существо», «память».
Хочу потрогать кожу слов,
силой которых напрасно хотел похитить тебя
у насущной, ежедневной боли:
мрамор, в чьей глуби обитали боги,—
ныне гладкий, а некогда вмещавший
взлет души, которого нам так не хватает.

Не хочу умирать, покуда не утвердил
тебя среди людей громким городом.
Хочу, чтобы ты стала — еще до смерти —
единственным сочиненным на земле
стихотвореньем.

Правда песни

Поэзия, я погружался с тобой
и в смерть,
и в боль,
и в одиночество,
и в пропасть прошлого,
в преданную нам и нами пучину
предков, прощально и ласково
протягивающую к нам руки
пшеничным полем,
узловатыми корнями, трепетом травы.
Я говорил и про себя. Говорил,
что я всего лишь горсть праха,
пронзенного пересеченьем молний.
Прогрызаю проволоку — и проваливаюсь
в забвенье. Гол мой негулкий голос
и одинок. Но у ног моей песни
пел вспененный океан общей печали,
указуя бездной в бесконечность,
обтекая жгучими водорослями острова
острого одиночества. В его волнах
окунулся я в тщетность вещного мира,
еще не подозревая о хрупкой вечности розы,
об этой самой краткой формуле бессмертья.
И понял я, что даже любовь —
всего лишь вечный путь в забвенье и разлуку,
а жизнь — просто победно-бедное бегство
в смятенье смерти. Я верил в боль.
В боль, воспламеняющую пеной песни
красную кровь красоты.
В боль, растущую у человека в сердце

с возрастом, с ростом крепнущих крыльев.
Короче, я верил в собственную боль.
Теперь я верю во всеобщность боли.
Я вспомнил о сущности общего,
в которой умирает изменчивость сущего.
Вспомнил о тысячелетней борьбе,
понадобившейся для того, чтобы малая травинка
стала принадлежать всем и каждому,
чтобы солнце светило всем и всюду:
и морякам, и грузчикам в порту,
и пахарю, торящему борозду навстречу жатве,
и роженице, корчащейся в схватках,
и каменщикам,
которые сидят пыльным вечером у порога
в куртках, испачканных известкой и цементом
и попыхивают глиняными трубками
среди детишек, празднующих рождество
без конфет и стеклянных игрушек.
Я верил в собственную смерть.
Теперь верую в смерть всех и каждого.
В смерть, зорко высматривающую нас
с вершин кладбищенских кипарисов,
оскалившую зубья скал на горизонте,
где извивается свист северного ветра,
где повстанческая песня окровавленных камней
продолжает звучать и после треска пулеметов.
В смерть, смеющуюся в лицо броневикам
с баррикады, над которой
никогда не подняться белому флагу.
В смерть изувеченных в пыточной,
павших в каждом из одиночеств одиночек
и не увенчанных потом лавиной лавров.
Верую в людей.
В человека и человечество.
Вслушиваюсь в собственное сердце —
оно не стучит, а перестукивается
со всеми на свете сердцами
человеческой человечности.
Да сожмут юные руки снова
оружие, обезображенное временем,
да взметнутся опять знамена,
измочаленные звездами злой ночи,
да начнется битва за начало
иначе выстроенной жизни.
Зря торжествуешь,
прожорливый жернов неизбежных жертв!
Сметем смелостью смуту смерти,
покончим с одиночеством, забудем боль —
пришла пора перекроить мирозданье!

ЭДУАРДО КАРРАНСА

Навязчивый сонет о сне

И облако ее волос текло
дождем в мой сон. И снилось мне жасмином
былое лето. И платком карминным,
трепещущим в ее руках, стекло

оконное с рассветом приближалось
ко мне ее губами. Жег огонь
горящих уст. Горячая ладонь
прощалась навсегда... Какая жалость!

Ее рука была моей рекой,
моей листвой, тоской моей — такой,
что надо мною коршуном снижалось

в разлуке с нею небо... Упокой
меня, покой разрыва... И тоской
сотри с доски стихи... Какая жалость!

Сонет о кромешном «кроме»

Все хорошо. И росный луг, и эти
восторженные ветви на ветру.
Все превосходно. Праздник поутру
проснувшейся природы. Свет и ветер,

Все хорошо. Целую в лоб жену.
Плевать на дождь! Я счастлив. Почему бы
и нет? Другая поцелует в губы...
Я горд за город свой и за страну.

Все превосходно. Улыбнись во сне,
мой младший сын. И сон, и синь в окне —
все для тебя. Проси чего угодно.

Бери весь мир. Он так хорош, такой,
где *кроме* сердца, сжатого тоской,
все замечательно. Все превосходно.

Тема огня и моря

Огонь и море разве что и смеют
глядеть в глаза друг другу даже ночью.
Твое лицо и есть волна и пламя.
Костер и море ты вместила в очи.

Ты из пожара и струи студеной.
Лед, лава, щебет птиц и скрежет щебня.
Ты знаешь, чем кончается горенье
и знаешь тайну вспененного гребня.

Отмеченные синей стынью глуби
и голубым огнем небесной тверди,
твои глаза плывут и пламенеют.
Как море и огонь. Как вызов смерти.

Ожидание

Стреноженная страсть. «Ну, скоро? Нет ли?» —
в глазах полузадушенной души.
Как жаждут хода шахматы... Спеши!
Куда? Стена ведь! — Ну, хоть в омут петли!

Да разве же затянется змея
такого вервия? У ожиданья —
ни краю, ни конца... Струной в фонтане
жестокой жажды жгучая струя

натянута — на этой вертикали
я и повис. Века ли истекали,
мгновенья ли? Карабкаюсь — и вниз

лечу. Рассвет. Луч солнца на гардине.
Вновь голосом и сердцем я в пустыне.
Но, правда, слышу жизнь — из-за кулис.

Крылья музыки

Не крылья ли забытой мелодии полняли
из прошлого, из праха, разлюбленную пыль?
Не пепел ли тумана на зыбком пьедестале
слепил печальный контур из миллиона миль?

Нет, память — это знамя. Портретом не обрамить
живого трепетанья на праведном ветру.
Плескайся языками, пылающая память,
борись, былая буря, язычествуй в бору!

Категоричны ритмы античного касанья.
Арктические ветры, аттическая соль!
Звезда ли полоснула косою угасанья?
Не знаю, но бемолем пронзила сердце боль.

Колокола, звоните! Пусть звездная разлука,
не разлучив, разучит жасминно-минный путь.
Взмывает в высь былое на белых крыльях звука.
Корнями скорби небо опять врастает в грудь.

Тема женщины и яблока

Н. Парре

Женщина надкусила сочное яблоко.
Над черепицей все так же струилось время,
и бежала по лугу длинноногая весна,
смеясь беззаботно, как девушка.
Женщина ела яблоко.
В ней нарождалась живая влага,
и потаенное солнце, озарив ее изнутри,
незримо насыщало ее зрелостью.
В ее волосах разгорался ветер,
и весна поднимала в битве со смертью
непокорное знамя обреченной синевы.
Женщина ела яблоко.
Горячий голубой сок
пульсировал в ее жилах,
в теле ее текли цветы и рыбы.
Прозрачный бык взволнованного ветра
стонал и хрипел, почуяв издалека
ее осыпанный лепестками лимона затылок.
Пылало белое пламя жасмина.
И море, теплое море — море! — сияло,
словно глаза влюбленной.
Женщина ела яблоко.
На нее в упор смотрели звезды Гомера.
Над крышами струилось время.
Топоча, разбегались стада сиреневых зверей.
Как в начале начал
и на веки вечных мгновений,
женщина ела яблоко.
Яблоко моего сердца,
которое некогда было и снова станет землей.

Оленье солнце

Моей маме

Я помню: оленье солнце
врастало рогами в сумрак.
Вдали стекленели горы,
прозрачные, как рисунок
ребенка... Я был ребенком,
чей взгляд одинокой болью
струился, как наша речка,
поющая вдоль по полю
печальную песню русла...
Я помню, как мне с балкона
открылось, что мирозданье
мечтательно и бездонно,
и сон оленьего солнца,
казалось, навеки вечен...
А с трепетных губ жасмина,
как вздох, поднимался вечер.
Дышали стихом грядущим
и сок лепестка, и мякоть.

И было столь синим небо,
что очень хотелось плакать.
Я с мамой молчал. И это
безмолвие было в ранге
святой тишины, в которой
над нами витает ангел.
Мы в эту минуту были
во сне прозрачного слова,
отчеркнутого кристаллом
от четкой черты земного
и времени, и пространства...
Я помню себя ребенком.
Я помню солнце безрогим,
безропотным олененком.
Резвилось оно, катилось
на дно витражей заката...
Вживались мы в зазеркалье
стеклянного небоската.
Цвели розмарины, мама,
устами прозрачных вестниц.
Предчувствием поцелуя
порхали улыбки сверстниц.
Сон солнца, рассказ луча ли,
аквариум акварели?
Из клетки сиял, из кроны ль
кристалл соловьиной трели?
Казалось, что все на свете
из воздуха и дыханья.
Казалось, что все готово
к свечению и порханью.
Но это мгновенье длилось
не более, чем мгновенье,
и смаргивалось ресницей
печального отрезвленья.
Пружина часов сминала
зеркальную гладь покоя,
и снова кристалл разлуки
оказывался рекою.
Но долго на дне заката,
обрызганы красной пылью,
вечернего перезвона
прозрачные крылья плыли.
Я помню: оленье солнце
врастало рогами в сумрак,
и был окоем прозрачен
и чист, как детский рисунок.
Конечно, я был ребенком,
но снова твержу устало:
прекрасное — невозможно,
и все же существовало.

■

ЛЕОНАРДО ШАША

Смерть Сталина

РАССКАЗ

Перевод с итальянского Е. СОЛОНОВИЧА

18 апреля 1948 года, под утро, Калоджеро Скиро́ приснился Сталин. Это был сон во сне, Калоджеро снились избирательные бюллетени, целый ворох, накануне он подписал около тысячи штук, партия выдвинула его счетчиком; он видел эти самые бюллетени, и вдруг на них легла тяжелая рука, которая выглядывала из рукава мундира, мундир был военный, старинного образца. Во сне Калоджеро подумал: «Это сон, мне снится Сталин» — и поднял глаза, чтобы посмотреть Сталину в лицо. Лицо было хмурое, Калоджеро забеспокоился: «Сердитый, что-то ему не нравится» — и, силясь понять, к нему ли относится недовольство Сталина или к партийной секции Регальпетры, признал, что у них тут было к чему придраться: заместитель мэра украл из муниципалитета часть ооновского сахара и не был за это исключен из партии, секретарь рудокопов проворачивал за деньги какие-то темные дела. Сталин говорил с неаполитанским акцентом. «Кали́,— сказал он,— на этих выборах мы проиграем, ничего не поделаешь, первыми будут попы».

Калоджеро подумал: «Сон это»,— но Сталин, должно быть, прочел разочарование и огорчение на его лице, едва заметно улыбнулся, спросил: «Ты что, думаешь, нам не победить? Сегодня мы проиграем, народ еще незрелый, но увидишь, в конце концов наша возьмет». Он тряхнул Калоджеро за плечо.

Тряся Калоджеро за плечо, жена говорила: «Кали́, шесть часов уже, тебя Кармело зовет».

Калоджеро проснулся, на душе из-за приснившегося кошки скребли. Одеваясь, он сказал жене, чтобы Кармело поднялся; товарищ по партии вошел веселый, нарядный, словно на свадьбу собрался, и крикнул еще с порога: «Ух и попляшут у нас сегодня эти чертовы попы!» — но Калоджеро в ответ промолчал и, нагнувшись, стал завязывать шнурки.

Жена принесла кофе, Кармело, прихлебывая, говорил: «Хочу поглядеть, какую рожу сделает священник, он людей пугает, несет, будто у нас веревка наготове, чтобы вешать, я ему покажу веревку!» — а Калоджеро, не глядя на него: «Покажешь, говоришь? Нет, чтоб убрать их с дороги, годы нужны».

Кармело удивился: как, мол, так, вчера же ты об заклад бился...

— Вчера — это вчера,— сказал Калоджеро,— ночью-то больше времени, чтоб мозгами раскинуть. Первыми будут попы, мы еще незрелые.

Он не хотел говорить про сон, желторотый Кармело смеялся над снами, молодежь вроде него даже в лотерее не играет. Калоджеро не верил в души усопших, будто бы подсказывающие выигрышные номера, зато верил в некоторые сны — особенно в те, что снятся под

утро, сам Данте считал их пророческими. Калоджеро был в ссылке с одним поэтом, анархистом, знал наизусть десяток песен «Божественной комедии», стихи Кардуччи и того анархиста. Это был не первый его сон про Сталина. И всегда выходило, что сон сбывался. Ничего сверхъестественного, вообще-то говоря: Сталин думал, а он во сне принимал сталинские мысли, это и ученые допускают. В тридцать девятом году, когда Калоджеро прочитал в газетах, что Сталин заключил пакт с Гитлером, его чуть удар не хватил. Месяца за два до того он вернулся из ссылки, опять мастерскую открыл, но хоть бы кто-нибудь зашел набойки поставить или прохудившийся башмак зашить, ни одна собака не появлялась, целыми днями он перечитывал те немногие книги, что у него были, и, конечно, с нетерпением ждал, когда придет «Джорнале де Сичилия», газету он проглатывал целиком, вместе с объявлениями и извещениями о смерти. Ему доставляло удовольствие читать, как дуче торжественно открывал, принимал, выступал, совершал полеты, и вслух комментировать сообщения и речи, призывая язву и сифилис разъесть бодрое тело главного чернорубашечника и бросая в его то улыбающееся с газетной страницы, то грозное лицо изощренные оскорбления и кровожадные проклятья. Никто не заходил в мастерскую поболтать, лишь священник забегал на минутку напомнить о благоразумии, об осторожности; иногда он добавлял: «Бог велик, эта бешеная собака получит по заслугам»,— и у Калоджеро, который в бога не верил, делалось спокойнее на душе, бешеной собакой был Гитлер, даже ватиканский «Оссерваторе романо» намекал на то, о чем священник говорил без обиняков. После пакта священник сказал: «К этому и шло, снюхались, как собаки»,— и Калоджеро, забыв об осторожности, закричал, лишая себя единственной отдушины — ежедневных разговоров со священником, что такого не может быть, что это либо враки, либо тут что-нибудь да кроется, и вообще Сталин лучше, чем папа. Надувшись, словно мышь на крупу, священник показал спину и несколько месяцев после этого обходил мастерскую стороной.

У Калоджеро сообщение о пакте не укладывалось в голове. На то, что это враки, надеяться не приходилось. Появились снимки, где Сталин был сфотографирован рядом с Риббентропом, ничего не стоило принять их за двух старых друзей. И как могло случиться, что Сталин, товарищ Сталин, который сделал Россию родиной человеческой надежды, протянул руку этому злодею, этому сучьему сыну? Наверняка Чемберлен, старый дурак с зонтиком, палец о палец не ударил, чтобы перетянуть Сталина на свою сторону, Муссолини правильно делал, что смеялся над заплесневелой Англией; но ведь не мог же Сталин объединиться с убийцей только назло Чемберлену. Разве что, притворившись другом, он расставлял Гитлеру смертельную ловушку.

Тут как раз Калоджеро и приснился Сталин, и Сталин по секрету сказал ему: «Кали, мы должны раздавить эту ядовитую гадину. Увидишь, придет время, я ее в порошок сотру»,— и у Калоджеро отлегло от сердца, теперь ясно было как день, что удар, которого заслуживает Гитлер, он получит в решающую минуту от Сталина. Один приятель достал Калоджеро речь Димитрова, тот говорил, что между двух империалистических блоков СССР все равно как меж двух огней, так оно и было на самом деле, но, по мнению Калоджеро, Димитров умолчал — да и не мог не умолчать — о том, что Россия ждет, когда победоносные до поры до времени силы немцев иссякнут, и вот тут-то она ударит по ним. Он представлял секретные приготовления: аэропланы и танки выходят с народных заводов и выстраиваются в огромную замаскированную линию вдоль границ, которые Гитлер наверняка считает неприступными; Сталин подаст сигнал как раз в нужную минуту, не раньше, не позже,— и красное войско хлынет в фашистскую Европу и через горы и долы дойдет до самого Берлина,

до самого Рима. Пока же Гитлер пожирал Польшу, его армия двигалась как машина, Польша была раздавлена в два счета, гнилая панская Польша, думал Калоджеро, героический польский народ, кавалерия, атакующая гитлеровские танки, сердца поляков словно одно большое сердце, да здравствует бедная Польша, да здравствует героическая Польша! Его так и подмывало выйти на площадь и закричать: «Да здравствует Польша!», он плакал, читая военные сводки, даже в фашистских газетчиках просыпалось что-то человеческое, когда они писали об умирающей Польше, один из них так написал о падении Варшавы, что Калоджеро вырезал его статью и спрятал в бумажник. Когда Россия в свою очередь присоединила к себе кусок Польши, опять пожаловал священник, прислонился к дверному косяку и начал: ты, конечно, знаешь гимн Мамели[1]... Калоджеро не понял, куда он гнет, гимн Мамели Калоджеро знал, то есть весь не помнил, но он у него был в одной книжке. Священник продолжал: прочти, мол, то место, где говорится про кровь поляков и про казаков, которые пили ее вместе с австрийским орлом, подумай хорошенько и совесть спроси, что она тебе подскажет.

— Я уже подумал,— ответил Калоджеро.

— Послушаем,— сказал священник.

— Пакт о ненападении — или как он там называется — это маневр: придет время, и Сталин так задаст этому сучьему сыну, что от него мокрое место останется.

— Ого!

— Иначе и быть не может,— стоял на своем Калоджеро.— Как бог свят, в которого вы верите. Фашизм умрет от руки Сталина, и те, кто благословляет знамена фашизма, тоже поплатятся жизнью.

— Послушай, откуда ты взял, что церковь благословляет знамена фашизма? Мы не знамена благословляем, а молодежь, которая под этими знаменами оказалась, христиан, идущих под ними. К тому же, если хочешь знать, Муссолини не Гитлер, он бога боится и к церкви уважение имеет.

— Это вы кому-нибудь другому рассказывайте, а то я за себя не ручаюсь,— предупредил Калоджеро.— Но сперва меня дослушайте. Так вот, Сталин ударит по Гитлеру, а пока он позиции улучшает, ближе к Германии продвигается. И самое главное — он забрал из-под носа у немцев и спас от порабощения половину Польши, дал ей новую жизнь, в старой Польше царила несправедливость, пролетариат страдал, а богачи...

— Да уж, поляки выиграли,— перебил его священник.— Сталин вместо Гитлера, велика разница, ничего не скажешь, повезло, так повезло!

— Значит, не хотите разумные соображения слушать? — спросил Калоджеро.

— Какие там соображения! — не унимался священник.— Если то, что ты говоришь, называть разумными соображениями, тогда разум умер. Сталин должен ударить по Гитлеру, Сталин улучшает позиции, Сталин спас половину Польши... уши вянут.

Калоджеро с трудом сдерживался.

— Живы будем — посмотрим через несколько месяцев, от силы через год, кто из нас соображает, а кто нет.

— Жди, жди...— ехидно посоветовал священник.

Он ждал. А тем временем Россия напала на Финляндию, Калоджеро с удивлением ловил себя на мысли, что сочувствует финнам, Финляндия сопротивлялась — и он восхищался стойкостью этого ма-

[1] Гоффредо Мамели (1827—1849) — итальянский поэт, участник миланского восстания 1848 г. против австрийцев, вошедшего в историю как «Пять дней Милана», автор патриотического стихотворения «Итальянские братья», положенного на музыку композитором Новаро и известного под названием «Гимн Мамели» (после провозглашения Италии Республикой в 1946 г. — национальный гимн).

ленького народа: держись, Финляндия, держись, Маннергейм; маленький фашистский генерал; нет, не фашистский; да, фашистский; вокруг России сплошные фашисты, кто сопротивляется России или боится ее, тот фашист. Финляндия тоже должна быть освобождена от фашистов, думал Калоджеро, и даже если там нет фашистов, нужно раньше немцев успеть, базы для войны с немцами занять. «Русские отбиты в кровопролитных боях на линии Маннергейма», держись, Финляндия, маленький фашистский народ, фашистский генерал, вполне вероятно, что там скрыто орудуют немцы, кто его знает. Калоджеро искал спасения в самокритике, но ничего не мог с собой поделать и вдруг признавался себе, что его симпатии на стороне Финляндии. От возможных сомнений в действительной силе Красной Армии его избавило зубоскальство священника: насмешками над русскими, терпевшими поражения, он только помог Калоджеро мобилизовать все свои мыслительные способности, в результате чего необъяснимые явления сразу получили разгадку.

— Это маневр,— осенило Калоджеро,— Сталин притворяется слабым, хочет Гитлера обмануть, пусть все фашисты в мире думают, что Россия слабая, Гитлер оставит ее на закуску, а Россия-то сильная; когда она всерьез расшевелится, Гитлер и его кум пикнуть не успеют.

— По правде говоря,— признался священник,— у меня у самого сомнение появилось: уж больно странно получается.

Калоджеро не стал говорить, что до этой минуты думать не думал о возможности такого хитроумного хода, что истина открылась ему нежданно-негаданно. Он упивался своим триумфом.

— Сталин самый великий человек на свете,— объявил он,— чтобы придумать такую ловушку, недюжинный умище требуется.

Кончилось тем, чем и должно было кончиться,— Финляндия уступила России часть территории; тут же немцы взяли Норвегию, убив сразу двух зайцев: заняли удобную позицию для нападения на Англию и свели на нет преимущество, полученное русскими в Финляндии,— может, этот полоумный фюрер начинал догадываться насчет сталинской уловки. Калоджеро полагал, что, если немцы тронули Норвегию, Сталин должен им дать по рукам; Сталин же делал вид, будто ничего не случилось. Немцы вошли в Бельгию и в Голландию, «пора», думал Калоджеро, но Сталин не шевелился. Хорошо еще, эту старую английскую мумию с зонтиком сменил Черчилль, Калоджеро обрадовался: он знал, что Черчилль один из немногих, кто не поверил в Мюнхенский балаган. «Вылитый бульдог,— говорил он,— у него со Сталиным немцы проклянут день, когда родились». Одновременно Калоджеро пришел к заключению, что Муссолини в драку не полезет — будет держать нейтралитет, а в последнюю минуту примажется к победителям. Однако немцы были уже во Франции, Муссолини посчитал, что война выиграна, и избавил Калоджеро от необходимости ломать голову над его тайными планами. Сталин молчал, но Калоджеро мысленно видел его в большом зале в Кремле: Сталин склонился над картой Франции — лицо расстроенное, чувство сострадания зовет поспешить на помощь французам, а разум советует хладнокровно рассчитать, когда именно и как нанести удар. Пал Париж, Калоджеро жил там несколько лет — с двадцатого по двадцать четвертый, в июле в Париже очень красиво, его пансион был на улице Антуанетты, по вечерам — кафе на плас Пигаль или кафе «Мадрид», где играл оркестр и мужчина с умным худым лицом пел вполголоса и рассказывал анекдоты, Итальянский бульвар, Монмартр; теперь в кафе «Мадрид» сидели немцы, немцы маршировали в Булонском лесу, в Люксембургском саду, на плас Пигаль. А еврейские девушки с плас Пигаль? Та, например, что играла на скрипке?

Кипя ненавистью, хоть плачь, Калоджеро месяц мучительно ждал, что же предпримет президент Рузвельт в ответ на обращение Рейно [1].

— Эти американцы не шевелятся. Франция гибнет, а им, рогоносцам, хоть бы хны, плевать они хотели на Францию и вообще на Европу, сволочи, скоты...

— Россия тоже не вмешивается,— говорил священник.

— Россия — другое дело,— объяснял Калоджеро,— Россия ждет.

— Сказать, чего она ждет? — спрашивал священник.— Ждет, чтобы Гитлер оставил ей несколько необглоданных косточек, вот чего она ждет.

— Через год узнаете, чего она ждет. Сталину виднее: придет пора, они у него попляшут — Гитлер и наш боров.

— Ах, через год! В прошлом году ты то же самое говорил,— не сдавался священник.

Первого октября сорокового года газета поместила два крупных заголовка: один — о беседе дуче с Серрано Суньером, испанским министром и чуть ли не шурином Франко, другой — о том, что «Россия подтверждает неизменность своих отношений с государствами — членами трехстороннего договора» [2]. Из-за войны в Испании Калоджеро около двух лет пробыл в ссылке, муж сестры подробно написал ему из Америки о причинах войны и о том, как он вступил в Интернациональную бригаду и дрался с фашистами. Калоджеро узнал содержание письма в полиции, куда его вызвали, чтобы выяснить, как он относится к своему родственнику, прочитали ему письмо, да и то не целиком, а с пятое на десятое, и прямым ходом сослали на остров. И вот теперь два эти сообщения на одной и той же странице! Они казались издевательством над ним, над товарищами по ссылке, над мужем сестры, над всеми коммунистами, погибшими в боях за республиканскую Испанию. Возможно ли, чтобы товарищ Сталин, который сделал Россию родиной человеческой надежды, продолжал говорить о своей дружбе с фашистами, когда Европа захлебывается в крови, когда во Франции — новое правительство, дерьмо дерьмом, а в Испании — лютый генерал с лицом каноника? «Этак недолго и свихнуться»,— сказал он себе; необходимо было обсудить это дело, потолковать с людьми, разделявшими его чувства и мучившимися так же, как он. Калоджеро решил съездить в Кальтаниссетту, там был депутат Гуррери, был Микеле Фьяндака — оба лучше, чем он, разбирались в политике.

Депутат заставил Калоджеро прождать полчаса, когда же Калоджеро увидел его, то не узнал: он облысел и беспрерывно вытирал голову платком, лицо было усталое. Депутат холодно спросил, в чем дело, и Калоджеро понял, что поступил как последний дурак.

— Дело в том...— промямлил он,— я хотел... может, вы не помните, в конце войны, в Регальпетре... моя фамилия Скиро.

— Отчего же не помню? — ответил депутат, проводя платком по лысине.— Скиро, разумеется, помню.

Калоджеро почувствовал себя увереннее.

— Помните, какая борьба? Я был секретарем секции имени Николы Барбато [3]. Ваше выступление с балкона Ло Прести...

— Ох,— вздохнул депутат и, попробовав улыбнуться, скривился так, словно ощутил на языке горечь столетника.— Что прошло, то быльем поросло, стоит ли тратить время на воспоминания?.. Перейдем к делу: разумеется, вы пришли за советом...

[1] Поль Рейно (1878—1966) — французский политический деятель. Премьер-министр Франции в 1940 г., пытавшийся предотвратить оккупацию своей страны гитлеровцами и депортированный за это в Германию.

[2] Имеется в виду заключенный в сентябре 1940 г. в Берлине военный договор между Германией, Италией и Японией.

[3] Никола Барбато (1856—1923) — профсоюзный деятель, член руководства Социалистической партии, организатор движения крестьянских союзов в Сицилии в 1894 г.

— Именно за советом,— подтвердил Калоджеро, снова почувствовав себя как на угольях.— Я пришел, чтоб вы мне объяснили, уж очень все непонятно... Гитлер полмира растоптал, а Россия смотрит себе...

Вот когда депутата по-настоящему бросило в пот.

— Правильно, милейший: Россия смотрит, как Германия завоевывает мир. Заслуженно завоевывает. Ай да немцы! Ай да армия!.. Но я адвокат, милейший, и не мое это дело — политика.— Он встал, положил руку на плечо Калоджеро и, легонько подталкивая его к порогу, открыл дверь.— Прошу. И помните, я адвокат. Только адвокат.

Калоджеро очутился за дверью, вне себя от стыда и возмущения. А депутат, стоя посреди комнаты и вытирая пот, приговаривал:

— Ну и сволочи! Пятнадцать лет уже, как я ни во что не лезу, а они все равно не верят, не хотят верить, сколько им ни доказывай... Провокатора подсылают, додумались!

Калоджеро поднялся по проспекту Виктора Эммануила, спросил нужную улицу — он подзабыл дорогу, через столько лет Кальтаниссетта казалась ему другим городом, а между тем ничего в ней не изменилось. Он нашел темный подъезд с винтовой лестницей, там все так же пахло вареной капустой и тухлыми яйцами. Микеле Фьяндака был дома, квартира служила ему одновременно и часовой мастерской, дети ходили на голове, а он спокойно работал, склонившись с лупой в глазу над своими крохотными механизмами.

После депутата встреча с Микеле Фьяндакой успокоила Калоджеро. Жена Микеле, бледная молчаливая женщина, сразу сварила для гостя ячменный кофе, Микеле достал табак и нарезанную папиросную бумагу. Оба принялись наперебой расспрашивать друг друга о товарищах по ссылке, затем Калоджеро перешел к главному.

— Я тут к депутату Гуррери заходил,— сказал он,— хотел спросить, как он понимает обстановку, так он до того перетрусил...

— Ну, этот свихнулся,— объяснил Микеле,— ты бы на него на улице поглядел: ходит, будто чует за спиной собачью свору... Конченый человек, для него обстановка к тому сводится, что предложи ему фашисты к ним в партию вступить, он запрыгает от радости.

— А ты сам-то как на обстановку смотришь? — спросил Калоджеро.

— Что тебе сказать? Беспокоюсь я. Но не может же в конце концов банда убийц подчинить себе целый мир.

— Ну а Россия? — спросил Калоджеро.— Что сделает Россия?

— Полгода не пройдет — и Россия налетит на немцев, так Помпео считает. Хочешь поговорить с Помпео? Мы каждый вечер видимся, если останешься до вечера, я тебя с собой возьму. Помпео соображает.

— Знаю, что соображает,— сказал Калоджеро.— Но жена у меня не любит одна по вечерам сидеть, я обещал ей вернуться после обеда. Ты уже сказал мне, что думает Помпео,— это главное. Значит, он говорит — через полгода?

— Да. Он мастер объяснять — все по полочкам разложит, одно удовольствие слушать. Кабы не он, я бы тут был вроде бездомной собаки, которой только свернуться в клубок и подохнуть, он мне смелости придает, всегда спокойный такой... И еще есть один адвокат — из рабочей партии, умная голова, с ним я тоже иногда встречаюсь.

— А он-то что про Россию говорит — думает, пойдет она на фашистов?

— Он думает так же в точности, как Помпео,— ответил Микеле.

— Красота! — обрадовался Калоджеро.— Будет, что священнику сказать, я от него частенько про этого адвоката слышу, вот и скажу,

что он думает.

— Мы тут тоже имеем дело с попами,— заметил Микеле,— и очень даже хорошо ладим.

— Бывалый моряк знает, откуда ветер дует, и ставит парус. Так и попы: из любого положения вывернуться горазды,— объяснил Калоджеро.

— Увеличить наши ряды, вот что сейчас важно, объединить все антифашистские силы, с попами и буржуями мы потом разберемся. Разве ты не видишь, какую игру ведет Сталин?

— Великое дело будет, когда через полгода он на фашистов навалится, оставит их в дураках,— сказал Калоджеро.

— И вообще капитализм скоро умрет, вот и получится, что единственный победитель в этой войне — Сталин. Это тебе не Наполеон!

Муссолини послал разутых солдат перебить хребет Греции, в Греции был снег и был народ, который не хотел, чтоб ему перебили хребет; пришла весна — и с ней в Грецию пришли немцы, итальянцы вступили в Афины вместе с немцами, для греков и югославов — а Югославия тоже была оккупирована — настали черные времена. Прошло полгода, год, и наконец в войну вступила Россия — сама, или на нее напала Германия — Калоджеро точно не знал. То, что немецкие войска быстро продвигались в глубь советской территории, беря ее в клещи, захватывая области величиной с Италию, а советские армии сдавались, для Калоджеро еще ничего не значило. Одно из двух: либо Гитлер на несколько дней упредил удар русских и этим спутал их планы, либо первым все-таки ударил Сталин, но малыми силами, будто дело касалось небольшого пограничного инцидента; русские попросту заманивали немцев в глубину своих огромных просторов, чтобы разбить и уничтожить, как армию Наполеона. Калоджеро после нескольких дней колебаний уверился, что Сталин нарочно открыл немцам ворота в Россию.

Теперь в мастерской у Калоджеро собирались люди — студент, маклер, кладовщик и звонарь из собора; звонарь отрывался от беседы лишь для того, чтобы привычно отзвонить в колокола, священник нервничал, как-то раз он застал его в ризнице, когда тот, лежа на сундуке, обводил взглядом висящие там портреты всех до единого — начиная с 1630 года — настоятелей и при этом напевал: «Долой доносчиков-попов, давить их, гадов, как клопов!» — после чего священник решил обучить нового звонаря. Калоджеро чувствовал себя на седьмом небе: он горячо разъяснял сталинскую стратегию, и четверка единомышленников безоговорочно с ним соглашалась. Он снова видел Сталина во сне, но сон был смутный, кругом снег, в березах свистит ветер, на снегу разорванными муравьиными цепочками люди, и вот как бы сквозь туман проступает лицо Сталина с тонкой, понимающей улыбкой.

Калоджеро читал «Войну и мир», Сталин рисовался ему Кутузовым из романа Толстого, через месяц после начала войны Сталин принял командование армией: Калоджеро представлял себе военные советы в крестьянских домах, волнение и растерянность генералов рядом с мудрым спокойствием Сталина, крестьянское угощение — черный хлеб и мед — перед этим отечески улыбающимся человеком. Ясно, что при каждом новом известии о немецком наступлении Сталин повторял про себя: «Ишь, разогнались! Ладно, пускай выдыхаются» — и, закурив, довольно попыхивал трубкой. В августе, когда Муссолини попросил Гитлера уважить его — разрешить отправить войска в Россию, Калоджеро подумал: «Бедные ребята, они плохо кончат»,— и то же самое с насмешливой жалостью должен был думать Сталин.

В ноябре сорок первого немцы остановились под Москвой, Ленинградом и Ростовом, Калоджеро говорил: «Теперь им крышка, увидите, что будет дальше»,— но до мая сорок второго ничего не произошло; затем немцы, остановленные под Москвой и Ленинградом, возобновили наступательные действия на юге, начав продвигаться к Кавказу. Калоджеро забеспокоился — немцы не выдыхались — и мысленно дал русским еще несколько месяцев, пусть полгода, чтобы перейти в решительное контрнаступление. «Зима нужна,— говорил он,— вот начнется зима, тогда увидите, чем кончится крестовый поход против большевиков, Сталин сделает из немецкой армии отбивную котлету»,— и он призывал страшную зиму, колючий ледяной вихрь, который сметет с лица русской земли непобедимую дотоле армию.

Перемены к лучшему почувствовались уже осенью. Под Сталинградом — иначе и быть не могло, ведь этот город получил свое название в честь Сталина — немцы остановились; затем началось контрнаступление, теперь уже русские взяли противника в огромные клещи и все сжимали и сжимали кольцо, а в нем — полмиллиона человек. Калоджеро мучила судьба итальянских солдат, насмерть замерзавших в снегу, он проклинал рогоносца дуче, который отправил детей солнечной страны умирать в далеких холодных степях.

Вместе с немецкой армией Паулюса была разбита и итальянская; когда Паулюс сдался в плен, немцы объявили траур, а вскоре про Паулюса поползли темные слухи, будто он сговорился с русскими, Калоджеро начал подумывать о возможности коммунистической революции в Германии. Война, по его мнению, могла продолжаться еще долгие месяцы или даже годы, но Россия уже выиграла ее в Сталинграде, не было такой силы, которая помешала бы победе коммунизма во всем мире.

Американцы были уже в Регальпетре, когда стало известно, что в Риме арестован Муссолини; сообщение об этом пришло, казалось, из другого мира, в Регальпетре десять дней уже, как лихорадочно разбивали, жгли, оплевывали святыни фашизма; Калоджеро было не по себе при виде фашистских осведомителей и мелких фашистских главарей, охваченных антифашистским зудом, они увивались вокруг американцев, нашептывали, наушничали, и американцы, чтобы ублажить фискалов, увезли политического секретаря, подесту и фельдфебеля карабинеров. Калоджеро заключил, что у американцев кто первее, тот и правее, русские так бы себя не вели. Его окончательно возмутило, когда бригадир карабинеров объявил, что американцам не нравятся собрания, которые он, Калоджеро, устраивает у себя в мастерской, американцы скорее всего ничего и не знали об этих собраниях, а вот кому-то из американских холуев они наверняка не нравились. Калоджеро опрометчиво вырезал из американского журнала два портрета Сталина и в красивых рамках повесил — один в мастерской, другой в спальне, над своей половиной кровати. Жена, над чьим изголовьем висела мадонна, проворчала: «Кто он тебе, отец что ли?» — но тут же осеклась, увидев, как разозлился Калоджеро; отвязаться от священника было трудней, дошло до того, что оба — и он и Калоджеро — перестали выбирать выражения. Портрет в мастерской виден был с другого края площади, священник, давно уже не переступавший порога мастерской, подошел ближе, движимый любопытством, и, сдерживая ярость, спросил с деланным спокойствием: «Это кто?» — и Калоджеро ответил, что это самый великий человек на свете, человек, который изменит весь мир, самый великий и самый справедливый человек.

— Какой красавец! — воскликнул священник.— Похож на кота с ящерицей в зубах.

— А вы хотите, чтоб он был похож на Родольфо Валентино [1]? — нашелся Калоджеро.— Пусть на кота, я рад, что вы это заметили: по крайней мере заранее будете знать, какой смертью умрете. Раз вы сравниваете Сталина с котом, тогда кто-то должен быть ящерицей.

— Знаете, отчего сдох мой кот? — спросил священник.— Оттого, что ловил ящериц: у него началось несварение, изо рта шла пена, точно у эпилептика, он высох — кожа да кости.

— Вашему коту до него далеко,— отпарировал Калоджеро.— Этот черную гадюку и ту переварит.

— Если я правильно понял, на кого ты намекаешь, говоря про черную гадюку, то еще не родился кот, который ее съест,— заявил священник.— И можешь быть уверен, никогда не родится. Ладно, оставим котов и гадюк. Сними портрет, я освящу твою мастерскую и подарю тебе красивую картину со святым Иосифом-плотником.

— Сделаем так,— предложил Калоджеро,— вы мне приносите святого Иосифа, и я его вешаю рядом со Сталиным: два святых труженика — чем плохо? Взамен я дарю вам портрет Сталина, который у меня над кроватью, и вы его дома вешаете, только чур, рядом с хорошим святым, а не с каким-нибудь испанским инквизитором вроде святого Игнатия или святого Доминика, вы меня понимаете.

— Пропащая душа! — закричал священник, непрерывно крестясь.— Посмотрим, как ты запоешь перед судом Божиим, когда протянешь ноги! И не будет тебе моей заупокойной молитвы!

— Тьфу-тьфу-тьфу! — Калоджеро сплюнул через левое плечо.— Еще и впрямь накаркаете, в этом вы, попы, мастера.

— Скотина! — возмущался священник, удаляясь.

Родились Комитеты Освобождения, на континенте, по ту сторону Мессинского пролива, сражались антифашисты, умирали под пытками, на виселицах, в кровавых облавах — немцы вели себя как бешеные собаки; на Сицилии были американцы, Комитеты Освобождения развили бурную деятельность, создавая и распуская органы местного самоуправления; занимались они и чистками. От каждой партии в Комитет выделялось по два представителя, Калоджеро был уверен, что получит место в Комитете, но партия выдвинула почтового чиновника, имевшего от фашистов ликторскую ленту, и бывшего сержанта фашистской милиции. Калоджеро расстроился, однако, взяв себя в руки, рассудил, что, как и во всяком решении партии, в этом выборе должен быть смысл. Взамен его назначили асессором муниципалитета, поручив общественные работы; у Калоджеро чесались руки сделать что-нибудь стоящее, но в кассе муниципалитета не было ни лиры.

Тем временем наступление русских ширилось, священника это пугало, и он с нетерпением следил за продвижением англичан и американцев, уповая на второй фронт; вместе с тем в пророчестве святого Джованни Боско [2], что русские напоят своих коней из фонтанов на площади Святого Петра, ему виделось предначертание Господне: раз на то воля Провидения, русская армия дойдет до Рима — и Церковь приумножит свою славу, обратив новых варваров в истинную веру. Калоджеро питал прямо противоположные надежды. Сталин продвигался к сердцу Европы, неся коммунизм, неся справедливость; дрожали воры и ростовщики — паучье, которое богатеет, плетя паутину несправедливости; каждый раз, когда Красная Армия входила в очередной город, Калоджеро представлял себе кучку злодеев, узаконивших несправедливость и угнетение: охваченные животным страхом, они уносят ноги, а на площадях, полных света, люди труда

[1] Рудольф Валентино — сценический псевдоним Родольфо Гульельми ди Валентино (1895—1926), популярного актера американского немого кино.

[2] Джованни Боско (1815—1888) — священник, канонизирован церковью.

обступают солдат Сталина. Товарища Сталина, маршала Сталина, *дядюшки Иосифа,* всеобщего защитника, покровителя бедных и слабых, человека, в чьем сердце живет справедливость. Любое рассуждение о том, что нужно изменить в Регальпетре и в мире, Калоджеро заключал, показывая на портрет Сталина: дескать, об этом позаботится *дядюшка Иосиф* — и верил, что именно он придумал для Сталина это домашнее имя, которое теперь употребляли все коммунисты Регальпетры; на самом же деле Сталин был *дядюшкой Иосифом* для всех сицилийских батраков, всех рудокопов, всех до последнего бедняков, не потерявших надежды, в свое время *дядюшкой* называли Гарибальди, в *дядюшки* производили любого из тех, кто нес справедливость или месть, героя и главаря мафии, идея справедливости неизменно окружает понятие мести романтическим ореолом. Калоджеро был в ссылке, товарищи познакомили его с революционным учением, и все равно он думал о Сталине не иначе как о *дядюшке,* который сумеет отомстить, расквитаться, переведаться, говоря языком всех сицилийских дядюшек, с врагами Калоджеро Скиро: с кавалером Пекориллой, что упек его в ссылку, с рудокопом Ганджеми, не расплатившимся за новые подметки, с доктором Ла Ферлой, содравшим с него сальму [1] пшеницы в уплату за ерундовый разрез — мясник бы управился. Калоджеро смотрел на фотографии с Тегеранской и Ялтинской конференций: Рузвельт, Черчилль и Сталин. Рузвельт и Черчилль — великие люди, этого у них не отнимешь, и все равно куда им до Сталина! Они знали, что делают, но знали на сегодня, а у Сталина были выигрышные карты на завтра, навсегда, от него зависела судьба Калоджеро Скиро и судьба всего мира; уж если Сталин ходил, то с хорошей карты — хорошей для Калоджеро Скиро, для будущего всех людей. Рузвельт и Черчилль думали о победе в войне, об освобождении мира от черной заразы, о том, что английские и американские корабли покроют моря и океаны сетью торговых путей, а Сталин думал о рабочих соляных копей в Регальпетре, о рудокопах, добывающих серу в Чанчане, о крестьянах на помещичьей земле, обо всех, кто проливает кровавый пот: победе будет грош цена, если в Регальпетре и Чанчане, где люди живут как скоты, ничего не изменится.

Следя за ходом войны, Калоджеро влюбился в генерала Тимошенко, он считал Тимошенко правой рукой Сталина, Сталин задумывал, а Тимошенко наносил удар, народный генерал. Тимошенко был большеголовый — на такой голове, что на колоде, мясо можно рубить, умилялся Калоджеро; настоящий крестьянин — хитроумный, осторожный, упрямый; он начинал с солдата, в революцию товарищи выбрали его офицером, теперь он был генералом, немцам не удавалось поставить его в тупик, первые добрые вести из России были связаны с его именем. У русских имелись и другие генералы — тот, что оборонял Ленинград, или, к примеру, тот, который позднее командовал в Сталинграде и на Дону; однако в центр событий Калоджеро ставил Тимошенко. И потом у некоторых русских генералов были бородки-эспаньолки, а Калоджеро, честно говоря, люди с эспаньолками не нравились, эспаньолку носили Де Боно, Джуриати, Бальбо [2], все известные ему центурионы фашистской милиции, если человек носит эспаньолку, в нем, считай, что-то ненормальное есть. Тимошенко брился наголо, как новобранец, у него и впрямь было лицо новобранца из деревни, призванного в армию, чтобы защищать колхоз, таких лиц не бывает у кадровых генералов, тоже мне профессия — генерал! Калоджеро проходил солдатскую службу в кавалерии, помнил генерала с эспаньолкой, который объезжал строй

[1] Старинная мера объема в Сицилии, равная 275,08 литра.

[2] Крупные государственные и политические деятели фашистской Италии.

а затем проверял, надраены ли стремена снизу, если они снизу не блестели, злился и поднимал оглушительный крик; поглядеть бы на этого генерала в России во время отступления, как бы он там стремена выворачивал для проверки, блестят они снизу или нет. Такой человек, как Тимошенко, должен был солдатам в лицо смотреть, а не на стремена, наверняка он шутил с солдатами, отпускал грубые крестьянские шутки, и эти крестьяне, неповоротливые и тяжелые, точно волы, останавливали и громили немцев.

Калоджеро мог перечислить все боевые операции Тимошенко, отвоеванные плацдармы и города, помнил все награды, которые он заслужил. «Через сто лет,— думал Калоджеро,— когда Сталин умрет, дело должно перейти в руки Тимошенко, он справится»,— и Калоджеро подозревал, что Сталин это уже решил и тайно завещал.

Однако кончилась война — и Тимошенко больше не упоминали, на снимках рядом со Сталиным фигурировали другие генералы, имя Тимошенко кануло в небытие. Как-то раз Калоджеро спросил о нем депутата от своей партии, который ездил в Россию, тот, судя по его недоуменному виду, отродясь не слышал этого имени; впоследствии кто-то сказал Калоджеро, будто Сталин отправил некоторых генералов в дальние края, вроде как в ссылку,— может, среди них был и Тимошенко. Впервые в жизни у Калоджеро возникло подозрение, что кто-то нашептывает Сталину, плохие советы дает, он заговорил об этом с одним из районных секретарей, тот смерил его гневным взглядом, после чего с трогательным терпением объяснил, что такое невозможно и что подозревать подобные вещи, пусть даже по наивности, ужасная ошибка. Больше Калоджеро не думал о Тимошенко.

Калоджеро видел свой сон 18 апреля 1948 года, и на следующий день результаты выборов показали, что сон сбылся. Калоджеро не сомневался, что так оно и будет, он даже не пошел в секцию слушать радио; товарищи, которых восемнадцатого утром он удивил своими последними прогнозами, сначала обвинили его, будто это он все накаркал, однако вскоре приписали такую прозорливость умению правильно оценить обстановку. Калоджеро никому не признался, что прозорливым его сделал во сне Сталин.

Он смотрел на фотографию Сталина и верил, что все лучше и лучше читает его мысли, они виделись ему географической картой, вспыхивающие лампочки высвечивали то Италию, то Индию, то Америку, каждая мысль Сталина соответствовала конкретному событию в мире. На всемирной шахматной доске Сталин делал свои ходы, и Калоджеро таинственным образом заранее их предвидел. Поэтому, когда «Унита» писала, что Южная Корея напала на Северную, Калоджеро знал, что на сей раз все было вовсе не так, а так, как писали фашистские и буржуазные газеты. Нет, в отношении Кореи ему ничего не приснилось, он не только не предвидел, что в Корее что-то произойдет, но и не ведал о ее существовании: просто он был убежден, что Сталин должен сделать ход и поглядеть, как поведут себя американцы. Американцы тут же кинулись защищать Южную Корею, проверка была нужна, теперь Сталин знал, что, если он на кого нападет, примчатся американцы, надо было, значит, говорить о мире, «мир работает на нас»,— повторял Калоджеро; он стал сторонником мира, собирал подписи за мир и против атомной бомбы, нацепил на пиджак голубя Пикассо; честно признаться, он не понимал шума вокруг Пикассо и его голубя, сам он рисовал голубей даже лучше — с переливами, они получались у него как живые. Когда Пикассо нарисовал Сталина и партия сказала, что портрет не лезет ни в какие ворота, Калоджеро был доволен — есть вещи, про которые надо говорить прямо, может, Пикассо и хороший коммунист, но нам такие художники не нужны, пусть рисует за деньги портреты

дураков-буржуев, рассуждал он, уверенный, что Пикассо нарочно дурачит американцев: уж в этом-то деле он мастак, ничего не скажешь.

Каждый день газеты сообщали о новых событиях — было о чем подумать и поспорить; мастерская Калоджеро напоминала клуб, если вдруг кто-то ругал коммунизм, Калоджеро, мысленно потирая руки, подмигивал товарищам, как бы говоря: «Спокойно, сейчас я им займусь, он у меня запоет» — и ласково за него принимался, однако кончалось всегда резкостями: не каждый способен терпеливо излагать свою точку зрения, к тому же фашистам и клерикалам его доводы как об стенку горох, им хоть кол на голове теши, и все-таки, по правде сказать, окруженные коммунистами, набившимися в мастерской, фашисты и клерикалы, даже когда они принимали вызов, спорили с оглядкой и не очень-то отвечали на его оскорбления; пока речь не заходила о Сталине, тон спора оставался спокойным, но стоило оппоненту неосторожно произнести имя Сталина, разговор принимал дурной оборот. Священник обычно сразу выпаливал это имя и потому торчал у Калоджеро костью поперек горла, тем более что город был в руках священника, у которого от великого страха сорок пятого года и следа не осталось. Теперь на портрет Сталина он смотрел едва ли не с состраданием, «ему перед Богом придется ответ держать,— говорил он,— но, возможно, Провидение заставит его ответить и перед людьми, возможно, ему суждено умереть не своей смертью»,— и Калоджеро не оставался в долгу: дескать, чтоб она себе шею свернула, вся церковная братия, начиная со звонаря, который из коммуниста превратился в прихвостня христианских демократов.

Последним в Регальпетре, кто узнал о смерти Сталина, был Калоджеро. В тот день он встал поздно и открыл мастерскую только в десятом часу; часа два он поработал, удивляясь, что никто из его компании не показывается. День был хоть и ветреный, но солнечный, и Калоджеро решил, что друзья за городом или гуляют по солнышку; и вот его тоже неудержимо потянуло на улицу — понежиться на солнце, и, закрывая мастерскую, он поймал себя на том, что плохо думает о друзьях — безработных не по своей вине: дескать, привыкают к безделью и даже находят в нем удовольствие; так он думал потому, что они не пришли и оставили его в этот день без своего общества.

У входа в секцию висел флаг с траурной лентой, Калоджеро решил, что умер кто-то из товарищей. Он вошел: товарищи, которые каждое утро приходили к нему в мастерскую, молча стояли вокруг стола, упираясь в него руками, и при виде этих рук на столе Калоджеро хотел было сострить насчет спиритов, вызывающих духов, но удержался из-за флага с траурной лентой, вывешенного на улице; он осведомился, кто умер, и все удивленно посмотрели на него.

— Ты что, с луны свалился? Сталин умер,— сказал кто-то.

У Калоджеро задрожали колени, в голове вспыхнуло зловещее предсказание священника.

— Как он умер? — быстро спросил Калоджеро.— Своей смертью?

— Удар с ним случился,— ответил кто-то из товарищей.

Однажды священник перечислил ему всех тиранов, умерших насильственной смертью,— дескать, и Сталину от нее не уйти. А Сталин окончил свои дни, как добрый отец семейства, Калоджеро представил себе тихую кончину великого человека, атмосферу немой скорби вокруг умирающего. В то же время он заподозрил, что это утка,— известно, на какие выдумки способны продажные журналисты,— и спросил:

— А ошибки нет? Вы-то откуда узнали?

— По радио,— ответили ему,— из газет.

Больше Калоджеро ничего не сказал. Итак, Сталин умер, но учение его живо, оно распространяется во всем мире, нет силы, способной его остановить. Очередь за судом истории. Но Сталин — это и есть история. Божий суд? Допустим, что бог есть, что он ведет черную книгу и белую книгу, что в руках у него весы правосудия, весы справедливости. А что дал Сталин, если не справедливость? И разве людям, которые были далеко и которым он не мог дать справедливость, он не дал надежду? Веру, надежду, сострадание. Нет, никакого сострадания! Веру и надежду. И справедливость. Благодаря ему, Сталину, люди узнали счастье, его революционная поступь была решительной и кровавой, но революция есть революция, даже новое слово Христа источало кровь, Калоджеро читал «Камо грядеши», первые христиане не убивали, но они делали все для того, чтобы убивали их, а это одно и то же. «Ну вот, религию вспомнил, у меня так всегда, когда о покойнике речь, о собственной смерти думаю — ничего не вижу: ни бога, ни другой жизни, только гроб вижу, могилу, несколько человек, которые вспоминают меня как хорошего коммуниста, мои кости будут лежать в земле, когда во всем мире наступит социализм. Это чужая смерть наводит меня на мысли о религии. Скажем, мамина,— правда, мама верила в бога. Или когда колокол по ребенку звонит. Или как в тот раз, когда поезда столкнулись и погибло столько народу. Но Сталин — другое дело, это такой человек был, что смешно говорить про душу на небесах, бессмертие Сталина в нас, в каждом человеке, живущем на земле, в будущих поколениях».

Вот что за мысли вертелись у него в голове, правда — более сумбурные, как бывает при высокой температуре: у человека малярия, он лежит под горой одеял, и все равно ему холодно, и он замечает, как его мысли и воспоминания выливаются в безотчетный бред, он борется, предпринимает отчаянные попытки сосредоточиться на чем-то определенном, будь то кровать, окно, дерево, но в следующую секунду и то, и другое, и третье растворяется в лихорадочном бреду.

Не проронив больше ни слова, Калоджеро вернулся домой. У него был до того страдальческий вид, что жена спросила:

— Опять в боку колет, да?

— Опять,— подтвердил Калоджеро.— Завари-ка ромашку.

Два дня Калоджеро не выходил из дома — видеть никого не хотелось, даже с товарищами по партии не хотелось говорить о смерти Сталина; со Сталиным его связывали воспоминания и надежды, как бывает при коротких отношениях, при крепкой дружбе, ему казалось, остальные недостаточно переживают случившееся, однако из выступления Тольятти в парламенте он понял, что все коммунисты испытывают единое чувство, Тольятти говорил за всю партию и нашел слова, в которых выразил общую скорбь коммунистов. Калоджеро повторял эти слова — и к горлу комком подступали слезы: «Сегодня ночью умер Иосиф Сталин. Мне трудно говорить, господин председатель. Душа подавлена горем, вызванным кончиной человека, уважаемого и любимого, как никто другой, потерей учителя, товарища, друга... Иосиф Сталин — гигант мысли, гигант действия... Военная победа над фашизмом останется в истории событием, связанным прежде всего с именем Сталина...» Это были слова, идущие от сердца, Калоджеро слышал слезы в прерывающемся голосе Тольятти. Умер не только великий вождь, умер друг. И кому-то приходило в голову называть Сталина тираном! Ну и ну! Не было коммуниста, который не расценивал бы действия Сталина, сталин-

ские идеи и планы как свои собственные, задуманные и выношенные им самим; когда Сталин принимал решение, вместе с ним его принимал каждый коммунист, все равно как если бы они со Сталиным сидели и размышляли — с глазу на глаз, два старых друга, потягивающие вино и дымящие самосадом; реакционеры всего мира из кожи вон лезли, чтобы разведать коварные (так они выражались в своих газетах) планы Сталина, его тайные козни, но для коммунистов Сталин был все равно что мастер карточной игры, перед которым сидит противник, а за спиной стоят друзья, и, прежде чем сыграть, он показывает карту друзьям, закрывая от противника, и карта всегда выбрана правильно.

Сталин лежал теперь рядом с Лениным в Мавзолее на Красной площади, забальзамированный. Трое суток над знаменитой площадью звучала музыка во славу великого человека. Великий Сталин был наследником великого Ленина. Кто сменит Сталина? Этот вопрос беспокоил Калоджеро, некоторые газеты уже предвкушали борьбу за власть, но даже если будет борьба, ее выиграют лучшие. Разве Сталин не взял в свое время верх над Троцким? Такие люди, как Сталин, не умирают, не оставив самых точных указаний. Берия или Молотов? Калоджеро считал, что Молотов.

Ничего подобного: во главе оказался Маленков, наверняка его наметил Сталин, Калоджеро прекрасно понимал почему. Оставляя вместо себя человека еще молодого, Сталин думал о двойной выгоде: во-первых, молодость Маленкова надолго обеспечивала страну постоянным руководством, и во-вторых, власть переходила в руки человека, которого вырастил Сталин. Глядя на фотографию Маленкова, Калоджеро сказал товарищам, что кутенок, дескать, Сталина не подведет — породистый, сразу видно.

Но вот началось нечто необъяснимое: врачей, сговорившихся отравить Сталина, выпустили; Берия, правая рука Сталина, был арестован и расстрелян как предатель; Маленкова сменил Булганин, генерал — и к тому же с эспаньолкой, Калоджеро признался одному приятелю: «У меня камень на сердце, не могу переварить эту историю с Берией, если Сталин столько лет пригревал предателя, значит, многое было сделано по-предательски, а тут еще этот генерал...»— но верил, что все образуется, и соглашался с буржуями, которые говорили о борьбе за власть. Хрущев ему нравился: после первых кренов можно было рассчитывать, что штурвал в надежных руках.

Калоджеро уже смотрел со спокойной уверенностью на то, что происходит в России, когда визит Булганина и Хрущева к Тито вновь озадачил его, возбудив недоверие. Состоялся двадцатый съезд, Калоджеро читал и слышал разговоры про ошибки и *культ личности,* он тоже был против *культа личности,* но до него не доходило, что речь идет о Сталине. Вскоре обо всем этом заговорили прямо: Сталин допустил ошибки, власть вскружила ему голову, по его приказу творились чудовищные вещи. Приближались выборы в местные органы самоуправления, Калоджеро предложили баллотироваться по списку партии, он отказался, а когда на него насели — надо, мол, считаться с интересами партии, он ехидно сослался на *преодоление культа личности* — личности того, кто требовал от него подчинения партийной дисциплине. Его теперь и в секцию не тянуло, у него было такое чувство, что он потерял все — как если бы человеку с пачкой денег, добытых потом и кровью, вдруг объявили, что эти деньги больше не имеют хождения, в них никакого проку,— и он, мучительно перебирая события прошлого, искал, где там ошибки. Какие еще ошибки! Такая громадная страна, как Россия, столько разных народностей, страна без промышленности, сплошь неграмотная — и превратилась в великую индустриальную державу с огром-

ным числом заводов и школ, с единым народом, великим и героическим. Русские солдаты дошли до Берлина, нанесли фашизму смертельный удар. Польша, Румыния, Венгрия, Болгария, Албания; плюс половина Германии; плюс Китай: пример оказался заразительным. В чем состояли ошибки? Может, ошибкой был случай с Югославией, когда ее выкинули из Коминформа,—«но все равно не лежит у меня душа к этому Тито, у него лицо диктатора, такого же, как Муссолини и как Перон»— однако время могло еще показать правоту Сталина.

Депутат, который приехал, чтобы выступить на митинге, узнав о настроении Калоджеро, решил с ним поговорить и пришел к нему в мастерскую; в другое время Калоджеро польстило бы такое внимание, а сейчас оно вызвало у него чувство неловкости и раздражения. Депутат объявил, что хочет поговорить с Калоджеро один на один, и Калоджеро при виде уходящих товарищей стало еще больше не по себе.

— Послушай,— начал депутат,— я знаю, последние события выбили тебя из колеи. Дела и впрямь нешуточные, они нас всех огорошили, я сам чуть было... Но надо отдавать себе отчет, думать надо, рассуждать...

— Давай рассуждать,— обрадовался Калоджеро: что-что, а возможность порассуждать вслух всегда приводила его в хорошее настроение.

— Так вот,— предложил депутат,— представь себе человека, который считает себя здоровым, говорит, что у него железное здоровье, работает, на охоту ходит, повеселиться не прочь. И вот однажды встречается ему врач, сам знаешь, что за народ врачи, начинает его разглядывать и вроде бы между прочим спрашивает: «Ты когда-нибудь был на осмотре?», тот отвечает, что никогда, врач опять на него смотрит с беспокойным видом и говорит: «Приходи завтра, я тебя осмотрю», тот начинает нервничать, удивляется — дескать зачем? Я себя нормально чувствую, а доктор ему: «Знаю, но все равно завтра приходи». И тот назавтра является, врач его под рентген ставит, осматривает, слушает, анализ мочи и крови изучает, потом объявляет, что у него опухоль, нужно ее удалить, иначе через полгода он умрет. Тот упирается, опять говорит, что хорошо себя чувствует, что у него отличное здоровье, но его укладывают на каталку, дают наркоз, усыпляют, взрезают. «Теперь ты действительно будешь хорошо себя чувствовать, у тебя была опухоль величиной с детскую голову, а ты не знал». Так и с нами получилось: у нас была опухоль, а мы и не подозревали, мы даже не заметили, как нам ее удалили, и все еще отказываемся верить, что она была.

— Неплохое сравнение,— согласился Калоджеро,— но лично я к врачу не пойду, если сам не почувствую, что у меня рак. И когда мне операцию будут делать, я не хочу, чтоб меня усыпляли. Хочу умереть с открытыми глазами.

— Ты имеешь в виду настоящий рак,— возразил депутат,— а тут другое дело.

— Нет, не другое,— заупрямился Калоджеро.— Кто докажет, что, пока я спал, мне и вправду вырезали опухоль? Я знаю, что не болел, и точка.

— Послушай, опухоль у нас действительно была, и мы в этом постепенно убеждаемся. Подумай о судебных процессах, об истории с товарищем Тито, о деле врачей...

— Если опухоль была,— сказал Калоджеро,— то рак, как известно, дает метастазы. Я не видел, что мне удалили, но теперь понимаю: в моем теле могут быть метастазы, глаза у меня открыты, и мне страшно: ведь сам знаешь, что ждет таких больных, лично я не встречал раковых больных, которые бы выздоровели.

— О господи! При чем тут метастазы! Мой пример был всего-навсего сравнением...

— Мне оно не понравилось,— сказал Калоджеро.— Продолжим рассуждение.

— Нет,— заупрямился депутат,— оставим разговоры о метастазах. Если я скажу тебе, что тоже мучился, думал — с ума сойду, ты должен мне верить. Были минуты... Что там говорить! Одно хочу тебе сказать: Сталин умер, он совершил ошибки, но коммунизм живет и не может умереть. И потом, мы ведь не говорим, что Сталин только ошибки совершал, вовсе нет: он совершал великие дела.

— Еще бы! — оживился Калоджеро.— Сталинград, наступление на Берлин... Я плакал от радости, когда русские подошли к Берлину.

— Это славные страницы, и никому их не вычеркнуть,— согласился депутат.— Но нужно учитывать и ошибки.

— Я подумаю,— сказал Калоджеро. И повторил: — Я хочу умереть с открытыми глазами.

— Ты прав,— признал собеседник.— А партию все же не забывай, появляйся в секции: наши враги чего хочешь наплетут, известные спекулянты, сам знаешь.

— Знаю,— подтвердил Калоджеро.— На покойнике спекулируют. Правда, тут мы им сами повод на блюдечке подаем, а они себе смакуют.

— Ничего не поделаешь,— вздохнул депутат.

— Может, и так. Только я одно тебе скажу: когда человек умирает — хоть вор, хоть убийца, все равно кто,— ему плиту на могилу кладут, и на той плите про его добродетели и праведную жизнь пишут. Если б ты со мной на кладбище сходил, я бы тебе про каждого объяснил, чего он по-настоящему стоил. А у нас наоборот получается.

— Это разные вещи,— возразил депутат.— Мы должны говорить правду, сколь бы мучительна она ни была. Чем нам виднее пороки и ошибки прошлого, тем увереннее мы смотрим в будущее. История — это правда, а мы — историческая партия.

— Это ты верно говоришь,— признал Калоджеро.

Священник, с тех пор как Сталин умер, больше не касался привычной темы о тиране, покойный есть покойный, в разговорах с Калоджеро он сменил тактику; но после выборов в местные органы самоуправления, которые, несмотря на историю со Сталиным, попы проиграли, однажды он принес Калоджеро несколько газетных листов. Сначала он ему их показал, как показывают ребенку кулек с конфетами, и спросил:

— Знаешь, что здесь напечатано? Весь доклад Хрущева про Сталина, секретный материал. Могу дать почитать, если хочешь.

Калоджеро поморщился.

— Небось всегдашние выдумки, знаем мы, чего стоят секреты, которые в газетах печатают, смех берет, голову на отсечение даю, что это приходская газета.

— Ошибаешься,— сказал священник,— это «Эспрессо», известный тем, что не раз лил воду на вашу коммунистическую мельницу.

— Есть такая газета, слышал,— не поддавался Калоджеро.— Радикалы издают.

— Да ты почитай,— посоветовал священник.— От тебя не убудет. А потом скажешь, что ты об этом думаешь.

Калоджеро набросился на доклад. Вскоре он уже приговаривал: «Глянь, до чего дошли эти американцы, сучьи дети, сплошь все сфабриковали»— и с жадностью продолжал читать, ругался и читал; будь это правда, волосы бы дыбом встали, но ведь все это выдумки. Он дочитал к обеду, жена звала его есть, но ему было не до

еды, он пошел за «Унитой», уверенный, что, купив газету, найдет там опровержение. Никакого опровержения не было. Он вернулся домой, не столько поел, сколько поковырял вилкой в тарелке с макаронами, сказал жене, что уезжает и вернется последним вечерним поездом.

На вокзале он купил «Джорнале ди Сичилия», взгляд сразу упал на строчки, обвинявшие Сталина в убийстве жены. «Дожили, теперь они скажут, будто он детей ел. Что они еще наплетут?»— и в эту секунду в нем не было злости на «Эспрессо» или «Джорнале ди Сичилия», его ярость была обращена на тех, кто поднес фитиль к пороховой бочке.

Он доехал до места словно во сне, оставалось найти депутата, который приходил убеждать его, Калоджеро нашел его в кафе, тот шутил с друзьями; Калоджеро подумал: «Враки это все, как пить дать, а то бы ему не до шуток было». Депутат его узнал, усадил рядом с собой, расспрашивать стал про Регальпетру. Калоджеро перевел разговор на «Эспрессо», где напечатан доклад, сказал, что он думает про сволочей, которые все сочинили, высосали из пальца. Депутат посерьезнел.

— Возможно, и сочинили,— сказал он,— только лично я уверен, что это правда.

У Калоджеро голова кругом пошла.

— Как правда? — спросил он, заикаясь.— Выходит, Сталин был вроде Гитлера...

— Тяжелый случай,— сказал депутат.— Сталин стал таким в последние годы. Тем более нельзя допускать мысли, будто он извратил природу социалистического государства...

— Правильно,— согласился Калоджеро.— То же самое и Хрущев говорит. Но я все равно ничего не понимаю.

Депутат пустился в объяснения, он говорил очень доходчиво, Калоджеро давал себя убедить, но заноза оставалась: Сталин был тиран, как говорил священник, бешеный кровавый тиран, хуже, чем Муссолини, под стать Гитлеру. А если все это сочинили не американцы, а Хрущев и тот генерал с эспаньолкой и кто-то еще, кому они доверяют? Нет, не может быть. Значит, все правда.

Калоджеро показал депутату «Джорнале ди Сичилия».

— Ну а это? — спросил он.

— Товарищ,— сказал депутат,— не надо ничему удивляться: наверняка они еще и не такое преподнесут, и боюсь, что это окажется правдой.

В круглом зале звучала победная музыка, он слышал эту музыку всем своим нутром, ему казалось, что он находится в футляре огромной скрипки; и было холодно, как в пустой церкви, и все освещал далекий подземный свет. Сталин лежал в стеклянном гробу, Калоджеро видел его руки, сухие, одеревенелые. Он прижался лицом к стеклу, чтобы получше разглядеть темную полоску, обвивавшую запястья Сталина, и, выпрямившись, подумал: «Ну, женщины, я и не заметил, как жена вложила ему в руки четки»,— у Калоджеро было такое чувство, будто Сталин умер у него дома, хотя сказать это с уверенностью Калоджеро не мог. Потом он увидел, как на стеклянную стенку гроба легла широкая ладонь — рука Сталина, он был живой и говорил: лучше убить меня не могли, два раза убили,— дальше Калоджеро не расслышал, пятясь к двери как рак; ударившись локтем о дверь, он проснулся весь в поту, тяжело дыша. «Его убили,— промелькнуло в уме,— завтра выхожу из партии»,— и он тут же снова заснул.

Проснулся он злой, болела голова, сон, который он видел, едва брезжил в сознании, он хотел его вспомнить, но ему не удавалось.

Он погрузил голову в таз с холодной водой и почувствовал себя лучше; проглотил таблетку от головной боли, выпил две чашки кофе. В памяти всплыли слова депутата, товарища по партии. Сталин умер, но коммунизм живет. И до победной войны Сталин был великий человек.

Не успел он прийти в мастерскую, как явился священник. Калоджеро посмотрел на него с ненавистью.

— Прочел? — спросил священник.— Скажи положа руку на сердце, что ты об этом думаешь?

— Прочесть-то я прочел,— ответил Калоджеро,— но говорить об этом не хочу. Прочел — и все тут.

— А-а-а, вот оно что,— протянул священник.— Боишься признаться, что ты об этом думаешь?

— Ладно,— сказал Калоджеро.— Я так думаю: допустим, все это правда... Тогда я говорю: возраст это, странные дела он стал творить, дурным своим прихотям потакать. Я помню, как дон Пепé Милузенда, которому восемьдесят лет было, вышел однажды голый на улицу. А нотариус Карузо — вы, конечно, помните нотариуса Карузо — остриг косы прислуге за то, что она отказалась в постель с ним лечь; и на детей серчал, зарезать их хотел. А ведь вы знаете, какой хороший был человек нотариус Карузо. Всяко случается. Не забывайте, что Сталин о благе людей все время думал, вот у него мозги и не выдержали — странный он стал.

— А, вот ты как считаешь,— насмешливо заметил священник.

— Именно так я и считаю,— подтвердил Калоджеро.— И еще вам скажу: сострадание надо иметь, ближний все-таки.

Священник передернулся всем телом, словно у него начинался припадок эпилепсии, оттянул пальцем воротничок, ставший тесным от прилива крови.

— Ближний! — закричал он.— Вон как ты теперь запел! А раньше ты думал о ближнем?

Он ушел, махая руками, словно отгонял от себя само воспоминание об этом ужасном разговоре.

1957 г.

■

Из классики XX века

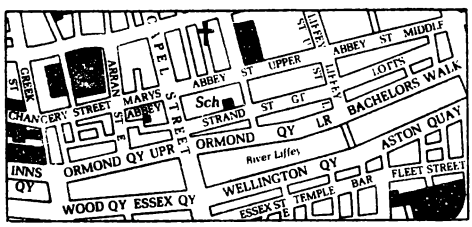
ДЖЕЙМС ДЖОЙС

Улисс

РОМАН

Перевод с английского В. ХИНКИСА и С. ХОРУЖЕГО

11



Бронза и золото услыхали цокопыт сталезвон.

Беспардон дондондон.

Соринки, соскребая соринки с заскорузлого ногтя. Соринки.

Ужасно! И золото закраснелось сильней.

Сиплую ноту флейтой выдул.

Выдул. О, Блум, заблумшая душа.

Золотых корона волос.

Роза колышется на атласной груди, одетой в атлас, роза Кастилии.

Напевая, напевая: Адолорес.

А ну-ка, кто у нас... златовлас?

Звонок сожалеющей бронзе жалобно звякнул.

И звук чистый, долгий, вибрирующий. Медленно замирающий звук.

Маняще. Нежное слово. Взгляни: уж меркнут звезды. Ноты, щебечущие ответ.

О, роза! Кастилии. Утро брезжит.

Звякая дребезжа катила коляска.

Монета звякнула. Кукушка закуковала.

Признание. Sonnez. С тобой. Подвязка оттянута. Расстаться не могу. Хлоп. La cloche! Хлопнула по бедру. Признание. Теплому. Милый друг, прощай!

Позвякиванье коляски. Блу.

Громыхнули сокрушительные аккорды. Когда любовь горит. Война! Война! Барабанная перепонка.

Парус! Платочек, веющий над волнами.

Потеряно. Дрозд высвистывал. Все уж потеряно.

Зачесалось. У него.

Когда явился. Увы!

Продолжение. Начало см. в № 1—4, 1989 г.

Сполна возьми. Полнокровное биенье.
Трели льются. Ах, маня! Заманивая.
Марта! Приди!
Хлопхлоп. Хлохлохлоп. Хлоплоплоп.
Господи никог давжиз нионнеслы.
Пэт лысый глухарь принес бювар нож забрал.
Зов ночной в лунном свете: вдали, вдали.
Мне так печально. P.S. Так одиноко блумждая.
Слушай!
Моря звучащий горн, витой, рогатый, прохладный. У тебя? Себе, а потом другой, плеск и беззвучный рев.
Жемчужины: когда она. Рапсодии Листа. Ш-ш-шип.
А вы не?
Не — нет, нет — не верила — Лиддид. Петух потоптать кукареку прокричать.
Черные. Нижние октавы. Давайте же, Бен, давайте.
Потужит да и обслужит. Хи-хи. Дела не плохи.
Но погоди!
Во мрачной пещере, в недрах земли. Груды руды.
Naminedamine. Священник.
Все погибли. Все пали в бою.
Крохотные завитки, девичьих волос трепещущий папоротниковый узор.
Аминь! С яростным скрежетом зубов.
Назад. Вперед-назад. Кол прохладный торчал.
Бронзолидия подле Златомайны.
Мимо бронзы и золота в густозеленой тени океанских глубин. Блум. Старина Блум.
В дверь тук-тук, в двери стук, потоптать, кукареку прокричать.
Молитесь о нем! Молитесь, добрые люди!
Его узловатые пальцы, прищелкивая.
Большой Бенабен. Большой Бенбен.
Последнюю розу Кастилии лета покинул блум мне так печально одиноко.
Пи-и! Маленький ветерок протянул и-и.
Честные граждане. Лид Кер Кау Де и Долл. Вот-вот. Как и ты. Поднимут твой динь и дон.
Пффф! Ох!
Где бронза из близи? Где злато из дали? Где копыта?
Пуррр. Дзиинь. Грамгр.
Вот тогда, но не прежде чем тогда. Будет напррпффис. Моя эпрритапфффия.
Кончил.
Начинай!

За бронзой золото, головка мисс Кеннеди за головкой мисс Дус, поверх занавески бара, слушали как проносятся вице-королевские копыта, как звенит сталь.

— А это она? — спросила мисс Кеннеди.

Мисс Дус отвечала, да, сидит рядом с самим, в жемчужно-сером и eau de Nil [1].

— Какое изящное сочетание,— сказала мисс Кеннеди.

Вдруг вся оживившись, мисс Дус возбужденно проговорила:

— Смотри-ка, вон тот, в цилиндре!

— Где-где? Который? — откликнулось еще возбужденней золото.

— Во второй карете,— сказали смеющиеся губы мисс Дус, влажно блеснув на солнце.— Сюда смотрит. Пусти-ка, я гляну.

---

[1] Зеленовато-голубого цвета *(франц.)*.

Она бронзовою стрелой метнулась к другому окну и расплюснула лицо на стекле, в туманном кружке от ее возбужденного дыхания.

Влажные губы прощебетали:

— Заметил! Убит насмерть!

Она хихикнула:

— Я рыдаю! Эти мужчины — ну потрясающие идиоты!

Впрочем, не без печали.

Мисс Кеннеди печально прогуливалась, выйдя из полосы света и заплетая выбившуюся прядку волос за ушком. Печально прогуливаясь, уж золотом не сияя, она закручивала, заплетала прядку. Печально заплетала она загулявшую золотую прядку за изогнутым ушком.

— Уж кому раздолье, так это им,— печально возразила она.

Мужчина.

Блукто двигался мимо трубок Муленга, храня на груди прелести греха, мимо антиквариата Уайна, храня в памяти прелестные греховные речи, мимо тусклого и погнутого столового серебра Кэрролла, ради Рауля.

Коридорный к ним, к ним в баре, к ним барменшам подошел. Для них, его не удостоивших взглядом, брякнул на стойку он поднос с задребезжавшими чашками. И

— Вот он, чай ваш,— сказал.

Мисс Кеннеди с манерными жестами переставила поднос ниже, на перевернутый ящик от минеральной воды, подальше от взоров, вниз.

— Это чего там? — звонко полюбопытствовал не знающий манер коридорный.

— Сам догадайся,— отрезала мисс Дус, покидая свой наблюдательный пункт.

— Твой ухажер, небось?

На что бронза с высокомерием:

— Я на тебя пожалуюсь миссис де Месси, если еще раз услышу такое беспардонное нахальство.

— Беспардон дондондон,— огрызнулось дерзкое рыло, меж тем как он двинулся прочь как она грозилась откуда пришел.

Блум.

Нахмурившись над своим цветком, мисс Дус заявила:

— Этот шпингалет совсем распустился. Если он не будет себя прилично вести, я ему уши оборву.

С видом леди, изящное сочетание.

— Не обращай внимания,— посоветовала мисс Кеннеди.

Она налила чай в чашку, потом снова в чайник из чашки. Они укрылись за скалой стойки, поджидая на подножках, ящиках стоймя, пока чай настоится. Они оправляли блузки из черного атласа, метр два шиллинга девять, поджидая, пока чай настоится, и два шиллинга семь.

Да, за бронзой вблизи золото̀ поодаль слышали сталь вблизи, звон копыт поодаль, слышали сталь копыт, звон копыт, звонкосталь.

— Правда, я страшно загорела?

Мисс бронза раскрыла блузку на шее.

— Нет,— отвечала мисс Кеннеди,— потемнеет потом, не сразу. А ты не пробовала развести борную в лавровишневой воде?

Мисс Дус, привстав, поглядела сбоку на свою кожу в зеркале бара, несущем златобронзовые литеры на раме и отражающем крупную раковину в кругу бокалов рейнского и бургонского.

— Ага, потом на руках останется,— возразила она.

— А ты с глицерином,— предлагала мисс Кеннеди.

Окинув шею и руки прощальным взглядом, мисс Дус

— От этих средств только сыпь выступает,— отвергла, села на

место.— Я того старого сыча у Бойда просила мне дать что-нибудь для кожи.

Мисс Кеннеди, разливая настоявшийся чай, с гримаской взмолилась:

— Ах, бога ради, не напоминай мне о нем!

— Нет, погоди, дай я расскажу,— настаивала мисс Дус.

Чай сладкий свой долив молоком, мисс Кеннеди ушки зажала пальчиками.

— Ах нет, не надо! — воскликнула она.

— Я не слышу, не слышу! — воскликнула она.

Но Блум?

Мисс Дус передразнила гнусавое старческое ворчанье:

— Для чего, для чего? это он мне.

Мисс Кеннеди отняла пальчики, чтоб слышать, чтоб говорить — но снова сказала, снова взмолилась:

— Ах, не говори про него, я не вынесу! Противный старый урод! Помнишь, в тот вечер, в зале Эншент.

С миной отвращения она сделала глоток крепкого горячего чаю — глотнула — глоток сладкого чаю.

— Смотри, какой он был,— сказала мисс Дус, вывернув кособоко бронзовую головку и раздув ноздри.— Хр-р! Хр-р!

Пронзительный взрыв смеха вырвался из горла мисс Кеннеди. Мисс Дус сопела и всхрапывала сквозь ноздри, которые шевелились словно вынюхивающее рыло беспардондондондон.

— Я не могу! — стонала, повизгивая, мисс Кеннеди.— Ты помнишь, какие у него глаза выпученные?

Тут залилась и мисс Дус звонкобронзовым смехом:

— Ох, как бы он нас не сглазил!

Блучьи темные глаза прочитали имя: Арон Фигфурт. А почему мне всегда читается Фигфунт? Выходит фунт фиг, наверно поэтому. Проспер Лоре — гугенотская фамилия. Темные глаза Блума скользнули по пресвятым девам в витрине Басси. Голубой плащ, под ним белизна, приидите ко мне. Они верят, что она бог — или богиня? Сегодняшние богини. Не удалось разглядеть. Подошел тот парень. Студент. Потом он с сыном Дедала. Наверно, это Маллиган. Весьма миловидные девы. Вот что и привлекает этих развратников: ее белизна.

Дальше и дальше скользили его глаза. Прелести греха. Прелестные прелести.

Греха.

Закатываясь заливистым смехом, два голоса молодых слили Дус и Кеннеди, златобронза, ох, сглазит. Запрокидывая головки, смехобронзу и смехозлато, чтоб без помех лился смех, взвизгивали, сглазит, делали знаки друг другу, издавая высокие пронзительные ноты.

А-ах, переводят дух, затихают. Затихая, а-ах, замирая, их веселье угасло.

Мисс Кеннеди снова поднесла к губам чашку, но едва сделала глоток, как тут же снова захихихикала. Мисс Дус, наклонившись к подносу, снова наморщила нос и принялась потешно вращать выпученными глазами. Снова Хихикеннеди, наклонясь, так что корона ее волос, наклонясь, показала черепаховый гребень на затылке, прыснула прямо изо рта чаем, захлебнувшись чаем и смехом, захлебываясь, кашляя, взвизгивая:

— Сальные глазки! Представь-ка себя замужем за таким! С его бороденочкой!

Дус в ответ испустила блистательный вопль, истинно женский вопль, в котором звучали восторг, ликование, презрение.

— Замужем за сальным носом! — возопила она.

Смеясь то на низких, то на высоких нотах, то бронзой звеня, то золотом, они подзуживали друг дружку на новые и новые всплески хохота, чередующимся перезвоном, бронза-злато, злато-бронза, высо-

ко-низко, всплеск-еще-всплеск. И снова без конца хохотали. Ага, весь сальный, я знаю. В полном изнеможении, задыхаясь, вздрагивающие головы они прислонили к стойке, корону кос подле гладкоблестящей укладки. Раскрасневшиеся (Уф-ф!), вспотевшие, тяжело дыша (Уф-ф!), обе еле переводили дух.

За Блумом замужем, за сальнозасаленным!

— Силы небесные! — вздохнула мисс Дус над своей вздрагивающей розой.— Лучше б я так не смеялась. Прямо вся взмокла.

— О, мисс Дус! — возмутилась мисс Кеннеди.— Что за ужасное создание!

И закраснелась еще сильней (фу, как ужасно!), став еще золотистей.

Мимо конторы Кантвелла брел Сальноблум, мимо дев Чеппи *, сияющих масляною краской. У Наннетти отец торговал вразнос этим товаром, обивал пороги, как я. Религия — доходное дело. Надо опять к нему насчет Ключчи. Но сначала поесть. Проголодался. Нет еще. Она сказала, в четыре. Время идет без остановки. Часы тикают. Ступай. Где бы поесть? Кларенс, Дельфин. Ступай. Ради Рауля. Поесть. Если бы набралось пять гиней с этих реклам. Комбинацию шелковую, сиреневую. Нет еще. Прелести греха.

Румянец убавился — еще убавился — золотистая бледность.

Праздной походкой в бар к ним вошел мистер Дедал. Соринки, соскребая соринки с заскорузлого ногтя большого пальца. Соринки. Праздной вошел походкой.

— А, с возвращением вас, мисс Дус.

Подал ей руку. Хорошо отдохнули?

— Шик-блеск.

Он выразил надежду, что с погодой в Ростреворе ей повезло.

— Погода дивная,— сказала мисс Дус.— Можете судить по мне — ничего видик, правда? Целыми днями на пляже.

Бронзовая белизна.

— Это с вашей стороны так жестоко,— попенял ей мистер Дедал, милостиво поглаживая по руке.— Искушать бедненьких простачков-мужчин.

Атласная мисс Дус мягко высвободила руку.

— Ах, оставьте,— проговорила она.— Уж вы-то простак, так я вам и поверила.

А он был.

— Да нет, знаете,— рассуждал он,— все-таки я простак. Когда я лежал в колыбельке, у меня был вид до того простодушный, что меня так и окрестили: простак Саймон.

— Тогда вы, наверно, были просто душка,— последовал ответ мисс Дус.— А что вам доктор прописал на сегодня?

— Да знаете,— рассуждал он,— это на ваше усмотрение. Пожалуй, если вас не затруднит, то я попросил бы чистой воды и полстаканчика виски.

Позвякиванье.

— Моментально,— отозвалась мисс Дус.

Моментально и грациозно к золоченому зеркалу, отражающему продукцию Кантрелла и Кокрейна, она обернулась. Грациозно отмерила порцию золотистого виски из хрустального графина. Мистер Дедал между тем извлек из-под полы своего сюртука кисет и трубку. Моментально обслуживает. Он выдул через флейту мундштука две сиплые ноты.

— Клянусь вам,— рассуждал он,— я уже сколько раз сам туда собирался, в горы Моурн. Там должен быть отличный бодрящий воздух. Но, говорят, долго сбирался — верней добрался. Да-да. Да.

Да. Он набил свой чубук волокнами, волосками ее волос, светлых волос Виргинии, русалки. Волокна. Волоски. Рассуждая. Беззвучно.

Никто ни звука не произнес. Да.

Мисс Дус весело протирала бокалы, напевая:

— *О, Адолорес, краса восточных морей!*

— А мистер Лидуэлл заходил сегодня?

В бар вошел Ленехан. Осмотрелся кругом. Мистер Блум достиг моста Эссекс. Дэ-с, и мост Дэссекс перешел мистер Блум. Надо написать Марте. Бумаги купить. У Дэли. Там любезная продавщица. Блум. Старина Блум. История заблумшей души.

— Он заходил в обед,— сказала мисс Дус.

Ленехан приблизился к стойке.

— Тут меня не разыскивал мистер Бойлан?

Спросил он. Она отвечала:

— Мисс Кеннеди, сюда не заходил мистер Бойлан, пока я была наверху?

Спросила она. Голос мисс Кеннеди отвечал, чаю вторая чашка на пути ко рту, взгляд прикован к странице:

— Нет, его не было.

Взгляд мисс Кеннеди, слышимой, но невидимой, продолжал чтение. Ленехан шустро окрутил кругленький свой корпус вокруг колпака, прикрывавшего сандвичи.

— А ну-ка, кто у нас тут?

Не удостоившись ее взгляда, он предпринял новые попытки. Не забывайте про точки. Читайте вот эти черненькие значки: круглое — это о, а крючком — эс.

Резво позвякивала коляска.

Златодева читала, не глядя по сторонам. Не обращай внимания. Она не обращала, а он, как ученик по слогам, монотонно и нараспев, принялся читать ей басню:

— Ад-нажды лисица всы-ты-ретила аиста. И га-ва-рит лиса аисту: пра-сунь свой кы-люв ка мне в горло и вы-та-щи кость.

Попусту он бубнил. Мисс Дус отвернулась к своей чашке, стоявшей чуть в стороне.

Он вздохнул в сторону:

— О, горе мне! О я, несчастный!

Он обратился с приветствием к мистеру Дедалу и получил ответный кивок.

— Привет от прославленного сына прославленного отца.

— Кто б это был? — поинтересовался мистер Дедал.

Ленехан с наисердечнейшим видом развел руками. Как кто?

— Кто б это был? — переспросил он.— И вы можете спрашивать? Стивен, наш юный бард.

Сухо.

Мистер Дедал, прославленный отец, отложил свою трубку, набитую сухим табаком.

— Понятно,— сказал он.— Сначала до меня не дошло. Я слышал, что он вращается в самом избранном обществе. А вы его видели недавно?

Видел.

— Не далее как сегодня мы вместе с ним осушали чаши амброзии,— поведал Ленехан.— У Муни en ville и Муни sur mer [2]. Подвиги его музы принесли ему толику наличности.

Он улыбнулся устам бронзы, чаем омытым, внимающим устам и глазам.

— Элита Эрина ловила каждый звук с его уст. Ученый профессор Хью Макхью, знаменитейший борзописец и издатель нашего города, и тот певец младой с дикого и сырого Запада, что отзывается на сладкозвучное имя О'Мэдден Берк.

После некоторого молчания мистер Дедал поднял стакан и

---

[2] В городе... на море *(франц.)*.

— Надо полагать, это было очень занимательно,— произнес он.— Теперь я вижу.

Он вижу. Он отхлебнул. Взором витая в далеких печальных горах, в горах Моурн. Поставил стакан.

Он посмотрел в раскрытую дверь салона.

— Я вижу, вы переставили рояль.

— Сегодня приходил настройщик,— объяснила мисс Дус,— чтобы настроить его для ресторанной программы. Я в жизни не слышала такой изящной игры.

— В самом деле?

— Ведь правда, мисс Кеннеди? Просто классическая игра. И знаете, он слепой. Бедный юноша, ему и двадцати лет не дашь.

— В самом деле? — повторил мистер Дедал.

Он снова отхлебнул и отошел в сторону.

— Так было жалко смотреть на его лицо,— сочувствовала мисс Дус.

Будь ты проклят, сукин ты сын.

К ее сожаленью, звонок жалобно звякнул, вызов официанта. К дверям обеденной залы направился лысый Пэт, направился озабоченный Пэт, направился Пэт-официант. Пива клиенту. Пива отнюдь не моментально отпустила она.

Ленехан ждал терпеливо нетерпеливого буяна Бойлана, поджидал резвого звяканья.

Приподняв крышку, он (кто?) заглянул в гроб (гроб?), где шли наискось тройные (рояля!) струны. Он погладил (тот самый, кто милостиво поглаживал ее по руке) тройку клавиш, нажал на них, мягко педалируя, чтобы увидеть, как выдвигается вперед мягкий фетр, услышать приглушенное падение молоточков.

Два листа веленевой кремовой бумаги один про запас два конверта когда я служил у Хили премудрый Блум Генри Флауэр купил у Дэли. Так ты несчастлив в семейной жизни? Цветочек мне в утешение а булавка оборвет лю. Что-то в этом есть в языке цве. Это маргаритка была? Невинность значит. Благонравная девица повстречать после мессы. Паакорна благодарим. Премудрый Блум узрел на дверях рекламу, курящая русалка колышется на волнах. Курите русалку, это легчайшие сигареты. Струящиеся пряди волос — несчастная любовь. Ради какого-то мужчины. Ради Рауля. Он глянул и увидел вдали, на мосту Эссекс, яркую шляпу, маячившую над легкой коляской. Так и есть. Снова. Третий раз. Совпадение.

Позвякивая, колышась на тугих шинах, коляска свернула с моста на набережную Ормонд. За ним. Рискнуть. Только надо быстрей. В четыре. Уже скоро. Ступай.

— С вас два пенса, сэр,— решилась напомнить продавщица.

— Ах, да... Я совсем забыл... Простите...

— И четыре.

Она в четыре. Она чарующе улыбнулась Блукомуему. Блу улыб и быст выш. Дня. Думаешь ты у ней главная спица в колеснице? Она так каждому. Всем мужчинам.

В дремотной тишине склонилось золото над страницей.

Из салона донесся долгий, медленно замирающий звук. То был камертон настройщика, который он забыл, который он задел. Снова звук. Который он сейчас взял, который сейчас вибрировал. Слышите? Он вибрировал, все чище и чище, мягче и мягче, двумя своими жужжащими ветвями. Еще медленней замирающий звук.

Пэт уплатил за бутылку с тугою пробкою для клиента — и вот поверх подноса, бокала, тугопробкой бутылки, лысый и озабоченный, вот он вступил, тихонько, вместе с мисс Дус:

— *Уж меркнут звезды...*

Безгласно из глубины пела песнь, выпевая:

— *...утро брезжит.*

Стайка крылатых нот, из-под чутких выпорхнув пальцев, прощебетала звонкий ответ. Хрустальные радостные ноты, сливаясь в гармонические аккорды, призывали голос, который воспел бы томление росистого утра, юности, прощанья с любовью, воспел бы утро жизни и утро любви.

— *И жемчуг рос...*

Губы Ленехана над стойкой вывели тихий зовущий свист.

— Но взгляните же,— сказал он,— о, роза Кастилии.

Звякнув, коляска замерла у обочины.

Поднявшись, свою книгу она закрыла, роза Кастилии. Страдающая и одинокая, в задумчивости она поднялась.

— Она сама пала или ее подтолкнули? — спросил он.

Свысока она бросила:

— Кто ни о чем не спрашивает, тому не солгут.

Как леди, настоящая леди.

Буяна Бойлана модные темно-рыжие ботинки ступали, поскрипывая, по полу бара. Да, золото вблизи, бронза поодаль. Ленехан услышал, узнал, приветствовал:

— Грядет герой-покоритель.

Между коляской и окном, крадучись, пробирался Блум, непокоренный герой. Заметить может. Сидел на этом сиденье: теплое. Черный кот, крадучись, пробирался в сторону Ричи Гулдинга, приветственно поднявшего папку.

— *И мы с тобой....*

— Я знал, что ты тут,— сказал Буян Бойлан.

В честь блондинки мисс Кеннеди он коснулся полей набекрень скошенного канотье. Она подарила ему улыбку. Однако сестрица бронза улыбкою ее превзошла, пригладив и оправив ради него свои еще более роскошные волосы, и бюст, и розу.

Блестящий Бойлан заказал зелья.

— Чего твоя душа жаждет? Горького пива? Стаканчик горького, пожалуйста, и терновый джин — для меня. Еще нет телеграммы?

Нет еще. В четыре она. Кто сказал четыре?

Красные уши и кадык Каули в дверях полицейского управления. Избежать. А Гулдинг — это удача. Чего ему надо в Ормонде? Коляска ждет. Надо ждать.

Привет. Куда направляетесь? Перекусить? И я как раз тоже. Сюда вот. Как, в Ормонд? Лучшее, что есть в Дублине. В самом деле? В ресторан. И там — тихо. Смотри, а тебя чтоб не видели. Что же, пожалуй, и я с вами. Вперед. Ричи шел первым. Блум следовал за папкой. Трапеза, достойная принца.

Мисс Дус потянулась достать графин, атласная ручка вытянута изо всех сил, блузка на груди вот-вот лопнет, так высоко.

— О! О! — крякал Ленехан при каждом ее новом усилии.— О!

Однако успешно она овладела добычей и с торжеством ее опустила вниз.

— Отчего вы не подрастете, мисс? — спросил Буян Бойлан.

Бронзоволосая, наливая из графина тягучий сладкий напиток для его уст, глядя на тягучую струйку (цветок у него в петлице, от кого это, интересно?), сладким голосом протянула:

— Мал золотник, да дорог.

О себе то есть. Налила аккуратно сладкотягучего терна.

— Ваше здоровье,— сказал Буян.

Он бросил на стойку крупную монету. Монета звякнула.

— Постойте-постойте,— сказал Ленехан,— я тоже...

— За ваше,— присоединился он, поднимая вспененный эль.

— Корона выиграет, это как пить дать,— заверил он.

— Я тоже малость рискнул,— сказал Бойлан и, подмигнув, выпил.— Не за себя, правда. Одному другу взбрело.

Ленехан потягивал пиво и ухмылялся, то на пиво поглядывая,

то на губки мисс Дус, полуоткрытые, тихонько мурлыкающие песнь морей, которую прежде они выводили звонко. Адолорес. Восточные моря.

Часы зашипели. Мисс Кеннеди прошла мимо них (но от кого же этот цветок), унося поднос с чашками. Кукушка закуковала.

Мисс Дус взяла монету со стойки, резко крутнула ручку кассы. Касса дзинькнула. Кукушка прокуковала. Прекрасная египтянка, соблазнительно изгибаясь, позвякивая монетами в ящике, напевая, отсчитывала сдачу. С надеждой смотри на закат. Пробили. Для меня.

— Это сколько пробило? — спросил Буян Бойлан.— Четыре?

Часа.

Ленехан, маленькими глазками пожирая ее, напевающую, и напевающий бюст, потянул Бойлана за рукав.

— Давайте-ка послушаем бой часов,— предложил он.

Папка Гулдинга, Коллиса и Уорда вела за собой заблумшую душу, Блума, между бездушных столиков. Неуверенный, с возбужденной уверенностью, под выжидательным взглядом лысого Пэта, выбрал он столик поближе к двери. Будь поближе. В четыре. Он что, забыл? Или тут хитрость? Не прийти, раздразнить аппетит. Я бы не смог так. Но выжди, выжди. Пэт, наблюдая, выжидал.

Искрящаяся бронзы лазурь окинула небесно-голубые глаза и галстук Голубойлана.

— Ну, давайте,— настаивал Ленехан.— Как раз нет никого. А он ни разу не слышал.

— *...уже и солнце высоко.*

Высокий и чистый звук поднимался ввысь.

Бронза-Дус, посекретничав с розой, ставши чуть розовой, пытливый кинула взгляд на цветок, на глаза Буяна.

— Просим, просим.

Он упрашивал ее сквозь повторявшиеся признания:

— *С тобой расстаться не могу...*

— Как-нибудь потом,— пообещала скромница Дус.

— Нет-нет, сейчас!— не отставал Ленехан.— Sonnez la cloche! [3] Пожалуйста! Ведь нет никого.

Она огляделась. Быстрый взгляд. Мисс Кен не услышит. Быстрый наклон. Два загоревшихся лица ловили каждое движение.

Неуверенные аккорды сбились с мелодии, снова ее нащупали, снова теряли и снова ловили, спотыкаясь. Затерявшийся аккорд.

— Ну же! Действуйте! Sonnez!

Нагнувшись, она вздернула подол юбки выше колена. Помедлила. Еще помучила их, нагнувшись, выжидая, поглядывая лукаво.

— Sonnez!

Хлоп! Неожиданно она оттянула и отпустила тугую подвязку и та звонко хлопнула по теплому женскому бедру, тугому, тянущему похлопать.

— La cloche! — радостно вскричал Ленехан.— Сама научилась! Это вам не опилки.

Она надменно усмехлыбнулась (рыдаю! эти мужчины...), но, скользнув к свету, улыбнулась Бойлану ласково.

— Вы просто воплощение вульгарности,— сказала она, скользя.

Бойлан все смотрел на нее. Кубок свой поднеся к полным губам, осушил он крохотный кубок, втянул последние синеватые капли, густые и полновесные. Зачарованно взгляд его провожал головку, в пространстве бара скользившую к зеркалам, в золоченой арке которых мерцали бокалы эля, рейнского и бургонского и рогатая раковина. Там, в зеркалах отраженная, бронза ее слилась с бронзой еще более солнечной.

Да, бронза совсем вблизи.

---

[3] Звоните в колокольчик! *(франц.)*

— *...Мой милый друг, прощай!*

— Все, ухожу,— нетерпеливо проговорил Бойлан.

Кубок свой резко отодвинул, взял сдачу.

— Погоди малость,— забеспокоился Ленехан, допивая поспешно.— Мне надо тебе сказать. Том Рочфорд...

— Да иди к богу в рай,— бросил Буян уже на ходу.

Ленехан срочно опрокинул остатки.

— Зачесалось у тебя, что ли? — недоумевал он.— Погоди, я иду.

Он пустился за быстрыми поскрипываньями башмаков, но у порога проворно осадил, приветствуя две фигуры, грузную и щуплую.

— Мое почтение, мистер Доллард!

— Что-что? Почтение! Почтение! — рассеянно откликнулся бас Бена Долларда, на миг оторвавшись от горестей отца Каули.— Ничего он вам не сделает, Боб. Олф Берген поговорит с долговязым. На сей раз мы этому Иуде Искариоту вставим перо.

Через салон проследовал мистер Дедал, вздыхая и потрагивая пальцем веко.

— Хо-хо, ей-ей,— вывел тирольскую руладу Бен Доллард.— Саймон, а вы бы спели нам что-нибудь. Мы слышали тут звуки рояля.

Лысый Пэт, озабоченный официант, ожидал, пока закажут напитки. Так, Ричи — виски. А Блуму? Подумать надо. Не гонять его лишний раз. Небось, мозоли. Четыре. Так жарко в черном. Конечно, и нервы тут. Преломляет (или как там?) тепло. Надо подумать. Сидр. Да, бутылку сидра.

— С какой стати? — возразил мистер Дедал.— Это я просто так бренчал.

— Ничего-ничего, давайте,— не отставал Бен Доллард.— Сгиньте, заботы. Идемте, Боб.

Рысцой он двинулся, Доллард, в необъятных штанах, впереди них (держите-ка мне вот этого в: ну-ну, давайте) в салон. Он плюхнулся, Доллард, на табурет. Узловатые лапы плюхнулись на клавиши. И замерли, плюхнувшись.

Лысый Пэт встретил в дверях златовласку, которая бесчайною возвращалась. Озабоченный, он желал виски и сидр. Бронзоволосая сидела у окна, бронза поодаль.

Звякнув, резво взяла с места коляска.

Блум услыхал звяканье, слабый звук. Уезжает. Слабый и судорожный вздох обратил он к немым голубеющим цветам. Звякнуло. Уехал. Звякнув. Слушай.

— Любовь и войну, Бен,— сказал мистер Дедал.— Как в добрые старые времена.

Отважная мисс Дус, оставленная всеми взорами, отвела свой от занавески, не выдержав сокрушающего блеска лучей. Уехал. Задумчивая (кто знает?), сокрушенная (сокрушающие лучи), она опустила штору, дернув за шнур. Облекла задумчиво (почему он так быстро уехал, когда я?) свою бронзу и бар, где лысый стоял подле златовласой сестрицы, неизящное сочетание, сочетание неизящное, антиизящное, в тихую прохладную смутную зеленоватую колышащуюся глубокую сень, eau de Nil.

— В тот вечер бедняга Гудвин аккомпанировал,— вспомнил и отец Каули.— Только они с роялем не совсем сходились во мнениях.

Не совсем.

— И устроили бурный спор,— дополнил мистер Дедал.— Ему тогда сам черт был не брат. На старичка порой находило в легком подпитии.

— Мать честная, а я-то, помните? — вступил и Бен толстяк Доллард, оборачиваясь от многострадальных клавишей.— У меня еще как на грех не было свадебного наряда.

Все трое расхохотались. Он бы рад, да наряд. Расхохоталось все трио. Свадебного наряда не было.

— Но тут, нам на счастье, подвернулся дружище Блум,— продолжил мистер Дедал.— А, кстати, где моя трубка?

За трубкой за затерявшимся аккордом зашаркал он назад к стойке. Пэт лысый принес напитки Ричи и Польди. И отец Каули засмеялся опять.

— Это ведь я тогда спас положение, Бен.

— Не спорю,— признал Бен Доллард.— Я как сейчас помню эти узкие брючки. Вас осенила блестящая мысль, Боб.

Отец Каули покраснел до самых мочек ушей, розовых и блестящих. Он. Спас поло. Эти брю. Блесмыс.

— Я знал, что он на мели,— сказал он.— Жена его по субботам играла на пианино в кофейне за какие-то жалкие гроши, и кто-то мне подсказал, что она этим тоже занимается. Вы помните? Мы их разыскивали по всей Холлс-стрит, пока нам приказчик у Кео не дал адрес. Помните?

Бен вспоминал, и на широком лице его возникало изумленное выражение.

— Мать честная, чего у нее там не было, какие-то роскошные оперные плащи.

Трубку зажав, назад зашаркал мистер Дедал.

— В стиле Меррион-сквер. Мать честная, бальные платья, платья для приемов. И он никак не хотел взять деньги. Каково? Кучи каких-то, черт дери, треуголок, болеро, панталон. Каково?

— Вот-вот,— закивал мистер Дедал.— У миссис Мэрион Блум можно снять платье любого рода.

Позвякивала по набережным коляска. Буян развалился на тугих шинах.

Печенка с беконом. Почки и говядина в тесте. Хорошо, сэр. Хорошо, Пэт.

Миссис Мэрион. Метим псу хвост. Запах горелого. Поль де Кока. Симпатичное имя у.

— А как ее девичья фамилия? Пикантная девица была. Мэрион...

— Твиди.

— Да-да. А жива она?

— Еще как.

— Она ведь была дочерью...

— Дочерью полка.

— В самую точку, ей-ей. Я помню этого старого тамбурмажора.

Мистер Дедал чиркнул, высек, разжег, выдохнул душистый клуб и затем

— Ирландка ли? Ей-ей, не могу сказать. А вы не знаете, Саймон?

За клубом еще клуб, душистый, крепкий, густой, потрескивая.

— Щечный мускул... Что?.. Малость заржавел... Ну как же, она конечно... О, Молль, ирландочка моя.

Выпустил пахучий залп, пышный клуб.

— С Гибралтарских скал... прямиком.

Они томились в тени океанских глубин, золото у пивного насоса, бронза возле бутылок мараскина, обе в задумчивости. Майна Кеннеди, Лисмор-Террас 4, Драмкондра, с Адолорес, красою, Долорес, безмолвной.

Пэт подал заказ на незакрытых тарелках. Леопольд принялся нарезать печенку на ломтики. Как уже было сказано, он с удовольствием ел внутренние органы, пупки с орехами, жареные наважьи молоки, между тем как Ричи Гулдинг, Коллис, Уорд ел говядину и почки, то говядину то почки, запеченные кусочки ел он ел Блум они ели.

Блум с Гулдингом, молчанием обрученные, ели. Трапезы принцев.

По Бэйчелорз-уок[4] позвякивала коляска на тугих шинах, катил в ней вольный холостяк Буян Бойлан — по солнцу, по жаре, под щелканье хлыста над гладким крупом кобылки — на теплом сиденье развалясь, дерзкого пыла и нетерпения полн. Зачесалось. У тебя? Зачесалось. У тебя? Заче-заче-салось.

Перекрывая все голоса, перегромыхивая гремящие аккорды, ринулся в бой бас Долларда:

— *Когда любовь в душе горит...*

Раскаты Бендушебенджамина докатились до сотрясаемых содрогнувшихся от любви стекол крыши.

— Война! Война! — вскричал отец Каули.— Вот это воин!

— Что правда, то правда,— захохотал Бен Воин.— Я как раз думал про вашего домохозяина. Ни за деньги, ни полюбовно.

Он смолк. Огромной бородой и огромной головой покачал он по поводу его огромного промаха.

— Старина, вы бы ей наверняка разорвали барабанную перепонку,— проговорил мистер Дедал сквозь аромат дыма,— этаким-то вашим органом.

Зайдясь смехом, бородатым и богатырским, Доллард сотрясался над клавишами. Наверняка разорвал бы.

— Не говоря уж о другой перепонке,— добавил отец Каули.— Вполсилы, Бен. Amoroso ma non troppo [5]. Позвольте-ка мне.

Мисс Кеннеди принесла двум джентльменам по кружке холодного портера. Обронила два слова. Да, согласился первый джентльмен, погодка отменная. Они потягивали свой портер. А не знает ли она, куда направлялся вице-король? Слышали сталь копыт, звон копыт, звон. Нет, она не могла сказать. Но ведь об этом должно быть в газете. О, ей не стоит себя утруждать. Ничего трудного. Развернув «Индепендент», она замелькала страницами, разыскивая, вице-король, корона, не королевская, колыхалась в такт, вице-ко. Это слишком хлопотно, сказал первый джентльмен. Нет-нет, нисколько. А как он при этом посмотрел. Вице-король. За бронзой золото слышали стали звон.

... в душе горит,
Других забот уж нет.

В печеночной подливке Блум разминал мятый картофель. Любовь и войну кто-то там. Коронный номер Бена Долларда. Прибежал к нам в тот вечер просить фрачную пару для концерта. Брюки узки, в обтяжку как барабан. Боров-музыкант. Молли обхохоталась потом, когда он ушел. Бросилась на кровать поперек, дрыгает ногами, стонет от смеха. Ты видел, у него все богатство на выставку. Ох, дева Мария, я не выдержу! Вот дамам-то в первом ряду! Ох, никогда так не хохотала! А что, на этом у него и держится весь бас-бормотон. Не сравнишь с евнухом. Кто ж это там играет. Отличное туше. Должно быть, Каули. Музыкален. Любую ноту назовет сразу. А с дыханием у бедняги худо. Перестал.

Мисс Дус, чарующая Лидия Дус, мило кивнула входящему Джорджу Лидуэллу, весьма обходительному джентльмену, стряпчему. Добрый день. Она протянула свою влажную ручку (ручку леди) его твердому пожатию. Да, вернулась уже. За старую канитель.

— А ваши друзья уже там, мистер Лидуэлл.

Джордж Лидуэлл ее обходительно пообхаживал, задержал ручку Лидии.

Позвякиванье коляски.

Блум поедал печ, как уже было сказано. По крайней мере, тут чисто. Не то, что у Бертона. Тот малый с его месивом из хрящей. А тут никого, я да Гулдинг. Чистые столики, цветы, салфетки митрами.

---

[4] Аллея холостяков *(англ.)*.

[5] С нежностью, но не слишком *(итал.)*.

Пэт туда-сюда снует, лысый Пэт. Ничего не скажешь. Лучшее, что есть в Дуб.

Снова звуки рояля. Явно Каули. Садится за рояль, как сливается с ним, полное взаимопонимание. Тоскливые точильщики скребут скрипки, скосив глаза на конец смычка, пилят несчастную виолончель, пока у тебя зубы не заболят. Ее тоненькое похрапыванье. В тот вечер, когда мы в ложе. Тромбон под нами сопел как морж, а в антракте один трубач развинтил и давай выбивать слюни. У дирижера брюки мешком, ногами на месте возит-возит. Правильно, что их в яму прячут.

Возит позвякивая коляска возит.

Вот разве арфа. Красиво. Мягкий золотой свет. Девушка играла на ней. Словно корма изящной. Хорошо этот соус подходит к. Золотой ладьи. Эрин. Арфа дивная однажды или дважды. Прохладные руки *. Бен Хоут [6], рододендроны. Все мы арфы [7]. Я. Он. Старый. Молодой.

— Нет-нет, старина, я не могу,— застенчиво и смиренно отнекивался мистер Дедал.

Энергично.

— Да валяйте же, гром и молния! — громыхнул Бен Доллард.— Как получится, так и получится.

— «M'apparі», Саймон,— попросил отец Каули.

Он сделал несколько шагов к краю сцены, простер свои длинные руки, принял скорбно-торжественное выражение. Хрипловато кадык его прохрипел негромко. И негромко запел он запыленному морскому пейзажу «Последнее прощанье». Мыс, корабль, парус над волнами. Прощание. Прекрасная девушка на мысу, ветер треплет ее платочек, ветер овевает ее.

Каули пел:

M'appari tutt'amor:
Il mio sguardo l'incontr...[8]

Она не слышала Каули, махала платочком тому, кто уплыл, своему милому, ветру, любви, летящему парусу, вернись.

— Да валяйте же, Саймон.

— Эх, минули мои золотые деньки, Бен... Ну, да ладно...

Мистер Дедал положил свою трубку покоиться рядом с камертоном и, усевшись, тронул послушные клавиши.

— Нет-нет, Саймон,— живо обернулся отец Каули.— Пожалуйста, верную тональность. Тут до-бемоль.

Послушные клавиши взяли выше, заговорили, засомневались, сознались, сбились.

Отец Каули шагнул в глубь сцены.

— Давайте-ка, Саймон, я буду аккомпанировать,— сказал он.— Поднимайтесь.

Мимо ананасных леденцов Грэма Лемона, мимо слона на вывеске Элвери, дребезжа, бежала коляска.

Говядина, почки, печень, пюре — за трапезой, достойною принцев, сидели принцы Блум и Гулдинг. Принцы за трапезой, они поднимали бокалы, попивали виски и сидр.

Прекраснейшая в мире ария для тенора, сказал Ричи: из «Сомнамбулы» *. Некогда он ее слышал в исполнении Джо Мааса *. Ах, этот Макгакин! Да. В своей манере. Под мальчика из церковного хора. Этакий мальчик от мессы. Месс-мальчик Маас. Лирический тенор, если угодно. Никогда этого не забуду. Никогда.

---

[6] Холм на мысу Хоут; бен — холм, гора *(шотл.)*.

[7] Игра слов: по-английски harp — арфа; ирландец (арфа — символ Ирландии в гербе английских королей).

[8] Любовь мне явилась:
Мой взгляд ее встретил... *(итал.)*

С чутким сочувствием Блум над беспеченочным беконом увидал, как напряглись осунувшиеся черты. Поясница у него. И глаза блестят, все как при воспалении почек. Следующий номер программы. Повеселился, пора расплачиваться. Пилюли, толченый хлеб, цена за коробочку — гинея. Хоть чуть отсрочить. Мурлычет «Долой к покойникам». Подходяще. И ест почки, нежнейшее — нежнейшей. Только не много ему проку от них. Лучшее, что есть в. Типично для него. Виски. Насчет напитков разборчив. Стакан с изъяном, новый стакан воды. Спички прикарманит со стойки, экономия. И тут же соверен промотает на ерунду. А когда надо, у него ни гроша. Однажды подшофе платить отказался за проезд. Забавный народ.

Никогда Ричи не забудет тот вечер. Сколько жив будет — никогда. В старом «Ройял», в райке с коротышкой Пиком. А когда первая нота.

Тут сделали паузу уста Ричи.

Сейчас наплетет вранья. О чем угодно насочиняет. И верит сам в свои бредни. Притом всерьез. Редкостный враль. Но все-таки память хорошая.

— И какая же это ария? — спросил Леопольд Блум.

— «Все уж потеряно».

Ричи вытянул губы трубочкой. Начальная нота нежная фея тихонько шепнула: все. Дрозд. Пенье дрозда. Его дыханье, с легкостью певчей птицы, сквозь крепкие зубы, предмет его гордости, как флейта высвистывало горькую жалобу. Потеряно. Сочный звук. А тут две ноты в одной. Как-то слышал скворца в кустах боярышника, он у меня подхватывал мотив и переиначивал так и сяк. Все новый новый зов зовет и уж потерян вновь во всем. Эхо. Сколь нежен отклик *. А как оно получается? Все потеряно. Скорбно высвистывал он. Рухнуло, отдано, потеряно.

Блум, ближе наклонив леопольдово ухо, поправлял краешек салфетки под вазой. Порядок. Да, я помню. Чудная ария. Она к нему пошла во сне. Невинность при лунном свете. Смелые, не ведают об опасности. Все равно, удержать ее. Окликнуть по имени. Дать коснуться воды. Коляска позвякивает. Поздно. Сама стремилась пойти. В этом все дело. Женщина. Море удержать проще. Да: все потеряно.

— Прекрасная ария,— сказал Блум потерявший Леопольд.— Я ее хорошо знаю.

Ричи Гулдинг никогда в жизни.

Он тоже ее хорошо знает. Или чувствует. Все норовит о дочке. Мудрое дитя, что узнает отца, как выразился Дедал. Я?

Блум искоса над беспеченочным наблюдал. Печать на лице: все потеряно. Живчик Ричи былых времен. Одни избитые штучки остались. Шевелить ушами. Кольцо от салфетки в глаз. Да сынка посылает со слезными прошениями. Косоглазого Уолтера, да, сэр, исполнено, сэр. Ни за что не обеспокоил бы, случайность, ожидал значительных сумм. Тысяча извинений.

Опять рояль. Звук лучше, чем когда я последний раз слышал. Настроили, видно. Опять умолк.

Доллард и Каули все понукали упирающегося певца, ну, давайте же.

— Давайте, Саймон.

— Ну же, Саймон.

— Леди и джентльмены, я бесконечно тронут вашими любезными просьбами.

— Ну же, Саймон.

— Ресурсы мои скромны, но если вы мне ссудите внимания, я попытаюсь вам спеть о разбитом сердце.

Возле колпака, прикрывающего сандвичи, тенью прикрытая Лидия свою бронзу и розу с изяществом истинной леди дарила и отби-

рала — как Майна двум кружкам свою золотую корону в прохладной зелено-голубой eau de Nil.

Отзвучали зовущие аккорды вступления. Протяжно взывающему аккорду отозвался звенящий голос:

— *Когда явился дивный облик...*

Ричи обернулся.

— Это Сай Дедал, его голос,— заметил он.

Задетые за живое, закрасневшись, они слушали, впитывали тот поток дивный поток струящийся по коже членам сердцу душе хребту. Блум кивнул Пэту, лысый служитель Пэт плохо слышит, чтобы раскрыл двери бара. Двери, бара. Вот так. Хорошо. Служитель Пэт послушно стал слушать, глухарь тугоухий, у самых дверей стал, слушал.

—...*Мои печали унеслись.*

Сквозь тишину взывал к ним негромкий голос, не дождя шелест, не шепот листьев, не похожий на голос ни струн ни свирелей ни какужихтам цимбалов, касающийся их притихшего слуха словами, их притихших сердец воспоминаниями о жизни — своей у каждого. Полезно, полезно слушать: печали, свои у каждого, унеслись, едва лишь они услышали. Едва лишь они увидели, все потерявшие, Ричи, Польди, милосердие красоты, услышали от того, от кого уж никак не ждешь, ее милосердное мягколюбовное нежнолюбимое слово.

Это любовь поет. Все та же старая сладкая песня любви. Блум медленно стянул резинку со своего пакетика. Любви старое сладкое sonnez la злато. Натянул на вилку, торчащую четырьмя пальцами, растянул, снял, натянул на две собственные чутко-тревожные четверни, окрутил их четырежды, восьмижды, октавой крепко опутал их.

— *Полон счастья и надежды...*

У теноров всегда масса женщин. Помогает быть в голосе. К его ногам летит букет, а в нем от дамочки привет. Вы мне вскружили. Катит, позвякивая, радуется. Его пение не для светской публики. Вскрюжат голову бедняжке. Надушилась для него. Какими духами твоя жена? Желаю знать. Коляска звяк. Стоп. Тут-тук. По пути к двери — последний взгляд в зеркало, непременно. Прихожая. Заходите. Ну, как дела? Все отлично. Куда тут у вас? Сюда? В сумочке у ней леденцы, орешки для освеженья дыхания. Что-что? Руки ласкали ее пышные.

Увы! Голос набрал воздуха, поднялся, стал полнозвучным, гордым, сверкающим.

— *Но то был миг, увы, недолгий...*

Да, тембр по-прежнему изумительный. В Корке и воздух мягче и выговор у жителей. Этакий глупец! Ведь мог бы купаться в золоте. А слова он поет не те. Жену уморил и распевает. Хотя со стороны не понять. Двоим никто не судья. Только как бы сам не сломался. На людях еще хорохорится. Все у него поет, и руки и ноги. Выпивает. Нервы истрепаны. Чтобы петь, нужно воздержание. Суп по диете Дженни Линд *: бульон, шалфей, яйца сырые, полпинты сливок. Не суп, а мечта.

Источал он истому, исподволь нарастающую. Полнозвучно переливался. Вот это в самую точку. О, дай! Возьми! Биенье, еще биенье, упругие гордые переливы.

Слова? Музыка? Нет: это то, что за ними.

Блум сплетал, расплетал, связывал, развязывал.

Блум. Прилив жаркой тайной жадновпивай дрожи нахлынул излиться с музыкой, с желанием, темный вторгающийся впивай прилив. Покрой, оседлай, случайся, топчи. Возьми. Поры, расширяющиеся, чтоб расширяться. Возьми. Радость тепло касание. Возьми. Чтоб поток хлынул, отворив створы. Теченье, струя, поток, струя радости, трепет случки. Сейчас! Язык любви.

—...надежды луч...

Блестит. Лидия для Лидуэлла чуть слышным писком совсем как леди муза выпискивает надежды луч.

Это из «Марты». Совпадение. Как раз собрался писать. Ария Лионеля. Твое красивое имя. Не могу писать. Прими от меня небольшой пода. Струны женского сердца идут через кошелек. Она ведь. Я назвала тебя противным мальчишкой. Но именно это имя — Марта. Именно сегодня. Как странно!

Голос Лионеля вернулся, слабей, но без признаков утомления. Снова он пел для Ричи Польди Лидии Лидуэлла, пел для Пэта-служителя, слушавшего, развесив уши. О том, как явился дивный облик, как унеслись печали, как взгляд, образ, слово зачаровали его, Гулда Лидуэлла, покорили сердце Пэта Блума.

Правда жаль что не видишь его лица. Лучше воспринимается. Парикмахер у Дрейго всегда почему-то смотрит в лицо когда я к нему обращаюсь в зеркале. Но слышно тут лучше чем в баре хотя и дальше.

— И милый взгляд...

В первый раз я ее увидел на вечеринке у Мэта Диллона в Теренюре. Она была в желтом, с черными кружевами. Играли в музыкальные стулья. Мы с ней вдвоем последние. Судьба. Быть при ней. Судьба. Кружились медленно. Потом быстро. Мы с ней вдвоем. Все смотрели. Потом стоп. И мигом она уселась. Все кто вышел смотрели. Смеющиеся губы. Колени желтые.

— Пленял мой взор...

Пение. В тот раз пела «Ожидание». Я переворачивал ноты. Голос, полный аромата какими духами твоя сирени. Увидел грудь, обе полные, горло, льющее трели. Впервые увидел. Она поблагодарила. Почему она меня? Судьба. Глаза испанки. В этот час одна в своем патио под старой грушей в старом Мадриде наполовину в тени Долорес онадолорес. Меня. Маня. Заманивая.

— Марта! О, Марта!

Оставив всю томность, Лионель возопил, страдая, испустил вопль нестерпимой страсти, гармоническими созвучиями, что опускались и поднимались, призывая любовь вернуться. Вопль Лионелевой мольбы, чтобы она узнала, чтобы марта почувствовала. Ее одну он ждал. Где? Тут и там поищи там и сям все ищите где. Где-нибудь.

— Ве-е-ернись, моя утрата!

— Ве-е-ернись, моя любовь!

Один. Одна любовь. Одна надежда. Одно утешение мне. Марта, грудной звук, вернись!

— Вернись!

Она парила, птица, продолжала полет, чистый и быстрый звук, парящий серебряный шар, она взметнулась уверенно, ускорила приближение, нет, замерла в вышине, не тяни так долго долгое дыхание у него дыхание на долгую жизнь, воспарив ввысь, в вышине, увенчанная, сверкая и пламенея, ввысь, в премирном сиянии, ввысь, на лоне эфирном, ввысь, лучи раскидывая ввысь и повсюду, повсюду паря, заполняя все, без конца и без края — рая — рая — рая...

— Ко мне!

Саймопольд!

Финиш.

Приди. Отлично спел. Все захлопали. Она должна. Приди. Ко мне, к нему, к ней, и к тебе тоже, ко мне, к нам.

— Браво! Хлопхлоп. Молодчина, Саймон. Хлохлохлоп. Бис! Хлоплоплоп. Голос как колокольчик. Браво, Саймон! Хлопхлипхлюп. Бис, хлобис, все хлопали, все кричали, Бен Доллард, Лидия Дус, Джордж Лидуэлл, Пэт, Майна Кеннеди, два джентльмена с двумя кружками, Каули, первый джен с кру и бронзовая мисс Дус и золотая мисс Майна.

Буяна Бойлана модные темно-рыжие ботинки ступали, поскрипывая, по полу бара, как выше сказано. Мимо памятников сэру Джону Грэю, Горацио однорукому Нельсону, достопочтенному отцу Теобальду Мэтью позвякивала коляска, как сказано выше только что. По солнцу, по жаре, с нагретым сиденьем. Cloche. Sonnez la. Cloche. Sonnez la. Кобылка замедлила, взбираясь на холм возле Ротонды, Ратленд-сквер. Промедленье досадно Бойлану, буяну Бойлану, горячке Бойлану, эк тащится лошаденка.

Замерли последние отзвуки аккордов Каули, растворились в воздухе, ставшем насыщенней.

И Ричи Гулдинг отхлебнул виски, а Блум Леопольд — сидра, а Лидуэлл — пива, а второй джентльмен высказал, что они бы повторили по кружечке, если она не возражает. Мисс Кеннеди, дурную им оказывая услугу, изогнула коралловые губы в улыбке первому, потом второму. Не возражает.

— В тюрьму на недельку,— сказал Бен Доллард,— на хлеб и на воду. Вот тогда бы вы, Саймон, запели как дрозд в саду.

Лионель Саймон, певец, засмеялся. Отец Боб Каули опять заиграл. Майна Кеннеди подавала пиво. Второй джентльмен расплачивался. Том Кернан шествовал к стойке. Лидия, восхищения предмет, восхищалась. Но Блум пел безмолвно.

Восхищаясь.

Ричи, восхищаясь, разливался насчет дивного голоса этого человека. Ему был памятен один вечер, в давние годы. Такое невозможно забыть. Сай пел «Да, мощь и слава», у Неда Лэмберта это было. Боже правый никогда в жизни он не слыхал чтобы брали такие ноты в жизни не слыхал «неверная, расстаться лучше нам» так чисто так Господи в жизни не слыхал «коль нет любви» таким потрясающим голосом «нет любви» спросите Лэмберта он скажет вам то же самое.

Гулдинг, с румянцем сквозь бледность, повествовал мистеру Блуму, с лицом темней ночи, как Сай Дедал в доме у Неда Лэмберта пел «Да, мощь и слава».

Он, мистер Блум, слушал, как он, Ричи Гулдинг, повествует ему, Блуму, о вечере, когда он, Ричи, слышал, как он, Сай Дедал, пел «Да, мощь и слава» в доме у него, Неда Лэмберта.

Свояки, родичи. Встречаясь, друг другу не скажем ни слова. Я думаю, тут черная кошка пробежала. Поливает его презрением. И смотри-ка. От этого еще больше им восхищается. О, тот вечер, когда Сай пел. Человеческий голос, две тоненькие шелковые нити, самое удивительное из всего.

Горькая жалоба была в том голосе. Теперь спокойней. Как смолкнет, тут и чувствуешь, что услышал. Вибрации. Сейчас воздух смолк.

Блум распутал свои сплетенные кисти и рассеянными пальцами подергал упругую струну. Он оттягивал и дергал. Она жужжала и гудела. Пока Гулдинг толковал о постановке голоса у Барраклоу, а Том Кернан, обращаясь в прошлое с неким ретроспективным упорядочением, что-то говорил отцу Каули, который, слушая, импровизировал, который кивал, импровизируя. Пока Большой Бен Доллард говорил с Саймоном Дедалом, закуривающим трубку, который кивал, закуривая, который курил.

Моя утрата. Все романсы на эту тему. Еще сильней натянул Блум свою струну. Не жестоко ли это. Люди привяжутся друг к другу, завлекут, заманят друг друга. А потом разрыв. Смерть. Крах. Обухом по башке. Ковсемчертямчтобтвоегодуху. Жизнь человека. Дигнам. Бр-р, как та крыса шевелила хвостом! Пять шиллингов я пожертвовал. Corpus paradisum [9]. Карканье клирика, его брюхо, как у дохлого пса. Сгинул. Отпели. Забыт. Так вот и я. И в один прекрасный день она с. Оставишь ее — сыт по горло. Сперва пострадает. Похныкает.

[9] Тело рая *(лат.)*.

Большие глаза испанки уставлены в пустоту. Волнистыистыистыгустыустыустые волосы не прич-причесан-ны.

Хотя сплошное счастье наводит скуку. Он натягивал все сильней, сильней. Так ты несчастлив в? Трень. Она лопнула.

Коляска позвякивала по Дорсет-стрит.

Мисс Дус атласную ручку отобрала с видом укоризненным и польщенным.

— Вы слишком много себе позволяете,— пожурила она,— мы еще недостаточно знакомы.

Джордж Лидуэлл заверил ее, что он искренне, он серьезно — однако она не верила.

Первый джентльмен заверил Майну, так все и было. Она его спросила, так ли все было. И вторая кружка ее заверила, так. Что так все и было.

Мисс Дус, мисс Лидия, не верила — мисс Кеннеди, Майна, не верила — Джордж Лидуэлл, нет — мисс Ду не — первый, первый — джент с кру — верила, нет, нет — нет, нет, мисс Кенн — Лидлидиуэлл — крукруж.

Лучше тут написать. На почте все перья обглоданы и поломаны.

Лысый Пэт приблизился по знаку его. Перо и чернила. Удалился. И бювар. Удалился. Бювар, промокнуть. Услышал, глухарь Пэт.

— Да,— сказал мистер Блум, теребя свернувшуюся струну.— Бесспорно. Несколько строчек, и хватит. Мой подарок. Вся эта итальянская музыка с фиоритурами. Интересно, кто автор. Когда знаешь кто, както яснее. Теперь вынимай лист бумаги, конверт — с невозмутимым видом. Это совершенно типично.

— Коронный номер всей этой оперы,— сказал Гулдинг.

— Бесспорно,— отвечал Блум.

Все это — номера. Числа. Вся музыка, если разобраться. Два помножить на два поделить пополам будет дважды один. Аккорды — это вибрации. Один плюс два плюс шесть будет семь. Можно числами крутить как угодно. Всегда выйдет что-то равно чему-то — симметрия. Симмертия. Смерть. Он и не замечает, что я в трауре. Толстокож, дальше своего брюха не видит. Музматематика. Кажется, будто слышишь нечто возвышенное. А попробуй-ка ей сказать в таком духе: Марта, семь помножить на девять минус икс дает тридцать пять тысяч. Как от стенки горох. Так что все дело в звуках.

Например, он сейчас играет. Импровизирует. Пока нет слов, это может означать что угодно. Надо вслушиваться как следует. Нелегко. Сперва все отлично — а потом слышишь, будто слегка выпал из темы — будто слегка потерялся. А уж там посыплются мешки да бочки, через заборы с проволокой, скачка с препятствиями. Главное войти в ритм. Зависит от настроения. Но все-таки слушать всегда приятно. Не считая, конечно, гамм, когда девицы долбят. Целых две по соседству. Для таких бы надо придумать беззвучное пианино. Милли не любит. Странно, ведь мы-то оба. Я для нее купил Blumenlied [10]. За название. Однажды шел домой ночью, и девушка это играла в медленном темпе, девушка. Где ворота конюшен рядом с Цецилия-стрит.

Пэт лысый глухарь принес чернила и плоский бювар. Плоский бювар положил глухарь рядом с чернилами и пером. Тарелку, вилку и нож Пэт взял со стола и отбыл.

Этому языку нет равных заявил Бену мистер Делал. Еще мальчишкой он слышал как они распевали свои баркаролы: Рингабелла, Кросс-хейвен, Рингабелла, в этих местах. Гавань в Куинстауне полна итальянских судов. Представляете, Бен, они там разгуливали лунными ночами в этаких невообразимых шляпах. Так стройно сливались голоса. Какая музыка, Бен. Слышал мальчишкой. В ночи над гаванью звучали лунаролы.

---

[10] Песнь цветов *(нем.)*.

Терпкую трубку отложив, сложенную щитком ладонь поднес он к своим губам, проворковавшим зов ночной в лунном свете, звучный вблизи, зов издали, отзываясь.

По краю свернутого трубкой «Фримена» скользил Блума глаз, как бы не сглазил, отыскивая, где же я это видел. Коллен, Коулмен, Дигнам Патрик. Эй-гей! Эй-гей!» Фоусет. Ага! Вот это я и искал.

Авось он не наблюдает за мной, а то нюх как у крысы. Он развернул свой «Фримен». Теперь не увидит. Не забывай е писать по-гречески. Блум обмакнул, Блу пробормо: дорогой сэр. Дорогой Генри нацарапал: дорогая Мейди. Получил от тебя пись и цве. Тьфу, а куда девал? В каком-то из кар. Соверш невозм. Подчеркни: невозм. Написать сегодня.

Скучное дело. Заскучавший Блум легонько побарабанил я просто слегка задумался пальцами по плоскому глухарем доставленному бювару.

Пошли дальше. Ты знаешь, что я имею в виду. Нет, это е замени. Прими маленький подар что я влож. Отве не проси. А сейчас погодика. Значит, пять Диг. Тут около двух. Пенни чайкам. Илия гря. Семь у Дэви Берна. Итого, около восьми. Скажем тогда, полкроны. Маленький подар: почт перев два и шесть. Напиши мне длинное. Ты не презираешь? А у тебя есть какие-нибудь украшения, чтобы позвякивали? Это волнующе действует. Почему ты меня назвала против? Наверно, сама противная, а? Эх, у Мэри панталоны на одной резинке. На сегодня прощай. Да-да, расскажу, конечно. Я бы тоже хотел. Подогревай. А помнишь тот мой. Тот свет, так у нее в письме. Пока у меня терпе. Подогревай. Ты должна верить. Верить. Тип с круж. Это. Истинная. Правда.

Глупо, что я пишу? Это мужья не сами. Их брак заставляет, жены. Потому что я не с. Ну а если б. Но как? Она должна. Сохранять молодость. Допустим она узнает. Карточка у меня в шляпе-лю. Нет, все нельзя говорить. Лишнее огорчение. Если сами не видят. Женщина. Что годится одному, годится другому.

Кэб номер триста и двадцать четыре, на козлах Бартон Джеймс, проживающий в доме номер один, Хармони авеню, Доннибрук, а в кэбе седок, молодой джентльмен в шикарном костюме синего шевиота, сшитом у Джорджа Роберта Месайеса, закройщика и портного, проживающего набережная Иден пять, в щегольской шляпе тонкой соломки, купленной у Джона Плестоу, Грейт-Брансвик-стрит дом один, шляпника. Ясно? Это и есть та коляска, что резво позвякивала. Мимо мясной лавки Длугача, мимо яркой рекламы Агендат рысила кобылка с вызывающим задом.

— Отвечаем на объявление? — спросили острые глазки Ричи.

— Да,— сказал мистер Блум.— Коммивояжер в пределах города. Пустое дело, я думаю.

Блум бормо: наилучшие рекомендации. Генри меж тем писал: это меня взволнует. Ты умеешь. Спешу. Генри. Греческое е. Лучше, когда есть постскриптум. Что он сейчас играет? Импровизация. Интермеццо. P. S. Трам пам пам. А как ты про? Проучишь меня? Съехавшая юбка крутилась, раз, раз. Скажи мне, я хочу. Знать. Уж. Ясно, если бы нет, не спрашивал бы. Ля-ля-ля-ре-е. Конец тащится печально, в миноре. Почему минор печальный? Подпиши Г. Им нравится, когда под конец печально. P.P.S. Ля-ля-ля-ре-е. Сегодня мне так печально. Ля-ре-е. Так сиротливо. До.

Он быстро промокнул, письмо к бювару прижав. Конве. Адре. Спиши прямо из газеты. Пробормотал: мсье Коллен, Коулмен и Ко. Генри же написал:

Дублин
Долфинс-Барн-лейн
До востребования
Мисс Марте Клиффорд

Промокни там же, чтобы нельзя было прочесть. Вот так. Идея для рассказа на премию. Детектив что-то там прочел с промокашки. Гинея за столбец. Мэтчен постоянно вспоминает смешливую чаровницу. Бедная миссис Пьюрфой. К. к.: ку-ку.

Слишком уж поэтично вышло насчет печали. Все из-за музыки. Чары музыка таит, как сказал Шекспир *. Цитаты на каждый день. Быть или не быть. Расхожая мудрость.

В розарии Джерарда на Феттер-лейн прогуливается он, седеющий шатен. Всего одна жизнь нам дана. Одно тело. Действуй. Но только действуй.

Худо-бедно, а сделано. Осталось марку и перевод. Почта рядом. Ступай. Довольно. Обещал с ними встретиться у Барни Кирнана. Неприятное дело. Дом скорби. Ступай. Пэт! Не слышит. Сущий глухарь.

Коляска сейчас уже подъезжает. Говорить. Говорить. Пэт! Не слышит. Салфетки раскладывает. Этак нашагается за день. Нарисовать ему на плеши лицо, будет един в двух лицах. Как бы хотелось, чтобы они еще спели. Отвлекло бы меня.

Лысый Пэт салфетки озабоченно митрил. Пэт служитель тугоухий. Пэт служитель служит клиент ждет и тужит. Хи-хи-хи-хи. Он служит а клиент тужит. Хи-хи. Глухарь тугоухий. Хи-хи-хи-хи. Он служит а клиент тужит. Раз уж тот тужит если он тужит этот обслужит раз уж тот тужит. Хи-хи-хи-хи. Хо-хо. Потужит да и обслужит.

А теперь — к Дус. Дус Лидия. Бронза и роза.

Она чудесно, ну просто чудесно провела время. А поглядите, какую красивую ракушку она привезла.

Держа легонько, она принесла ему со стойки витой, рогатый, моря звучащий горн, дабы он, стряпчий Джордж Лидуэлл, мог послушать.

— Слушайте! — повелела она.

Под Тома Кернана речи, подогретые джином, аккомпаниатор сплетал медленную мелодию. Подлинный факт. Как Уолтер Бэпти * потерял голос. И тут, сэр, гневный супруг хватает его за горло. *Вы негодяй,* говорит. *Но больше уж вам не петь любовных песен.* Вот такая история, сэр Том. Боб Каули сплетал. У теноров всегда масса женщ. Каули откинулся назад.

Да-да, сейчас он услышал, она поднесла ему к самому уху. Слушайте! Он слушал. Замечательно. Она поднесла ее к своему, и в бледном процеженном свете золото контрастом скользнуло. Тоже послушать.

Тук.

Блум видел через дверь бара, как они подносили к уху раковину. Он слышал, хоть и слабей, то же, что они слышали, себе, а потом другой поднося послушать, слушая плеск волны, громко, беззвучный рев.

За бронзой утомленное золото, вблизи, издали, слушали.

Ее ухо — еще одна раковина, мочка оттопырена. Была на побережье. Те приморские красотки. Кожа обгорела на солнце. Чтобы получился загар, сначала надо кольдкремом. Гренок с маслом. Кстати, не забыть про лосьон. Возле губ лихорадка. Голову бедняжке. Поверх волосы начесаны: ракушка обросла водорослями. Зачем они прячут уши под этими водорослями волос? А турчанки рот прячут, тоже зачем? Одни глаза поверх сетки. Чадра. Попробуй туда проникни. Пещера. Входить только по делу.

Думают, что им слышно море. Его пение. Рев. А это кровь. Приливает к ушам. А что, тоже море. Шарики — острова.

Правда, замечательно. Так отчетливо. Можно еще. Джордж Лидуэлл подержал ее, шепчущую, послушал,— потом осторожно отложил.

— О чем напевают волны? — спросил он ее с улыбкой.

Чаруя, но не давая ответа, улыбкой моря Лидия Лидуэллу улыбнулась.

Тук.

Мимо Ларри О'Рурка, мимо нашего Ларри, бравого Ларри О', Бойлан колыхался и свернул Бойлан.

От покинутой раковины мисс Майна скользнула к ожидающим кружкам. Нет, она была не совсем одинока, лукаво поведала головка мисс Дус мистеру Лидуэллу. Прогулки у моря при луне. Нет, не в одиночестве. А с кем же? С одним очень достойным другом — был достойный ответ.

Пальцы Боба Каули снова замелькали в высоких октавах. Право первого иска за домохозяином. Немного бы времени. Длинный Джон. Большой Бен. С легких пальцев слетал легкий яркий мотив для увеселения легконогих дам с лукавой улыбкой и их кавалеров, их достойных друзей. Раз: и — раз — раз — два — раз: два — раз — три — четыре.

Море, ветер, листва, реки, гром, мычанье коров, скотный рынок, петухи, куры не кукарекают, змеиный ш-ш-ш-шип. Во всем есть музыка. Дверь Ратледжа: кр-р, скрип. Нет, это уже шум. А сейчас он менуэт играет из «Дон Жуана». Придворные в разнообразнейших туалетах танцуют в покоях замка. А снаружи крестьяне. Нищета. Голодающие с синими лицами, едят лопухи. Красота, нечего сказать. Глянь: глянь-глянь-глянь-глянь-глянь: погляди на нас.

Радостная мелодия, я хорошо чувствую. Но никогда бы не написал такую. А почему? Моя радость — другая. Но они обе — радость. Конечно, радость. Музыка самим фактом уже говорит, что ты. Сколько раз думал, она не в духе, а она начинает вдруг напевать. Ну, тут ясно.

Маккой с чемоданом. Моя жена и ваша жена. Кошачий визг. Или как будто шелк раздирают. Когда разговаривает, трещит как трещотка. Они не умеют говорить с паузами, как мужчины. И брешь какая-то у них в голосе. Заполни меня. Я теплая, темная, открытая. Молли в quis est homo: Меркаданте *. Прислонил ухо к стене, чтоб слышать. Мне нужна женщина, которая бы отпускала товар.

Звякнув брякнув стала коляска. Щегольской ботинок Бойлана-щеголя броские носки в стрелки и пояски соскочили легко на землю.

А смотри-ка! Тоже у Моцарта, «Маленькая ночная музыка». Отличный каламбур. Я эту музыку часто слышу, когда она. Акустика. Журчание. Когда в пустой горшок, особенно громко. Все дело в акустике, изменение громкости согласно весу воды равняется по закону падающей воды. Как эти рапсодии Листа, венгерские, на цыганский лад. Жемчужины. Капли. Дождик. Кап-кап-ляп-ляп-плям-плям. Ш-ш-шип. Сейчас. Может, как раз сейчас. Или уже.

В дверь тук-тук, в двери стук, то дружок Поль де Кок большой мастер стучать то петух потоптать кукареку прокричать. Ко-о-ко-кок.

Тук.

— «Qui sdegno» [11], Бен,— попросил отец Каули.

— Да нет, Бен,— вмешался Том Кернан,— лучше «Юного бунтаря» *. На родном наречии.

— Давайте, Бен,— присоединился к нему мистер Дедал.— О, добрые люди.

— Давайте, давайте! — поддержали все в один голос.

Пойду-ка я. Пэт, можно вас. Подойдите. Он подходит, он подходит, он, не мешкая, идет. Ко мне. Сколько с меня?

— А в какой тональности? Шесть диезов?

— Фа диез мажор,— подтвердил Бен Доллард.

Растопыренные когти Каули упали на черные клавиши нижних октав.

Я должен идти, сказал принц Блум принцу Ричи. О, нет, возразил Ричи. Увы, должен. Где-то он раздобыл деньжонок. Теперь пой-

[11] Тут возмущенье *(итал.)*.

дет во все тяжкие, пока у него поясницу не схватит. Сколько? Он услывидел губречь. Шиллинг и девять пенсов. Пенни ему. Вот. Нет, оставь два на чай. Глухой, весь в заботах. Может, у него дома семья, жена тужит, пока Пэтти служит. Хи-хи-хи-хи. Глухарь служит, она по нем тужит.

Но погоди. Послушай. Мрачные аккорды. Гугугугулкие. Низкие. Во мрачной пещере, в недрах земли. Груды руды: глыбы музыки.

Голос мрачного времени, нелюбви, земной истомленности, мерно вступил и, скорбный, пришедший издалека, с диких гор, воззвал к добрым людям. Священника он искал, ему хотел молвить слово.

Тук.

Бен Доллард, бас-бормотон. Старается выразить, как может. Уханье необъятного болота — безлунного — безлюдного — бездамного. Еще один, скатившийся вниз. Когда-то был крупным поставщиком для флота. Отлично помню: просмоленные канаты, сигнальные фонари. А потом банкротство на десять тысяч фунтов. Теперь в богадельне Айви. Каморка номер такой-то. Все выпивка довела.

Священник дома. Слуга мнимого священника приглашает его войти. Входи. Святой отец. Слуга-предатель с поклонами. Завитки аккордов.

Разоряют людей. Губят им жизнь. А потом пожалуют по каморке, чтобы имел, где подохнуть. Бай-бай. Колыбельная. Спи, наш песик, баю-бай. Спи, собачка, подыхай.

Голос, звучащий предостережением *, зловещим предостережением, поведал им, как входит юноша в зал пустой, как зловеще там раздаются его шаги, поведал о мрачных покоях, где сидел священник * в сутане, готовый выслушать исповедь.

Чистая душа. Правда, малость уже свихнулся. Рассчитывает выиграть в «Ответах» конкурс, разгадка ребусов на названия стихотворений. И мы вручим вам хрустящую банкноту в пять фунтов. Птица сидит на яйцах в гнезде. Он решает, что это «Песнь последнего менестреля». Ка черточка тэ, какое это домашнее животное? Эн черточки эн, храбрейший из моряков. Но голос до сих пор прекрасный. И далеко не евнух, с этакой своей снастью.

Слушай. Блум слушал. Слушал Ричи Гулдинг. И у дверей глухой Пэт, лысый Пэт, чаевые получив, слушал.

Аккорды зазвучали медленней.

Голос раскаяния и горя выводил медленно, красиво, вибрируя. Покаянная борода Бена исповедовалась: In nomine Domine, во имя Господне. Он преклонил колена. Бия себя в грудь, исповедовался он: mea culpa[12].

Опять латынь. Они к ней липнут, как мухи к липучке. Священник со святыми дарами для тех женщин. Другой на кладбище, гробер или гробби, corpusnomine [13]. Интересно, где сейчас та крыса. Скреблась.

Тук.

Они слушали. Кружки и мисс Кеннеди. Джорджа Лидуэлла выразительные ресницы, и полногрудый атлас. Кернан. Сай.

Поющий голос вздыхал, скорбел. Грехи его. С Пасхи он выругался три раза. Сукин ты с. Однажды прогулял мессу. Однажды, проходя мимо церкви, забыл помолиться за упокой души матери. Совсем еще юнец. Юный бунтарь.

Бронзоволосая, возле пивного насоса, заслушавшись, глаза устремила вдаль. Самозабвенно. Будто и знать не знает, что я на нее. У Молли на это нюх, замечать, когда на нее смотрят.

Бронзоволосая глаза устремила вдаль, в сторону. Там зеркало. Это у нее, видно, самый эффектный ракурс. Всегда за этим следят. Стук в дверь. Последний штрих к туалету.

Кук-карре-ку.

---

[12] Моя вина *(лат.)*.

[13] Телоимя *(лат.)*.

О чем они думают, когда слушают музыку? Так ловят гремучих змей. Вечер, когда Майкл Ганн * устроил нас в ложу. Настройка инструментов. Персидский шах это обожает больше всего *. Напоминает ему любимый дом родной. Еще он высморкался в занавес. Может, у них так принято. Тоже музыка. А что собственно плохого. Туруру. Медные, ослы бедные, ревут, задрав раструб. Беззащитные контрабасы с раной в боку. Деревянные — коровье мычание. Раскрытый рояль — крокодилова пасть: зубы музыка таит. Бемоли: Б. Молли. Молли Блум.

Она выглядела великолепно. Шафранное платье с низким вырезом, все прелести напоказ. Гвоздичный запах дыхания, когда наклонялась что-то спросить. Я рассказывал, о чем говорит Спиноза в той папиной книжке. Слушала как завороженная. Глаза вот такие. Наклонялась вперед. Субъект на балконе все разглядывал ее сверху вниз в бинокль, так и впивался. Почувствовать красоту музыки — надо послушать дважды. Природы, женщины — с одного взгляда. Бог создал страну, человек — музыку*. Метим псу хвост. Философия. Ну и дичь!

Все погибли *. Все пали в бою. Отец — при осаде Росса, братья — в битве у Гоури. В Векс форд, мы вексфордские парни, стремился он. Последний в своем роду.

Я тоже. Последний в моем роду. Милли со своим студентом. Что ж, видно, сам виноват. Нет сына. Руди. Сейчас уже поздно. А вдруг нет? Вдруг нет? Вдруг еще?

Он не питал ненависти.

Любовь. Ненависть. Одни слова. Руди. Скоро буду старик.

Большой Бен развернул голос в полную силу. Могучий голос, сказал Ричи Гулдинг, на лице у которого румянец боролся с бледностью, скоро старику Блуму. А когда молодой был?

Теперь об Ирландии. Его родина для него выше короля*. Дева слушает. Кто трусит говорить о девятьсот четвертом? * Пора отчаливать. Насмотрелся.

— *Благослови, отче,*— воскликнул бунтарь Доллард.— *Благослови меня ты в путь* *.

Тук.

Блум, не получивший благословения в путь, продолжал смотреть. Туалет сногсшибательный — и это на восемнадцать шиллингов в неделю. Из поклонников тянет. Надо глядеть в оба. До чего милы красотки. Над печальными волнами моря. Роман хористки. Были оглашены письма, доказывающие наличие брачного обещания. Своей тепленькой цыпочке пишет ее котишка-плутишка. Смех в зале суда. Генри. Подпись-то не моя. Твое красивое имя.

Музыка зазвучала глуше, и мелодия, и слова. Потом ускорила темп. Шорох сутаны, и вместо мнимого священника перед ним офицер. Гвардеец, капитан. Они все это знают наизусть. Обожают пощекотать себя ужасом. Гвардеец-кеп.

Тук. Тук.

Ужасом и сочувствием охваченная, она слушала, подавшись вперед, чтоб лучше.

Чистое личико. Одно из двух: или девушка, или пока только пальцем пробовали. Чистая страничка: пиши на ней. А если нет, что с ними делается? Тоскуют, вянут. Поддерживает в них молодость. Еще как, сами себе дивятся. Смотри-ка. Впору поиграть на ней. Подуть губами. Белотелая женщина — живая флейта. Подуть слегка. Громче. Любая женщина — три дыры. Так и не поглядел у богини. Они этого хотят и деликатности особой не требуется. Оттого он всех и имеет. В кармане золото, на морде нахальство. Скажи что-нибудь. Чтоб услышала. Глазами в глаза: песни без слов. Молли и этот мальчуган-шарманщик. Сразу угадала, про что он: обезьянка больна. А может, потому что на испанский похоже. Таким манером можно даже зверей понимать. Соломон умел. Природный дар.

Чревовещание. Рот у меня закрыт. Думают, у меня в животе. Что? Желаешь? Ты? Я. Хочу. Чтоб. Ты.

Гвардеец проклятье ему прохрипел *. Налился кровью от ярости, сукин ты сын. Удачная мысль, юнец, прийти сюда. Жить тебе остается час *. Последний твой.

Тук. Тук.

Пик ужаса. Они чувствуют жалость. Уронить слезу о мучениках, стремящихся, вожделеющих умереть. Обо всем, что умирает, обо всем, что рождается. Бедная миссис Пьюрфой. Надеюсь, разрешилась уже. Потому что их лона.

Влага лона женщины зрачок глядел сквозь ресниц частокол, вслушиваясь, спокойно. Когда она помалкивает, видишь, какие красивые у нее глаза. По той реке. И каждый раз, когда медленно вздымалась атласная волна ее груди (ее вздымающиеся округ), красная роза вздымалась медленно и медленно опускалась. Ее дыхание — в такт сердцу, дыхание это жизнь. И все крохотные крохотные завитки, девичьих волос папоротниковый узор, трепетали в такт.

Но взгляни. Уж меркнут звезды. О, роза! Кастилии. Заря.

Ха. Лидуэлл. Так это ему, а не. Влюбился. И я так могу? Брось, погляди вокруг нее. Пробки, лужи пены пивной, пустые бутылки.

На гладкую рукоять пивного насоса Лидия ручку положила легонько, мягонько, предоставь-ка это моим рукам. Все потеряно в порыве жалости к бунтарю. Взад-вперед, взад-вперед: блестящую рукоять (знает про его глаза, мои глаза, ее глаза) большой и указательный пальцы, жалея, гладили: оглаживали, поглаживали, а потом, нежно касаясь, скользнули, так медленно, гладко, вниз, и белый, твердый, прохладный эмалированный кол торчал в их скользящем кольце.

Петух потоптать кукареку прокричать.

Тук. Тук. Тук.

Я здесь хозяин. Аминь. С яростным скрежетом зубов. Веревка предателям *.

Аккорды выразили согласие. Печальная история. Но неизбежно было.

Смыться, пока не кончилось. Спасибо, это было божественно. Где моя шляпа. Пройти мимо нее. «Фримен» можно оставить. Письмо со мной. А вдруг она? Нет. Ходить, ходить, ходить. Как Кэшел Бойло Конноро Койло Тисдалл Морис Итакдал Фаррелл, ходи-и-и-и-и-ть.

Ну я, пожалуй. Уходите? Дпжпрдсвднья. Блпднлся. Заблумшая душа. Блум поднялся. Уф. Мыло сзади чувствуется, стало липкое. Вспотел, видно: все музыка. Не забыть про лосьон. Ну что же, до встречи. Шляпа-лю. Карточка там. Да.

Мимо глухаря в дверях, напрягшего ухо, прошел Блум.

У стенки казармы он был казнен. И в Пассидже тело зарыли его *. Dolor! [14] О, он долорес! Голос горестного певца призывал к скорбной молитве.

Мимо розы, мимо груди атласной, мимо ласкающей ручки, мимо помоев, пробок, пустых бутылок, раскланиваясь на ходу, позади оставляя глазки и завитки, бронзу и потускневшее золото в тени глубин океанских, проходил Блум, кроткий Блум, мне так одиноко Блум.

Тук. Тук. Тук.

Молитесь о нем*, взмолился бас Долларда. Те, кто мирно внимает. Прошепчите молитву, оброните слезу, добрые люди, честной народ. То был юный бунтарь.

Вспугнув подслушивающего бунтаря коридорного, уже в коридоре Блум услыхал рев похвал, браво, смачные шлепки по спине, башмаков топот, башмаков всех их, не бунтарей. Всеобщий хор требовал выпивки обмыть такое событие. К счастью, я избежал.

— Вот это да, Бен!— воскликнул Саймон Дедал.— Клянусь, вы были на высшем уровне.

[14] Скорбь *(лат.)*.

— Нет, выше,— возразил Том-Джин Кернан.— Самое проникновенное исполнение этой баллады, ручаюсь моей душой и честью.

— Лаблаш,— сказал отец Каули.

Бен Доллард, щедро хвалой осыпанный, радостно раскрасневшийся, грузно прокачучил к стойке на слоновьих ногах, узловатые пальцы прищелкивающие в воздухе кастаньеты.

Большой Бенабен Доллард. Боль-шой Бен-Бен, Боль-шой Бен-Бен. П-р-рр.

Все расчувствовались, Саймон свою растроганность в носа рог протрубил, все смеялись и привели его, Бена Долларда, в самое отличное настроение.

— Как вы разрумянились,— сказал Джордж Лидуэлл.

Мисс Дус поправила свою розу, приготовившись обслужить.

— Бен machree[15],— промолвил мистер Дедал, хлопнув Бена по жирной лопатке.— Молодец хоть куда, вот только все занимается тайными накоплениями жировых тканей.

Пу-у-пр-р.

— Смертоносный жир, Саймон,— пожаловался Бен Доллард.

Ричи, черная кошка пробежала, сидел в одиночестве: Гулдинг, Коллис, Уорд. В нерешимости выжидал. Пэт, платы не получивший, тоже.

Тук. Тук. Тук. Тук.

Мисс Майна Кеннеди приблизила губы к уху кружки номер один.

— Мистер Доллард,— тихонько они шепнули.

— Доллард,— шепнула кружка.

Номер один поверил: мисс Кенн когда она: что он дол: она дол: номер один.

Он прошептал, что он знает эту фамилию. То есть эта фамилия ему знакома. То есть он уже раньше слышал фамилию. Доллард, правда? Да, Доллард.

Да, произнесли ее губы уже погромче, мистер Доллард. Он дивно спел эту песню, прошептала Майна. И «Последняя роза лета» тоже дивная песня. Майне нравилась эта песня. Кружке нравилась песня, которая Майне.

Последнюю розу лета доллард покинул блум почуял внутри бьются ветры.

Газы от этого сидра образуются. И крепит. Погоди. Почта возле Рувима Дж., да еще шиллинг восемь пенсов. Покончить с этим. Можно пройти по Грик-стрит. Напрасно я обещал прийти. На воздухе лучше. Музыка. Действует на нервы. Рукоять насоса. Рука, что качает колыбель, правит. Бен Хоут. Что правит миром.

Даль. Даль. Даль. Даль.

Тук. Тук. Тук. Тук.

По набережной зашагал Лионелеопольд, противный Генри с письмецом к Мейди, с прелестями греха с безделушками для Рауля с метим псу хвост шагал Польди.

Тук-тук слепой продвигался по тротуару, тукая тукалкой, тук за туком.

Каули, он себя взвинчивает этим, своего рода опьянение. Лучше остановиться на полпути как мужчина с девушкой *. Например, меломаны. Уйдя в слух. Не потерять ни полполовинки писка. Глаза закрыты. Кивая головой в такт. Как свихнулись. Шелохнуться не смей. Думать строго запрещено. И без конца толкуют про эту самую кухню. Вечные ляляля про свои ноты.

Хотя это тоже попытка общения. Неприятно, когда обрывается из-за того, что не знаешь в точ. Орган на Гардинер-стрит. Старому Глинну платили по пятьдесят фунтов в год. Странновато сидеть там одному наверху со всеми этими педалями, клавишами, регистрами. Целыми днями за органом. О чем-то постоянно бубнит, то сам с собой,

[15] Мое сердце *(ирл.)*.

а то с другим чудаком, который раздувает мехи. Сердитое ворчание, потом резкий вскрик, проклятие (нужно вату или что-нибудь в его о нет она вскрикнула не надо), потом вдруг мягкой струйкой уи-и маленькой уи-и маленький тоненький ветерок.

Пи-и! Маленький ветерок тоненько протянул и-и-и. У Блума внутри-и-и.

— Так это он? — спросил мистер Дедал, вернувшись со своей трубкой.— Сегодня утром мы вместе были на бедняги Дигнама...

— Помилуй Господи его душу.

— Кстати, какой-то камертон там на том...

Тук. Тук. Тук. Тук.

— У его жены раньше был чудный голос. А сейчас как она? — спросил Лидуэлл.

— Ах, это, верно, настройщик,— объяснила Лидия Саймонлионелю явился дивный,— его позабыл, когда был тут.

Он совершенно слепой, сообщила она Джорджу Лидуэллу явился второй. И так изящно играл, просто наслаждение слушать. Изящное сочетание: бронзалид, майназлато.

— А ну, ори, сколько! — орал Бен Доллард, наливая.— Столько?

— Будет! — вопил отец Каули.

Пууррр.

Чувствую, мне явно хочется...

Тук. Тук. Тук. Тук. Тук.

— Вполне,— промолвил мистер Дедал, пристально разглядывая безголовую сардинку.

Под колпаком, прикрывавшим сандвичи, на катафалке из хлеба она покоилась, последняя и единственная, одинокая и последняя сардинка лета. Блум одинок.

— Вполне,— продолжал он разглядывать.— В нижнем регистре. Высшего качества.

Тук. Тук. Тук. Тук. Тук. Тук. Тук. Тук.

Блум миновал швейное заведение Барри. Хорошо бы я смог. Обождать малость. Сейчас бы мне это чудотворное средство. Двадцать четыре законника тут под одной крышей. Сосчитал как-то. Кляузы. Любите друг друга. Горы гербовой бумаги. Господа Чистильщик и Карманов имеют судейские полномочия. Гулдинг, Коллис, Уорд.

А взять, скажем, того малого, что бухает в большой барабан. Оркестр Микки Руни — призванье его. Интересно, как он это открыл. Сидел дома у себя в кресле, уплетал свинину с капустой. Репетирует свою партию. Бум. Барабум. То-то его жене веселье. Ослиные шкуры. Пока жив, нахлестывают, когда издохнет, колотят. Бум. Бубубух. Прямо этот, как его там, кишмиш, то есть, верней, кисмет. Рок.

Тук. Тук. Слепой юноша, постукивающий тросточкой, дошел, постуктуктукивая, до витрин Дэли, в которых русалка, по плечам распустив струящиеся русые пряди (но он не мог видеть их), выпускала кольцами дым русалки (слепой не мог), курите русалку, это легчайшие сигареты.

Инструменты. Стебелек травы, ее ладони раковиной, и подуть. Даже на гребенке с папиросной бумагой, и то можно исполнить мотивчик. Молли на Ломбард-стрит, в сорочке, с распущенными волосами. Я думаю, в любом ремесле какая-нибудь своя, разве нет? У охотников рог. Рогоносцы. Зачесалось. У тебя? Cloche. Sonnez la. Волынка у пастухов. Пи-и тоненько тянет пи-и. Свисток полисмена. Замки-ключи продаю! Трубы чищу! Четыре утра, все спокойно! Спите! Все потеряно. Барабан? Барабум. Погоди, еще знаю. Главный крикун в городе, наш главный бам барабум инспектор. Длинный Джон. Мертвого разбудит. Бум. Дигнам. Бедняга nominedomine [16]. Бум. Тоже музыка, хотя, конечно, тут почти одно бум бум бум, то, что называют da ca-

[16] Имягосподне *(лат.)*.

ро [17]. Но кое-что можно уловить. Мы шагаем все вперед, все вперед. Бум.

Нет, в самом деле, мне надо. Пу-у-у. Если бы я на банкете так. Вопрос обычаев, вот и все. Шах персидский. Прошепчите молитву, уроните слезу. Все-таки он был простачок, не разглядеть что это гвардеец кеп. Весь закутан. Интересно, кто же это был, на кладбище, в коричневом макинто. А, уличная шлюха!

Потасканная шлюха в плоской черной соломенной шляпке набекрень, остекленелая в свете дня, скользила безжизненно по набережной навстречу мистеру Блуму. Когда явился дивный облик? О, да. Мне сегодня так одиноко. В дождливую ночь, в переулке. Зачесалось. У него. Как завидел. Он ее. А тут не ее места. Что она? Надеюсь, она. Эй, сударь! Вам не надо что-нибудь пости. Видела Молли. Засекла меня. С тобой была полная дама в коричневом костюме. У меня сразу весь пыл пропал. Назначали свидание. Почти наверняка зная что никогда. Так много риска, уж очень близко любимый дом родной. Заметила меня или нет? При дневном свете жуткое пугало. Лицо как из воска. Черти бы ее взяли! Ну зачем так, и ей надо жить, как всякому. Отвернись, и все.

В витрине антикварной лавки Лионеля Маркса надменный Генри Лионель Леопольд дорогой Генри Флауэр сосредоточенно мистер Леопольд Блум обозревал облупленные канделябры и фисгармонию с ветхими в червоточинах мехами. Цена бросовая: шесть шиллингов. Можно бы научиться играть. Дешевка. Пускай она пройдет. Конечно, все дорого, если тебе не требуется. Это и называется хороший торговец. То заставит купить, что желает сбыть. Такой вот мне продал шведскую бритву, которой меня побрил. Хотел еще взять за то, что он ее наточил. Ну, прошла. Шесть шиллингов.

От сидра, а может, и от бургонского.

Близ бронзы из близи близ злата из дали звонкими бокалами чокнулись они все, сверкая отважно взорами, перед бронзовой Лидии искусительной розой, последней розою лета, розой Кастилии. Первый Лид, Де, Кау, Кер, Долл пятый: Лидуэлл, Сай Делал, Боб Каули, Кернан и Большой Бен Доллард.

Тук. Входит юноша в зал «Ормонда» пустой.

Блум смотрел на портрет отважного героя в витрине Лионеля Маркса. Последние слова Роберта Эммета *. Семь последних слов *. Мейербера.

— Честные граждане, как и ты *.

— Вот-вот, Бен.

— Бокал твой поднимут с нами.

Они подняли.

Динь. Дон.

Ток. Незрячий юноша стоял на пороге. Он не видел бронзы. Не видел золота. Ни Бена ни Боба ни Тома ни Сая ни Джорджа ни кружек ни Ричи ни Пэта. Хи-хи-хи-хи. Не видел ни зги.

Волноблум, сальноблум смотрел на последние слова. Ну, полегоньку. *Когда моя страна займет свое место среди.*

Пуррр.

Не иначе как бур.

Пффф! Ох. Перр.

Пурррпупупуррпффф.

Наций нашей планеты. Позади никого. Она прошла. *Вот тогда, но не прежде, чем тогда.* Трамвай. Гром гром гром. Очень кста. Подъезжает. Гррамгромгром. Совершенно точно, это бургон. Так. Раз-два. *Пусть будет написана моя.* Дзи-дзи-дзи-и-инь. *Эпитафия. Я закон.*

Пурррпупупуррпффф.

Чил.

(Продолжение следует)

[17] Повторить сначала *(итал.)*.

Комментарии

XI. Сирены

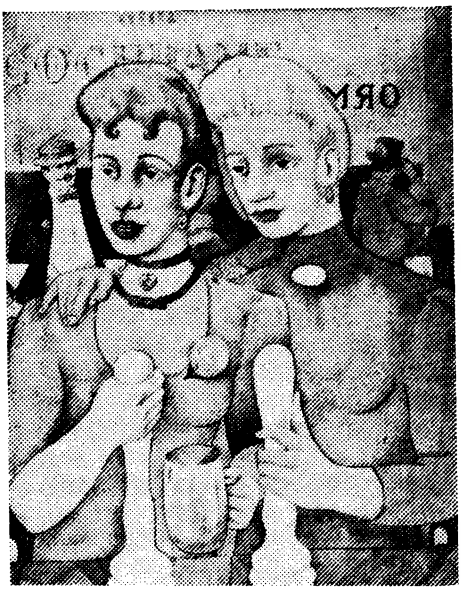


Иллюстрация Ричарда Гамильтона к одиннадцатому эпизоду «Улисса».

Значительное место в «Улиссе» занимает музыкальная тема: часто упоминаются композиторы, певцы, «звучат» известные арии, популярные песенки. Объяснений этому несколько. Музыка, как и искусство вообще,— неотъемлемая часть жизни человека. С другой стороны, Дублин рубежа веков — один из самых музыкальных городов мира: здесь гастролировали почти все европейские оперные знаменитости; музыка, вокальное искусство — постоянная тема разговоров дублинцев.

В жизни самого Джойса музыка также сыграла важную роль. Музыкальность он унаследовал от отца, который, по свидетельству современников, обладал «лучшим тенором во всей Ирландии». Замечательный тенор был и у самого Джойса, и его музыкальные учителя прочили ему блестящее будущее. Любопытно, что, когда «Улисс» был уже напечатан и вокруг него кипели литературные страсти, соотечественники Джойса придавали всему этому мало значения. «Книги? — даже с некоторым удивлением спрашивали они.— Да, он как будто что-то написал. А вот его голос, как он? Все так же хорош?»

Не став профессиональным певцом, Джойс перенес музыку на страницы своих произведений (его первый поэтический сборник называется «Камерная музыка»; музыка — тема одного из лучших рассказов Джойса «Мертвые»). Более того, Джойс сделал музыкальное начало одним из компонентов своего новаторского стиля, тем самым предвосхитив и определив синтетические поиски писателей XX в. (В. Вулф, Рильке, Стриндберг и др.).

В «Сиренах» впервые становится очевиден модернистско-экспериментальный характер прозы Джойса. Первые страницы эпизода по сути дела — набор непонятных, маловразумительных фраз или же отрывков каких-то предложений. Эти страницы вызвали сначала недоумение, а потом и подозрение цензора (Джойс пересылал рукопись «Сирен» из Швейцарии в Англию во время первой мировой войны). Цензор решил, что перед ним некий хитроумный шифр, но литераторы-профессионалы, к которым он был вынужден обратиться за помощью, проделав немалую работу, внимательно вчитавшись в текст, уверенно заявили, что это, конечно, не шифр, а чрезвычайно экстравагантная проза.

В начале эпизода обозначено пятьдесят восемь музыкальных тем-лейтмотивов, которые проводятся, как это положено в музыкальном произведении, через весь текст. С точки зрения техники «Сирены» — один из наиболее изощренных эпизодов: аналогом стала классическая фуга, то есть такое музыкальное произведение, которое основано на многократном проведении темы во всех голосах. Ассоциации с музыкой — искусством этого эпизода — возникают без труда. Текст насыщен строками из баллад, арий, песенок. Мелькают названия опер, фамилии певцов, композиторов. «Сирены» — это и самый «звуковой» эпизод «Улисса»: звенит колокольчик, цокают копыта лошадей в кортеже вице-короля Ирландии, кукует кукушка на часах, звучит в баре рояль и т. д. Кажется, весь Дублин поет, звенит, разговаривает. «Скрытые» цитаты (в данном случае немногочисленные), органично вмонтированные Джойсом в текст, тоже так или иначе ассоциируются с музыкой или звуками. Недаром орган, который символически представляет этот эпизод,— ухо.

С точки зрения содержания «Сирены» — один из самых простых эпизодов «Улисса»: действие происходит в 4 часа дня в баре и холле отеля «Ормонд». Этот «музыкальный» эпизод привлек внимание Анны Андреевны Ахматовой. Впервые А. А. Ахматова познакомилась с «Улиссом» в 1937 г. В одной из дневниковых записей о О. Э. Мандельштаме (кстати, О. Э. Мандельштам читал «Улисса» в это же время) она пишет: «Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на «Тучке» и хохотали до обморочного состояния, как кодатерские (? — *Е. Г.*) девушки в «Улиссе» Джойса» (см. А. А. Ахматова. Листки из дневника [О Мандельштаме]. Введение, публикация и комментарии В. Виленкина. «Вопросы литературы». 1989, № 2, с. 184). Видимо, «кодатерские» девушки — это искаженное «кондитерские девушки»: ведь «сирены» — это настоящие кондитерские барышни мисс Дус и мисс Кеннеди, которые, как видно из текста, действительно то и дело хохочут. Правда, вторая часть цитаты «хохотали до обморочного состояния» скорее относится не к ним, а к главной героине романа Молли Блум (ср. «Молли обхохоталась потом, когда он ушел. Бросилась на кровать поперек, дрыгает ногами стонет от смеха»). Стоит отметить, что это не единственная ссылка на «Улисса» в наследии А. А. Ахматовой.

Джеймс Джойс (карикатура Уиндема Льюиса).

Девы Чеппи — имеется в виду зеркальная и окантовочная мастерская Питера Чеппи.

Словно корма изящной... Золотой ладьи... Прохладные руки — в абзац вплетено описание Клеопатры из «Антония и Клеопатры» Шекспира — ср. акт II, сц. 2.

Прекраснейшая в мире ария... из «Сомнамбулы» — подразумевается ария «Все уж потеряно» (Tutto e'sciolto) из оперы Винченцо Беллини (1801—1835) «Сомнамбула» (1831). Одно из стихотворений в сборнике Джойса «Пенни за штуку» носит название этой арии.

Джо (Джозеф) Маас (1847 — 1886) — известный английский лирический тенор.

Эхо. Сколь нежен отклик — см. стихотворение Томаса Мура «Эхо» в цикле «Ирландские мелодии».

Дженни Линд (1820—1888) — шведская певица (сопрано); современники ее называли «шведским соловьем». Стремясь сохранить фигуру, придерживалась строжайшей диеты. В ее честь французские кулинары создали специальный рецепт малокалорийного супа, который назвали «суп певицы».

Чары музыка таит, как сказал Шекспир — эти слова принадлежат не Шекспиру, а английскому драматургу Уильяму Конгриву (1670—1729) — ср. «Невеста в трауре» (1697), акт I, сц. 1.

Уолтер Бэпти (1850—1915) — дублинский профессор пения, один из организаторов ежегодных ирландских музыкальных фестивалей.

...quis est homo... — строка из «Stabat mater», но не Меркаданте, а Россини.

«Qui sdeqno»... лучше «Юного бунтаря» — «Тут возмущенье» — начальные слова арии из второго акта оперы Моцарта «Волшебная флейта» (1791). «Юный бунтарь» — баллада о восстании 1798 г. на стихи ирландского поэта Уильяма Макбэрни (псевдоним Кэрролла Мэлоуна, ум. в 1902). Надо заметить, что даже на примере этой баллады видно, сколь изобретательно Джойс проводит тему в тексте. *Голос, звучащий предостережением... где сидел священник... Все погибли... Его родина для него выше короля... Благослови, отче... Гвардеец проклятье ему прохрипел... Жить тебе остается час... Я здесь хозяин... У стенки казармы он был казнен... Молитесь о нем* — фактически «вразброс» приводится вся баллада, которая вызывает свои ассоциации у Блума и других персонажей.

Майкл Ганн (? — 1901) — один из руководителей дублинского театра «Гэйети».

Персидский шах это обожает больше всего — два приезда персидского шаха в Англию в 1873 г. и 1889 г. привлекли внимание общественности: шах сделался любимцем публики, о нем слагали песни, рассказы.

Бог создал страну, человек — музыку — ср. со строкой из поэмы «Задача» английского поэта Уильяма Каупера (1731—1800): «Бог создал страну, человек — город».

Кто трусит говорить о девятьсот четвертом — ср. с начальными словами стихотворения Джона Ингрема «В память погибших» (1843) — «кто боится вспомнить девяносто восьмой».

Лучше остановиться на полпути как мужчина с девушкой — это одновременно парафраза библейского текста («Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю: Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице» — см. Книгу Притчей Соломоновых, 30, 18—19) и ссылка на название популярного в конце XIX в. анонимного порнографического романа «Мужчина и девица».

Последние слова Роберта Эммета — имеются в виду слова Эммета на суде перед казнью: «Когда моя страна займет свое место среди наций нашей планеты, вот тогда, но не прежде, чем тогда, пусть будет написана моя эпитафия».

Семь последних слов — Блум путает оратория «Семь последних слов» Меркаданте (о которой говорилось в эпизоде «Лотофаги») с оперой «Гугеноты» Мейербера (см. эпизод «Лестригоны»).

Честные граждане, как и ты — слова из баллады «В память погибших».

Е. ГЕНИЕВА

ЭДГАР ЛИ МАСТЕРС

Из книги «Новый Спун-Ривер»

Вступление и перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

В Чикаго начала века Эдгар Ли Мастерс (1868—1950) был известным адвокатом и малоизвестным писателем. В течение многих лет он выпускал довольно бесцветные книги стихов и прозы, принимал участие в литературной жизни города, дружил с Драйзером и Карлом Сэндбергом. Его литературная судьба резко изменилась в 1915 году после выхода «Антологии Спун-Ривер» — сорокасемилетний Мастерс стал знаменитостью. Книга его была первым сборником стихов в списках бестселлеров. Критика и собратья-писатели объявили его одним из выдающихся поэтов современности — и это как раз в годы небывалого поэтического расцвета, известного под названием «Американского возрождения». Он был по праву причислен к Большой пятерке поэтов американского поэтического возрождения 10—20-х годов: Эдвин Арлингтон Робинсон, Роберт Фрост, Карл Сэндберг, Вэчел Линдзи, Эдгар Ли Мастерс.

Мастерс вырос в американской глуши, в маленьких среднезападных городках Питерсберге и Льюистоне — в книге он объединил их в Спун-Ривер (название реальное, есть такая река в штате Иллинойс). Тема американской провинции влекла его — он даже намеревался написать роман о Среднем Западе, долгое время был одержим этой идеей, однако замысел его упорно отказывался воплотиться в романных формах. Неожиданным спасителем оказался веривший в его талант редактор сент-луисской газеты «Ридиз Миррор» Уильям Мерион Риди. Он как бы невзначай дал почитать Мастерсу «Греческую антологию» — сборник коротких стихотворений древнегреческих и византийских авторов. Среди этих стихотворений были и эпитафии, лапидарно обрисовывавшие главное в человеке и в его жизни. Мастерса переполняли образы, в сущности, того же рода. Однако провинциальные эпитафии, каких Мастерс видал на своем веку множество,— наихудшие образчики лицемерия и дурного вкуса. Возникла идея реалистической автоэпитафии: пройдя жизненный путь, человек как бы сам говорит о себе главное. Но и этого Мастерсу было мало. Человек сказал о себе все — но знает ли он о себе все? Другие могут добавить такое, о чем он даже не подозревает. И вот одна автоэпитафия корректирует другую, а третья может пролить неожиданный свет на первые две и так далее. Складывается подвижная калейдоскопическая мозаика, картина столь динамичная, что являет собою, по сути дела, многосюжетное построение. Такой богатой глубокой картины провинциальной жизни в США XX века дотоле не было даже в прозе: первые книги на эту тему появились годами пятью позже — «Уайнсбург, Огайо» Шервуда Андерсона, «Главная улица» Синклера Льюиса.

От имени своих героев поэт выступал то как реформатор-публицист, то как глубокий психолог; он и верующий и атеист, безучастный наблюдатель нравов и пронзительный лирик, пристрастный исследователь человеческого горя и радости, чистейшей воды идеалист доброго старого времени, вглядывающийся в вечное противоборство добра и зла, праведности и греха.

Написав и издав «Антологию Спун-Ривер», Мастерс внутренне не расстался со своим кровным материалом. С одной стороны, он еще не высказал все, что имел в виду; с другой — среднезападные городки от года к году разрастались, видоизменялись, жизнь в них делалась грустнее и грязнее — и это, в свою очередь, требовало поэтического комментария.

В 1924 году вышел второй том «Антологии» — «Новый Спун-Ривер», книга столь же правдивая и глубокая, как и первый том, но куда более беспощадная, резкая и мрачная. Она также завоевала огромное читательское признание. Это был тот же Спун-Ривер, но в изменившейся исторической обстановке: прошла война, городок захлестнула индустриализация, он стал придатком Чикаго. Авторская интонация в этой книге становится более горькой, характеры более обобщенными, Мастерс анализирует слабости демократии, ее уступки плутократии и демагогии.

После «Нового Спун-Ривера» Мастерс выпустил в свет еще много стихов и прозы, не заслуживающих серьезного внимания. Несмотря на почести, возданные ему Американской академией искусств и литературы, поэт уже в 30-е годы перестал участвовать в литературной жизни США. В 40-е годы читатель брал в руки старую, знакомую книгу, не подозревая, что автор ее здравствует. После долгой, лишенной ярких внешних событий жизни одинокий, забытый Эдгар Ли Мастерс скончался в филадельфийском доме для престарелых.

Главная книга его жизни, дилогия «Спун-Ривер», стала классикой XX века. Число ее изданий на родине давно перевалило за сотню. «Спун-Ривер» перевели на основные языки мира — у нас с тридцатых годов во всех антологиях американской поэзии печатались обширные выборки из прославленной книги. Сейчас издательство «Художественная литература» выпускает в свет первое полное русское издание «Антологии Спун-Ривер» и «Нового Спун-Ривера».

Уиллис Бегг

Друзья Спун-Ривера,
Достиг я вершины успеха?
Бережливость, труд, смелость, честность,
Направленные на расширенье консервной фабрики,—
Преобразились они во что-то иное,
Нежели бережливость, труд, смелость, честность,
По отношенью к консервной фабрике?
Являются ли механизмы цивилизации
Самой цивилизацией?
Или они лишь орудья, и ими возводят фабрики
Или Парфеноны?
Друзья Спун-Ривера, я построил себе тюрьму,
Поставил стены между собой и полнотой жизни,
Между собой и счастьем
И знал лишь счастье трудиться.
И все время я видел в окно,
Как погибает Америка, стремясь к жизни,
Которой нельзя добиться
Бережливостью, трудом, смелостью
Во имя консервной фабрики!

Эзра Финк

Я старался быть как старый Эллиот Хокинс,
Из батраков выбился в учителя,
Стал адвокатом, потом занялся политикой,
Знаю полезных людей
И в церкви заметен...
(Вспомните мою речь о паденье Афин
Из-за безнравственной нехристианской жизни.)
Наконец был избран судьей в городской суд.
Затем стал партнером чикагского адвоката,
Боролся против восьмичасового рабочего дня,
Объединял промышленников.

Всегда деловит — дальше, дальше и вверх, вверх.
Умерен, верен жене — и никаких глупостей!
Наконец, назначен председателем треста.
Теперь я хозяин десятков тысяч рабочих
И сотен миллионов долларов.
Купил консервную фабричку в Спун-Ривере;
Построил церковь в Спун-Ривере;
Я попечитель библиотеки в Спун-Ривере,
Наблюдаю за выбором книг для библиотеки.
Построил себе гробницу в Спун-Ривере,
На которой велел начертать слова:
«Блаженны мертвые, умирающие в Господе».

Генри Брекенридж

Как письмоводитель судьи Арнетта
Я регулярно вносил записи в тот том,
Который пробил ему голову и убил,
Ибо был сброшен с полки взрывной волной,
Когда на консервной фабрике бак с бензином
Вспыхнул и опалил Поскребыша Уэлди.
Перемены настали в жизни Спун-Ривера:
Вместо былых судов теперь учрежден
Городской суд, и я в нем снова письмоводитель.
И вместо судьи толстого и добродушного,
Выбранного горсткой своих из своих же,
Мы имеем судейских в черных шелковых мантиях,
А ими издалека командует Эзра Финк.
И вместо речей, веселья и остроумья
И присяжных, которые то кричат, то хохочут
(Красноречье тогда считалось великим даром),
Тяжущиеся теперь входят, как свиньи на бойню,
И вылетают с суда копчеными окороками;
Присяжные с лицами каменными, как у индейцев,
Подпишут любой вердикт по приказу суда.
И если б ученый судья вдруг лишился места
Или на него бы свалился тяжелый том,
Это случилось бы от дуновения Эзры Финка,
Шепнувшего слово из своего Нью-Йорка
По радио!

Джей Хокинс

Джей идет! Ушел с головой в газетные заголовки!
Я и попал под машину, читая,
Как некий тип убивал девушек!
Годами торчал у газетных киосков
В ожиданье последней чикагской газеты,
Одержимый газетной привычкой
Вдыхать пыль отвратительных новостей,
Позора, ненависти, убийства:
Чей ресторанчик ограбили, кто заподозрен;
Кого осудили, кого линчевали;
Кого приговорили к повешенью;

Какого чиновника или губернатора
Обвиняют во взятках, подкупе или растрате.
Кто развелся, какую пару застигли...
(Было же в них хоть что-то чистое, честное —
К чему пропечатывать их фотографии?)
Сообщенья о ненависти, погоне, борьбе,
Краже, обмане, похоти, порче,
И кто был убит, и кого повесили.
Скажите мне, если жизнь полна красоты,
Полна творчества и благородства,
Почему об этом не пишут?

Мэр Марстон

До меня каждого мэра, насколько можно упомнить,
Поносили как мечтателя и демагога
Или как вора и проходимца —
И все же я вступил в должность с надеждой
Облагообразить ее, отблагодарить избирателей,
Не давать рвачам преступать законы.
Когда по старинке «Леджер» собрался продать
Свою землю под парк, я наложил запрет.
Я отогнал от кормушки самых гнусных свиней.
И что получилось? Волна злодеяний
Захлестнула — по крайней мере полосы «Леджера»!
Везде ограбленья, азартные игры, бутлегерство,
Гнезда порока!
Пошли разговоры в церквах,
Суды тоже подняли голос против меня.
Очернили мое имя и имя города —
Убили меня, чтоб никто не мешал.
Друзья мои, эту мерзкую уголовщину
Смеют звать демократией!

Рода Питкин

Сет Комптон умер, и лишь потому
Мы изгнали Вольни, Геккеля, Дарвина;
Карнеги подарил нам здание,
А Эзра Финк подарил нам книги!
А в школе ведь я обучала Эзру,
Помогла ему стать тем, чем он стал.
Как гордилась я званьем библиотекаря!
А Эзра своей заботой и властью
Назначил закупочную комиссию.
Верой, историей и беллетристикой
Мы стали воспитывать из детей
Друзей закона и патриотов.
Мужчин, настоящих американцев!
Чем кормишь людей, тем они становятся:
Мясо для мускулов, дух для мыслей.
Кто знает, какого сорта юноша
Выбьется в президенты Штатов
И будет править ими, храня
Их процветанье и чистоту,—
Прочтя те книги, что Эзра Финк
Одобрил и подарил Спун-Риверу?

Неизвестные солдаты

Путник! Скажи спунриверцам, что, во-первых,
Мы лежим здесь, послушные их словам;
И во-вторых, знай мы, что стоит за словами,
Мы бы здесь не лежали!

Наст Уиленд

У Уэдона над «колонкой редактора»
Обычно стояло подобье девиза:
«Долой салун, да здравствует дом!»
И всю жизнь он не оставлял их в покое
И стравливал дом и салун друг с другом,
И они бранились, почти воевали,
Хотя в душе оставались друзьями.
Когда война между ними кончилась
И гнусный салун был ниспровергнут,
А дом победил — то что получилось?
Дом покорил себе гнусный салун,
И заставил зализывать себе раны,
И служить себе с чердака до подвала,
В котором домашнее пиво, домашние вина
И самогон из зерна и картошки
Подавались так же свободно, как прежде
В шумном трактире Бурхарда!

Еврипид Алексопулос

И у меня было видение:
Дивный юноша с лирой возле аптеки Трейнора.
Люди слушали, проходили, ворчали,
Возвращались и требовали, чтоб он работал
Или убирался из города.
Он стал развозить уголь и продавать газеты,
А вечерами играл на лире.
Соседи бранились: он учит мечтам и безделью.
А он опять заиграл на улицах.
Его ругали, освистывали, похваливали,
А он нуждался в деньгах, нуждался.
И он отложил свою лиру — на музыку не проживешь!
Когда он взял ее вновь, то увидел, что струны ослабли.
Он настроил и заиграл — как никогда!
И тут уплыли его последние деньги.
Сгущались тени, молодость уходила.
Подрастали дети и требовали расходов.
Так что же, играть на лире или работать?
Все говорили: работать ради детей.
Их надо кормить и обучать,
А лира — кому она только нужна?
И его убедили работать, только работать.
У него отросла седая длинная борода,
Он сгорбился, а глаза ввалились,
И пальцы стали толстыми, грубыми.
Теперь он не мог ни играть, ни работать.
Он сидел на скамейке в парке;

Внезапно лохмотья на нем растаяли,
Как тучки на солнце,
И он встал на церковный шпиль
И плюнул на город —
Он был Аполлон!

Чокли Камерон

Если Декларация Независимости —
Это душа конституции,
Почему никогда не заставишь суд
Поверять законы и постановления
Неотъемлемым правом на поиски счастья?
Молодой адвокат, на первом своем процессе
Я оспорил право властей Спун-Ривера
Запретить балет.
Ибо это противоречит конституционному
Праву на поиски счастья.
И что же? Суд надо мной посмеялся,
А толпа меня освистала.
На моей стороне был лишь мой клиент
И несколько балерин.
И я сгорел со стыда.

Миссис Гард Уэ́йфул

Моя бабка смотрела за домом и садом,
И при этом сама ткала и стряпала,
И вырастила десятерых.
За маминым домом смотрели слуги,
Она воспитала нас троих.
Я умею руководить клубом,
Проводить выборы приемной комиссии
И произносить речи на завтраке
В честь именитого гостя.
А вот моя дочь Мэрилин,
Ей десять лет, о ней пишут газеты,
Она должна стать знаменитой артисткой —
Не забудь об этом, новый Спун-Ривер!

Са́йлас Дженнингс

Демократ!
Сторонник народовластия!
Борец за законы, созданные народом
Для контроля над алчностью, несправедливостью;
Потом борец за законы, созданные народом
Для контроля над вкусами, мыслями и высказываниями.
Демократ отныне тиран,
Отрицает равноправие душ перед законом души
И нарушает ту внутреннюю демократию,
Благодаря которой все души равны
Во всем, что касается верований, вкусов,
Высказываний, увлечений, взглядов на мир.

Демократ ныне фанатик и демагог,
Взбесившаяся цепная собака,
Иуда, уговоривший апостолов
Голосовать против свободы духа.
Лжепророк, выдающий молчанье за речь,
Слепоту за зренье, расслабленность за здоровье,
Семь бесов за одного! Надо мной
Изваяйте тельца с ослиною головою,
Орлиными крыльями,
Драконьими лапами
И единственным глазом циклопа!

Судья Дональд Шумен

Я получил урок смирения,
Поняв, что никакие формальности
Ничего не могут поделать со смертью.
Я принес венок на могилу судьи Леффлера;
Причетник направил меня в контору,
Где шустрая стенографистка отобрала венок
И сказала: судья до сих пор в мертвецкой,
А номер ей неизвестен.
Я вспомнил ужасное сообщение о его гибели.
Его положили в гроб — это был не конец.
Друзья окружили его — и это еще не конец.
Он лежал в зданье суда — это еще не конец.
Его отвезли в церковь, где молились и пели,—
И это еще не конец.
Прочли молитву в мертвецкой — и это еще не конец.
Он до сих пор в мертвецкой — это еще не конец.
Его следует похоронить. А это будет концом?
Все это лишь продолженье несчастного случая,
Который кончился, когда он умер.

Генри Юдолл

Я был репортером «Леджера»,
Где постепенно меня научили докладывать о событиях
Не так, как я их видел в действительности,
Но так, как они хотели их видеть в печати.
Если б они хоть раз сказали, что я написал неправду!
Но они говорили, что мой отчет не обрадует публику;
Что он не о том, что должно бы быть,
И он не о том, чего быть не может;
Что он должен возвысить или принизить факт —
Чтобы вырос тираж газеты!

Томас Нельсон

Два острейших мига моей жизни:
Первый, когда под рукоплесканья
Я взошел на трибуну власти,
Возглавив совет округа.
Второй, когда я, больной, в одиночестве,
Молча сидел в приемной перед вступлением
В должность преемника.

И в этот смертельный миг
Надо же, чтобы Генри Кабанис,
Мой стародавний враг,
Проваливший мой план строительства
Дорог между районами округа,—
Надо же, чтобы он появился,
Игривый, как эльф, сияющий от злорадства,
Звонкий, словно замерзший дубовый лист,
И изысканно-наглый,—
Чтобы он появился
И с презрительной лаской спросил:
— Ваши последние указания?

Хорас Найт

Друзья! В ваших белых домах и дворцах губернаторов,
В ваших конгрессах союза и штатов
Неужели будут сидеть тонкогубые, лысые
Выпускники коммерческих колледжей,
Читатели газет и журналов,
Фанатики бережливости,
Преследователи преступности и греха,
Носители сюртуков из «Готового платья»
И шелковых галстуков на резинке,
Решившие, что демократия — царство посредственности?
Или в ваших белых домах и дворцах губернаторов
Будут сидеть мужчины, любовники,
Жизнелюбы, философы и художники,
Для которых жизнь — Свобода и Красота
И которым есть что сказать о Республике,
Которую основали Том Пейн,
Бен Франклин и Томас Джефферсон
И другие отличнейшие отцы
Детей и идей, понимавшие разницу между
Рембрандтом и олеографией,
Между мадерой и виноградным соком,
И знавшие: дружество, гостеприимство и счастье
Превыше всех проповедей и принципов.

Джеймс Истел

Вы прожили много лет и прочли много книг,
Опытом и страданьями вы измерили
Терпенье, Мужество, Дружбу, Любовь.
И узнали, как много злобы на свете и почему,
И как много разбоя на свете и почему,
И как много неправды на свете и почему,
И как много ненависти, жестокости, себялюбья на свете и почему.
Прожив так долго, вы изучили свой век,
И если вы не можете объяснить, что вы узнали,
И если новому поколенью неинтересно, что вы узнали,—
То разве вы не похоронены заживо под эпитафией из иероглифов?
И разве вы не голос мудрости,
Которая мало что оставляет в наследство
Грядущей эпохе?

■

Антирубрика

РОАЛЬД ДАЛЬ

КАК ВАМ БУДЕТ УГОДНО, ПАСТОР!

Перевод с английского Т. АМЕЛИНОЙ, И. СТАМ

Мистер Боггис ехал неторопливо, удобно откинувшись на сиденье и выставив локоть в открытое окно машины. Какая же благодать за городом, думал он; до чего хорошо снова видеть все эти, пока еще редкие, приметы весны. Особенно первоцвет и боярышник. Кусты боярышника вдоль заборов вспухали белыми, розовыми и алыми облачками соцветий, а под кустами золотились островки первоцвета — красота, глаз не оторвать.

Одной рукой он зажег сигарету. Сейчас бы самое время, сказал он себе, съездить на вершину холма Бриль. Всего каких-нибудь полмили, вон она виднеется впереди. Там среди деревьев разбросаны домишки — это и есть, наверное, деревенька Бриль. Отлично. Не часто доводится ему начинать свою воскресную разведку с такой прекрасной точки обзора.

Мистер Боггис повел машину вверх по дороге и остановился на окраине деревни, не доезжая до вершины холма. Он вышел из фургона и огляделся. Внизу, на много миль вокруг расстилался огромный зеленый ковер. Великолепное зрелище. Он вынул из кармана карандаш, блокнот и, прислонившись к машине, стал наметанным глазом не спеша рассматривать пейзаж.

Справа, за полем, он приметил средних размеров дом, от шоссе к нему вела наезженная колея. За этим домом стоял другой, побольше. Поодаль, окруженный высокими вязами, виднелся еще один дом, похоже, времен королевы Анны; два фермерских домика слева были тоже подходящими на вид. Итого, пять. На этой дороге, пожалуй, больше не наберется.

Мистер Боггис сделал в блокноте набросок, пометив, где расположены эти пять домов, — ему теперь не составит труда их отыскать, когда он спустится вниз; потом он сел в машину и поехал через деревню на другой склон холма. Оттуда он заметил еще шесть подходящих объектов — пять фермерских домиков и большой белый особняк георгианской эпохи. Он внимательно рассмотрел его в бинокль. Сад в полном порядке. Дом опрятный, ухоженный, денег на него явно не жалеют. Обидно. Он тут же мысленно вычеркнул его из списка. Нет смысла заходить в дома, на которые не жалеют денег.

Стало быть, на этом участке, в этом квадрате остается десять заслуживающих внимания объектов. Десять — славное число, отметил про себя мистер Боггис. Как раз на полдня неспешной работы. Который там час? Двенадцать. Неплохо бы для начала пропустить кружку пива, но по воскресеньям до часа все закрыто. Что ж, пиво подождет. Он взглянул на свой набросок. Пожалуй, начать стоит с дома под вязами эпохи королевы Анны. В бинокль он заметил, что строение уже основательно обветшало; тем лучше. Его обитателям денежки, наверное, очень бы пригодились. Во всяком случае, с королевой Анной ему всегда везло. Мистер Боггис снова сел в машину, отпустил ручной тормоз и, не включая двигателя, медленно покатил вниз.

В облике мистера Сирила Боггиса ничто не наводило на мрачные мысли, кроме пасторского костюма, в который он обрядился. Он занимался куплей и продажей антикварной мебели, у него был свой магазин и даже демонстрационный салон в Челси, на Кингз-роуд; правда, очень скромный, да и сделок он проворачивал не так уж много; но поскольку он покупал по дешевке, можно сказать, совсем задаром, а продавал баснословно дорого, за год набегала кругленькая сумма. Он был прирожденным коммерсантом и, когда вел деловой разговор, то легко и естественно находил верный тон, который более всего устраивал клиента. С пожилыми он бывал обходительным и степенным, с богатыми — подобострастным, с верующими — благочестивым, со слабыми — властным; с вдовой он бывал проказлив, со старой девой — игрив и дерзок. Он отлично сознавал, каким даром обладает, и при каждом удобном случае беззастенчиво пользо-

вался им; частенько, когда представление ему особенно удавалось, он едва удерживался, чтобы, обернувшись к воображаемому залу, не поклониться почтеннейшей публике, сотрясавшей театр громом оваций.

Однако, несмотря на некоторую склонность к фиглярству, мистер Боггис был вовсе не глуп. По мнению многих, он лучше всех в Лондоне разбирался во французской, английской и итальянской старинной мебели. Он имел на редкость хороший вкус, и если общий рисунок самой что ни на есть подлинной вещи не отличался изяществом, он тут же это улавливал и отказывался от нее без сожаления. Но, конечно, более всего он любил изделия великих английских мастеров восемнадцатого века: Инсе, Мэйхью, Чиппендейла, Роберта Адама, Мэнуэринга, Иниго Джоунза, Хепплуайта, Кента, Джонсона, Джорджа Смита, Локка, Шератона и других; но даже их творения он порой отвергал. Он отказывался, например, выставлять у себя в салоне работы Чиппендейла китайского или готического периодов; столь же решительно он обходился с мебелью Роберта Адама, выполненной в тяжеловесной итальянской манере.

В последние годы мистер Боггис прославился среди своих собратьев по профессии тем, что с завидной регулярностью доставал необычные и частенько весьма редкие образцы столярного искусства. Видно, у него завелся какой-то неисчерпаемый источник, нечто вроде собственного склада старинной мебели, и ему требовалось лишь раз в неделю заехать туда и отобрать, что приглянется. Когда его спрашивали, откуда он берет товар, он многозначительно улыбался, подмигивал и бормотал что-то невразумительное о своей маленькой тайне.

Тайна мистера Боггиса была очень проста, и возникла она почти девять лет назад, когда в одно прекрасное воскресенье он отправился в Севенкс навестить свою старую матушку.

На обратном пути в машине лопнул ремень вентилятора, мотор перегрелся, и вода в радиаторе выкипела. Он вылез из машины, подошел к ближнему деревенскому домику, в пятидесяти ярдах от дороги; ему открыла женщина, и он попросил у нее кувшин воды.

Сквозь приоткрытую дверь он окинул глазом комнату, а там, в четырех с небольшим ярдах от того места, где он стоял, мистер Боггис углядел нечто такое, от чего его бросило в жар и лысина у него покрылась крупными каплями пота. Там стояло большое дубовое кресло, подобное которому он видел лишь раз в жизни. И подлокотники, и спинка опирались на восемь резных красивых колонок. Спинку украшал инкрустированный цветочный орнамент необыкновенного изящества, а каждый подлокотник завершался резной утиной головкой. Бог ты мой, только и подумал мистер Боггис, это же конец пятнадцатого века!

Вытянув шею, он заглянул поглубже в комнату, а там, по другую сторону камина — боже правый! — стояло еще одно, в точности такое же кресло.

Трудно было сказать наверняка, но в Лондоне, прикинул он, два таких кресла потянут фунтов этак на тысячу, не меньше. А красавцы-то какие!

Когда хозяйка вернулась, мистер Боггис представился и без обиняков спросил, не продаст ли она свои кресла.

Господи, воскликнула она, с какой стати их продавать? Дело хозяйское, конечно, просто он готов предложить за них неплохие деньги. И сколько же? Продавать их она точно не собирается, но любопытства ради хочется все-таки узнать, понимаете? Так сколько бы он дал?

Тридцать пять фунтов.

Сколько?!

Тридцать пять фунтов.

Господи, тридцать пять фунтов. Так, так, очень интересно. Ей всегда казалось, что это стоящие кресла. Они ведь очень старые. И очень удобные. Ей без них не обойтись, никак не обойтись. Нет, продавать их она не станет, но все равно — большое спасибо.

Не такие уж они старые, заверил ее мистер Боггис. Продать их будет не так-то и легко; просто по счастливой случайности у него есть на примете покупатель, которому нравятся такие вещи. Он может набавить пару фунтов — пусть будет тридцать семь. Пойдет?

С полчаса они торговались, и в конце концов мистер Боггис заполучил, разумеется, оба кресла и согласился уплатить за них в двадцать раз меньше их истинной стоимости.

И когда он в тот вечер подъезжал в своем фургончике к Лондону, а сзади, тщательно упакованные, лежали оба сказочных кресла, мистера Боггиса внезапно осенила совершенно замечательная мысль.

Послушай, сказал он себе, раз в одном захолустном доме оказалась ценная мебель, почему бы ей не быть и в других? Что, если поискать? Что, если прочесать окрестности? Этим можно заниматься по воскресеньям. Тогда и дело не пострадает. А воскресенья все равно девать некуда.

И вот мистер Боггис накупил карт, подробных карт всех графств вокруг Лондона, и тонкими линиями расчертил их на квадраты. Каждая клетка охватывала территорию в двадцать пять квадратных миль,— он прикинул, что бóльшую площадь ему за воскресенье не объехать, если прочесывать ее добросовестно. Города и поселки ему ни к чему. Тут годятся обособленные хутора, дома крупных фермеров или обветшалые родовые особняки. Итак, каждое воскресенье он будет обследовать по квадрату, то есть пятьдесят два квадрата в год,— и постепенно он осмотрит все хутора и особняки вокруг Лондона.

Однако тут есть свои трудности. Деревенские жители — народ подозрительный. Разорившаяся знать — тоже. Если вы вздумаете звонить им в дверь и просить показать вам дом, не надейтесь, что они примут вас с распростертыми объятьями. Ничуть не бывало. Дальше порога вас не пустят. Как же ему все-таки проникнуть в дом? Лучше всего, наверное, вообще скрыть, что он торговец. Можно представиться телефонистом, слесарем, газовым инспектором. Даже священником...

И он незамедлительно стал претворять свою идею в жизнь. Мистер Боггис заказал большую пачку визитных карточек лучшего

качества, где затейливой вязью было выведено:

Преподобный
Сирил Уиннингтон Боггис

Президент Общества охраны редкой мебели	При музее Виктории и Альберта

С этого дня он станет по воскресеньям славным пожилым пастором, который досуг свой посвящает трудам праведным во имя «Общества», объезжая окрестности и составляя опись сокровищ, скрытых в глухих сельских уголках. Кто посмеет вытолкать такого человека?

Никто.

Ему бы только проникнуть в дом, а там, если удастся заприметить кое-что в самом деле сто́ящее, у него найдется сотня способов довести дело до конца.

К некоторому изумлению мистера Боггиса, план сработал без осечки. Его неизменно принимали с таким радушием, что поначалу он, честно говоря, приходил в смущение. Ему то и дело что-нибудь подносили: кусок запеканки, бокал портвейна, чашку чая, корзинку слив, даже усаживали со всей семьей отведать большой воскресный обед. Бывали, конечно, и трудные минуты, и досадные неудачи, не без того, но девять лет — это как-никак более четырехсот воскресений, за которые осмотрено изрядное количество домов. В общем, дело было увлекательное и выгодное.

И вот в очередное воскресенье мистер Боггис занялся одним из самых северных квадратов в графстве Бакингемшир. Милях в десяти от Оксфорда он съехал с холма, направил машину к первому из намеченных домов — к обветшавшему особняку времен королевы Анны — и вдруг почувствовал, что день пройдет на редкость удачно.

Он поставил машину в ста ярдах от ворот и двинулся к дому пешком. Ему не хотелось, чтобы машину заметили до заключения сделки. Образ славного старикана-пастора как-то не вязался со вместительным фургоном. К тому же, пока он шел к входной двери, у него было время внимательно осмотреть дом снаружи и заготовить слова, наиболее подходящие к случаю.

Мистер Боггис бодро шагал по дорожке, маленький, толстоногий, с брюшком. Его круглое розовое лицо очень подходило для выбранной роли, а большие карие глаза навыкате простодушно, даже глуповато таращились на вас с румяной физиономии. На нем был черный костюм священника со стоячим белым воротничком, на голове мягкая черная шляпа. Под мышкой он держал старую дубовую палку, придававшую ему, как он полагал, беззаботный и беспечный вид.

Он подошел к парадной двери и позвонил. Послышались шаги, дверь отворилась, и прямо перед ним, а вернее, над ним выросла высоченная женская фигура в бриджах для верховой езды. Даже сквозь дым сигареты пробивался неистребимый дух лошадей и навоза, пропитавший ее насквозь.

— Ну? — спросила она, глядя на него с подозрением.— Что вам нужно?

Мистер Боггис приподнял шляпу, слегка поклонился и протянул ей визитную карточку; он бы ничуть не удивился, если б в ответ она приветливо заржала.

— Извините за беспокойство,— сказал он и замолчал, наблюдая за ее лицом, пока она читала.

— Ничего не понимаю,— она вернула ему карточку.— Что вам нужно-то?

Мистер Боггис пустился в объяснения насчет Общества охраны редкой мебели.

— Оно случайно не имеет отношения к социалистической партии? — спросила она, свирепо глядя на него из-под мохнатых выгоревших бровей.

Дальше все оказалось просто. Тори обоего пола, особенно любители верховой езды, всегда были легкой добычей для мистера Боггиса. В течение двух минут он превозносил до небес крайне правое крыло консерваторов, еще две минуты ушло на обличение социалистов. Он завершил обвинительную речь ссылкой на законопроект, внесенный как-то социалистами, о запрещении охоты на диких животных; а в заключение заверил свою слушательницу, что в его представлении — «только не говорите епископу, милочка»,— рай — это такое место, где можно каждый день, включая воскресенье, с утра до ночи охотиться со сворой неутомимых собак на лису, оленя и зайца.

Во время своей речи он не спускал с нее глаз; волшебное средство и здесь не подвело. Женщина расплылась в улыбке, обнажив огромные, пожелтевшие зубы.

— Мадам,— вскричал он,— умоляю вас, не позволяйте мне распространяться о социализме, а то меня не остановишь.

Тут она загоготала и, подняв красную ручищу, так хлопнула его по плечу, что он едва устоял на ногах.

— Входите! — рявкнула она. — Понять не могу, какого черта вам надо, но все равно входите!

К несчастью и немалому удивлению мистера Боггиса, во всем доме не нашлось ничего путного; и поскольку он никогда не тратил времени понапрасну, он вскоре извинился и откланялся. Все посещение заняло менее четверти часа — больше и не надо, говорил он себе, усаживаясь в машину, чтобы отправиться дальше.

В этом квадрате оставались только дома фермеров, и до ближайшего было полмили. То было просторное, довольно старое кирпичное здание с деревянной надстройкой; южную стену почти целиком затеняло великолепное грушевое дерево, все в цвету.

Мистер Боггис постучал в дверь. Он подождал, но на стук никто не отозвался. Он постучал еще раз, и снова напрасно; тогда он пошел вокруг дома, рассчитывая найти хозяев на заднем дворе, в коровнике. Там тоже не было ни души. Он догадался, что все ушли в церковь, и стал заглядывать в окна, надеясь высмотреть что-нибудь интересное. В столовой ничего. В библиотеке тоже. Сквозь следующее окно он заглянул в гостиную, и там, в оконной нише, под самым носом, он увидел прелестную вещицу — полукруглый карточный столик красного дерева, великолепно отделанный в стиле Хеплуайта, года примерно 1780-го.

— Ага-а-а,— произнес он вслух, прижавшись лицом к стеклу.— Молодец, Боггис.

Но это было не все. Там стоял еще и стул, всего один, но если он не ошибается, даже более искусной работы, чем столик. И тоже никак Хепплуайт? А какой красавец! Прорезная спинка украшена изящным орнаментом из веток жимолости, завитков и розеток; плетеное сиденье с необычным узором, ножки причудливо изогнуты, причем задние особым образом выгнуты наружу, а это верная примета эпохи. Изысканный стул.

— Еще до исхода дня,— тихо поклялся мистер Боггис,— я буду иметь удовольствие сидеть на этом чудесном стуле.

Если уж мистер Боггис покупал стул, он непременно на него усаживался. Это был у него любимый способ проверить покупку на прочность; необыкновенно интересно было наблюдать, как он осторожно опускается на сиденье, ожидая «прогиба» и безошибочно определяя еле заметную усадку, которую за долгие годы дали пазы и шипы.

Но не надо спешить, сказал он себе. Он приедет попозже. Впереди у него целых полдня.

Следующий дом располагался дальше, за полем, и, чтобы не ставить машину на самом виду, мистеру Боггису пришлось остановиться на главной дороге и идти оттуда ярдов шестьсот по проселку, который привел его прямиком на задний двор. Подойдя ближе, он заметил, что дом здесь куда меньше предыдущего и особых надежд не вселяет. На грязном дворе там и сям чернели сараи, некоторые совсем развалились.

В углу двора тесной кучкой стояли трое мужчин, один из них держал на сворке двух крупных черных гончих. Когда они заметили, что к ним направляется мистер Боггис в своем темном костюме с пасторским воротничком, они смолкли и оцепенело застыли, недвижно и немо наблюдая за ним с явным подозрением.

Старший был приземист, с широким лягушачьим ртом и узенькими бегающими глазками. Звали его Рамминс, ферма принадлежала ему, но мистер Боггис этого не знал.

Долговязый парень, вроде бы с бельмом на глазу, был сын Рамминса, Берт.

Плосколицый крепыш с узким морщинистым лобиком и невероятно широкими плечами звался Клод. Он только что забежал к соседям, надеясь поживиться куском парной свинины или свежей ветчины: накануне Раммисы закололи свинью, о чем Клоду было известно — визг разносился далеко окрест; на такое дело требуется ведь официальное разрешение властей, а у Рамминса, Клод знал точно, разрешения не было.

— Добрый день,— сказал мистер Боггис,— славная сегодня погодка.

Никто не шелохнулся. Все трое в ту минуту думали одно и то же — этот пастор явился невесть откуда неспроста, он подослан, чтобы все разнюхать и выведать, а потом доложить властям.

— Какие красивые собаки,— опять заговорил мистер Боггис.— Признаться, мне не доводилось видеть бега с гончими; зрелище, говорят, необыкновенно увлекательное.

В ответ снова молчание; мистер Боггис быстро взглянул на Рамминса, на Берта и Клода, потом опять на Рамминса. Он заметил, что у всех троих было одно и то же особенное выражение, сразу насмешливое и вызывающее, губы изогнуты в презрительной ухмылке, а нос издевательски задран.

— Позвольте спросить, не вы ли здесь хозяин? — обратился мистер Боггис к Рамминсу, нимало не смутившись.

— А что вам нужно?

— Прошу простить, что беспокою вас, тем более в воскресенье.

Мистер Боггис протянул ему визитную карточку, Рамминс взял ее и поднес к самому лицу. Остальные, не шевельнувшись, скосили глаза, пытаясь разглядеть, что там написано.

— Что же все-таки вам нужно? — спросил Рамминс.

Во второй раз за это утро мистер Боггис подробно объяснил высокие цели и помыслы Общества по охране редкой мебели.

— У нас такой нет,— заявил Рамминс, когда Боггис кончил говорить.— Зря теряете время.

— Одну минуточку, сэр,— мистер Боггис поднял вверх палец.— Последний раз я слышал эти же слова от старика фермера в Сассексе, а когда он в конце концов впустил меня в дом, знаете, что я там обнаружил? Старый замызганный стул на кухне в углу, и оказалось, что стóит он четыреста фунтов! Я помог его продать, и старик купил себе на эти деньги новый трактор.

— Что вы такое несете? — вмешался Клод.— Виданое ли дело, чтобы за какой-то стул четыреста фунтов отвалили!

— Простите,— веско заметил мистер Боггис,— но, к вашему сведению, в Англии найдется немало стульев, которые стоят вдвое дороже, и даже больше. И знаете где? Да повсюду — в простых деревенских домах, в углах и чуланах; хозяева ставят их вместо подпорок и подставок, залезают на них прямо в сапогах, подбитых гвоздями, чтобы достать банку джема с верхней полки или повесить картинку. И это чистейшая правда, друзья мои.

Рамминс беспокойно переминался с ноги на ногу.

— Вы что, хотите только зайти в дом, стать посреди комнаты и рассмотреть обстановку, так, что ли?

— Именно,— подтвердил мистер Боггис. До него наконец стало доходить, в чем причина такого недружелюбия.— Я не собираюсь совать нос в ваши шкафы и кладовки. Мне просто хочется посмотреть мебель, вдруг у вас там сокровища, и я смогу описать их в журнале, который выпускает наше Общество.

— Знаете, что я думаю? — промолвил Рамминс, сверля его злобными глазками.— А думаю я, что вы сами охотитесь за товаром. Чего бы вам иначе так уж хлопотать?

— Ах, да что вы! Откуда ж у меня такие деньги? Конечно, если я увижу какую-нибудь вещицу и она мне очень приглянется и будет по средствам, я, может, и не устою перед соблазном, приценюсь. Но, увы, такое случается крайне редко.

— Ладно,— сказал Рамминс,— по-моему,

вреда большого не будет оттого, что вы зайдете в дом, раз уж вам так охота.

Он направился через двор к задней двери, мистер Боггис за ним. Следом потянулись Берт и Клод с собаками. Они прошли через кухню, где единственным предметом обстановки был самый простецкий стол, сбитый из сосновых досок, на нем валялся дохлый цыпленок. Оттуда они попали в довольно просторную и невероятно запущенную комнату.

А там!.. Мистер Боггис увидел его сразу; он замер как вкопанный и со свистом втянул в себя воздух. Так стоял он секунд пять, десять, пятнадцать, а может, и дольше, уставясь в одну точку, не веря, не смея поверить собственным глазам. *Не может быть*, нет, это невероятно! Но чем дольше смотрел мистер Боггис, тем меньше оставалось сомнений. Вот же он, стоит у стенки, прямо перед ним, такой же материальный и прочный, как этот крепко сколоченный дом. Да и как тут ошибиться? Правда, его покрасили в белый цвет, идиот какой-то постарался, но это ничего не меняет. Краску можно снять. Боже праведный! Вы только взгляните! И где!..

Только тут мистер Боггис осознал, что все трое — Рамминс, Берт и Клод, сбившись в кучу у камина, пристально наблюдают за ним. От них не ускользнуло, как он застыл, ахнул и вытаращил глаза; они, конечно, заметили, что он покраснел, а может, побледнел; так или иначе, они увидели достаточно, чтобы сорвать ему к черту всю игру; надо было немедленно исправлять положение. Не теряя ни секунды, мистер Боггис схватился рукой за сердце, шатаясь, добрел до ближайшего стула и, тяжело дыша, шлепнулся на него.

— Что с вами? — спросил Клод.

— Ничего страшного,— судорожно вздохнул он.—Сейчас пройдет. Будьте добры стакан воды. Сердце... шалит...

Берт принес ему воды и стал рядом, глупо ухмыляясь.

— А я подумал, вы вроде засмотрелись на что-то,— сказал Рамминс. Его лягушачий рот еще шире раздвинулся в хитрой усмешке, обнажив съеденные до корней зубы.

— Ну что вы, нет, конечно,— ответил мистер Боггис.— Сердце закололо. Извините. Бывает иногда. Через пару минут пройдет.

Подумай, не спеши, приказал он себе. А еще важнее — возьми себя в руки, а потом уж открывай рот. Спокойно, Боггис, не торопись. И главное — не суетись. Они, конечно, профаны, но не дураки. Они осторожны, подозрительны и хитры. А если в самом деле... Нет, не может быть, быть того *не может*...

Как бы страдая от боли, он прикрыл глаза ладонью. Потихоньку, очень незаметно, он раздвинул пальцы и глянул в щелку. Так и есть, стоит себе у стены; на этот раз он хорошенько его рассмотрел. Да, он был прав! Какие могут быть сомнения? Просто невероятно!

А увидел он такой предмет обстановки, за который любой ценитель мебели отдал бы что угодно. Непосвященному человеку он вряд ли показался бы заслуживающим внимания, тем более под слоем грязных белил, но для мистера Боггиса это была мечта его жизни. Как и всякий торговец мебелью в Европе и Америке, он знал, что из самых знаменитых и недосягаемых произведений английского столярного искусства восемнадцатого века более всего славятся три, известные под названием «комоды Чиппендейла». Их историю он знал назубок: первый был «открыт» в 1920 году в особняке в Мортоне и в тот же год продан на знаменитом аукционе Сотбис. Год спустя два других, привезенные из Рейнхем-холла в Норфолке, появились на том же аукционе, и все три пошли за баснословные деньги. Он не мог припомнить, сколько дали за первый, да и за второй тоже, но за третий — это уж точно — дали три тысячи девятьсот гиней. В двадцать первом году, заметьте. Сегодня такой комод потянет тысяч на десять. Сравнительно недавно кто-то — имени мистер Боггис не запомнил — подробно изучил эти комоды и доказал, что они, по всем признакам, созданы одним мастером, поскольку фанеровка изготовлена из одного и того же куска дерева и вырезана по одним шаблонам. Ни счетов, ни других бумаг обнаружить при них не удалось, но специалисты единодушно утверждали, что сделал их не кто иной, как сам Томас Чиппендейл, собственными руками, в расцвете своего творческого гения.

И вот на́ тебе, повторял мистер Боггис, исподтишка глядя в щелку между пальцами, четвертый комод Чиппендейла! И кто нашел его? *Он!* Теперь он разбогатеет! Да еще и прославится! В мире мебели у каждого из трех знаменитых комодов было свое собственное название: Честелтонский комод, Первый Рейнхемский комод, Второй Рейнхемский комод. А этот войдет в историю под именем Боггиса! Представляю себе, какие рожи будут у ребят в Лондоне, когда они его завтра увидят! А какие заманчивые предложения посыплются от воротил Вест-энда, вроде Фрэнка Партриджа, Мэллета, Джетли и прочих! В «Таймс» дадут фотографию, а под ней подпись: «Великолепный комод Чиппендейла, найденный недавно мистером Сирилом Боггисом, торговцем мебелью из Лондона...» Господи боже, вот шуму-то будет!

Этот комод, думал Боггис,— точная копия Второго Рейнхемского. (Между собой все три, Честелтонский и оба Рейнхемских, имели маленькие отличия.) Комод был поразительно красив — в стиле французского рококо периода Директории, тяжелое массивное сооружение с ящиками, на рифленых ножках, приподымавших комод над полом примерно на один фут. Ящиков было шесть — два длинных посередине и по два поменьше с каждого боку. По краю изогнутой передней стенки, сверху, снизу и с боков шел великолепный орнамент из фестонов, завитков и гроздей. Причудливая резьба вилась также и по вертикали, отделяя ряды ящиков друг от друга. Белая краска не могла скрыть благородные формы бронзовых ручек. Вещь, разумеется, была «тяжеловата», но общий ее рисунок обладал таким изяществом и грацией, что некоторая неуклюжесть ничуть ее не портила.

— Ну как, вам лучше? — услышал вдруг мистер Боггис.

— Спасибо, спасибо, гораздо лучше. Это быстро проходит. Доктор говорит, ничего

страшного, надо только, если что — немного посидеть спокойно. Да, да, уже лучше,— сказал он, медленно вставая со стула,— все прошло.

Неверным шагом он двинулся по комнате, неторопливо осматривая обстановку и отпуская вслух короткие замечания. Ему сразу стало ясно, что кроме комода здесь смотреть нечего — одна рухлядь.

— Стол дубовый хорош,— говорил он тем временем,— но, боюсь, интереса не представляет, недавняя работа. Стулья славные, удобные, но современные, да, совсем современные. Так, так, буфет, что ж, весьма неплох, но ценности не представляет. А этот комод,— он с презрительной миной прошел мимо комода Чиппендейла, небрежно щелкнув по нему пальцами,— на несколько фунтов, пожалуй, потянет, но не больше. Довольно-таки грубая подделка; если не ошибаюсь, времен королевы Виктории. Это вы его покрасили?

— Да,— ответил Рамминс,— Берт побелил.

— И очень правильно сделали. Не так грубо смотрится.

— Он сколочен на славу,— заметил Рамминс.— И резьба ничего себе.

— Машинная,— высокомерно отрезал мистер Боггис и наклонился, чтобы лучше рассмотреть искусную работу.— Сразу видно. Впрочем, по-своему он даже мил. Есть своя прелесть.

Он было двинулся дальше, потом остановился и не спеша снова подошел к комоду. Подперев пальцем подбородок, он склонил голову набок и нахмурился с видом глубокой задумчивости.

— Знаете что? — глядя на комод, начал он небрежным тоном, замолкая после каждой фразы.— Я тут вспомнил... Мне давно нужны как раз такие ножки для моего столика... У меня дома есть забавный такой столик, низенький; знаете, их еще ставят у дивана, ну, вроде кофейного... А в прошлом году, на Михайлов день, я переезжал на другую квартиру, и грузчики, медведи этакие, безбожно покорежили ему ножки. Я этот столик очень люблю. Всегда держу на нем Библию и черновики проповедей.

Он замолчал и почесал подбородок.

— Вот я и думаю. Пожалуй, ножки от вашего комода к моему столику в самый раз подойдут. Да-да, конечно, подойдут. Их запросто можно отпилить и приделать к моему столику.

Он оглянулся. Те трое стояли не шевелясь, и три пары глаз с подозрением следили за ним. Глаза были разные, но смотрели с одинаковым недоверием — и поросячьи глазки Рамминса, и большие туповатые глаза Клода, и непарные глаза Берта; один глаз был очень странный — мутный, словно вываренный, а в середине черная точка, ни дать ни взять рыбий глаз на тарелке.

Мистер Боггис улыбнулся и покачал головой.

— А впрочем, что я такое говорю? Можно подумать, это мой комод. Приношу извинения.

— Вы не прочь его купить, так надо понимать,— заявил Рамминс.

— Ну... Как вам сказать...— Мистер Боггис, нахмурив брови, опять поглядел на комод.— Не уверен. Можно, конечно... Но с другой стороны... И все же... Да ведь хлопот не оберешься. Он того не стоит. Уж лучше не буду.

— Сколько бы вы дали? — спросил Рамминс.

— Боюсь, немного. Понимаете, это вещь не настоящая. Подделка под старину.

— А я об том другого мнения,— объявил Рамминс.— Он уже больше двадцати лет *здесь* стоит, а до того стоял у сквайра в доме. Когда старый сквайр умер, я его сам купил на распродаже мебели из поместья. И нечего мне рассказывать, что он новый.

— Не то чтобы новый, но лет ему не более шестидесяти.

— А вот и больше,— уверенно сказал Рамминс.— Берт, где та бумажонка, которую ты в ящике откопал? Ну, помнишь, старый счет.

Берт тупо смотрел на отца.

Мистер Боггис открыл рот, потом захлопнул его, не издав ни звука. Его буквально затрясло от волнения; чтобы успокоиться, он подошел к окну и стал глядеть на жирную черную курицу, подбиравшую во дворе редкие зернышки.

— Она вон в том ящике валялась, под силками на кроликов,— продолжал тем временем Рамминс.— Тащи-ка ее сюда, покажем пастору.

Когда Берт направился к комоду, мистер Боггис снова повернулся к ним. Упустить такую минуту было выше его сил. Он следил, как Берт взялся за один из средних ящиков, и отметил про себя, как плавно и легко он выдвигается. Бертова рука нырнула в ящик и принялась шарить среди обрезков проволоки и бечевки.

— Эта, что ли? — Берт вытащил сложенный листок пожелтевшей бумаги и отдал отцу; тот развернул листок и поднес его к самым глазам.

— Чего говорить пустое, сразу видно, это черт-те когда написано,— сказал Рамминс и протянул бумагу мистеру Боггису, рука которого затряслась крупной дрожью.

Бумага была ломкая и похрустывала под пальцами. Высоким каллиграфическим почерком с красивым наклоном там было написано:

Эдварду Монтагью, Эскв.

От Том. Чиппендейла

Большой стол-комод красного дерева, из материала лучших сортов, обильно украшен резьбою, ножки рифленые, два продолговатых ящика, изящных формою, посередине и по два таких же с каждой стороны; резные бронзовые ручки и накладки; все с большим вкусом и искусством исполненное... 87 фунтов.

Из последних сил мистер Боггис боролся с волнением, которое бушевало в нем так, что голова шла кругом. Господи, вот чудо-то! Если и расписка есть, цена еще выше подскочит. Бог ты мой, на сколько же он теперь потянет? На двенадцать тысяч фунтов? Четырнадцать? А может, на пятнадцать или на все двадцать? Как знать?

Ну, дела!

Он пренебрежительно швырнул бумажку на стол и спокойно сказал:

— В точности как я и говорил. Подделка времен королевы Виктории. Это всего-на-

всего счет: продавец или, вернее, мастер, который выдавал комод за антиквариат, послал его своему покупателю. Таких бумажек я много повидал. Он, заметьте, не пишет, что сделал его сам. Выдал бы себя с головой.

— Говорите что хотите, а бумага старинная,— отрезал Рамминс.

— Да, конечно, мой друг. Викторианская эпоха, точнее, ее конец. Года этак тысяча восемьсот девяностого. Ей лет шестьдесят или семьдесят. Я таких сотни видел. В те времена краснодеревщики дружно бросились изготовлять копии, подделываясь под прекрасных мастеров восемнадцатого века.

— Слушайте, пастор,— сказал Рамминс, тыча в него толстым грязным пальцем.— Я не говорю, что вы в мебели ни шиша не смыслите, я другое говорю: какого черта вы тут заявляете, что это подделка, вы ведь даже не знаете, что там под краской?

— Идите сюда,— сказал мистер Боггис.— Идите, я вам кое-что покажу.— Он стоял у комода и ждал, пока они подойдут к нему.— Есть у кого-нибудь нож?

Клод вынул из кармана складной нож с роговой ручкой, мистер Боггис взял его и открыл самое маленькое лезвие. Затем, словно бы небрежно, но на самом деле с большой осторожностью он стал сколупывать белила с поверхности комода. Краска легко отлетала от прочного старинного лака, и, зачистив кусочек дюйма в три, он отступил на шаг и произнес:

— Ну, поглядите-ка!

Чудеса! Маленькое освободившееся от белил пятнышко двухсотлетнего красного дерева засияло своим исконным теплым светом, подобно топазу,— густо и загадочно.

— И что вам тут не по вкусу? — спросил Рамминс.

— Оно же травленое! Любому ясно!

— Откуда это ясно, господин хороший? Расскажите-ка нам!

— Должен признаться, что объяснить это затруднительно. Здесь главное — опыт. Я по опыту совершенно определенно могу сказать, что эта древесина травлена известью. Ее применяют, чтобы красное дерево приобрело темный оттенок и сходило за старину. Дуб травят поташем, орех — азотной кислотой, а красное дерево — только известью.

Те трое подошли ближе и уставились на зачищенное пятнышко. Они вдруг сильно оживились: всегда сто́ит послушать о новом способе надувательства и обмана.

— Взгляните поближе. Замечаете, в темно-коричневом есть оранжевый проблеск. Это от извести.

Они уткнулись носами в самую крышку, сначала Рамминс, за ним Клод и Берт.

— Обратите внимание на патину,— продолжал мистер Боггис.

— На что, на что?

Он объяснил, что значит это слово в столярном искусстве.

— Вы не представляете, друзья мои, на что идут эти мошенники, чтобы подделать настоящую патину, прекрасную и твердую, как бронза. Ужасно, просто ужасно, мне тошно об этом говорить!

Он кривил рот и плевал словами изображая крайнее отвращение. Троица молчала, надеясь услышать новые откровения.

— На какие только ухищрения не пускаются иные смертные, дабы обмануть ближнего своего, простодушного и бесхитростного! — воскликнул мистер Боггис.— Это просто чудовищно! А здесь они знаете, что сотворили, друзья мои? Мне это совершенно ясно. Я без труда могу представить себе все от начала до конца: сперва долго втирали в дерево льняное масло, потом покрыли его хитро́ подкрашенной шеллачной политурой и прошлись пемзой; натерли воском с примесью земли и пыли и наконец подержали над огнем, чтобы полировка потрескалась и стала похожа на лак, которому по крайней мере две сотни лет! Одна мысль о подобном жульничестве лишает меня душевного равновесия.

Все трое по-прежнему не сводили глаз с проглянувшего пятачка темного дерева.

— Пощупайте! — скомандовал мистер Боггис.— Потрогайте пальцем! Ну, как на ощупь, тепло или прохладно?

— Прохладно,— ответил Рамминс.

— Правильно, мой друг! Оно и известно, между прочим, что поддельная патина на ощупь прохладна. А настоящая почему-то теплая.

— Дерево как дерево,— заявил Рамминс, готовясь к спору.

— Нет, сэр, оно холодное. Но определить это наверняка способны, разумеется, только чуткие, опытные пальцы. Вам же судить трудне́нько, не легче, чем мне судить о спелости ячменя. В этой жизни, дорогой мой, все держится на опыте.

Они пристально глядели на странного священника с выпученными глазами на лунноподобном лице. Подозрительность их поутихла, поскольку он вроде и впрямь знал толк в своем деле. Но до полного доверия было пока далеко.

Мистер Боггис нагнулся и указал на одну из металлических ручек.

— Вот еще где жуликам раздолье,— сказал он.— У старинной бронзы есть свой особый цвет и оттенок. Знаете ведь?

Они не мигая смотрели на него в ожидании новых откровений.

— Беда в том, что ее научились искусно подделывать. Вообще говоря, почти невозможно бывает определить, где поддельная «старина», а где настоящая. Не скрою, в данном случае мне самому трудно сказать наверняка. Поэтому нет смысла соскабливать с ручек краску. Это нам ничего не даст.

— А как можно новую бронзу сделать под старину? — спросил Клод.— Она ведь, известное дело, не ржавеет.

— Вы совершенно правы, мой друг. Но у этих мерзавцев есть свои секреты.

— Это какие же? — настаивал Клод. Он считал, что любые сведения такого рода никогда не повредят. Мало ли что, могут и пригодиться.

— Надо всего-навсего сунуть ручки на ночь в стружки красного дерева, пропитанные нашатырем. Бронза от этого подернется зеленью, а если зелень оттереть, появится мягкий теплый блеск, в точности как у благородной старой бронзы. О, эти мошенники всякий стыд потеряли. Железо они совсем по-другому подделывают.

— А железо как? — зачарованно спросил Клод.

— С железом просто,— ответил мистер Боггис.— Железные замки, накладки и петли просто-напросто суют в обычную соль и вскорости вынимают уже совершенно заржавленными.

— Ладно,—сказал Рамминс,—значит, признаете, что про ручки точно не знаете. А им, может, не одна сотня лет, так?

— О нет,— прошептал мистер Боггис, выпучив на него свои круглые карие глаза.— Вот тут вы ошибаетесь. Глядите.

Он вытащил из кармана сюртука маленькую отвертку. Незаметно для них он одновременно вынул медный шурупчик и зажал его в складках ладони. Каждая ручка комода держалась на четырех шурупах; он выбрал один и осторожно стал счищать с его головки белую краску. Покончив с краской, он начал медленно отвертывать шуруп.

— Если этот шуруп действительно смастерили в восемнадцатом веке,— говорил он,— резьба будет чуть неровной, и вы сразу увидите, что ее нанесли вручную обыкновенным напильником. Но ежели ручку подделали относительно недавно, скажем, во времена королевы Виктории или позже, то шуруп, само собой, сделали тогда же. А значит, он продукт массового промышленного производства. Заводскую нарезку сразу отличишь. Что ж, поглядим.

Он прикрыл шуруп ладонью и, вытаскивая, безо всякого труда подменил его новым, который лежал у него в ладони. Этот маленькой уловкой собственного изобретения он пользовался давно и с большим успехом. В карманах сюртука у этого священника всегда было полным-полно дешевых шурупов любого размера.

— Вот, пожалуйста,— он передал новенький шуруп Раммингсу.— Видите, какая ровная резьба? Заметили, да? Еще бы. Обычный грошовый шурупчик, такой купишь в любой скобяной лавке.

Шурупчик переходил из рук в руки, его внимательно разглядывали. Даже у Раммингса уже не оставалось сомнений.

Мистер Боггис сунул в карман отвертку вместе с шурупом тонкой ручной работы, который он только что вывернул из комода. Потом он повернулся и неторопливо прошествовал к двери.

— Друзья мои,— сказал он, остановившись у входа в кухню,— очень любезно с вашей стороны, что вы позволили мне заглянуть в ваш уютный дом, очень любезно. Хочу надеяться, что я не утомил вас своей стариковской болтовней.

Рамминс поднял глаза от шурупа, который он все еще изучал.

— Но вы так и не назвали вашу цену.

— Разве не назвал? Ах, да, верно. Ну, так я вам без обиняков скажу. По-моему, он не стоит хлопот. Так что и толковать нечего.

— А все-таки — сколько?

— Вы что же, и впрямь хотите с ним расстаться?

— Я не сказал, что хочу расстаться. Я спросил сколько.

Мистер Боггис посмотрел на комод у противоположной стены; он склонил голову набок, потом на другой; он нахмурил брови и вытянул губы; он пожал плечами и пренебрежительно махнул рукой: мол, и размышлять-то об этом не стоит, вот так.

— Ну, скажем... Десять фунтов. Пожалуй, в самый раз будет.

— Десять фунтов! — вскричал Рамминс.— Не смешите, пастор, *сделайте милость*.

— Да если его на дрова пустить, и то больше дадут,— возмущенно вставил Клод.

— Вы на счет-то взгляните! — Рамминс так остервенело тыкал грязным пальцем в бесценную бумагу, что мистер Боггис не на шутку забеспокоился.— Здесь точно сказано, сколько он стоит! Восемьдесят семь фунтов! И это когда был новый. А теперь он старинный, и цена, стало быть,— вдвое!

— Позвольте, позвольте, сэр, уж никак не вдвое. Это всего лишь заурядная копия. Но я вам вот что скажу, друг мой,— с моей стороны это, конечно, опрометчиво, но уж так и быть — я готов поднять цену: пятнадцать фунтов. Пойдет?

— За пятьдесят пойдет,— ответил Рамминс.

Трепет восторга иголочками пробежал вниз по икрам и сладостно заколол ступни. Готово дело. Заполучил. Никаких сомнений. Но он не мог одолеть привычку сбивать цену на сколько возможно, с годами и опытом она вошла ему в плоть и кровь. Он так легко не уступит.

— Дорогой мой,— ласково прошептал он.— Мне нужны *одни только* ножки. Возможно, со временем я и ящики куда-нибудь пристрою, но все остальное, то есть корпус, годится, как справедливо заметил ваш друг, лишь на дрова и больше никуда.

— Пусть будет тридцать пять,— упорствовал Рамминс.

— *Не могу*, сэр, никак *не могу*. Не стоит он того. Да и не пристало мне торговаться. Совсем не пристало. Вот вам мое последнее слово, и я ухожу. Двадцать фунтов.

— По рукам,— поспешно сказал Рамминс,— забирайте.

— Ну ты подумай! — всплеснул руками мистер Боггис.— Опять я попался. И зачем я все это затеял?

— Нечестно, пастор, идти на попятный. Уговор дороже денег.

— Да-да, конечно.

— А как вы его увезете?

— Так, так, надо подумать. Что, если я въеду на машине во двор,— вы, джентльмены, окажете мне любезность, поможете его погрузить?

— В машину? Да он сроду не влезет в легковую машину! Тут грузовик нужен!

— Не обязательно. Сейчас посмотрим. Машина у меня там, на дороге. Я мигом вернусь. Думаю, как-нибудь втиснем.

Мистер Боггис вышел во двор, за ворота и пошел по проселку, что вел через поле к дороге. Он поймал себя на том, что от неудержимой радости глупо хихикает; у него было такое чувство, будто он целиком, как бутылка содовой, заполнен крошечными пузырьками; они сотнями подымались от желудка и весело лопались в голове где-то у самой макушки. Земля была сплошь усыпана золотом. Первоцветы и лютики внезапно превратились в сверкающие на солнце золотые монеты, и он свернул на траву, чтобы потопать по ним и услышать их мелодичное позвякиванье, когда он поддевал их носком ботинка. Ему стоило труда сдержаться и не пуститься бегом. Но свя-

щенники ведь не бегают, они ступают неспешно. Иди медленнее, Боггис. Не теряй головы, Боггис. Спешить уже некуда. Комод твой! И всего за двадцать фунтов, а стоит-то он пятнадцать или двадцать тысяч! Комод Боггиса! Через десять минут его погрузят тебе в машину — он запросто войдет — и ты отправишься в Лондон и будешь петь всю дорогу. Мистер Боггис везет комод Боггиса на машине Боггиса к себе домой! Историческое событие. Любой репортер много бы дал, чтобы заснять такое на пленку! Может, организовать? *Очень может быть.* Посмотрим, посмотрим. О, славный день! О, дивный летний день! Здóрово, черт побери!

А на ферме тем временем шел такой разговор:

— Ну, каково?! Старый осел выложит двадцать фунтов за эту рухлядь!

— Славное вы дельце провернули, мистер Рамминс,— сказал Клод.— Как по-вашему, выложит он денежки?

— Не выложит — шиш мы ему погрузим.

— А если эта штука в машину не полезет? — спросил Клод.— Знаете, что я думаю, мистер Рамминс? Хотите напрямки? Эта чертова коряга больно велика, нипочем в легковушку не войдет. И что тогда? А тогда он скажет, ну ее к дьяволу, и покатит себе прочь, только вы его и видели. И денежки вместе с ним. Она не очень-то была ему и нужна, сами знаете.

Рамминс помолчал, обдумывая неожиданную и путающую перспективу.

— Ну, посудите сами, как такая штуковина влезет в легковушку? — не унимался Клод.— У пасторов больших машин не бывает. Вы когда-нибудь видели, чтоб у пастора была большая машина, а, мистер Рамминс?

— Вроде не видал.

— То-то и оно. А теперь слушайте меня. Есть одна мыслишка. Он же нам сам сказал, что ему надобятся одни только ножки. Так ведь? Вот и давайте по-быстрому спилим их прямо сейчас, пока он не вернулся. Тогда уж эта штука точно в машину войдет. И его от хлопот избавим, не придется ему самому спиливать ножки, когда домой приедет. Ну, как, мистер Рамминс?— плоское туповатое лицо Клода так и сияло от гордости.

— А что, неплохо придумано,— промолвил Рамминс, уставившись на комод.— Прямо-таки дьявольски здóрово придумано. Тогда за работу, некогда прохлаждаться. Выносите-ка с Бертом его во двор, а я пошел за пилой. Только ящики сначала выньте.

В считанные минуты Клод и Берт вытащили комод и водрузили его посреди двора вверх ножками прямо в грязь, на куриный помет и коровьи лепехи. Вдалеке, в середине поля виднелась маленькая черная фигурка, двигавшаяся в сторону дороги. Какое-то время они молча наблюдали. Фигурка вела себя довольно забавно. Время от времени она пускалась рысью, потом ни с того ни с сего подпрыгивала, взбрыкивая ногами, а то вдруг с лугов до них, если им не померещилось, долетели обрывки веселой песенки.

— Ей-богу, он чокнутый,— заметил Клод, а Берт загадочно ухмыльнулся, вращая своим мутным глазом.

Из сарая с большой пилой в руках вышел вразвалку Рамминс, коротконогий и приземистый. Клод взял у него пилу и принялся за работу.

— Гляди, у самого донышка спиливай,— посоветовал Рамминс.— Они ему для другого столика нужны, помнишь?

Дерево было плотное и очень сухое; Клод поднажал, и из-под зубьев пилы брызнула тонкая красная пыль и мягко осела на землю. Ножки отлетали одна за другой, и когда была спилена последняя, Берт нагнулся и аккуратно выстроил их в рядок.

Клод отступил на шаг, чтобы полюбоваться плодами своих трудов. Наступило молчание.

— Вот я вас еще о чем спрошу, мистер Рамминс,— медленно проговорил Клод.— Ну, а теперь вы сможете втиснуть эту махину в багажник?

— Только в фургон.

— Верно! — воскликнул Клод.— А у пасторов, известное дело, фургоны не водятся. Какие у них машины? Паршивенький «Моррис» или «Остин», и то двухместный.

— Ему нужны ножки,— сказал Рамминс.— Если остальное не влезет, может и не брать. На что тут жаловаться? Ножки же он получит.

— Вы же знаете их породу, мистер Рамминс,— терпеливо втолковывал Клод.— Сами понимаете, если он все, до последней щепочки, не засунет в машину, он начнет цену сбивать. Уж будьте уверены, когда дело доходит до наличных, священники вовсе не такие простофили. А этот старикашка тем более. Так давайте отдадим ему все его дрова, и дело с концом. Где у вас топор?

— А что, пожалуй, верно,— сказал Рамминс.— Берт, тащи сюда топор.

Берт пошел в сарай, вынес огромный колун и вручил его Клоду. Тот поплевал на ладони, потер руки, а затем, высоко занося колун, яростно набросился на обезножевший комод.

Работа оказалась нелегкая, прошло пять минут, пока наконец он раскромсал корпус на куски.

— Одно вам скажу,— Клод выпрямился, отирая со лба пот.— Что там пастор ни говори, а плотник тут сработал на славу.

— В самый раз успели! — воскликнул Рамминс.— Вот он приехал!

◆

КОММУНИЗМ И ХРИСТИАНСТВО

Дискуссия, состоявшаяся в Институте мировой литературы им. А. М. Горького Академии наук СССР 3 ноября 1988 года

Председательствует директор института Ф. Кузнецов

Ф. КУЗНЕЦОВ. Истина никогда не бывает в формах однозначных и упрощенных. Всякая, в частности научная, жизнь — это всегда сложность и полнота.

Мы собрались здесь для того, чтобы вместе поразмыслить над проблемой исключительно сложной, объемной, глубокой и, я бы сказал, увлекательной, увлекательной для всякого ищущего ума и для беспокойного духа.

Я думаю, есть мало людей на земле, в том числе и в нашей стране, в нашем обществе, в этой аудитории, кто не задумывается над этой проблемой: соотнесенности, соотношения двух величайших нравственных идей человечества — христианства и коммунизма, которые являют собой не что иное, как два различных пути поиска и утверждения общечеловеческих гуманистических ценностей.

Вот это соотношение двух величайших нравственных путей и двух путей утверждения гуманистических начал особенно волнует нас сегодня, когда мир убедился в приоритете общечеловеческих начал над любыми другими началами на земле, когда стало ясно, что нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь.

Наша дискуссия по столь интересному, сложному вопросу приурочена и, больше того, задумана в связи с приездом в нашу страну в качестве гостя Института мировой литературы Академии наук СССР, Союза писателей СССР и Комитета по европейской безопасности выдающегося писателя современности Грэма Грина. Эти три организации обеспечили задачу перемещения во времени и пространстве нашего дорогого гостя.

Скажу, что наш высокочтимый гость приехал в момент, важный для него — ему исполнилось 84 года. И он приехал отпраздновать свой день рождения именно в нашей стране. Мы приглашали его отметить 85-летие, но он сказал: «Зачем же ждать, давайте это сделаем в 84-м». Таким образом у нас есть возможность пригласить его, когда ему будет 85 лет, и в последующие годы.

Вы знаете, что творчество Грэма Грина органически, внутренне является не чем иным, как, в конечном счете, глубочайшим исследованием проблемы, которой мы посвятили нашу дискуссию. И я бы сказал, не только творчество, но и его жизнь, его поведение, поступки, весь его интерес к острейшей социальной проблематике современного мира, к той борьбе, которую ведет Латинская Америка, его интерес к судьбам нашей социальной революции — все это сопрягается с глубочайшим интересом к вечным проблемам духовного бытия человека и человечества.

На маленьком банкете, который проходил в гостинице «Советская», были вдова и дети человека, который всем вам известен. Его имя Филби, он был близким другом юности, молодых лет Грэма Грина. И Грэм Грин сказал вчера удивительные слова о Филби. Он дважды или трижды возвращался к его судьбе, его личности и сказал, что это был человек, который поступками и риском жизни своей подтверждал свою веру. А потом у нас возник разговор о значении сомнения в жизни человечества, и близкий Грэму Грину человек, произнося тост в его честь, сказал, что Грэм Грин — это воплощенное сомнение. И мы пришли к выводу, что то и другое не исключает друг друга, а таит в себе диалектику неразрывного единства, которая, вероятно, и определяет возможный путь постижения истины.

Мне бы хотелось представить вам наших гостей и возможных участников дискуссии. Замечу, что этот список ни в коей степени не исчерпывает выступлений, что дискуссия наша открыта и каждый из присутствующих имеет право и возможность взять слово. Но сам состав гостей свидетельствует о переменах в жизни нашего общества, о новом уровне, новом качестве свободы поиска мыслей. В развитие нашей конференции, посвященной 1000-летию христианства на Руси, мы продолжаем эту линию — линию диалога двух типов, двух видов гуманизма в современном мире.

У нас в гостях снова его высокопреосвященство митрополит Минский и Белорусский Филарет, являющийся председателем Отдела внешних церковных сношений Русской Православной Церкви; монсеньор Нюкш, епископ Римско-католической Церкви в Латвии, ректор Рижской Митрополитальной духовной семинарии; у нас представители Академии наук — академик Евгений Петрович Челышев, члены-корреспонденты Николай Иванович Балашов, математик и публицист Игорь Ростиславович Шафаревич. Писатели Чингиз Айтматов, Валентин Распутин, Владимир Крупин, венгерский писатель и литературовед главный редактор журнала «Хунгария» Ласло Роберт, священники отец Игорь Экономцев и отец Алексей Буевский, ответственный секретарь Отдела внешних церковных сношений Русской Православной Церкви. В дискуссии примут участие критики Дмитрий Урнов и Петр Палиевский, возможно, другие наши коллеги.

Краткое вступительное слово скажет Петр Васильевич Палиевский.

П. ПАЛИЕВСКИЙ. Хорошо известно, что если господин Грин приезжает в какую-либо страну, там происходит нечто замечательное. Наш случай не является исключением. Среди прочих перемен в нашей стране меняются отношения между коммунизмом и христианством.

Мы находимся в Институте мировой литературы, и мы привыкли здесь мыслить в понятиях литературы. Мы даже думаем, что это дает некоторые преимущества, потому что позволяет видеть сразу множество идей в одном образе — когда он удается, конечно. И так как вы, господин Грин, являетесь наиболее представительным писателем английской литературы наших дней, позвольте мне процитировать наиболее представительного английского писателя всех времен, чтобы очертить границы нашей проблемы. Итак: «.. что благороднее: сносить ли про себя стрелы и удары неистовой судьбы или, подняв оружие против моря бедствий, с ними покончить?»

Нет, наверное, более впечатляющего описания двух разных подходов, которые мы взялись сегодня обсуждать. Решимость победить зло силой, к чему как будто более склонен коммунизм, или способность вынести его «про себя», что казалось всегда ближе к христианству. Подходы эти остаются разными, потому что никто пока не нашел решающего ответа на поставленный вопрос. Но обратим внимание: оба пути, согласно Шекспиру, являются благородными.

Вы знаете, господин Грин, что наша страна имеет ни с чем не сравнимый опыт в стремлении решить эти проблемы, и не в теории, а на деле. Среди многих его свидетельств есть и такие, которые могли бы подтвердить шекспировский взгляд.

Быть может, вам будет небезынтересна одна легенда, распространявшаяся среди русских во время и сразу после войны. Рассказывали о том, как впервые встретились Сталин и Патриарх. Дело будто бы происходило в Круглом зале Кремлевского дворца, где множество дверей открываются в один и тот же центр. И вот с одной стороны будто бы входит Сталин с кем-то из членов Политбюро, а с другой — Патриарх и сопровождающее его лицо. Не доходя до Патриарха, Сталин поднимает кверху палец и говорит: «Не вышло, не вышло!» Ответа не поступило. Подойдя поближе, Сталин снова машет пальцем: «Не вышло, не вышло!» «Что не вышло, товарищ Сталин?» — спрашивает Патриарх. «Ну, как же, вы предсказывали, что мы не продержимся и двух месяцев... не вышло!» Патриарх молчит — «церковь молчания», как называли это впоследствии на Западе. «Но я должен сказать,— продолжает Сталин,— что и мы считали будто вы исчезнете, как только мы придем к власти Мы ошиблись Давайте думать, как жить дальше вместе».

Независимо от того, насколько правдива эта легенда, и от того, как мы оцениваем

сейчас ее участников, нужно признать, что она отражает народное мнение о проблеме, которую мы обсуждаем. В наши дни это мнение становится чем-то настоятельным и неотложным. Речь идет о восстановлении общей дороги для начал, противопоставленных друг другу и теперь заново всматривающихся в смысл истории. Выясняется, что они многое могли бы делать вместе,— что подтверждает, кажется, и ваше творчество, господин Грин.

И первое, как можно понять, в чем коммунисты и христиане могли бы сотрудничать сегодня,— это защита ценностей так называемых простых людей, то есть основного фонда человечества. Он находится в явном небрежении. Убеждение в превосходстве разных временных изобретений; почти всеобщая вера в оформляющий знак, готовый заместить собой содержание; поощрение и распространение элитарности всех оттенков и ступеней затемняют горизонт. Если у коммунистов и христиан еще сохраняется представление, что главное растет все-таки снизу, а сверху можно лишь падать или подавлять, что единственным оправданием временно оказавшихся наверху может быть только содействие общему росту и движению, то и всякое напоминание об этом есть благо, особенно когда оно находит подлинный образ. Вы, господин Грин, умеете это делать.

Я вижу среди нас критика, который, прочтя в свое время первые страницы только что вышедшего тогда «Тихого американца», был преисполнен восхищения техникой описания одной женщины, расценив это как высшее достижение прозы XX века. Мы были очень молоды тогда, и я помню, как поразили меня те же страницы. Но еще большее впечатление произвело на меня описание другой женщины в том же романе: это сцена после взрыва на улице Катина. «Женщина сидела на земле, положив на колени то, что осталось от ее ребенка; своего рода душевная деликатность заставила ее прикрыть его соломенной крестьянской шляпой. Она молчала и не шевелилась». Переводчики именно так перевели слово «modesty», и мне до сих пор кажется, что «душевная деликатность» подходит, хотя, конечно, возможны варианты. Но эти строки могли быть написаны только при глубоком понимании того, где действительно кроются человеческие ценности.

Потому что недостаток этой скромности (modesty), оберегающей жизнь, или полное отсутствие ее превратились в наши дни в могучее разрушительное начало, действующее тем вернее, что ничего явного при этом не происходит. Взгляните на эту подборку фотографий, недавно опубликованную «Правдой». На одном снимке эфиопская мать держит на коленях ребенка, он умирает от истощения. Бесполезно описывать вам ее лицо. Шапка над подборкой: «Знакомьтесь, Уорлд Пресс Фото». Поясняющая подпись: «Уильям Кэмбелл. Журнал «Тайм», Нью-Йорк. «Эфиопская мадонна». (Второй приз в категории «Повседневная жизнь»)». То есть как бы не замечая, за счет чего это совершается, газета рекламирует «вторую премию» некоего Кэмбелла с абсолютно неподобающей наклейкой «Мадонна» (кстати, ту же фотографию с тем же заглавием повторила «Советская культура» от 1 октября 1988 года), да еще с предполагаемым «философским» подтекстом рубрики «Повседневная жизнь»,—возможно, из стремления поскорее обнять наших американских друзей. Но «соломенная крестьянская шляпа» исчезла здесь, как не бывала.

Другая возможная область сотрудничества коммунистов и христиан — их отношение к власти денег.

Ваш двоюродный дедушка, господин Грин, великий писатель Роберт Льюис Стивенсон, закончил свой знаменитый роман наилучшей наградой для своих героев, которая мыслилась тогда,— грудой золота и серебра. Ничего иного, кажется, и вообразить было невозможно. Вспомним и Марка Твена с его Геком и Томом: тоже увенчивающий приключения тяжелый сундук с глухо позвякивающим содержимым. «Судья Тэтчер положил деньги в банк» — благодарение судьбе! Не то у вас, господин Грин, к счастью, совсем не то. В вашей недавней книге «Монсеньор Кихот» скромный священник, вознесенный случаем в епископский сан, встречает по пути шествие, толпу паломников, которые несут статую Святой Девы, обклеенную денежными купюрами. Кто больше внес, тот и ближе к несомой, ближе к спасению... Забывшись, монсеньор бросается к центру процессии, хочет остановить ее, срывает налипшие бумажки; замешкавшаяся было толпа извергает его с воплем: «Он коммунист!» Но за шумом столкновений мы слышим, как тревожит вас нарастающее значение проблемы.

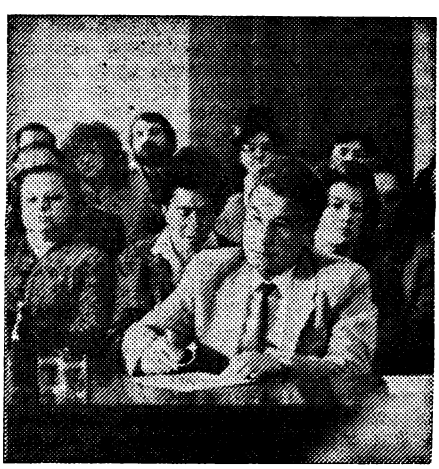
На небесного цвета фресках Джотто капеллы Скровеньи в Падуе есть одна, изображающая изгнание торгующих из храма. Это эпизод, описанный евангелистами Марком и Лукой, когда Христос, видимо единственный раз нарушив обычное свое спокойствие, напал на «продающих и покупающих», обозвал их «разбойниками» (в английском тексте «ворами») и «столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул». Он, конечно, не экспроприировал их, а только изгнал, но этот акт неизменно вызывал восхищение коммунистов, как правило, не высказываемое, потому что не всегда удобно признаться в том, что тебя опередили. Джотто изобразил момент, когда менялы, уже изгнанные, стоят с растерянным видом у стены, их почти жаль, а рядом их утешает, дает советы небольшой с черным рыльцем черт. Картина эта очень убедительна, но надо признать, что с той далекой поры, по многим наблюдениям, советы эти не остались без последствий и потерпевшие добились немалых успехов. Посетитель Рима не обращает внимания на надпись, которую видит, выйдя из аэропорта, и затем встречает не раз в городе — «Banco di Santo Spirito» — «Банк Святого Духа»,— она примелькалась. Но попробуйте всмотреться в это словосочетание, оно изумляет. Точно так же вы можете услышать, как и нам здесь говорят, что мы «недооценивали товарно-денежных отношений», и с этим можно согласиться, учитывая их уверенную роль в делах, еще недавно им не подвластных. С другой сторо-

ны, многие считают, что, может быть, и сами эти отношения еще более недооценивают стремление людей их преодолеть. Во всяком случае, в нынешних поисках общности остается открытым вопрос, будем ли мы объединяться на принципе денег или на каком-то другом. В вашем последнем романе, господин Грин, «Капитан и противник» один персонаж замечает, что «не существует никаких противостоящих сторон, когда речь заходит о деньгах», и он прав. Сойдемся ли мы в этой правде?

Наконец, есть у коммунизма и у христианства одна бесспорная общая черта. Это — что они одинаково или почти одинаково смотрят на отношения между национальным и универсальным, не позволяют поднять в руководящую идею какой бы то ни было национализм. После многих катастроф, утрат и приобретений истории их общение становится здесь неизбежным — по возможности без посредников. И мы благодарны вам, господин Грин, за усилия поддержать это общение; за то, что вы приехали к нам и позволили собраться этому кругу ваших разномыслящих друзей. Наши трудности, конечно, легче понять и одолевать вместе.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Задача председателя на такого рода симпозиумах чрезвычайно сложна: никто не писал докладов. Мы мыслим его как естественный, свободный обмен мнениями. В какой-то мере судьба моя облегчена тем, что здесь собрались люди, которые думают над этим вопросом — некоторые из них долгие годы, иные, пожалуй, всю жизнь. По-моему, один из тех, кто, особенно в последние годы, очень много и напряженно думает над соотношением и взаимодействием этих тенденций духовной жизни человечества,— Чингиз Айтматов. И его «Белый пароход», и его «Плаха», и тот роман, над которым он сейчас работает,— они в этом ключе. Я бы попросил глубокоуважаемого Чингиза Торекуловича начать обмен мнениями, а потом попросил бы владыку Филарета продолжить его.

Ч. АЙТМАТОВ. Признаться, вы меня поставили в сложное положение. Я ведь пришел послушать, а не выступать. Но коли уж так случилось, позвольте коротко высказаться. Это собрание интересных людей, и тема нынешнего разговора уникальна. Но я пришел больше по сердечным мотивам. Привлекают меня подобного рода неординарные встречи. Должен сказать, я склоняюсь к тому, что само по себе соотношение «Христианство и коммунизм», как оно обозначено в названии конференции, таит в себе очень большой смысл для современности и для будущей культуры мира. Желание услышать нечто для себя новое от людей, работы которых я глубоко уважаю, о некоторых явлениях, обозначившихся в нашем сегодняшнем мире,— вот что привело меня сюда, несмотря на то, что мне через два часа в дорогу. Я пришел послушать и не жалею. Наметились уже интересные аспекты темы, и не исключено, что эта конференция заложит новые направления, даст новый импульс поиску духовных ориентиров. Само по себе это страшно интересно, потому что коммунизм и христианство — казалось бы, взаимоисключающие понятия. Коммунизм, который считается выражением наиболее революционного способа развития человечества, обладает при этом характерными особенностями. В частности, одна из них — его ортодоксальность: ведь не секрет, что коммунизм бывает достаточно суров в своих проявлениях. И вот сегодня обратили свой взор друг на друга две ортодоксии: коммунистическая и христианская. И как они будут взаимодействовать дальше — смогут ли сосуществовать, дополняя друг друга и помогая человеку в поисках смысла жизни, достойной человека,— вопрос очень важный. Поэтому, если мы сумеем творчески, гибко, с терпимостью подойти к исследованию его, быть может, нам удастся добыть, пусть малое, зерно в копилку средств, которые нам надлежит направить на то, чтобы поднять духовное состояние современного человека.



Петр Васильевич Палиевский рассказал интересную легенду о том, как отец Русской Православной Церкви встречался со Сталиным. Но конструктивный, почти идиллический финал этой встречи меня несколько смутил (естественно, легенде можно верить, а можно и не верить). Уж очень все красиво получается, если не сказать заданно. Позвольте мне рассказать легенду иного характера. Известно, что Сталин в свое время учился в духовной семинарии, из которой был изгнан. И был у него в семинарии соученик, друг, впоследствии ставший крупным грузинским священником. Когда Сталин был уже во всем своем могуществе, однажды (не знаю, как именно это получилось) они решили встретиться. Встреча должна была состояться в Кремле. Грузинский патриарх (кажется, он был им уже тогда) приехал загодя, остановился в гостинице «Москва» и всю ночь размышлял над тем, в каком виде ему появиться перед Сталиным: в церковном облачении или в светском костюме? Видимо, он остановился на втором варианте, потому что, когда утром он входил в кабинет Сталина, на нем было партикулярное платье. Увидев его, Сталин громко воскликнул: «Не его боишься,— тут он показал пальцем на небо,— а меня». В этом — суть диктатора.

Диктатор всегда желает заменить бога, и очень, очень многие наши страдания, беды, трагедии проистекают по той причине, что коммунизм дает подчас диктатору возможность почувствовать себя богом. Да ведь и духовное лицо не посмело явиться к Нему в надлежащем облачении. Не говорит ли это о том, что церковь испытывает страх, слабость перед лицом диктаторской власти?

Вот две легенды. Какой можно верить? Никто этого точно, быть может, и не скажет. Мне ближе вторая. Наше общество переживает сейчас критический момент. Оно обладает уникальным социальным опытом и имеет достижения мирового значения. Но надо сказать, что многое нам не удалось и не удается. Для меня, например, одна из самых трагических проблем (сугубо наша социальная проблема) — положение крестьянства, раскрестьянивание народа.

Другая больная для меня проблема — человеческая доброта, которая, к несчастью, убывает. Мы должны искать путь добра. Для этого очень полезно обратиться к общечеловеческому опыту, и христианская мораль здесь — один из самых авторитетных и благотворных источников. Разумеется, и в истории христианских церквей есть немало тяжелых, черных страниц. Я не отделяю здесь одно от другого. Там тоже есть свои достижения и открытия, есть и свои провалы. Но человек — сознательное существо, которое достойно лучшей доли и которое должно воспринять все лучшее, все доброе, все нравственное, что выстрадали люди за долгие века.

Мне думается, что сейчас как нельзя более вовремя мы собрались, чтобы дать толчок развитию этой мысли в творчестве, на практике, в литературе.

Поэтому я с удовольствием присутствую на этой конференции, слушаю ее начало, представляю, как будет интересно дальше.

Мы проводим эту конференцию в присутствии нашего глубокоуважаемого друга Грэма Грина. Кстати, журнал «Иностранная литература», который я сейчас редактирую, с удовольствием печатал и продолжает печатать ваши произведения, господин Грин. И я рад возможности приветствовать вас почти в самый день вашего рождения.

Я приветствую также всех вас, собравшихся для столь благородного и нужного дела.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Я хочу приоткрыть одну тайну. Журнал, который сейчас возглавляет Чингиз Айтматов, выразил готовность опубликовать на своих страницах стенограмму нашего симпозиума, если он будет интересным. Это говорит о мужестве главного редактора, поскольку то, что здесь происходит,— лишь первая попытка нового направления развития мысли.

Митрополит ФИЛАРЕТ. Дорогие друзья! Я глубоко благодарен руководству Института мировой литературы за приглашение, которое для меня было неожиданным. Только за час до начала встречи у меня появилась возможность принять это приглашение. И вот мы с протоиереем Игорем Экономцевым, преподавателем Московской духовной академии, и доктором Алексеем Сергеевичем Буевским, ответственным секретарем Отдела внешних церковных сношений, здесь представляем Русскую Православную Церковь. От ее лица я приношу сердечнейшее приветствие и поздравления достоуважаемому Грэму Грину, великому писателю современности, возлюбленному брату во Христе. Всем памятно его выступление в Кремле во время февральского форума 1987 года «За безъядерный мир, за выживание человечества». Само это событие имело эпохальное значение. И вклад наших зарубежных друзей, коллег, в том числе и религиозных деятелей, в работу форума был исключительным. Все это у нас на памяти, особенно ваше, дорогой брат, выступление, очень оригинальное, иным оно и не могло быть. Я приветствую вас еще раз от лица Церкви. И в связи с тем, что наш юбилейный год продолжается, я хочу передать вам на память юбилейную медаль с изображением святого князя Владимира и

юбилейное издание книги о Троице-Сергиевой Лавре. К сожалению, текст здесь только русский, но иллюстрации настолько впечатляющи, что, думаю, они вам лучше текста расскажут о сердце Русской Православной Церкви — Троице-Сергиевой Лавре и ее игумене, преподобном Сергии.

Теперь о нашей сегодняшней встрече. Не скрою, и для меня тема ее — новая, трудная. Наверное, марксистско-христианский диалог начался давно. Но может быть, диалог «коммунизм и христианство» — еще более древний. Однако до сих пор он находил отражение скорее в нашей практической жизни, настоящего диалога пока, я думаю, еще не было.

Обе стороны высказывались друг о друге, развивались как бы параллельно. Эволюция взглядов, естественно, происходила и на той, и на другой стороне. Но откровенный диалог начать (я говорю сейчас, основываясь уже на нашем небольшом опыте) как-то робели — не хочу сказать боялись, но робели. Вставал вопрос: а что из этого получится? Доросли ли мы до такого состояния, когда можем спокойно, без обиды, начать этот разговор?

И вот жизнь заставила нас начать этот диалог — диалог-революцию.

Взаимоотношения между сторонами тогда были очень сложны. Можно сказать, что разговор велся с позиции силы. Но опять-таки жизнь, а мы говорим — промысл Божий, смирила обе стороны, и великие испытания заставили нас быть вместе и думать вместе о будущем человека. Ибо человек, личность, встал перед нами во весь рост. И горе человеческое встало во весь рост перед сознанием всего мирового сообщества.

Я думаю сейчас о войне прошедшей, но не изгладившейся из памяти нашей. Ее трагедия, наоборот, все более и более вырастает со временем.

А перед войной всем казалось, что коммунизм победил религию. Церковь как таковая почти прекратила свое существование — редко где оставались приходы. Она была извне и изнутри блокирована. Извне — административными мерами, изнутри — различными расколами, в том числе обновленческим расколом, сторонники которого били себя в грудь, заявляя, что они за социализм, за коммунизм, за полное обновление христианства... Это была только фраза, и больше ничего...

Но вот грянула война. Кто первый обратился к соотечественникам и соотечественницам, братьям и сестрам во Христе? Это был митрополит Сергий, мудрейший иерарх, долгие годы после революции возглавлявший нашу Церковь. В первый день войны он обратился ко всем верующим с вдохновенным призывом встать на защиту священных границ своего Отечества. В кафедральном соборе незамедлительно было оглашено это обращение и разослано по всем епархиям и приходам. Последующие четыре года войны показали, что Церковь стоит на принципиальной позиции. Она вместе с народом. Боль народа — это ее боль.

А несколько раньше митрополита Сергия упрекали за его и Священного Синода декларацию 1927 года, в которой он, в частности, говорил: «Нам нужно не на словах, а на деле полагать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, но и самые ревностные приверженцы его... Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской Родиной, радости и успехи которой — наши радости и успехи, а неудачи — наши неудачи». Эта декларация была глубоко патриотична.

И вот наступила Великая Отечественная война, и увидел мир позицию Церкви и ее великую пользу для Отечества. И в тылу, и в партизанских отрядах православное духовенство было вместе с народом. В течение десяти лет я являюсь митрополитом Минским и Белорусским. Я преклоняюсь перед тем великим подвигом, который совершил в военные годы белорусский народ, перед великим жертвенным подвигом Церкви и духовенства в партизанском движении.

Все это и заставило Сталина заговорить с Церковью по-другому. В начале сентября 1943 года им были приглашены три иерарха — митрополит Московский Сергий, митрополит Ленинградский Алексий и митрополит Крутицкий Николай. И был разговор. Конечно, то, что было здесь сказано о встречах Сталина с Патриархом, относится к области апокрифов. На самом деле все было иначе и проще. Я не могу описать эту встречу. Она произошла совершенно неожиданно для Церкви, которая не была готова к этому, как, откровенно скажу, может быть, она не готова и сейчас к тем революционным изменениям, которые происходят в стране. От Церкви сейчас ждут многого: и организовывать дела милосердия, и реставрировать разрушенные монастыри, и многое другое, включая вот такое выступление в дискуссии «Коммунизм и христианство».

Это прекрасно! И конечно, Церковь мобилизует свои духовные, интеллектуальные и научные силы, чтобы не обмануть ожиданий.

Мы должны исполнить свой долг. А теперешние наши размышления здесь — прелюдия к нашему будущему разговору. Здесь мы узнали друг друга, узнали, насколько мы готовы и насколько не готовы к нему. Итак, на той встрече Сталин спросил: вам, наверное, нужно что-то? А Церковь была просто не готова поставить проблемы, потому что после пережитого ею и мечтать о такой встрече, о подобном разговоре было немыслимо.

Но разговор состоялся, и было принято решение о восстановлении Патриаршества в Русской Церкви, об открытии духовных школ, о нормализации жизни приходов. Многие иерархи были возвращены из мест не столь отдаленных и заняли архиерейские кафедры. 8 сентября 1943 года Собор епископов Русской Православной Церкви избрал митрополита Сергия Патриархом Московским и всея Руси. К глубокому сожалению, он занимал Патриарший престол менее года. В январе 1945 года Поместный Собор Русской Православной Церкви избрал нового предстоятеля — митрополита Ленинградского и Новгородского Алексия, который

мудро осуществлял патриаршие служения 25 лет.

И еще задержу ваше внимание. У нас уже есть некоторый опыт диалога на тему: коммунизм и христианство, христианство и коммунизм. Такие встречи начались довольно давно по инициативе Венского Института мира. Представители Церкви и светские ученые периодически встречаются в Австрии и в нашей стране. Результаты этих встреч обнадеживают.

Вы также знаете, что миротворческая деятельность Русской Православной Церкви до определенного времени была единственной для нее возможностью заявить о себе перед лицом советской и международной общественности. Это совсем не значит, что миротворчество является чем-то вторичным в нашем служении. Оно пронизывает всю проповедь Церкви. И так было на всем двухтысячелетнем пути Церкви. Ныне сфера нашей деятельности резко расширилась. В круг дискуссий вошли многие вопросы экологии, генетики и другие. Все эти очень сложные проблемы сейчас выдвигаются на первый план. Неизвестно, от чего мы можем скорее погибнуть — от атомного взрыва или от экологической катастрофы.

Это обстоятельство побудило нас обратиться к светским экспертам и пригласить их для совместного обсуждения острых, насущных проблем выживания человечества. На наших миротворческих конференциях происходит взаимообогащающий обмен идеями, мыслями, накопленными знаниями. Нам важно усвоить научный подход к проблемам, а нашим светским коллегам — проникнуться библейскими, этическими, моральными принципами, которыми мы руководствуемся в своем стремлении к сохранению жизни мира.

Итак, Всемирные межрелигиозные конференции — конференция 1977 года, а затем 1982 года в Москве — активизировали сотрудничество христиан и марксистов. Вместе мы провели неплохие дискуссии, выработали полезные документы. Результаты были столь значительны, что участники форума решили продолжить работу. Во исполнение этого наказа каждый год (за исключением юбилейного для нашей Церкви 1988-го) мы, религиозные деятели и светские ученые, с большим интересом встречались за «круглым столом»: христиане, мусульмане, иудеи, буддисты, индуисты, синтоисты, равно как и нерелигиозные люди, представители различных сфер науки. Во Всемирных конференциях и «круглых столах» участвовали ваши коллеги — академики Арбатов, Баев, Раушенбах, другие.

Вот в таком виде диалог, можно сказать, начат. И я думаю, он должен продолжаться не только теоретически, но и для совместного практического решения тех проблем, которые волнуют в наши дни буквально все человечество. Необходимо определить, что мы можем сделать вместе — марксисты и христиане, представители других религий.

Нам следует начать, конечно, с обсуждения того, что нас объединяет, а не того, что нас разъединяет. Ибо если мы будем углублять различия, искомого результата не получим.

Мы верим, что наука — объективная, серьезная наука — нас примиряет, коммунистов и христиан. Она говорит нам: не спорьте между собой. Мир един, природа дала нам общие законы, вникайте в них, но не разрушайте. И отбросьте такие лозунги, как «взять у природы — наша задача», они не полезны.

Мы, христиане, сознаем великое значение современной науки, мы видим, как она помогает объединить усилия религиозных и нерелигиозных людей в служении во благо рода человеческого, в деле сохранения жизни и мира на земле.

Я полагаю, что мы должны быть глубоко благодарны организаторам за приглашение на эту встречу с великим писателем наших дней, досточтимым Грэмом Грином. Я не берусь судить о его творчестве, ибо не являюсь специалистом. Я просто свидетельствую глубочайшее уважение вам, дорогой брат, как личности, которая поставила своей задачей, своего творчества служить талантом благу человека, раскрывать его богатейший духовный мир.

Ф. КУЗНЕЦОВ. Я хотел бы поддержать вашу мысль, глубокоуважаемый митрополит Филарет, и внести два конкретных предложения в ее развитие.

Было бы, наверное, очень интересно в будущем в этом зале подготовить и провести встречу ли, конференцию ли, дискуссию, посвященную проблеме «Экология природы и социология культуры», совместно с представителями писательского и духовного мира с участием ученых Института мировой литературы и других институтов Академии наук СССР. Это мог бы быть исключительно интересный разговор.

Хочу сообщить приятную информацию. Издательство «Художественная литература» выпустит в 1990—1991 годах собрание сочинений Грэма Грина в четырех томах. Оно будет так же прекрасно оформлено, как и недавно изданный двухтомник писателя.

И второе сообщение. Московский государственный университет удостоил почетного звания доктора наук глубокоуважаемого Грэма Грина.

В. РАСПУТИН. Дискуссия между христианством и коммунизмом ведется уже давно, но к результату никогда не приводила, и не нужно обольщаться, что мы сегодня достигнем каких-то результатов. Пусть это будет разведкой, и, очевидно, мы будем ближе и ближе приходить к нужным выводам.

Я благодарен Грэму Грину за то, что он подвинул нас к этой смелости в тематике, которая была поставлена, наверное, не без его участия.

Для меня отношение между христианством и коммунизмом как нельзя лучше проецируется на то, что мы видели с Владимиром Крупиным в Оптиной Пустыни. Мы провели там целый день, были в монастыре, в Шамордино, где неоднократно бывал Лев Толстой и где игуменьей была сестра его — Мария Николаевна Толстая.

Год назад Оптина Пустынь решением правительства отдана церкви. Мы были там девять лет назад перед годовщиной

Куликовской битвы. Тогда это произвело на нас не просто удручающее, а страшное впечатление, настолько страшное, что я после этого примерно неделю был совершенно больной — так тяжело было смотреть на то, что сделали с Оптиной Пустынью.

Сейчас совсем другое дело. Сейчас там действует один храм, идет служба; реставрируется другой храм, уже есть монашествующие, то есть все идет так, как должно идти, когда власть соблаговолила передать церкви это, может быть, самое святое место на Руси, которое было известно во всем мире. Проблем там еще очень много, те отношения, которые сейчас существуют между властью и церковью, сказались и там.

В Оптиной Пустыни есть и монашествующие, и одновременно жители, которые продолжают оставаться в тех же самых домах, в которых жили прежде.

А что это значит? Это значит, что звучит по вечерам крепкое русское народное слово и все что угодно там можно увидеть. И конечно, для монахов мирское соседство с его откровенными нравами весьма обременительно.

Тут уже наше дело и дело церкви — помочь как можно скорее этих людей отселить оттуда, из Оптиной Пустыни. Но это-то полдела: в конце концов, наверное, все-таки город Козельск найдет квартиры, людей отселит, и монастырь станет монастырем.

Совсем недавно в келье Амвросия, который в этом году канонизирован церковью, в его келье, в этом святом месте, держали овец. Сейчас там живет пьяница. Видите, все-таки разница большая.

В Шамордино — на могиле Марии Николаевны — стоял туалет (другого места не нашли). Сейчас тоже изменения огромные — стоит сарай на этом месте. Но собираются и сарай снести в конце концов.

Совсем недавно на могиле братьев Киреевских паслись коровы. Теперь все-таки могила приведена в порядок.

Мы, побывав там, решили, что, наверное, неплохо было бы с помощью церкви создать опекунский совет из людей светских, который помогал бы монастырю обрести свои законные права. Потому что это правительственное решение оказалось каким-то половинчатым: монастырь передан, а скит, куда приезжали и Гоголь, и Достоевский, и Лев Толстой, куда приезжало вообще немало наших писателей — и Анна Ахматова бывала там, и Блок, — святое место для всякого русского человека, этот скит оказался за пределами монастыря. Там уже сейчас немало туристов, со временем их будет еще больше, они полезут и в монастырь — и как это будет вязаться с его положением и статусом?! Скит нужно непременно передать монастырю.

Отношения между коммунизмом и христианством, конечно, сложные отношения. И когда в войну мы все-таки признали церковь, это было вызвано не столько милосердием коммунизма, сколько тем тяжелым положением, в которое попала тогда страна.

Сейчас милосердие пошло дальше. А потому дальше, что уже в мирное время, не в военное, в очень тяжкое положение попала опять наша страна.

Хорошо, если эти милости не окажутся временными и не произойдет, как во времена Хрущева, их усекновение. Мы говорим, что без перестройки экономических и социальных форм наша страна дальше существовать не может. Но она не может существовать дальше и в прежних духовных формах. До сих пор коммунизм смотрит на духовность как на придаток к материальному и социальному. Но пока духовное не будет поставлено на первое место, никаких побед от коммунизма ждать

нельзя. Это будут мнимые победы. Ведь то, что раньше объявлялось победой, каким бумерангом это обернулось сейчас?

Я без оптимизма пока смотрю на такие конференции, как эта. Хорошо, что мы можем говорить то, что думаем, хорошо, что мы можем действительно представлять себе соотношение между этими двумя духовными силами. Это силы огромные, и коль они существуют в нашем государстве, так или иначе им придется взаимодействовать. Только хочется, чтобы было более духовное взаимодействие и со стороны государства тоже. Это взаимодействие должно быть более полным, гибким и великодушным со стороны господствующей сейчас идеологии. Иначе мы попадем в очень трудное положение. Та подмена нравственности и духовности, которая сейчас происходит повсюду, восстановление ее истинного места и роли потребует усилий — церкви и государства.

Я представляю: ну, хорошо, проведем несколько таких дискуссий на самых разных уровнях, достигнем веротерпимости, достигнем, может быть, того, что коммунисту позволено будет стать христианином, как это заведено в некоторых странах, но если все это останется подачками со стороны государственной идеологии — не видеть государству мира и благополучия в своем нравственном стане.

П. ПАЛИЕВСКИЙ. Спасибо, Валентин Григорьевич. Поскольку Феликс Феодосьевич вынужден отлучиться по неотложным делам, временно я приму на себя обязанности председательствующего. Прежде чем выступит монсеньор Нюкш, слово для реплики просит академик Челышев. Хотел бы заметить, что наша дискуссия проходит свободно, участники вправе откликаться на высказывания друг друга, даже прерывать их — в разумных пределах — для непроизвольной беседы. Пожалуйста, Евгений Петрович.

Е. ЧЕЛЫШЕВ. Митрополит Филарет заметил, что диалог между марксистами и религиозными деятелями очень давний. Возникает вопрос — между какими марксистами и какими религиозными деятелями. Ведь было, да и сейчас есть, немало таких, с позволения сказать, марксистов и у нас и за рубежом, кто, манипулируя цитатами из работ классиков марксизма-ленинизма, стремится утвердить свою монополию на истину, ведет борьбу со всеми инакомыслящими, в том числе и с религиозными деятелями, с позиций марксизма не творческого, а догматизированного. Мы не раз убеждались в малой продуктивности такой борьбы, таких дискуссий которые не убеждали оппонентов, а лишь дискредитировали социалистические идеи. Что касается религиозных деятелей, то, как известно, во все времена среди них были не только фанатики, ортодоксы и консерваторы, но и гуманисты демократы и патриоты. Однако к ним зачастую подходили недифференцированно и поэтому немало наломали дров в атеистической пропаганде, не переубедив, а лишь оттолкнув от себя многих честных людей, жестко противопоставляя атеистов верующим.

Атеистическую пропаганду следует, конечно, вести, так как наряду с гуманистической, миротворческой деятельностью Русской Православной Церкви у нас были, да и сегодня встречаются различного рода проявления обскурантизма и кликушества. А сколько пролито крови в разных конфликтах, возникающих на религиозной почве, когда религия из средства сплочения людей превращается в орудие разжигания вражды между ними. Не следует забывать также, что не всегда складывались у нас гладко отношения между духовенством и государственной властью, много ошибок было допущено по отношению к церкви в годы культа личности, когда разрушались храмы, а верующие и служители культа подвергались гонениям, что, безусловно, наносило ущерб нашей культуре, всему нашему обществу.

Никогда не забуду, как буквально у меня на глазах был варварски разрушен храм Христа Спасителя в Москве, недалеко от которого я родился и вырос. Помню, как, подходя к величественному храму, я всегда испытывал какой-то благоговейный трепет. Чувство горести, невосполнимой утраты с детских лет я пронес через всю жизнь. А сколько таких утрат, потрясений пришлось испытать миллионам советских людей, какую это нанесло им моральную травму.

Сейчас времена меняются, и не на словах, а на деле марксизм становится все более творческим, освобождается от догматизма и начетничества. Высвобождение из пут стереотипного мышления — процесс сложный и длительный, слишком глубоко оно пустило у нас корни. Но лед тронулся. Могло ли быть, например, в годы застоя в нашей стране таким торжественным и массовым празднование 1000-летия Крещения Руси? Да и вообще могло бы оно состояться тогда? В докладе на XIX Всесоюзной партийной конференции Михаил Сергеевич Горбачев говорил, что сама жизнь, история объединили верующих и неверующих как граждан Советской страны, патриотов и в годы испытания Великой Отечественной войны, и в создании нашего социалистического общества, и в борьбе за мир. Во время этих торжеств не раз подчеркивалась та позитивная роль, которую играет Русская Православная Церковь в процессе перестройки, оздоровления советского общества, восстановления в нем утраченных нравственных идеалов «Чада Русской Православной Церкви, являющиеся гражданами Советского Союза, живут в условиях социалистического общества, программа которого, по нашему мнению, действительно высокогуманна и тем близка христианским идеалам», — говорил Патриарх Московский и всея Руси Пимен.

Оставаясь на материалистических позициях, мы сейчас, на мой взгляд, должны находить в наших духовных традициях, во всей мировой культуре такие нравственные идеалы и ценности, которые способствовали бы расцвету личности, моральному самосовершенствованию человека, очищению на-

шего общества от накипи и грязи, накопившихся в годы культа личности и застоя, восстановлению в нем таких нравственных категорий, как совесть, честь, сострадание, бескорыстие, человеколюбие и так далее, которые раньше было принято считать признаками так называемого «абстрактного гуманизма».

Примером творческого применения марксизма в практике международных отношений является «Делийская декларация о принципах свободного от ядерного оружия и ненасильственного мира», подписанная Михаилом Сергеевичем Горбачевым и Радживом Ганди в ноябре 1986 года. В ней утверждается приоритет общечеловеческих ценностей, сближающих народы, создающих в мире атмосферу доверия и взаимопонимания, а социалистические идеалы синтезируются в ней с индийскими гуманистическими духовными традициями. Делийская декларация вызвала громкий отклик во всем мире, получила поддержку широких масс Индии прежде всего потому, что в ней впервые на уровне межгосударственных отношений так смело поставлен вопрос о приоритете общечеловеческих ценностей, сближающих народы, создающих реальную альтернативу безумной гонке вооружений, грозящей человечеству термоядерной катастрофой. Обращаясь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву на торжественной церемонии вручения ему премии имени Индиры Ганди 19 ноября 1988 года в Дели, президент Индии господин Венкатараман говорил: «Ваша поддержка принципов ненасилия нашла особый отклик в сердцах народов Индии, земли Будды и Махатмы Ганди».

Плодотворные поиски сближения, синтеза культур, казалось бы, столь разных, в интересах упрочения мира и дружбы между народами, нашедшие отражение в Делийской декларации, лишний раз подчеркивают, сколь бесперспективным было в прошлом противопоставление культур (как пытались доказать всегда), выражающих различные классовые интересы и противоборствующие идеологические концепции. Мне вспоминается, какой проработке подвергались, например, с позиций догматического марксизма арабские авторы насеровского Египта, пытавшиеся обнаружить в некоторых сурах Корана перекличку с социалистическими идеями и тем самым сделать марксизм более понятным и популярным в стране, где религия (ислам) пустила столь глубокие корни.

Проблема синтеза культур Востока и Запада, национальных культурных традиций с марксистскими идеями находится в настоящее время в центре внимания многих передовых деятелей культуры стран Востока. Сошлюсь лишь на содержательный доклад известного индийского литератора Асгхара Али Энжинира на конференции национальной Ассоциации прогрессивных писателей Индии в городе Лакхнау в 1986 году. Лишь тогда культурные ценности Запада могут привиться на индийской почве, обогатить индийскую культуру, органически вписаться в нее, а не выглядеть в ней чем-то инородным, говорил он, когда они заимствуются в свойственной индийским культурным традициям и национальному характеру форме. Это, подчеркивал Энжинир, имеет непосредственное отношение и к передовой общественной мысли Запада, прежде всего к марксизму, сыгравшему и продолжающему играть сегодня важную роль в развитии прогрессивной индийской литературы. В такой религиозной стране, какой является Индия, по мнению индийского литератора, нельзя противопоставлять марксизм религии. «Мы начинаем нападать на религию, тем самым отталкивая от себя глубоко религиозные массы, — говорил он.— Нет надобности оскорблять религиозные чувства нашего народа, чтобы учить его революции. В этом смысле весьма поучительны примеры возникновения христианской освободительной теологии в странах Латинской Америки, Азии и Африки. Молодые священники придерживаются более радикальных взглядов и не видят противоречия между религией и революцией».

Подчеркивание необходимости диалога в индийской культуре между марксизмом и духовными индийскими традициями, призыв к синтезу этих, казалось бы, столь различных мировоззренческих систем объясняется, на мой взгляд, той кризисной ситуацией, в которой в свое время оказалась Ассоциация прогрессивных индийских писателей из-за сектантства и догматизма ее руководства, утверждавшего, что лишь тот писатель может считаться прогрессивным, кто выступает с позиций научного социализма.

Таким образом, в свете нового мышления, на мой взгляд, принципиально по-новому следует подходить к проблеме коммунизма и христианства, или шире — марксизма и религии.

К сожалению, есть еще немало обществоведов, которые оценивают духовную культуру с позиций вульгарного материализма. Чем скорее мы откажемся от догматического, стереотипного мышления, чем шире будем использовать положительный опыт, накопленный учеными, мыслителями, религиозными реформаторами, поэтами, художниками разных взглядов, школ, направлений, тем быстрее преодолеем застой в наших общественных науках.

В своих исследованиях мировой духовной культуры нам следует больше обращать внимание на подлинно народные, гуманистические тенденции, способствующие нравственному возвышению человека, которым принадлежит созидательная, благородная функция сближения людей, расширения культурного обмена и, следовательно, углубления взаимопонимания и укрепления дружеских отношений между народами. В интересах утверждения в современном мире приоритета общечеловеческих ценностей следует отказаться от «проработок» и «поучений» всех тех, кто не согласен с нами, от борьбы со всем тем, что казалось и кажется нам противоречащим марксизму. При всей своей гениальности классики

марксизма-ленинизма не могли, да они и не ставили перед собой такой задачи, точно предсказать будущее. Поэтому малопродуктивными представляются попытки тех наших обществоведов, кто, исследуя современную реальность во всем ее многообразии и противоречиях, обязательно стремится подкрепить свои рассуждения и выводы цитатами из тех работ классиков марксизма-ленинизма, которые содержат гениальные предвидения и гипотезы, а не ответы на вопросы, касающиеся современной действительности (где, вопреки прогнозам, религия не сдает своих позиций). Творческий марксизм предусматривает диалог, сопоставление различных точек зрения, поиск таких решений, которые бы соответствовали не букве, а духу учения классиков марксизма-ленинизма. «Все миропонимание... Маркса — это не доктрина, а метод, — пишет Ф. Энгельс. — Оно дает не готовые догмы, а отправные пункты для дальнейшего исследования и метод *для* этого исследования»[1].

В заключение я хочу поблагодарить нашего друга Грэма Грина за участие в организованной по инициативе Института мировой литературы имени Горького дискуссии по этой важной проблеме, проблеме, требующей пересмотра казавшихся ранее бесспорными оценок и выводов, выдвижения новых идей, определения путей дальнейших научных поисков.

Епископ НЮКШ. Я не собирался выступать, но, послушав других, решил также сказать несколько слов.

Если речь идет о коммунизме и христианстве, то главное здесь, думаю, это — видение человека. Человека как такового, как личности и человека как члена общества людей. Эти точки зрения взаимосвязаны.

Христианство видит человека в перспективе вечности. Человек рождается, развивается и вместе с другими людьми стремится к улучшению жизни на этой земле. В то же время он знает, что родился для вечной жизни, которую может унаследовать после смерти. Верующий знает, что за свои дела и поступки он ответствен перед Богом, от которого ничего невозможно скрыть. Нередко упрекают верующих в том, что они все переводят в потустороннюю жизнь, как бы уходят от забот об улучшении жизни на этой земле. Это совсем не так. Сейчас даже в высокой теологии формулируется то, о чем всегда говорим, во что всегда верим, но что не так ярко выражалось формально. Речь о том, что, по учению Церкви Христовой, то вечное Царство Небесное, к которому стремятся верующие, начинается уже здесь, на земле. Земная жизнь для верующего — это определенный этап продвижения к вечной жизни, этап самосовершенствования и отдачи, после которого наступит полнота жизни.

Вопрос о том, насколько коммунизм связан с материализмом. Так ли неразрывна эта связь? Мне кажется, коммунисты, которые верят в бога, есть только за границей. Насколько я знаю, присутствующий здесь писатель Грэм Грин — католик и коммунист...

П. ПАЛИЕВСКИЙ. Он не коммунист, он был в юности кандидатом в партию в течение нескольких недель...

Епископ НЮКШ. Я ошибся, значит. Если за основополагающую берется материалистическая точка зрения, то тогда человек расценивается как временно живущий. Жизнь на этой земле для него все. Потом — небытие. Я думаю, что это может привести к некоторому ложному пониманию этой жизни. Ведь неверующий может рассуждать примерно так: вот, мне отведено 50, 70, 80 лет... я должен уложиться в этот промежуток времени. Буду учиться, буду овладевать навыками, чтобы потом все это мне приносило пользу. А времени-то для жизни в обрез. Надо успеть. И волей-неволей человек пытается ухватить эту жизнь, взять от нее побольше, воспользоваться своими способностями, ловкостью, чем хотите. И где гарантия, что он всем этим воспользуется наилучшим образом, что он будет жить, учитывая интересы других, помогая другим и жертвуя собой ради блага других? Тем более, если об этих его благородных поступках никто не узнает, никто здесь этого не оценит и не вознаградит. А после ведь небытие!

Это некоторые мои сомнения по поводу материалистической точки зрения на человека, которая в каком-то смысле связана с коммунизмом.

Вот таковы, как я понимаю, два взгляда на нашу жизнь на этой земле, лучше понять которую мы здесь пытаемся. Спасибо.

П. ПАЛИЕВСКИЙ. Несколько записок получил владыка Филарет. Предоставляю ему слово для ответа на них.

Митрополит ФИЛАРЕТ. В одной из записок спрашивается, как Русская Православная Церковь может принимать участие в делах милосердия.

Безусловно, Русская Православная Церковь, как, насколько мне известно, и другие церкви и религиозные объединения в нашей стране, уже делает первые шаги в этой области. Я думаю, вы знакомы с очерками, которые были опубликованы в прессе, и фотографией, где священник Патриаршего собора запечатлен у койки больной перед причастием. Некоторые храмы Москвы уже вступили в контакт с директорами больниц и организуют верующих того или иного прихода для помощи в больницах в качестве младшего медицинского персонала. Но это робкое начало. Это тоже для нас, прямо скажем, неожиданность. Русская Православная Церковь имела прежде другую практику. Она содержала больницы и приюты, где организовывала все от начала до конца. Прийти куда-то со своими услугами — это немного другой род деятельности: один врач принимает этих желающих потрудиться, другой смотрит на это искоса. Возникают конфликты, недопонимание. Так что это все только начало, но доброе начало. И

[1] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 39, с. 352.

мы, в отличие от одного из выступавших здесь, который без перспектив смотрит на наш диалог и сотрудничество, все-таки настроены оптимистично. Мы верим, что в социалистическом обществе удастся милосердие сочетать и с христианским и с марксистским мировоззрением. Не знаю, ответил ли я на ваш вопрос.

Другая записка — от студентки филологического факультета МГУ, содержит обыденный вопрос: где можно купить Библию? Я должен, конечно, вам подарить. У нас действительно вышло юбилейное издание Библии мизерным тиражом 100 тысяч. В общем-то, бродит мысль в издательстве «Художественная литература» издать Библию как памятник литературы величайшего духовного значения.

У нас есть прецедент — Коран два раза выходил в государственном издательстве. Может быть, и Библию можно будет увидеть на полках наших магазинов?

Русская Православная Церковь использует сейчас открывшуюся возможность и принимает подарки из-за рубежа. Так мы приняли дар Библейского института в Стокгольме, и сейчас к нам постепенно поступают 150 тысяч экземпляров толковой Библии (это Библия с комментариями выдающихся русских богословов начала этого века, изданная профессором Лопухиным). Это прекрасное издание, которое сосредоточило в себе все последние (на то время) достижения библейской науки. И вот эта Библия, изданная в свое время в 12-ти томах, вышла сейчас в 3-х томах. 150 тысяч, конечно, не столь большое количество. Но это сугубо научное издание. Оно нужно для духовных школ, для приходского духовенства как помощь при подготовке к проповедям. Оно не для широкого круга читателей, хотя интерес к ней очень большой. Сейчас мы получаем ее порциями, и в Управлении делами Московской Патриархии ее распределяют среди наших епархий. Я думаю, что и вы можете получить определенное количество — обратитесь к владыке митрополиту Владимиру, управляющему делами.

В наши отечественные научные учреждения мы уже выделили некоторое количество этих Библий. Мы получаем также еще один дар, на этот раз из ФРГ — 100 тысяч экземпляров Библии на украинском языке, естественно, для нашего украинского экзархата. Несколько машин уже пришло, и верующие украинцы с радостью читают Библию на родном языке.

Уж коль зашла об этом речь, скажу о том, что я имел встречу с профессором Мальдисом, нашим историком и филологом из Белоруссии. Мы с ним оговаривали создание группы белорусских филологов для перевода Нового Завета на белорусский язык.

Д. УРНОВ. Позвольте привести мнение Грэма Грина по вопросу, который мы обсуждаем. «Коммунизм представляет угрозу для богатых, иногда — для интеллигентов. Но беднякам и безграмотным нечего терять при коммунизме. Есть только одного рода человек, которому угрожает коммунизм, беден ли он, этот человек, богат, образован или безграмотен, этот человек — христианин».

Так было сказано Грэмом Грином в 1948 году, и никогда, прежде или впоследствии, от подобной мысли он не отказывался. Ведь этому посвящены многие и притом основные его книги. Именно целые книги, романы, а не только отдельные высказывания, что приходится подчеркивать, ибо с помощью интерпретационных ухищрений нередко доказывают, будто писатель может высказываться в одном духе, а творить совершенно в другом. Но в случае с Грэмом Грином и ухищрения не помогут: он посвятил непримиримости коммунизма и христианства ряд произведений, прежде всего, конечно, «Власть и славу» (точнее, «Силу и славу», если учесть, что Грэм Грин, по своему обыкновению, сделал названием цитату из классики, взяв на этот раз строку Байрона «Сила и слава войны»...).

Реплика с места. Это Евангелие: «...ибо Твое есть Царство и сила и слава вовеки».

Д. УРНОВ. У меня была печальная участь высказаться против публикации у нас этого романа. Но сколь ни печальна моя участь, я от нее не отрекаюсь, не раскаиваюсь. Мое мнение не против издания книги в принципе было направлено, а против издания искажающего, внедряющего книгу в сознание нашего читателя совсем под другим флагом, чем она на самом деле написана. А это было, мне казалось, неизбежным. Так произошло и с «Тихим американцем» — первым из романов Грина, у нас появившихся, на обсуждении которого в Иностранной комиссии Союза писателей я присутствовал еще студентом. Серьезное было обсуждение, в нем принимали участие наши крупнейшие специалисты по зарубежной литературе, но именно потому, что обсуждение было серьезным и все вещи в ходе этого совещания назывались своими именами, собравшиеся пришли к выводу, что роман, конечно, может быть опубликован, однако с сокращениями, поскольку автор осуждает в этом романе и тех и других, и «левых» и «правых». Позиция «над схваткой» и была исправлена с помощью купюр. То же самое произошло с другим романом Грэма Грина — «Наш человек в Гаване». А когда я читал рукопись перевода «Силы и славы», то видел предложения сокращений и различного рода смягчений текста, начиная с революционных (и жестоких) «красных рубашек», цвет которых предполагалось как-то слегка изменить, смягчить. А каков у них цвет в опубликованном варианте? Появившегося у нас в печати текста я с оригиналом не сличал, но подан ли этот роман нашим читателям так, как он написан,— как произведение религиозное и антиреволюционное?

Занимаясь изучением творчества Грэма Грина в самом деле еще со студенческой скамьи, я мог наблюдать плачевную закономерность: одних вещей о Грине нельзя было высказать в 1950-х годах, других — в 1980-х. И это касается не только Грина, но и, например, одного из основных его учителей — Джойса: некогда нам запрещали даже произносить это имя, а теперь не дают выска-

зать того, что о нем думаешь. Самое поразительное, что в разных ролях нередко выступают одни и те же люди, которые лет тридцать — сорок тому назад были запретителями того, чему теперь являются защитниками. Своего рода эпос, охватывающий, как эпосу положено, всю нашу историю, начиная с первых послереволюционных лет, был на эту тему составлен Михаилом Лифшицем. Это «Воспоминания о мыслях» в его книге «Мифология древняя и современная» Вот чудеса! Когда же это кончится? Когда мы начнем оценивать литературные явления, отечественные и зарубежные, не конъюнктурно, а по существу?

Если люди, считавшие нецелесообразным издание у нас полного текста романа «Тихий американец», исходили из определенных идейных соображений, так еще раньше в свое время и роман «Сила и слава» (1940) не издавали у нас сознательно, при учете того, о чем этот роман написан: о тщете революционных преобразований, о несостоятельности омирщенного, гуманистического мировоззрения, о необходимости веры. Воззрения Грэма Грина на религию, положим, неортодоксальны, и поэтому роман был осужден папской канцелярией, все эти препятствия на пути романа, с той и с другой стороны, воздвигались, повторяю, сознательно, по существу, и нам, не только читающим роман, но даже сидящим за одним «круглым столом» с автором все того же романа, надлежит тем более не упускать из виду существа дела. Собственно, это и надо прояснить: чем же мы занимаемся? Изыскиваем ли пути и средства для того, чтобы обойти вопрос, который прежде решался наложением на него запрета, или же мы в самом деле ищем, а может быть, даже и нашли решение трудного вопроса?

Уже высказываются вполне определенные мнения о том, что мирская, основанная на материализме мораль свое отжила или, по крайней мере, показала свою неполноценность, недостаточность. Что ж, прежде всего тем людям, чьи достижения связаны преимущественно с этой самой ныне ими отвергаемой моралью, следует вместе с ней сойти со сцены, так сказать, очистить помещение, уступив свое место людям другой морали или же понимающим по-другому материалистическую мораль, если, конечно, у них нет намерений все-таки справить именины и на Антона и на Онуфрия. (Смотри об этом в вышеназванных «Воспоминаниях» Михаила Лифшица.)

Если же обратиться опять-таки к Грэму Грину, который по данному поводу всегда думал так, как он высказался в 1948 году, на середине своего творческого пути, то его позицию можно считать подстрочным примечанием к позиции Федора Михайловича Достоевского: человек «неправилен», то есть греховен в своей основе, по природе, и на самом деле не блага собственного и всеобщего он хочет, а дорог ему самый процесс хотения, своего волеизъявления. «Мы добьемся того, что люди не будут страдать»,— так в романе «Сила и слава» говорит гуманист мирского толка. «А что если они хотят страдать?» — отвечает ему священник, и посему, с его точки зрения, разделяемой автором, усилия всевозможных преобразователей бесплодны: человек спасается только «во Христе», то есть верой.

Уже у Достоевского религия и церковь изображались неканонически, что квалифицированные церковники (типа Константина Леонтьева) тут же отметили, указав, что под видом христианства Достоевский, так сказать, протаскивает обычную, как выразился Леонтьев, общегуманитарную, эгалитарную, демократическую мораль. В изображении церкви Грэм Грин пошел еще дальше (почему его роман и был осужден Ватиканом), у Грина религия совсем внецерковная: в романе «Сила и слава» священник, основной персонаж,— «плохой», порченый, это изгнанный из церкви служитель культа, попропойца и к тому же развратник, но именно он истово и результативно служит своему делу — Богу, он, по Грину, есть современный Христос, и он людям нужнее, чем любые другие благодетели рода человеческого, в том числе и прежде всего революционеры.

Тем, кто скажет, что в своем романе Грэм Грин и революцию изображал также «плохую», «неправильную», представлявшую собой путаную цепь конфликтов между разными силами и партиями, тому можно ответить, что конкретный, мексиканский, материал Грином лишь взят за основу, Грин говорит о революции в принципе, а не только в Мексике (как иногда у нас, ради спасения положения, пытались это представить). Одним словом, Грин не оставляет нам лазеек при обсуждении вопроса о совместимости веры в общественный прогресс и — в Бога.

«Мы с вами во многом согласны»,— говорит все тот же священник все тому же гуманисту, блюстителю порядка, и к этому «многому» относится прежде всего сама установка на большие идеи, масштабные задачи по спасению человечества. Однако давно позади те времена, когда идеи «спасения» в революционном и религиозном смысле сколько-нибудь совпадали. Для всякого серьезно относящегося к своим убеждениям верующего (а таковым в романе Грина является «плохой поп») совершенно ясно, что религия, утратив хилиастический смысл, то есть отказавшись от обещаний «царства Божьего на земле», сохранила значение общественной психотерапии, наркотического средства, способного облегчить бремя жизни, и только такой жизни, какой она была, есть и будет — с неправдой, бесправием, бедностью и прочими социальными бедствиями. Более того, как похмелье есть наиболее благоприятный момент для того, чтобы ощутить всю целительную силу алкоголя, так и земные страдания лучше всего, по контрасту, обеспечивают понимание божьей благодати. В своей импровизированной проповеди гонимый священник прямо развивает эту мысль: если тебя не будут бить, обманывать, притеснять, преследовать, то зачем же тогда обращаться к Богу за успокоением? Чем хуже тебе, тем лучше оценишь ты благодать, то минутное облегчение, которое приносит, например, исповедь. «Му́ка,— говорит священник,— входит в наслаждение». Собственно, мучения оказываются основным условием, обеспечивающим действенность того «наслажде-

ния», которое скрывающийся от властей священник, исповедуя и причащая, приносит своей случайной пастве, и тут уже нет ничего общего с идеей искоренения общественных зол. Напротив, такой христианин, который обходится слабыми утешениями (изображаемый Грином священник признает слабость), нуждается в самом деле во зле ради того, чтобы утешения на него подействовали. Поэтому идеи коммунизма, то есть социальной справедливости, это для него худшая угроза.

Преследуя священника и споря с ним, лейтенант-реформатор так и говорит, что церковь практически ничем не помогала страждущим, она паразитировала на страданиях и потому должна быть уничтожена вместе с источниками общих страданий.

Противостояние обозначено достаточно ясно. Если верить вместе со священником, что «хорошими» люди все равно не станут, и ничего в их существовании не изменишь и как-то утешать их все равно придется, тогда сила и слава остаются на стороне религии. Если же думать, что прогресс, несмотря на все задержки и отклонения, все-таки совершается, просветляя людей и действительно изменяя их самих, тогда мы оказываемся ближе к лейтенанту, оппоненту «плохого священника». Разумеется, речь идет не меньше чем о благе человека, не просто о его благополучии. Если же идею блага подменить благополучием, тогда все священники, «плохие» и «хорошие», только посмеются над нами. У Грина «плохой поп» это и говорит: «Нет смысла стремиться к вашей цели, если вы сами не являетесь хорошими людьми (перевожу подстрочно). А у вас, в вашей партии, не всегда все будут хорошими. Поэтому будут у вас и голод, и наказания, и стремление обогатиться во что бы то ни стало».

Основной урок, который мы извлекаем из нашей истории, это неравномерность развития. Не настает такого прекрасного утра, когда вдруг все становится «хорошим», а стало быть, и религии находится место в нашем омирщенном обществе Здесь уже говорилось о том, что идеологически совместить коммунизм и христианство, конечно, невозможно. Значит, речь идет об организационном диалоге, об организационном сотрудничестве. Это совершенно другой вопрос. Действительно, в организационном плане мы можем наладить диалог, и такой диалог между церковью и государством, между коммунизмом и христианством, между марксизмом и религией возможен как урок того плюрализма, к которому нас призывают сегодня.

П. ПАЛИЕВСКИЙ. Приглашаем к микрофону товарища из зала, который просит слова для выступления. Представьтесь, пожалуйста.

И. СЕНЯВИН. Игорь Иванович Сенявин, художник и публицист. До 1976 года жил в Ленинграде. Основная жизнь и деятельность протекала в среде неофициальной культуры. В 1976 году эмигрировал: встал выбор — или в Сибирь пилить дровишки, или на Запад. С 76-го по 87-й жил в Нью-Йорке. В 87-м вернулся на родину. Живу в Москве. Счастлив как никогда. Основное творчество: живопись (модерн), публицистика (в различных эмигрантских изданиях).

Об идеологической несовместимости коммунизма и христианства. На эту тему почти единогласно высказались несколько человек и, к удивлению, наиболее непримиримо Валентин Распутин.

Да, совершено столько зла, преднамеренного и непреднамеренного, что для многих великая идея дискредитирована.

В Новом Завете первые христианские апостолы организовали общины, в которых идея коммунизма была реализована в чистом виде. Уверовавшие в Христа ожидали немедленного пришествия Царства Божия. В преддверии наступления его складывали имущество и жили вместе. Как птицы небесные — по завету своего Учителя. Позднее эти общины распались, потому что они не учитывали экономическо-производственный аспект жизни.

Коммунизм в своем первичном понятии — это мечта человечества о справедливой жизни. Уничтожь ее — исчезнет цель исторического развития, жизнь утратит смысл.

Проповедь Христа была учением о справедливой жизни на основе новой морали. Поэтому нет несовместимости коммунизма и христианства. Лишь с извращенным коммунизмом несовместимо христианство.

Коммунизм в нашей стране реализовался на материалистической основе. Человек, отрезав себя от предшествующей истории, уповая лишь на собственные ограниченные силы, начал строительство материалистического коммунизма без помощи Божией. Произошло вторжение в бесконечное конечного, которое выдавало себя за бесконечное.

Православная (и не только) церковь для подобного коммунизма оказалась конкурентом. Все накопленные в веках семейные, патриотические, государственные ценности расценивались как враждебные. Этот атеистический, воинствующий материализм в своей гордости не заметил, что его победе способствовала мечта Руси о Беловодье (о светлом чистом царстве). Вместо того, чтобы протянуть руку церкви — этому средоточию накопленной в веках духовности,— материалистический коммунизм начал с разрушения. С разрушения существовавшего государства и церкви, которая выполняла две задачи — была идеологическим институтом государства и была духовным центром народной жизни.

С уничтожением церкви начал иссякать источник нравственности и духовности народа. Используя накопленные в веках материальные и духовные силы народа, коммунизм в атеистической форме первоначально делал видимые успехи. Но с неизбежностью наступили времена, когда эти силы истощились. Ныне мы пришли к ясному осознанию, что без церкви, без исторической народной Веры обойтись нельзя. Поставлен великий эксперимент в истории человечества, пришла пора делать вывод.

Остается один путь: объединить и совместить обе силы — коммунистическую мечту о построении Царства Божия своими силами

и христианскую веру в преображение жизни с Божией помощью.

Благодарю за внимание.

Т. ЛАНИНА. Я также прошу слова в связи с выступлением Дмитрия Михайловича Урнова.

П. ПАЛИЕВСКИЙ. Слово имеет критик, сотрудница журнала «Иностранная литература» Татьяна Владимировна Ланина.

Т. ЛАНИНА. Я хотела бы вернуться к творчеству Грина. Прежде всего я хочу успокоить Дмитрия Михайловича и всех присутствующих: роман «Сила и слава» опубликован у нас в журнале полностью, без каких-либо купюр и изменений, и «красные рубашки» реально существовавших военизированных отрядов не потеряли своего красного цвета, что легко проверить. Не знаю, кому могло прийти в голову намерение их перекрасить, это ведь не вымысел Грина (отряды были созданы в начале 30-х годов, в 1936 году распущены), так же достоверна и общая картина штата Табаско тех лет — разрушенные церкви, преследования священников, бесплодные попытки террором выжечь верования крестьян. Разумеется, смысл романа-притчи не сводится к некоему уроку реальной истории, однако и эта сторона, как всегда для Грина, существенна. Впрочем, я хотела лишь подчеркнуть, что в тексте не сделано никаких купюр, и теперь уж дело критики всесторонне его осмысливать.

Поскольку я была сторонницей публикации романа, не могу не выразить своего удовлетворения Однако, к сожалению,— и здесь я совершенно согласна с Дмитрием Михайловичем,— полное, без тенденциозных купюр, издание произведений писателя, которого мы сами называем классиком, скорее является исключением, чем правилом. Даже сейчас. Вот некоторые «свежие» примеры. В одном из лучших романов Грина «Человеческий фактор» выброшена целая глава, причем ключевая, заставляющая по-новому осмыслить сюжет. Таких купюр я не помню и в худшие времена. Далее. Мне стали известны планы одного из издательств выпустить автобиографическую книгу «Пути спасения» в виде отрывков или избранных глав, но ведь заранее можно сказать, какие сюжеты наверняка будут опущены! И все это происходит в то время, когда мы полностью печатаем романы Оруэлла или Кёстлера.

Иногда мне кажется, что тяга к купюрам, желание подровнять, причесать, подправить пробуждается при одном имени Грэма Грина, что в тяге этой есть нечто мистическое, необъяснимое, словно какая-то таинственная сила, стоящая выше отдельных человеческих воль, начинает править бал — как какой-то оживший гриновский фантом, подмеченный Петром Васильевичем в статье «Фантомы Грэма Грина». Словно страх перед «чужой идеей» угнездился где-то в подкорке. И мы не даем права персонажу по-своему думать о Праге 68 года или убираем тупого агента КГБ, как вымарывали раньше труп вьетнамца, изуродованный той, «нашей» стороной, да и Грин, к сожалению, дает разрешение на купюры или журнальные варианты,— общий смысл романов, в конце концов, вроде бы сохранен. Однако сохранен ли? И разве не для нас самих нужно сейчас избавляться от могучей силы инерции не только издательской практики, но и мышления?

Пользуясь тем, что здесь собрались специалисты, от которых во многом зависят будущие издания, я предлагаю не спешить отметиться к юбилею писателя, не суетиться, а хотя бы начать подготовку представительного собрания сочинений Грина, скажем, в десяти томах, отказавшись от неудачных переводов, от всех ранее сделанных сокращений.

Теперь по существу. Я решительно не могу согласиться с тем, что Дмитрий Михайлович представляет Грина — политика, религиозного мыслителя, писателя — прежде всего как идеолога, всю жизнь защищающего в своем творчестве чистоту и последовательность собственной идеологии. Мне хотелось бы в связи с этим напомнить некоторые ключевые, на мой взгляд, высказывания Грина, многие из которых он повторяет в течение по крайней мере полувека, так что они отлились в своего рода формулы. Потому что мне-то как раз кажется, что Грин никогда не был «удобным» ни для государства (дружба с «изменником» Филби или запрет печатать свои произведения в Советском Союзе в знак протеста против арестов и высылки «диссидентов»), ни для ортодоксов-католиков (любопытно, что не только Священная канцелярия при Писсаро, но и правоверный католик Франко запрещали «Силу и славу»),— неудобен для какой бы то ни было идеологии как замкнутой в жесткую логическую цепочку системы истин или догматов: «Вера, но не вероучение», «Я — католик-еретик». Сомнение как составная веры, как двигатель «дерзкой индивидуальной мысли» (так он говорит, например, об Унамуно), парадокс, тяга к экстремальным и пограничным ситуациям, вывертывание наизнанку привычных представлений — все это связано и с творческой установкой Грина, и с самим характером его мышления. Писатель, утверждает он, «должен быть нелояльным». «Истинное призвание побуждает писателя быть протестантом в католической стране, католиком — в протестантском обществе, видеть достоинства капитализма в коммунистическом государстве, а достоинства коммунизма — в капиталистическом... Пропаганда занимается тем, что привлекает симпатии к определенному лагерю: тому, который автор считает правым. Но задача романиста — перевоплощаться в каждое человеческое существо, будь то виновный или невинный». Интервьюеры разных стран и в разные годы обращались к Грину: «Мистер Грин, вы, католический писатель...» И каждый раз Грин терпеливо (а ведь, наверное, так надоело) отвечает формулой: «Я не католический писатель, я писатель, которому случилось быть католиком»

Я вовсе не хочу с помощью этих цитат возобновить старый спор между «благодаристами» и «вопрекистами» или нарисовать этакого анархиста, выступающего против самих институтов государства и тем более церкви. Думаю, что, как и шестьдесят лет назад, когда юношей он «выбрал» католи-

ческую церковь (известно, что он именно выбрал), Грин считает себя принадлежащим к ее лону, ответственным за ее ошибки и за ее будущее. Его позиция — это, разумеется, позиция религиозного мыслителя, но мыслителя, исходящего не из догм, а из опыта, в том числе и писательского.

И священник из «Силы и славы» дорог Грину совсем не своими часто беспомощными богословскими аргументами. Дмитрий Михайлович, всерьез разбирая его лихорадочную проповедь как символ веры самого автора, делая из этого далеко идущие выводы, мне кажется, обманулся. В самом деле. «Молитесь,— говорил священник,— чтобы Господь послал вам все больше и больше страданий... Полиция, которая следит за вами; солдаты, которые собирают с вас налоги; хефе, который бьет вас, когда вы по бедности не можете платить ему; черная оспа, лихорадка, голод — все это приближает вас к райскому блаженству». Неужели можно всерьез считать, что для Грина суть христианской этики в том, чтобы желать народу полицейского режима, голода и черной оспы? А может быть, наоборот, это явная пародия, явный вызов схоластике, а страдающий грешный священник дорог писателю совсем не своими беспомощными аргументами? «Жизнь вышелушила из его памяти все, кроме простейших понятий о тайне Бога». Вот такому «отшелушенному» от схоластики и благочестия священнику, который только начинает постигать чувства вины и сострадания, и доверил Грин, говоря словами Аверинцева, «свои святыни».

И последнее. Если проследить, когда и как зарождалась мысль Грина о том, что две веры, два идеала не должны лишь сосуществовать, что у них есть общее поле деятельности, то, очевидно, сразу же приходят в голову роман «Комедианты» (1966 год) и тогда же написанное эссе «Марксист-еретик» — о встрече писателя с Фиделем Кастро (кстати, книга «Фидель и религия. Беседы с фреем Бетту» у нас переведена по необъяснимым причинам для спецфонда). Затем, разумеется, «Монсеньор Кихот»[1], 1982 год. (Если бы мы опубликовали этот роман хоть на два-три года раньше!)

Но вот что удивительно. Сам Грин считает, как мне уже приходилось писать, что в его творчестве, в литературном образе, впервые эта мысль забрезжила еще в «Силе и славе» (1940 год). Роман этот он называет «Первым опытом «богословия освобождения»: церковь должна сделать выбор в пользу бедных». Так из столкновения противоположных идей независимо от воли автора зарождалась обновленческая мысль.

Наши успехи в сегодняшнем диалоге, на мой взгляд, во многом зависят от того, сумеем ли мы преодолеть силу инерции, отшелушить отжившие идеологические схемы и понять, что «чужие идеи» — как и собственные мнения — могут стать новым импульсом в поисках истины. («Мне кажется,— сказал недавно Грин,— что мы могли бы сблизиться в какой-то мере именно благодаря нашим сомнениям».) А книги — у них своя непредсказуемая судьба. Кто мог предполагать, что «Мастер и Маргарита» или «Бесы» станут у нас к концу XX века настольными книгами? Книги надо издавать самые разные, без купюр.

ЛАСЛО РОБЕРТ. Мой уважаемый сосед, священник из Риги, сказал, что в его стране нет таких коммунистов, которые верят в бога, а в других странах они есть, и надо бы нам над этим задуматься. Я не христианин, я родился в еврейской семье, но, несмотря на это, вероисповедание, религия, никакие догмы никогда меня не связывали. Я марксист, вступил в партию в 1941 году, прошел через тюрьмы, но — иногда — я верю в бога. Я не отошел, не отступился от марксизма. Не излечили меня от него и горькие пилюли идолопоклонничества, вытеснившего подлинное служение идеалам. Я и сегодня верующий коммунист. Я верю в спасение мира и в Спасителя.

Но слепо ни одну веру я не исповедую. Я не знаю ничего более значительного, чем сделанный Марксом экономический анализ общества — главным образом современной ему эпохи. Я не сомневаюсь в истинности исторического материализма. Но я не уверен в том, что диалектический материализм Маркса дает ответы на все вопросы, что он способен объяснить и то, что я чувствую, и то, что ощущаю. А впрочем, причина моих сомнений, возможно, кроется в недостатке моих познаний в философии, естественных науках.

Сталин часто употреблял фразу о том, что религия — опиум народа. Вероятно, Сталин не знал, что, когда у Маркса болела спина, он прибегал к помощи опиума, но не как наркотика, а как лекарства. «Религия, конечно, может оглупить людей, но это же с ними может сделать и атеизм» — таким заявлением поразил нас недавно один известный математик. Я не думаю, чтобы меня сильно оглупил атеизм. Наоборот, я убежден, что идолопоклонничество, сталинский вульгарный материализм, фальсифицирующий Маркса и Ленина, воспринимались бы мной, атеистом или же не атеистом, однозначно — не только как противное Богу, но как бесчеловечное дело.

Лет десять назад отдел пропаганды и агитации ЦК моей партии привлек меня к ответственности за то, что, как они предположили, я не являюсь атеистом. Хотя тогда еще я сам для себя не решил этого вопроса: относительно моего атеизма.

Марксистам, моим духовным наставникам, я действительно многим обязан. Их диалектический метод мышления в значительной степени повлиял и на меня, «материализовался» во мне. Я, между прочим, благодарен и отделу пропаганды и агитации за то, что вызвали меня тогда и невольно заставили надо многим задуматься, многое переосмыслить. В соответствии с уставом меня могли бы исключить из партии или вынести дисциплинарное взыскание. Но бюрократия и у нас плохо работает — меня до сих пор из партии не исключили. А вот если бы я родился испанцем, то тогда, даже будучи верующим, в принципе мог бы стать Генеральным секретарем Испанской коммунистической партии. Это не противоречит уставу и Итальянской компартии и компартий в странах Латинской Америки, а так-

[1] Роман опубликован в «ИЛ», 1989, № 1, 2. *(Прим. ред.)*

же уставу партии польских коммунистов. Папа Иоанн XXIII в одном из выступлений сказал, что среди коммунистов есть и члены иезуитского ордена. Мой барселонский товарищ, иезуит, признался мне: «С тех пор как я стал иезуитом, я стал и истинным христианином, и истинным коммунистом».

В заключение мне хотелось бы отметить, что Венгрия, если говорить об успехах, достигнутых в налаживании диалога между церковью и коммунистами, намного опережает другие социалистические страны. У нас это дело продвигается хорошо и на дипломатическом уровне — установлены отношения с Ватиканом. Но тот диалог, который наладился в верхах, пока еще с трудом пробивает себе дорогу на других уровнях. Если верующий человек захочет у нас занять какой-то общественный пост или подняться по социальной лестнице, ему это сделать будет довольно сложно. К сожалению, церковь и государство не проявляют еще достаточно гибкости и заинтересованности в этом диалоге.

Благодарю.

В. КРУПИН. Сегодняшняя встреча позволяет говорить о христианстве и коммунизме: об их противостоянии или их возможном сотрудничестве.

Бога никто не видел, говорят коммунисты, значит, его нет. Но ведь никто не видел и коммунизма. Да, не видел, отвечают коммунисты, но мы его строим. Да, и нам не дано увидеть Вседержителя, говорят верующие, но мы стараемся хоть как-то приблизиться к Его престолу.

В СССР, при Хрущеве, был обнародован и без передышки внедрялся в общественное сознание «Моральный кодекс строителя коммунизма». Невольно бросалось в глаза его почти близнецовое сходство с десятью евангельскими заповедями. Те же «не убий, не укради, не лжесвидетельствуй», изложенные современным языком. Назывались сроки прихода светлого будущего. Правда, под этим понималось решение жилищной и продовольственной проблемы, бесплатный проезд на общественном транспорте и другие сугубо материальные блага. Под духовной жизнью понималось искусство, обслуживающее такие человеколюбивые идеи. Борьба с религией продолжала быть бескомпромиссной.

Недавно я был возле деревенской церкви. В ней совершался обряд отпевания. Я спросил, кто усопший. Старушка охотно объяснила мне: «Коммуниста хороним, батюшка. Пятьдесят лет с нами боролся, весь, бедный, измучился, пусть хоть на том свете отдохнет».

Воплотившаяся в этих словах новозаветная любовь к своим гонителям показывает и силу этой любви, и разницу в подходе к жизни и смерти верующих и неверующих. Коммунизм возгласил борьбу с религией. В этой борьбе кровь лилась только с одной стороны. И так обильно, что нужны новые святцы, чтобы поминать новых мучеников нашего времени. Гонения Нерона на христиан меркнут перед массовыми казнями священников православия, начиная с восемнадцатого года. Первомученик митрополит Киевский и Галицкий Владимир, убитый возле Киево-Печерской Лавры, благословил перед смертью убийц. Лавра была отнята у церкви и возвращена только нынче. Как и Оптина Пустынь. Свершен обряд закладки храма в память тысячелетия крещения. Отменено преподавание атеизма в вузах. Эти отрадные факты говорят хотя бы о том, что более не придется читать постановлений, указывающих покончить с верой в Бога. Эдикты гонителя христиан императора Диоклетиана звучали куда милосерднее, нежели документы «Безбожной пятилетки» 1932—1937 годов. Число церквей шло к нулевой отметке, приближался период «катакомбной» церкви, но началась война. Задолго до выступления Сталина по радио, уже в первый день, 22 июня, к народу обратилась Церковь. Она призвала защищать то самое Отечество, которое уничтожало ее физически. Еще впереди прочтение этой страницы истории — участия Церкви в войне, впереди открытие преступлений против Церкви.

Митрополит Иларион в «Слове о законе и благодати» говорил о недостижимости благоденствия общества посредством закона. Закон и страх — родные братья. Можно спастись только верой и любовью. Иларион говорил о неповторимости и единственности русского пути среди других народов и государств. Теперь, когда идут бесчисленные дебаты об отставании нашей экономики и о создании правового государства в СССР, трактат Илариона послужил бы предостережением против очередных заблуждений. По экономике нам никогда не догнать ни Японию, ни ФРГ, по уровню жизни Швецию, по индустрии развлечений Америку и так далее. Да это и не наш путь. Можно быть материально и продовольственно сверхобеспеченным и быть несчастным. Литература Запада заговорила об обездоленности человека в мире изобилия. Не хочется обижать Запад, но часто видишь, что отсутствие в магазине пятишести сортов колбасы и мяса — это целая трагедия, для нас же постоянное отсутствие молока для детей — временная трудность. Почему же мы их постоянно переносим и не устраиваем по этому поводу сидячих демонстраций на Красной площади? При Сталине это было немыслимо, но сейчас почему мы терпим свои лишения? А потому, что мы стали говорить правду. Другого объяснения нет. У русского народа неисчерпаемое терпение, но при одном условии — если ему не врут. Корни этого правдолюбия уходят в историю. История России — это история православия. «Не в силе Бог, а в правде»,— сказано Александром Невским. Кто боится Бога, тот не боится никого, говорит православие.

Но почему же видеть искомое спасение несчастных и заблудших не в законе? Разве закон не защищает от посягательств на личность? Но где закон, там и преступление, там все новые и новые законы.

Идея и вера в соотнесение не одно и то же. Идея сильна тактически; вера, на первый взгляд, внешне, беззащитна. Идея посылает в бой, на смерть, и она смеет так делать, ибо никогда не сомневается в своей правоте. Проходит время, идут на смерть и на эшафот совсем за другие идеи и так далее. А побеждает Вера. Побеждает жерт-

ва, а не палач. Если и Вера истинна, то бороться с нею бесполезно: она крепнет и увеличивается. Вспомним Василия Великого, сказавшего, что ему не страшно ничего потерять, ибо ему ничего не принадлежит, не страшно заточение в тюрьму, ибо он и там будет свободен, не страшна смерть, ибо она соединит его с Богом. Закон, защищая частную собственность, делает каждого отдельного человека более сильным, но и более одиноким. Переустройство мира в сторону справедливости для коммуниста и верующего примерно, в идеале, одинаково. Но разные подходы. Для коммуниста за гробом нет ничего, для верующего смерть — соединение с Богом. И не просто соединение, а отчет за прожитую земную жизнь. А если за гробом ничего нет, то от такого сознания легко прийти ко вседозволенности. Но, возразят мне, закон не допустит вседозволенности. Да, не допустит. Но бояться совести или бояться прокурора — вещи полярные.

Вторым крупным грехопадением после случая с Евой, соблазненной Змием и соблазнившей Адама, было строение Вавилонской башни. Это первый пример коллективного впадения в гордыню вседостижимости. В наказание, как известно, единый человеческий язык был разделен на множество языков, и отсюда началась эра язычества. Все было в язычестве, и всего вдоволь: нарядов и золота, хлеба и зрелищ. И надо всем этим возобладали пороки, разврат и насилие. Иисус Христос был послан на землю, чтобы спасти стремительно гибнущий мир. Крещение Руси помогло выстоять ей в схватке с татаро-монгольским нашествием. И в схватке с Тевтонским и Левонским орденами Запада. Но история готовила православию еще более тяжелые испытания. Последствия раскола XVII века мы ощущаем доныне как потерю крепости веры в соединенности с праведностью земных трудов. Но может быть, более тяжки последствия введения в России Святейшего Синода в 1721 году. Это была попытка сделать церковь государственным органом. В указе о Синоде Петр I называл его обер-прокурора «оком Государя и стряпчим по делам государственным». Независимость церкви исчезла. А истина ближе к независимости, нежели к любому департаменту или ведомству. Иерархия в церкви стала напоминать государственную, монашество и старчество приходило к упадку и, если бы не подвижничество Паисия Величковского и Серафима Саровского, а затем Оптинских старцев, был бы закономерен вопрос: сохранилась ли бы святость среди златоносных, обласканных престолом церковных чиновников. Народ откликнулся на это сказками и анекдотами о попах, попадьях и их работниках. Русская литература болезненно чувствовала перевоплощение церкви, критиковала священнослужителей ума, а не души. Западная же литература и до этого пестрела изображениями развратной монашеской жизни. Мало оставалось подвижников веры. Разврат всегда более виден, нежели порядочность, и, видимо, наблюдение за нравами высших священнослужителей позволило Марксу назвать религию «опиумом народа», а Ленину «духовной сивухой». Эти случайные выражения вскоре откликнулись необратимыми потерями. Опиум и наркотики сейчас далеко не религиозны, и алкогольная сивуха тоже далеко не духовна. В борьбе с наркоманией и пьянством могла бы помочь семья, ведь она в православии — домашняя церковь, но это порушено, семья для коммунистов — ячейка общества, а это предполагает некую механическую муравьиность.

Восстановление должности Патриарха Московского и всея Руси в восемнадцатом году было актом справедливости.

Переустройство мира в сторону справедливости не может вершиться через запреты и наказания. Единственный путь — осознание собственного несовершенства и самоспасение. Самая драгоценная частная собственность — собственные мысли. И прежнее благоговение перед тайнами и таинствами. Для большинства ученых в этом мире нет ничего непознаваемого, они и на мир смотрят как на полигон для испытания своих идей, обращаются с природой как с сырьевой базой. Оттого-то меж нами и небесами чаще не облака, а дым. Авторитет социализма падал еще и потому, что насильственно был забыт тип русского ученого, который искал в науке не обслуживание ведомственных или политических идей, но реализацию данного свыше таланта и благодарность за дарованную жизнь. Наши историки обслуживали каждую новую администрацию с готовностью портовых дам, философии не было вовсе. Высочайший вопрос человечества «Что есть истина?» не ставился вообще.

Как мы выжили? Кто надеждой, кто верой, кто любовью. А в основном классикой. Хотя и объявлялся Достоевский реакционером и монархистом, но его учение, его любовь ко Христу легко победили все ярлыки. И Гоголь, и Лермонтов, и Пушкин, и Тургенев,— слависты это знают лучше наших литературоведов,— глубоко религиозные люди. Как примеры в доказательство можно назвать пушкинского «Пророка» и «К Филарету», «Размышления о Божественной литургии» Гоголя, «По небу полуночи ангел летел», «Молитву» Лермонтова, «Живые мощи» Тургенева и другие произведения. Менее удачны были явные обращения к религиозной тематике: «Песнь Песней» Шолом-Алейхема, «Иуда Искариот» Леонида Андреева, «Суламифь» Куприна, «Мастер и Маргарита» Булгакова — в них был нарушен завет не упоминать имя Божие всуе. Но прочтение этой темы — писатели и религия — тоже впереди.

Недостаток времени не позволяет более подробно говорить о сопоставлении идеи и веры, силы и совести, власти светской и власти духовной.... Достаточно упомянуть, что от всякой власти истинно верующий человек бежит, вспоминая великопостную молитву Ефрема Сирина, просящего Творца избавить от любоначалия и празднословия, власть же светская достигается непрерывными сделками с совестью. Но надо сказать главное: все думающие, ищущие люди идут к истине, но идут по-разному. Путем мысли к истине прийти невозможно, почему? Потому что истина — форма добра. Потому что мысль имеет словесный эквивалент, а чувство невыразимо.

Мы часто говорим: дух дышит где хочет. Это стало общим местом. Где больше святости — в величественном, подавляющем своим величием соборе святого Петра в Риме или в бедной деревенской часовне? Мы не знаем. Наши попытки знать ведут к новым попыткам. Мы забыли, что мысль — это не содержание жизни, это только орудие исследования жизни. В теперешнем человеке многое поставлено вверх дном, в нем, как в государстве после военного переворота, главное — оружие. Но это оружие позволило все-таки захватить такую стратегическую высоту, с которой видно, что главное в человеке все-таки — душа. И эту высоту надо удержать.

Палкой в рай не загонишь, рая на земле не будет никогда.

Сейчас по воскресным дням у церквей стоянки детских колясок — идет повсеместное крещение новорожденных. Народ поддерживает церковь. Но народ поддерживает и партию.

Дело за небольшим, дело в сотрудничестве.

ГРЭМ ГРИН. Я хотел бы поблагодарить всех присутствующих за гостеприимство.

Должен признаться, что, когда я принял католицизм, это было в 1926 году, веры у меня не прибавилось...

У меня всегда было ощущение, что существует какая-то отдаленная связь между римско-католической церковью и коммунистическим движением. Римско-католическая церковь совершала ошибки — могу сослаться, например, на папу Александра VI,— такие же, на мой взгляд, что и последователи коммунистической доктрины. С другой стороны, и мы, и коммунистические партии пытались делать добро в мире.

Сейчас мы, католики, переживаем такой этап, когда у нас происходит нечто сходное с тем, что происходит в вашем обществе,— своего рода процесс гласности. Хотя, может быть, это происходит вопреки воле папы. Сейчас у нас, как и в 60-е годы, наступает процесс обновления, связанный с распространением теологии освобождения.

В последние двадцать лет я очень часто бывал в Латинской Америке. И я наблюдал, как осуществляется сотрудничество между марксистами и католической церковью, например, в Никарагуа. Мой друг — поэт и министр Томас Борхе — марксист по убеждению. Мой другой друг — тоже министр, иезуит. Еще один мой знакомый — министр иностранных дел — также священник. Я не могу сказать, что это различие во взглядах приводит к каким-то конфликтам.

Но я думаю, что, пожалуй, самое главное, чем должен обладать человек,— это способность к сомнению. Никто не может считать, что обладает истиной. Так же как я порой сомневаюсь в существовании Господа, так, я надеюсь, что и коммунисты иногда сомневаются в том, что коммунистическая система идеальна.

Вот все, что я хотел сказать.

И. ШАФАРЕВИЧ. Я счастлив встретиться здесь с господином Грином не только потому, что его романы доставили мне много радости в течение всей моей жизни, но особенно из-за того, что они помогли мне многое понять в вопросах, которым посвящена сегодняшняя встреча.

Вопрос о взаимоотношениях христианства и коммунизма очень интересен. Здесь несомненно существуют некоторые параллели, приводившие к тому, что иногда коммунизм объявлялся особой религией. Я с этим не согласен, но действительно, во многих коммунистических учениях существует одна общая черта, сближающая их с христианством. Это откровение, которое они несут, откровение о смысле Истории и ее конечной цели.

Но, с другой стороны, существует и непреодолимая пропасть, разделяющая коммунизм и христианство. Она заключается в присущем коммунизму учении о «законах истории», в принципе таких же, как естественно-научные законы, управляющие неодушевленной, мертвой природой. В то время как христианство исходит из представления о живой, личностной индивидуальности или жизненном начале, лежащем в основе исторического и космического процесса. Оба эти принципа оказались исключительно притягательными для людей различного духовного склада — но они противоположны друг другу. Перефразируя Маркса, можно сказать, что в нашей стране эта противоположность была доказана не только оружием логики, но и логикой оружия. Это фундаментальный факт, понимание которого существенно для нашего будущего: любые диалоги по частным вопросам могут (если они ведутся честно) быть полезны, но в области принципов они бесперспективны.

В такой же мере, как мне кажется, принципы христианства несовместимы и с либеральным учением о прогрессе. Это не столь очевидно, как в случае с коммунизмом, но демонстрируется с полной несомненностью, когда учение о прогрессе проявляется в крайне идеолотизированной форме. Для меня откровением был великий роман Грина «Сила и слава», так же как путевые заметки «Дороги беззакония» о его путешествии по Мексике и о том, что там происходило в тридцатые годы и раньше, во время так называемого восстания «кристерос».

Храмы, взорванные или превращенные в антирелигиозные музеи и кинотеатры, казненные и замученные священники, сожженные иконы: мне все время казалось, будто я читаю о том, что происходило в нашей стране. (Трагедия, оставшаяся совершенно неизвестной нам, как и Запад почти ничего не знал о нашей трагедии тех же лет.) Но вождями атиклерикальной партии в Мексике были либеральные адвокаты и дельцы, получившие образование в США, правительство их пользовалось неограниченной поддержкой США.

Такая противоположность христианства обоим господствующим сейчас мировоззрениям таит в себе надежду; в нынешнее, чреватое кризисами время человечество имеет тем больше шансов, чем шире у него выбор среди принципиально различных взглядов на мир. В нашей стране Православная Церковь опирается на 1000-летнюю традицию — и даже гораздо более

древнюю, впитав в себя верования самых отдаленных наших предков. Сейчас у нас нет другого человеческого института, имеющего хотя бы сопоставимые по глубине корни. В наш лишенный корней век это может оказаться решающим фактором: быть может, когда-то глубоко символичная заключительная сцена романа «Сила и слава» станет осуществившимся пророчеством.

А. БУЕВСКИЙ. Прежде всего я хотел бы сказать о выдающихся достоинствах господина Грэма Грина, о его высоком таланте писателя-гуманиста. Несмотря на возраст, он напряженно продолжает свою замечательную литературную деятельность, стремится вносить свой, и немалый, вклад в укрепление дружеских отношений между народами наших стран. Подобно доброму и верному рабу из евангельской притчи о талантах, он умножил полученные от Бога дары, полагая их во благо своего народа, на пользу всего человечества. И если взять нас, небольшую группу людей, здесь собравшихся, то мы должны признать, что и для нас он что-то конкретное сделал: объединил за этим дискуссионным столом. Грэм Грин является в лучшем смысле слова активным христианином.

Говоря о диалоге между марксистами и христианами, я прежде всего хотел бы отметить, что нам, христианам, внутренне близка мысль, высказанная Михаилом Сергеевичем Горбачевым, о приоритете общечеловеческих ценностей над частными. Она в полной мере созвучна христианской точке зрения. То, что эта позиция становится позицией нашего общества, чрезвычайно ценно и важно. Я полагаю, что это должно укреплять единство нашего общества, стимулировать наше продвижение по трудным, но единственно верным путям всестороннего обновления его жизни. Мы, верующие люди, как и весь наш народ, хотим блага Отечеству и будем делать для этого все от нас зависящее.

Я приветствую все то, что здесь было сказано. Многое близко моей душе. С чем-то я не могу согласиться. Вместе с тем я убежден, что такой диалог полезен и перспективен. И вот почему. Тот же Грэм Грин создает свои произведения, исходя из своего понимания рассматриваемых проблем. Однако его произведения мы принимаем, понимаем и приветствуем, ибо они исполнены художественных достоинств, они духовно обогащают нас. Возьмем нашу литературу. Многие наши талантливые писатели не являются, по-видимому, христианами. Однако постановка ими насущных проблем жизни нашего общества, глубоко нравственное раскрытие их одинаково оцениваются по достоинству, как нерелигиозными, так и религиозными людьми. Это объединяет нас и помогает совместно трудиться на благо своего социалистического Отечества.

Церковь не может стоять в стороне от проблем, какие волнуют общество, будь то проблемы нравственности, культуры, экономики, социального развития или политической мысли. Они входят в сферу вовлеченности Церквей и религиозных объединений нашей страны и всего мира. Это огромное и благодатное поле для нашего диалога и нашего сотрудничества. Считаю необходимым развитие диалога. Он поможет нам уяснить нашу близость и общность наших задач. В процессе диалога у нас, естественно, будут возникать расхождения. Но мы будем искать то, что нас объединяет. Для этого достаточно сознавать, что все мы принадлежим к одному обществу, к одной Родине.

Я не смотрю пессимистично на стоящие проблемы. Наоборот, сегодняшняя встреча приносит истинное вдохновение и радость. Я надеюсь, что в будущем, даже если не случится подобного повода для встречи, мы сможем собраться и продолжить столь необходимый диалог.

Н. БАЛАШОВ. Я бы сказал, что наш сегодняшний диалог между идеями социального переустройства и религией — это реальный диалог, и нужно отметить, что этот диалог продолжается действительно издревле, от возникновения христианских общин, в которых встречался «коммунистический» принцип: никто из верующих «ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее... и каждому давалось, в чем кто имел нужду». Этот диалог может принимать самые различные формы, покуда, если вольно истолковать слова апостола Павла, ход истории или Провидение не «упразднит всякое начальство и всякую силу». Пока же проблемы земные между силой и Славой (с большой буквы) — Глорией небесной не исчерпаны, такой диалог продолжается и должен продолжаться.

Поэтому необходимо выделить огромную роль в таком диалоге Грэма Грина с его выдающимся произведением «Сила и Слава». Трудно было найти более неподходящий момент для такого романа. Шел 1940 год. Война, превращавшаяся в настоящую мировую, ставила свои проблемы. Ни римская курия, где недавно был избран папа Пий XII, ни другая сторона не были подготовлены к столь взвешенному и столь немыслимо правдивому разговору. Должно было пройти три-четыре десятка лет, осуществлен большой труд мысли, чтобы было оценено художественное, социальное, богословское, философское содержание романа. Вообще редко какой писатель так проникновенно, в объективной сложности, без всякой сусальности, без ощутимого давления своих христианских убеждений представлял, да еще на трудном, но значительном примере мексиканской истории, коллизию революции и веры, столкновение вполне жизненного и увлеченного своим представлением о путях социального преобразования революционера и столь по-земному грешного, но на каком-то уровне стойкого в славе служения вере священника. «Сила и Слава» — удивительная вещь по своей совершенной и убедительной неложности. Здесь нет никакой идеализации, нет никакой попытки как-то улучшить или ухудшить представление о том, что происходит. Это великое свойство романа. Я вспоминаю — ведь к тому же 1940 году в СССР был закончен другой роман, где во вставном повествовании также давался ответ на подобный

вопрос, это — «Мастер и Маргарита» Булгакова. Оба романа входили в сознание человечества одновременно. И замечательна эта одновременность еще и тем, что оба содержали великие диалоги. Правда, по характеру романа у Булгакова диалог этот несколько не так явен, затем, что выступает в форме более близкой к тому, как это изложено в Евангелии. Сразу следует напомнить, что ведущим словом вставного повествования у Булгакова является именование «добрый человек», с которым Иешуа обращается не только к Понтию Пилату, но и даже непосредственно к тем, кто бьет и оскорбляет его.

А если прочитать внимательно «Силу и Славу», то слова «добрый человек», «хороший человек», «неплохой человек» возникают в разговорах между священником и преследующим его лейтенантом-революционером не менее шести раз и тоже выступают как ключевые слова: но ключевые — и с той и с другой стороны.

Этим принципиально отличается роман Грина, и это очень важно для нашего сегодняшнего дня — для диалога христианства и коммунизма. У Булгакова Иешуа, обращаясь к игемону, хочет и его называть «добрым человеком» Зато Понтию Пилату, носителю власти и силы, потребовалось почти две тысячи лет, чтобы приготовиться к подлинному диалогу с Иисусом — богом ли, человеком ли в представлении бывшего игемона. Грин как бы начинает современное повествование там, где кончилась давняя история, рассказанная Мастером. Если психологически не сразу, то при первых же соприкосновениях антагонисты объединены пусть не одним, но существующим «параллельно» идеалом. И тот и другой, и гонимый священник, наследник принятой простым народом традиции, и полицейский лейтенант, своего рода идеалист мексиканского политического реализма десятых — начала тридцатых годов, который расстреливает священников для того, чтобы бедным людям жилось хорошо, расстреливает и этих же бедных людей, чтобы помочь им навсегда избавиться от порабощающего влияния церкви,— он ведь тоже видит в священнике «доброго человека». Оба так называют друг друга и в пределах своих убеждений по-человечески помогают друг другу. Иными словами, Грэм Грин в самый неподходящий год, когда вторая мировая война уже шла и была не в лучшей фазе, в этот момент уже начал тот диалог, который мы ведем сейчас, который история заставляет вести и который так необходим нам внутренне. Мне представляется, что это важный момент.

Если читать книгу не очень пристально, ей можно сделать с ортодоксально церковной точки зрения упрек в некотором приближении героев к евангельским персонажам. У священника есть свой Иуда, который заведомо его предаст и которому на пороге благополучного земного спасения, по свободной воле и во имя исполнения долга, он дает возможность предать себя за семьсот мексиканских песо (видимо, 30 фунтов-сребреников по тогдашнему курсу). Но романиста никак нельзя обвинить, несмотря на множество таких параллелей, в схематизации и уподоблении героя богочеловеку. В отличие от богочеловека, священник в романе Грина — человек со слабостями и грехами: от гордыни — на грани которой он нередко колеблется (один решился остаться под угрозой расстрела), но не переступает эту грань — до разных других грехов, иногда весьма малоприятного свойства (склонность к выпивке, например), образующих альянс, который кажется не совместимым ни с саном, ни вообще с верой. Лейтенант-гонитель после расстрела священника шагает, точно каждым шагом говоря: «Что я сделал, то сделал». Это является очевидной парафразой ответа Понтия Пилата первосвященникам: «Что я написал, то написал».

Однако Грин никогда не доходит до уподобления своих героев евангельским персонажам. Для него, как для верующего христианина, несомненно, что евангельские тексты дают ответ на все, не оставляя места для сомнений, являются глаголами святого духа, а роман Грина не претендует на абсолютный ответ, показывает незавершенность, открытость, бесконечность жизненных ситуаций и решений.

Это актуально для наших дней, подымает Грэма Грина как писателя. Это важно отметить еще и потому, что Грэм Грин ставит вопрос об открытости и свободе выбора в термоядерную эпоху, когда для такого выбора человечеству остается все меньше и меньше времени.

Существенно оценить в творчестве Грина, и в частности в таком «тяжелом» романе, как «Сила и Слава», оптимистическую символику веры, которую писатель вкладывает в свое произведение. Как ни тяжело для всех героев, для всех слоев населения положение в потрясенном экстремизмом контрреволюции и «красных рубашек» мексиканском штате, в котором происходят описанные события, эти места отделяет всего сорок часов на стареньком пароходе, носящем имя очередного убитого президента — «Генерал Обрегон», от города Веракрус, где царит относительное спокойствие и надежда. Веракрус — реальное название с карты Мексики, но это и «Ла Крус Вердадера» («Честной Крест»), идея прибежища, гавани спасения.

Роман остается открытым. Недостойный или достойный священник расстрелян, и в ту же ночь в город, в дом мальчика, который и пресыщен ложным благочестием, и отдален от лейтенанта, командовавшего расстрелом, приходит как бы воскресший новый скрывающийся священник...

Одна из интереснейших черт романа заключается в том, что речь идет не только о счастье или несчастье борющихся людей, не только об их страшном окружении и ожесточении, но и о надежде, о поиске подлинно свободного выбора.

Говоря о сегодняшней дискуссии, хочется выразить такое мнение: если эту дискуссию вывести на пути мирового поиска, она именно и будет такой дискуссией, которая предполагает сближение.

Открывается горизонт, на котором мировторческое сближение между коммунистической идеологией и религией можно представить себе как сближение волнообраз-

ных и далеко не строго параллельных линий, тем не менее в мировой перспективе уходящих вдаль рядом, так что кажется, будто они практически могут сойтись в борьбе за выживание человечества и человека.

П. ПАЛИЕВСКИЙ. Лишь два слова о Булгакове, который оказался немного в тени нашего уважаемого гостя. Булгаковский Пилат, конечно, понимает, кто стоит перед его судом, отсюда его смятение, и недаром говорит он Каифе: «Вспомнишь ты тогда спасенного Вар-раввана и пожалеешь, что послал на смерть философа с его мирною проповедью!».

Владыка Филарет пожелал сказать несколько слов в заключение.

Митрополит ФИЛАРЕТ. Я слишком рано высказал пожелание произнести в заключение несколько слов. Если бы я выслушал до конца выступление вашего уважаемого коллеги, то я, конечно, должен был бы отказаться от заключительного слова. Ваш анализ творчества и параллелей в произведениях Михаила Афанасьевича Булгакова и Грэма Грина очень интересен, и значение настоящей встречи прекрасно охарактеризовано.

Я хочу только повторить, что мы с большой благодарностью присутствуем здесь. Спасибо, что вы нас буквально вытащили на эту встречу, потому что мы погрязли в обыденных делах. Такая встреча прекрасна, и мы, со стороны нашей, церковной, готовы принять дальнейшее участие в диалоге, который, конечно, необходим.

Здесь наши уважаемые писатели, творчество которых я ценю и знаю как читатель, выступали с пониманием наших церковных позиций. Мы бы могли развивать мысль, ими высказанную. Она наличествует в богословской и философской литературе, как мысль о первохристианском коммунизме. У Сергея Николаевича Булгакова есть ряд очень интересных работ, которые, несомненно, могут помочь нашему современному диалогу. В настоящее время, и мы рады этому, снято вето с его имени и имен многих других выдающихся русских мыслителей, с их замечательных философских произведений. У Сергея Николаевича есть такая работа в его сборнике «Два града»: «О первохристианском коммунизме». Знание ее может помочь нашему диалогу. Это для информации. Жизнь, я думаю, нас примирит и приведет к единству действий.

Если бы вы знали, с каким благоговением работники Кремлевских музеев относятся к тому, что они хранили все эти десятилетия. Священные реликвии — мощи. И как хранили, как относились к ним! Как происходила передача нам этих мощей! Слезы подступают при воспоминании пережитого нами при той церемонии. Как мы благодарны им за такое замечательное отношение.

А вас, дорогие писатели, сердечно благодарю за приглашение и внимание.

П. ПАЛИЕВСКИЙ. Было бы опрометчиво, самонадеянно и по существу неверно давать в нашей дискуссии какой-либо завершающий вывод. Задача остается глубокой и непредвидимой с разных отдельных сторон. Год назад я был в Америке и, случайно включив телевизор, попал на репортаж из СССР сына президента Рейгана. Гудели колокола одного из наших северных монастырей. Репортер, видимо, хотел рассказать по традиционной для американцев схеме, как русские мечутся от иконы к топору и обратно,— предлагая «кусок средневековой России». И вот, поставив микрофон под бороду настоятелю, он спросил: «Как вы живете?» Последовал странно прозвучавший по-русски на американском экране ответ: «Мы живем при настоящем коммунизме. Имеем все общее, работаем сообща». Хотелось бы, чтобы вы видели при этом выражение лица сына Рейгана. Но я подумал: если коммунизм укрывается сейчас в монастырях, как первые христиане в пещерах, то где мы находимся?

Спасибо всем участникам и — безусловно — до новых встреч!

◆

Критика

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР ОБ «УЛИССЕ»

Составление ЕКАТЕРИНЫ ГЕНИЕВОЙ

РИЧАРД ОЛДИНГТОН

Влияние г-на Джеймса Джойса*

«Инглиш ревью», апрель 1921 г.

Попытка г-на Джойса чрезвычайно интересна как с точки зрения того, чего он достиг, так и с точки зрения влияния, которое он наверняка будет оказывать; достижения, я убежден, значительны, влияние, боюсь, может оказаться пагубным. Если удастся убедить молодых писателей рукоплескать г-ну Джойсу и почитать его, не подражая ему, все будет в порядке; но не похоже, чтобы это удалось...

От метода г-на Джойса до дадаизма — всего лишь шаг, а от дадаизма до сумасшествия — и того меньше. То, что для г-на Джойса (за исключением отдельных промахов) успех, для других обернется провалом из-за отсутствия его интеллектуальной силы, его удивительной наблюдательности, его памяти и интуиции, его самоконтроля в процессе творчества...

Обратимся на минуту к творчеству г-на Джойса в промежутке между «Портретом» и «Улиссом». Он, похоже, перерос незрелый натурализм «Дублинцев» и, несомненно, значительно усовершенствовался как прозаик. Это правда, что «Портрет» был отвратителен, но в нем были великолепные места; борьба между «идеализмом» Дедала и внешним миром, миром всеобщей тупости и уродства, была очень волнующей. Духовный конфликт возвышал повествование от убожества до трагедии, хотя было в нем топтание на безвкусных подробностях, что нарушало равновесие книги. Она была омерзительна во многих отношениях, но то была своего рода тонизирующая мерзость. Чувствовалось, что автор — человек редкой чуткости и таланта, избавляющийся от «гибельной дряни» — греховных снов и отголосков слащавой юности — ради обретения более здравого и ясного представления о человеческой жизни. Многие возлагали на г-на Джойса большие надежды. Я ни в коей мере не желал, чтобы он усвоил даже самую малую толику того официального оптимизма, который действует подобно яду; я не хотел, чтобы он стал «сахарным» или явил образ добросердечия и покоя в духе Ренана, что со всей очевидностью чуждо его природе. Но я надеялся, что он напишет настоящую трагедию и не вернется к гибридному жанру натуралистов, которые смешивают сатиру и трагедию и производят нечто совершенно фальшивое; я надеялся увидеть, как его персонажи выйдут на свежий воздух из того зловонного места, где они пребывают во власти Судьбы среди гниющих овощных очистков и смрадных испарений.

Теперь ясно, что надеялся я напрасно. «Улисс» ужаснее, отвратительней, жестче, язвительней, чем что бы то ни было, написанное г-ном Джойсом до сих пор. Это страшная клевета на человечество, которую у меня, по крайней мере, не хватает искусства опровергнуть, но я не сомневаюсь, что это клевета. В «Улиссе» есть смех, но это жестокий презрительный смех, очень далекий от раблезианского gros rire...

Я утверждаю более того, что когда г-н Джойс, обладающий талантами чудесными, направляет их на то, чтобы вызвать у нас отвращение к роду людскому, он занимается делом неправым и клевещет на человечество.

Таково мое мнение об «Улиссе» г-на Джойса. С точки зрения искусства у г-на Джойса есть некоторое оправдание: ему удалось написать в высшей степени необычную книгу; но с жизненной точки зрения, я уверен, он совершил ошибку. Более того, стиль г-на Джойса, которым он, как правило, удачно владеет, сколь это ни прискорбно, у его подражателей станет фальшивым, как и его философия...

Его влияние, рискну предсказать, будет значительным, но оно не может стать безоговорочно положительным. Он вызывает отвращение с определенным намерением, другие будут делать это безо всякой причины. Он невнятен, и в этой его невнятности есть смысл, но сколько же других бу-

* Другие (за небольшими исключениями) фрагменты этой статьи были напечатаны в переводе Д. Жантиевой в ее публикации «Ричард Олдингтон. Открыть красоту мира» («ИЛ» 1963, № 8). *(Прим. ред.)*

дут переносить на бумагу чистый сумбур и думать, что создают нечто высокое! Сколько дикого абсурда будет привнесено в литературу «Улиссом» в роли повивальной бабки! Сам г-н Джойс мало подвержен влиянию современников, хотя он очевидно наследует религиозным писателям, классикам и французской литературе. Русских писателей он читал, быть может, больше, чем это ему полезно. Но он не из тех поверхностных людей, которые способны принять какую-нибудь пустую выдумку за новый закон искусства; он будет жертвой подобных людей, но сам он заметно возвышается над ними...

Молодому писателю не следует пренебрегать опытом современников, но путеводными звездами должны служить ему классики. «Улисс» — опасное чтение для того, чей стиль еще не сформировался. Если бы у меня был младший друг, намеренный посвятить себя литературе, и если бы он захотел последовать моему совету, я бы прятал от него произведения г-на Джойса и склонял бы его к Паскалю и Вольтеру, а также к книгам г-на Джорджа Мура и Флобера как к изящному чтению. А вот когда он узнал бы цену ясности, сдержанности, точности — этих хороших манер литературы,— тогда я вручил бы ему книги г-на Джойса, сопроводив их восторженным панегириком и уже не так опасаясь последствий.

ВАЛЕРИ ЛАРБО

«Улисс» Джеймса Джойса

«Критерион», октябрь 1922 г.*

Читателя, который приступает к этой книге, не держа в уме все перипетии «Одиссеи», она может повергнуть в смятение. Я имею в виду, разумеется, подготовленного читателя, знающего истинную цену таким писателям, как Рабле, Монтень и Декарт, ибо читатель неподготовленный или полуподготовленный отбросит «Улисса» после первых же трех страниц...

Ничего здесь не сообщается нам в повествовательной форме, и книга эта — нечто гораздо большее, чем подробное описание дня Стивена и Блума в Дублине. В ней невероятно много другого: других персонажей, событий, описаний, разговоров, картин. Но для нас, читателей, Блум и Стивен — как бы средство передвижения. Останавливаясь в потаенных уголках их мыслей, а иногда мыслей и других персонажей, мы видим их глазами и слышим их ушами то, что происходит и что говорится вокруг...

Протагонисты «Улисса» — «принцы» (в литературном смысле слова), то есть персонажи, которые рождены из глубин внутренней жизни автора, сконструированы в соответствии с его опытом и его чувствами, наделены собственными эмоциями писателя, его собственным интеллектом и его собственным лиризмом. Разговоры здесь порой более чем типичны для представителей того или иного общественного класса; иные из них — настоящие эссе из области философии, теологии, литературной критики, политической сатиры, истории. Представлены и обсуждаются научные теории. Эти куски, которые можно было бы счесть отступлениями или даже приложениями, этюдами, сочиненными вне зависимости от книги и искуственно вставленными в нее, так точно вписываются в сюжет, в развитие действия, в атмосферу ее соответствующих частей, что мы должны признать: они принадлежат книге с тем же правом, что и персонажу, в чьи уста или мысли вложены. И мы уже не можем воспринимать восемнадцать эпизодов книги как не связанные друг с другом рассказы: Блум, Стивен, некоторые другие персонажи, иногда все вместе, иногда порознь, являются ключевыми фигурами; история, драма и комедия этого дня разыгрываются через них. Следует признать, что, хотя каждый из этих восемнадцати эпизодов отличается от всех остальных по форме и языку, в целом они тем не менее являются единым организмом — книгой.

Придя к такому выводу, мы начинаем видеть все совпадения, аналогии и соответствия между эпизодами, подобно тому, как, пристально глядя в ночное небо, мы вдруг обнаруживаем, что число звезд как будто увеличивается. Мы ищем и обнаруживаем символы, замысел, план в том, что поначалу казалось блестящей, но запутанной смесью заметок, фраз, данных, глубоких мыслей, фантазий, великолепных образов, нелепостей, комических или драматических ситуаций; и мы осознаем, что перед нами гораздо более сложная книга, чем мы предполагали, что все, кажущееся в ней случайным и порой нелепым, на самом деле обдуманно и взвешенно; короче, перед нами книга, имеющая ключ.

В чем же этот ключ? Рискну сказать, что он — в двери, то есть на обложке. Это само заглавие — «Улисс»...

Джойс изъял Улисса из текста, точнее, из-за мощных укреплений, возведенных вокруг текста критикой и наукой; и вместо того чтобы пытаться приблизиться к Улиссу во времени, заново войдя в поток истории, он сделал Улисса своим современником, своим воображаемым партнером, своим духовным отцом.

Кто же такой Улисс из «Одиссеи» с нравственной точки зрения?.. Он человек, наиболее полное воплощение человеческого среди всех героев эпического цикла; именно этим он внушил любовь к себе Джойсу — еще школьнику. Мало-помалу, приближая Улисса к себе все больше и больше, юный поэт воспроизводил его облик, очень человечные, смешные и трогательные черты его характера. А воссоздав, поместил своего героя в жизненные обстоятельства, бывшие у автора перед глазами,— в Дублин наших дней, со всей сложностью современной жизни, со всеми верованиями, научными представлениями и проблемами нашего времени...

Замысел, который неотделим от книги, потому что составляет сетку-основание ее, являет одну из любопытнейших и восхитительных особенностей. Тот, кто внимательно читает книгу, не может сразу же не обнаружить этот замысел. Но когда он осознает,

* Часть более обширной работы Валери Ларбо «Джеймс Джойс», впервые опубликованной в «Нувель ревю франсез» в апреле 1922 г. *(Здесь и далее прим. перев.)*

сколь строг этот замысел и как дисциплинированно автор следует ему, он не может не задаться вопросом: как это возможно, чтобы в результате такого огромного организующего труда могла получиться столь живая и волнующая вещь? Очевидная причина в том, что автор никогда не терял из виду человечность персонажей, сочетание в них достоинств и недостатков, порочности и величия. Человек, создание плоти, пережившей свое время,— вот что мы находим, читая «Улисса».

Среди моментов, которых я хотел бы, но не могу коснуться из-за недостатка места, есть два, о которых необходимо все же сказать несколько слов. Один из них — распущенность, которую, вероятно, усмотрят в некоторых пассажах книги. В Америке они вызвали даже вмешательство Общества по обузданию греха. Слово «распущенность», впрочем, не совсем то слово — оно и не точно и слабо: следовало бы сказать непристойность. В «Улиссе» Джойс хотел продемонстрировать моральную, интеллектуальную и физическую цельность человека, и это заставило его найти в сфере морали место для половых инстинктов, различных их проявлений и извращений; а в сфере психологии — для половых органов и их функций. Он колеблется, обращаясь к этому предмету, ничуть не больше, чем великие казуисты, и пишет о нем по-английски так же, как они это делали на латыни: не обращая внимания на условности и стыдливость обывателя. Его намерение не распутно и не бесстыдно; но просто описывает и представляет; и в его книге проявления полового инстинкта занимают места не более и не менее и им придается значения не более и не менее, чем таким чувствам, как сострадание и любознательность...

Второй момент таков: почему Блум — еврей? Существуют символические, мистические и этнологические причины, от рассмотрения которых меня удерживает отсутствие места, но которые читателю этой книги должны быть совершенно ясны. Единственное, что я должен сказать: если Джойс сделал своего избранного героя, духовного отца Стивена Дедала, являющегося в сущности его вторым «я», евреем, то это не из-за антисемитизма.

АРНОЛД БЕННЕТТ

«Улисс» Джеймса Джойса

«Аутлук», апрель 1922 г.

...Много говорится о том, что автор потратил более семисот страниц на описание отрезка времени, занимающего менее двадцати часов. Ничего такого уж удивительного я в этом не вижу. Если у человека достаточно времени, бумаги, детской капризности и упрямства, можно без труда написать более семисот страниц всего о двадцати часах жизни... Убедительных доказательств того, что Джеймс Джойс избрал темой своего романа какой-то определенный день, нет. Нрав у него, по всей видимости, сардонический, и я думаю, что он находил злобное удовольствие в том, чтобы выхватить первый попавшийся заурядный день. Это был, кажется, зауряднейший из самых заурядных дней, на какой только можно было наткнуться...

Неподготовленный читатель не видит ни формы, ни художественного замысла, ни «организации» (очень точное слово, найденное Генри Джеймсом) в описании этого дня.

Но неподготовленный читатель слеп. По Валери Ларбо, день этот был тщательно спланирован и организован. Джеймс Джойс с юности любил «Одиссею», и дух Гомера направлял его в придании соответствующей формы нынешнему произведению, которое, как утверждается, полно гомеровских параллелей. Может быть, и так. Очевидно, Валери Ларбо подробно обсуждал произведение с автором. Рискну высказать подозрение, что автор морочил голову Валери Ларбо, если, конечно, Ларбо собственными глазами не видел авторских черновиков... Я даже допускаю, что у автора действительно был план, осуществившийся или неосуществившийся. Но, допуская это, я должен осудить его за возмутительное отсутствие манер. Ибо он никоим образом не помогает читателю. Он, вероятно, думает, что пренебрежение к простодушному и беззащитному читателю есть проявление некоего истинного вкуса и высокой интеллектуальности. На самом деле ничего подобного. В таком пренебрежении есть что-то от низкого ума и дурного вкуса.

«Улисс» был бы гораздо лучше и гораздо лучше был бы принят, если бы автор обращался с публикой согласно общепринятой профессиональной вежливости литератора. В конце концов постижение «Улисса» не числится среди признанных, уважаемых профессий, и никто не станет посвящать этому делу всю жизнь.

Другая, более серьезная претензия к роману — пронизывающая его тяжелая скука...

Понятно, что автор пытается воспроизвести мысли персонажа; его речевой метод может быть оправдан — то там, то здесь в книге он щедро оправдывает себя. Но в целом хоть метод воспроизведения удачен, то, что воспроизводится, слишком часто оказывается тривиальным и абсолютно бесполезным для развития сюжета. Я не стал бы обвинять его в том, что абсурдно называют «фотографическим реализмом». Но я бы сказал, что значительная часть книги больше похожа на официальную «стенограмму», чем на роман. Одна из авторских причуд — решение ни за что на свете не отбирать материал, не делать ни малейшего перехода от одного предмета к другому. Он поклялся себе в этом и верен клятве... Он, вероятно, будет защищаться и найдет последователей, которые будут его защищать. Но если весь накопленный искусством с незапамятных времен творческий опыт хоть чего-то стоит, то Джеймс Джойс определенно заблуждается. Как бы то ни было, благодаря такому своеволию он превратил чтение романа в чистой воды каторжную работу... Кажется, что автор понятия не имеет о географии, мало что понимает в происходящем вокруг, не понимает, что такое в самом широком смысле доброта и человеческая природа, и не обладает большим поэтическим чутьем. Хуже всего,

что он совершенно лишен понимания перспективы. Но мои претензии к нему как к художнику еще глубже. Видение мира и его обитателей у автора убогое, враждебное и немилосердное..

Несмотря ни на что, Джеймс Джойс — поразительный феномен в литературе. Порой он бывает ярчайше оригинален. Он не видит жизнь как целое, зато видит ее пронзительно. Мастерство его великолепно. Он умен. У него удивительный юмор...

Лучшие куски романа (к несчастью, они составляют лишь крупицу целого) бессмертны. Я бы выделил длинную разнузданную сцену и долгий внутренний монолог госпожи Блум, завершающий книгу. Первая с легкостью выдержит сравнение с высшими взлетами фантазии Рабле, а Петронию тут вообще делать нечего. В ней безграничное вдохновение. Богатейший материал в руках мастера, чья виртуозность под стать материалу. Монолог же (сорок трудных страниц, около двадцати пяти тысяч слов без каких бы то ни было знаков препинания) в своей совершенно убедительной реальности может служить достоверным документом, фонограммой самых сокровенных мыслей действительно существующей женщины... Я никогда не читал ничего превосходней, сомневаюсь, читал ли я даже что-нибудь равное этому. Мои упреки кажутся, быть может, чрезмерными, и хвала моя, быть может, чрезмерна, но так я воспринимаю Джеймса Джойса.

Было бы нечестно по отношению к публике не коснуться непристойности «Улисса». Эта книга не порнография и ни на кого не может произвести впечатления книги порнографической. Но она более непристойна, неприлична, зловонна и бесстутна, чем большинство откровенно порнографических книг. Джеймс Джойс не останавливается буквально ни перед чем. Он не запрещает себе ни единого слова. Он говорит все — все. Условности разбиты вдребезги. Многие, начав, не могут продолжать читать «Улисса»; настоящей шок заставляет их выронить книгу... Не следует ли задуматься всем нам, кто до сих пор считал и отстаивал свое убеждение в том, что честные произведения искусства должны быть ограждены от вмешательства полиции?

Оправдана ли полученными результатами ошеломительная непристойность книги? Огромное большинство британцев скажут, что ей нет оправдания. Что до меня, я думаю, что в главном полученные результаты ее не оправдывают; но должен честно прибавить, рискуя покрыть себя позором, что лучшие места в книге все же, по-моему, оправдывают...

ЭЗРА ПАУНД

Джеймс Джойс и Пекюше

«Меркюр де Франс», июнь 1922 г.*

Что такое «Улисс» Джеймса Джойса? Этот роман принадлежит к обширному классу романов в сонатной форме, то есть имеющих тему, контртему, репризу, развитие, финал. И к подразделу: роман отцов и сыновей. Он следует в великом русле «Одиссеи» и обнаруживает множество более или менее точных соответствий событиям гомеровской поэмы. Мы найдем в нем Телемака, его отца, сирен, циклопа под неожиданными масками — причудливыми, арготическими, достоверными и исполинскими...

В «Бовари» есть неподражаемые страницы, в «Бувare и Пекюше» есть неподражаемо плотно написанные главы (например, та, где покупают Святые сердца, иконы и т. д.). Есть у Флобера страницы, раскрывающие свою суть столь же неожиданно, как у Джойса, но Джойс обогатил коллекцию объектов осмеяния. В одной главе он выплескивает все клише английского языка единым непрерывным потоком. В другой главе он дает сжатую картину всей истории английской словесности, начиная с первых образцов аллитерированной поэзии... Еще в одной мы находим газетные заголовки из «Фрименс джорнэл», начиная с 1760 года, то есть всю историю журналистики; и все это он проделывает, не прерывая течения своей книги.

Он по-разному выражает себя в разных частях книги (следуя совету Аристотеля), но это вовсе не значит, как утверждает знаменитый Ларбо, что он отказывается от единства стиля. У каждого персонажа есть не только своя собственная манера говорить, но и своя собственная манера думать, и в этом не больше отречения от единства стиля, чем когда разные персонажи романа, написанного в так называемом едином стиле, говорят по-разному: убраны просто кавычки, вот и все...

Джойс использует подмостки, взятые у Гомера, и остатки средневековой аллегорической культуры; это не так важно, это вопрос способа приготовления пищи, и это не ограничивает действия, не затрудняет его, не вредит ни реализму, ни современному характеру действия. Это средство упорядочения формы. В этой книге больше формы, чем у Флобера.

Всегда реалистичный в строгом флоберовском смысле слова, всегда документированный, всегда основанный на самой жизни, Джойс никогда не переходит грань нормального. Реализм стремится к обобщению, которое означает не только сумму и сложность, но и постоянство. Джойс соединяет средние века, классические эпохи, даже иудейскую древность в современном действии...

Упорно снимая кавычки, Джойс излагает эпизод с циклопом обычными словами, но тут же рядом, у него — высокопарность, пародия; он преодолевает различие между реализмом и напыщенным романтизмом...

Особенность «Бувара и Пекюше» состоит в том, что события не следуют одно за другим с достаточно настоятельной необходимостью; план не лишен логики, но она иная. В пользу Флобера можно привести и более хвалебные аргументы, но, хоть «Бувар и Пекюше» — произведение лаконичное, ясное сжатое, ему все же как-то не хватает живости.

Джойс поправил дело; каждую минуту он держит читателя в готовности ко всему, каждую минуту случается неожиданное, да-

*В 1952 г. статья была опубликована в журнале «Шенандоа», откуда и взяты приводимые здесь фрагменты.

же во время самых долгих тирад и подробных описаний человек постоянно остается настороже... Среди наиболее неистовых страниц можно вспомнить сцену палача — самая язвительная сатира со времен Свифта, предложившего в качестве средства от нужды в Ирландии поедать детей. Везде — в литаниях, в генеалогии Блума, в парафразе красноречия,— везде угадывается тонкая работа, нет ни одной строки, ни полстроки, в которые не была бы вложена интеллектуальная сила, равной которой нет ни в одном произведении такого размаха; или, пожалуй, какую можно встретить лишь на страницах Флобера и Гонкуров

Это роман реалистический par excellence, каждый персонаж в нем говорит по-своему и укоренен в окружающей действительности. Ирландия показана под британским ярмом а мир — под ярмом безудержного ростовщичества...

«Улисс» не та книга, которая вызовет всеобщее восхищение, она вызовет восхищение не более чем «Бувар и Пекюше», но это книга, которую необходимо прочесть каждому серьезному писателю, которую он, будучи профессиональным писателем, вынужден будет прочесть, чтобы иметь ясное представление о направлении развития нашего искусства.

Нет ничего удивительного в том, что книги г-на Джойса в Ирландии в 1908 году не приветствовались; сельские жители и провинциалы из Дублина устраивали тогда демонстрации против пьес Синга, видя в них оскорбление национального достоинства. Те же самые пьесы были в нынешнем году представлены в Париже как доказательство существования культуры ирландского народа... Что касается «старших», романтиков, в Ирландии, то я думаю, они просто не в состоянии понять, что такое реализм. А что до Джорджа Мура и Шоу, то это в человеческой натуре как бы не замечать того, что тебя затмевает более значительный писатель. Известно, что в Дублине Джойса читают тайком. В таком недостатке широты нет ничего удивительного. Но американский закон, согласно которому «Литтл ревью» четырежды штрафовали из-за публикации в нем фрагментов «Улисса»,— это странность такая странная, такая демонстрация умонастроения невежественных юристов и безграмотных специалистов, что все это заслуживает внимания европейских психологов или даже специалистов по менингиту. Нет мои дорогие друзья демократия (которую мы согласно нашему покойному демагогу Вильсону так обязаны защищать) не имеет ничего общего ни с личной свободой, ни с конфуцианским братским уважением...

Перевод с английского И. ДОРОНИНОЙ

◆

Резонанс

Речь Нагиба Махфуза на церемонии вручения Нобелевской премии*

Прежде всего хочу поблагодарить Шведскую академию и ее комитет по Нобелевским премиям за высокую оценку моего многолетнего литературного труда. Надеюсь, вы с открытым сердцем встретите мое обращение на неизвестном для многих языке. Но именно он, арабский язык, удостоился высокой награды. И я считаю своим долгом познакомить вас с его красотой. Вы слышите звучание арабского языка впервые, но, думаю, не в последний раз. Уверен, что арабские писатели еще не раз удостоятся чести стать в этом зале рядом с великими писателями других стран — создателями шедевров мудрости в нашем столь беспокойном мире.

Корреспондент одной иностранной газеты в Каире сказал, что, когда было объявлено о присуждении мне Нобелевской премии, в зале воцарилась напряженная тишина. «Кто такой Нагиб Махфуз?» — задавались вопросом многие члены комитета по Нобелевским премиям. Так позвольте мне со всей откровенностью и чистосердечием самому представиться вам.

Я сын двух цивилизаций, в свое время сочетавшихся счастливым браком. Первая зародилась семь тысяч лет назад, в эпоху фараонов, вторая же, мусульманская цивилизация,— тысячу четыреста лет назад. Нет, наверное, нужды говорить о цивилизации, к которой принадлежите вы, господа, присутствующие в этом зале. Вы — дети чистого искусства и науки. Чтобы наше знакомство состоялось, позволю себе напомнить о наследии обеих цивилизаций, родившихся на моей земле. Не хочу слишком распространяться об эпохе фараонов, с ее завоеваниями, империями... Впрочем, все это стало достоянием далекого прошлого и не тревожит ум современного человека. Не стоит подробно говорить и о том, как впервые египетская цивилизация встала на верный путь развития, обратившись к учению Всевышнего Аллаха, пробудившему совесть человека. Это заняло бы слишком много времени.

Уверен, что среди вас нет ни одного человека, который бы не знал об эпохе фараона-пророка Эхнатона. Нет также нужды говорить о достижениях этой цивилизации, об ее искусстве, литературе, о строительстве бессмертных памятников зодчества — пирамид, храмов, Сфинкса, Карнака. Те из вас, господа, кому не удалось собственными глазами увидеть эти величественные памятники, должно быть, много о них читали, видели их на бесчисленных фотографиях. Все же позволю себе напомнить короткий эпизод из эпохи фараонов, тем более что я много лет сам писал рассказы и новеллы на темы из истории Древнего мира. Послушайте рассказ, который дошел до нас в письменном виде.

Древний папирус гласит: одному фараону донесли, что некоторые наложницы из его гарема вступили в любовную связь с придворными из его окружения. По законам той эпохи всех провинившихся придворных следовало немедленно отдать в руки палачей и казнить. Но фараон решил поступить по-иному. Он призвал к себе лучших законников и потребовал провести самое тщательное, беспристрастное расследование случившегося с тем, чтобы учинить праведный суд и восторжествовала справедливость. По моему убеждению, такое решение фараона достойно большего восхищения, чем самые величественные пирамиды, самые могущественные царства и самая пышная роскошь. Царства исчезли, память о них хранят лишь письмена. Со временем в прах обратятся и пирамиды. Но истина и справедливость будут существовать до тех пор, пока у человечества есть пытливый разум и беспокойная совесть.

Не стану много говорить и об исламской цивилизации, о том, как она призывала людей и народы всей планеты к единству, к свободе, равенству и милосердию. Не стану говорить о величии пророка исламской цивилизации, которого ваши мыслители признали одним из величайших умов в истории человечества. Не стану много говорить и о шествии ислама по миру, ислама, звавшего к братству всех религий, к терпимости, выдержке и добру миллионы людей на огромных пространствах от рубежей Индии и Китая до Франции. Приведу лишь красноречивый пример из истории исламской цивилизации. После одного сражения мусульман с армией Византийской империи большую группу пленных византийцев обменяли на книги по философии, медицине, математике из наследия Древней Греции. Я считаю это свидетельством величия человеческого духа, стремящегося к знаниям, к истине: исповедовавшие святую веру пожелали воспользоваться плодами языческой цивилизации.

Судьбой мне было уготовано родиться на земле двух великих цивилизаций, быть вскормленным их молоком, взращенным на их великом культурном наследии. На этой почве рождались мои книги. Я счастлив, что они получили высокую оценку вашей уважаемой академии, удостоившей меня Нобелевской премии в области литературы. От

* Речь зачитал Мухаммед ас-Сальмави, представлявший Нагиба Махфуза на церемонии.

себя лично и от имени ушедших творцов двух цивилизаций прошу принять искреннюю и глубокую благодарность.

Господа! Наверняка вы задаетесь вопросом: как человек из «третьего мира» смог преодолеть леность ума и начать писать литературные произведения? Такой вопрос вполне уместен. Ведь я прибыл к вам из мира, обремененного огромными долгами, которые он в состоянии погасить, лишь поставив себя на грань голода. Наш «третий мир» — это Азия, утопающая в наводнениях, Африка, страдающая от голода, это и юг Африки, где миллионы людей лишены элементарных прав, где их и за людей-то не считают. «Третий мир» — это и западный берег реки Иордан, сектор Газа, где люди чувствуют себя забытыми пасынками судьбы, хотя и живут на земле своих отцов, дедов, прадедов и пращуров. Эти люди поднялись на борьбу за человеческие права. Первейшее из них издавна признано — право на жизнь, достойную человека. Многие тысячи участников героического восстания подвергаются жестоким избиениям, расстрелам, пыткам в тюрьмах и концлагерях, их жилища сносятся с лица земли. И все это происходит в той части планеты, где живут полтораста миллионов арабов! Гнев и горечь переполняют их при виде мук и унижений палестинцев. Если не восторжествует мудрость тех, кто стремится ко всеобщему миру и справедливости, то нынешнее положение дел в регионе может обернуться катастрофой. Сегодня, когда человеческая цивилизация переживает столь ответственный этап своего развития, нельзя равнодушно наблюдать за страданиями этих людей,— они взывают к нашей совести, они требуют действенного человеческого сочувствия. Я считаю, что человечество в достаточной степени благоразумно. Ныне, когда приходят к согласию великие державы, а ученые мужи борются за очищение окружающей среды от вредоносных выбросов промышленности, человеческий разум обязан противостоять смерти и разрушению. Долг интеллигенции — усилить борьбу за спасение нравственности и человеческого духа от деградации. Мы вправе потребовать от руководителей великих развитых держав, от всех трезвомыслящих людей подняться на уровень сознания нашего времени.

В отдаленном прошлом каждый руководитель заботился лишь о своей стране или нации, в других же видел лишь своих врагов и объект эксплуатации. Самым главным для таких руководителей было добиваться превосходства над другими, утверждать собственное величие. Ради подобных низких целей попирались нравственность, принципы, человеческие ценности, оправдывались любые средства. Ради этих целей приносились бесчисленные человеческие жертвы, а ложь, вероломство, жестокость почитались признаками силы и величия. Сегодня нам необходимо полностью изменить взгляды на человеческие ценности и отношение к ним. Ныне величие цивилизованного руководителя должно оцениваться по широте его взглядов, по обостренному чувству ответственности за судьбы всего человечества. И развитые государства, и страны «третьего мира»— одна семья, где каждый человек несет свою долю ответственности за каждого, за сохранение всех достижений науки, человеческой мудрости и цивилизации. Считаю своим долгом от имени всего «третьего мира» обратиться к вам с призывом: не будьте сторонними наблюдателями наших бед и несчастий, помогите нам избавиться от них,— вот благородная роль, которая соответствует вашим огромным возможностям. Вы, представители развитого мира, несете особую ответственность за всякую жизнь на Земле, а уж тем более — за жизнь человека, где бы он ни обитал в нашем огромном и вместе с тем тесном мире. Одних слов сегодня недостаточно, пришла пора действовать и покончить с политикой разбоя, с законами джунглей. Мы живем в такое время, когда руководители несут ответственность за выживание человечества, за судьбу самой планеты. Так спасите же угнетенный народ Южной Африки, миллионы голодающих африканцев! Спасите палестинцев, которых убивают, пытают, а тем самым спасите и израильтян от осквернения их великого духовного наследия! Помогите государствам-должникам избавиться от тяжких цепей зависимости! Помогите людям осознать меру ответственности за судьбы человечества! Помогите, пока не отброшены еще законы человечности, разума, науки!

Господа! Простите, что злоупотребил вашим благосклонным вниманием. Но что вы хотите от человека, явившегося к вам из «третьего мира» со своей болью и горестями? Да и где такой человек, как я, может поделиться своими бедами и печалями, как не в вашем оазисе цивилизации, созданном для служения науке, искусству, духовным, человеческим ценностям? Великий создатель вашего оазиса употребил огромное богатство, им накопленное, на благо добра и науки, во имя искупления грехов своих перед Всевышним. Мы, дети «третьего мира», призываем вас, просвещенных деятелей, последовать его благородному примеру. Боритесь за мир, такой, каким он хотел его видеть!

Господа! Несмотря на потрясения, которые переживает наш сегодняшний мир, я остаюсь неисправимым оптимистом. Я никогда не соглашусь с великим философом Кантом, считавшим, что добро побеждает зло лишь в мире ином. Нет, добро ежедневно одерживает победы. Зло гораздо слабее, чем мы себе представляем, намного слабее добра. И тому есть великое доказательство. Если бы добро не побеждало, человек не смог бы противостоять дикому миру природы, стихийным бедствиям, эпидемиям, страху и эгоизму. Скажу больше, если бы не торжествовало добро, человечество не способно было бы развиваться, объединяться в нации, изобретать все новые и новые чудеса техники, осваивать космос, провозглашать права человека. Правда, зло колюче и громогласно, а человеку свойственно больше помнить о своих бедах и несчастьях, чем о радостях. Прав был наш великий поэт Абу-ль-Аля, сказав: печаль в час смерти во много раз сильнее радости в час рождения.

Еще раз благодарю вас, господа, за благосклонное внимание.

Перевод с арабского А. ТИМОШКИНА

Резонанс

Тема для дискуссии: ЭРОТИКА И ЛИТЕРАТУРА

Такова уж особенность нашей культурной ситуации, что многие сражения нравственного и эстетического порядка, некогда сотрясавшие западный мир, докатываются до отечественных берегов с опозданием на долгие годы, а то и десятилетия. «Там у них» давно отгремели литературные (а бывало, и судебные) баталии вокруг эротики; страсти улеглись, успели забыться, тематика эта стала вполне «респектабельной», а когда-то запрещенные «Улисс», «Лолита» ныне признаны классикой XX столетия. И вот теперь, в конце 80-х, вдруг выяснилось, что и в нашу морально устойчивую, политически-грамотную культуру проникает бацилла эротики — в кинематографе, театре, изобразительном искусстве, наконец, литературе. Советского читателя, зрителя долго оберегали от этой заразы. Свой посильный вклад на этом поприще внес и журнал «Иностранная литература»: на славу поработали в свое время редакторские ножницы, отсекая «грязное» и «недостойное» с помощью разного рода «журнальных» и «сокращенных» вариантов... Можно, пожалуй, сказать, что для нашего журнала проблема эротики — выстраданная, больная, в бо́льшей степени, чем для других изданий.

Не случайно мы остановили свой выбор на эссе Д. Г. Лоуренса «Порнография и непристойности», которое было написано в 1929 году в ходе полемики вокруг романа «Любовник леди Чаттерлей», эпатировавшего тогдашнюю английскую публику откровенностью описаний физической стороны любви,— показалось, что круг проблем, поднятых в этой публицистической работе шестидесятилетней давности, да и сам накал отраженных в ней страстей во многом напоминают нашу нынешнюю ситуацию. Допустима ли эротика в литературе, а если допустима, то в каких пределах? В чем состоит разница между эротикой и порнографией? Вот вопросы, которым посвящено эссе Лоуренса (оно печатается с сокращениями, но на сей раз, честное слово, не из цензурных соображений, а просто потому, что специфика «Резонанса» подразумевает лаконизм) и по которым мы предложили высказаться двум современным советским писателям — Людмиле Петрушевской и Юрию Полякову, чьи точки зрения на этот счет различны. Безусловно, два представляемых нами суждения не исчерпывают всего спектра возможных мнений; надеемся, что свое слово скажут и читатели.

Д. Г. ЛОУРЕНС

ПОРНОГРАФИЯ И НЕПРИСТОЙНОСТИ

Представления о порнографии и непристойностях, как правило, исключительно индивидуальны. То, что одному кажется порнографией, для другого — милые проказы.

Как известно, само слово означает «имеющее отношение к публичным женщинам» — изображение распутниц. Но во времена нынешние что такое распутница? Если это женщина, которая берет у мужчины деньги за то, что ложится с ним в постель,— право же, большинство жен продавали себя во все времена, а множество блудниц отдавались за так, коль это было им по душе. Если в женщине нет ни капли распутства, она обычно бесчувственна. И по всей вероятности, почти во всякой распутнице есть своего рода женская щедрость К чему все эти шаблоны? Закон — вещь скучная, и параграфы его с реальной жизнью не имеют ничего общего.

То же самое со словом «непристойность»: никто не ведает, что это такое. Предположим, происходит оно от латинского obscena: то, что неприлично выставлять «на сцену»,— ну и что же дальше? А ничего! То, что кажется непристойным Тому, вовсе таковым не является для Люси или Джо, и уж в самом деле — пусть большинство решит, что за слово это и каково его значение. Когда пьеса шокирует в аудитории человек десять, а на остальных полтысячи не производит такого впечатления, она, стало быть, непристойна для десятка и безобидна для пятисот; таким образом, по мнению большинства, пьесу не назовешь непристойной. Но «Гамлет» смущал всех пуритан времен Кромвеля и никого не смущает сегодня, а кое-что у Аристофана ныне ужасает каждого, хотя, очевидно, вовсе не возбуждало эллинов. Человек — животное эволюционирующее, и слова меняют свои значения вместе с ним, и понятия уже не те, какими казались прежде, и черное становится белым, и если мы полагаем, будто нам ведомо истинное положение вещей, то это лишь в силу стремительности наших переходов во все новые состояния. Мы вынуждены всегда уступать большинству, все — этому большинству, все — толпе, толпе, толпе Она решает, что непристойно, а что нет, только она. Коль скоро десять миллионов внизу не ведают того, что знает десяток наверху,— что-то не так с математикой. Давайте проголосуем! Поднимите руки, и пусть их сочтут! Vox populi, vox dei, Odi profanum vulgus! Profanum vulgus [1].

[1] Глас народа — глас Божий Презираю темную толпу! Темную толпу *(лат.)*.

Итак, мы приходим к следующему: когда говоришь с толпой, значение слов твоих, обращенных к ней, определяется большинством. Нечто подобное написал мне один человек: американские законы в отношении непристойностей совершенно ясны, и Америка собирается навести с их помощью порядок. Так-так, милый мой, так-так! Толпа знает о непристойностях все. Скромные выражения из нескольких букв, рифмующиеся со словами «оно» и «о́па»,— верх порнографии! А вдруг печатник ошибся и поставил одну-две лишние буквы? И вот уже великая американская публика узнаёт, что человек этот вел себя непристойно, неприлично, что действия его бесстыдны и что набрал он порнографию. Не связывайтесь с великой публикой, английской или американской. Ну, разве не сказано: Vox populi, vox dei. А не знаете — мы вам подскажем. И в то же время этот vox dei кричит-заливается от восторга при виде кинофильмов, и книг, и газетных сообщений, которые мне, грешному, кажутся абсолютно отвратительными и непристойными. И как настоящий ханжа и святоша, я не могу от них не отвернуться. Когда непристойность становится приторной и потому для публики приемлемой, когда vox populi, vox dei осип от сентиментальных нескромностей, тогда я вынужден бежать, словно фарисей, боясь запачкаться. Есть некий липкий универсальный деготь, к которому не прикоснусь ни в жизнь.

Итак, мы вновь приходим к следующему: либо принимать большинство, толпу, ее решения, либо отвергать их. Либо склоняться перед vox populi, vox dei, либо затыкать уши, чтобы не слышать его непристойный вой...

Публика всегда невежественна, потому как управляется не изнутри, собственными убеждениями, а извне, путем обмана. Толпа всегда непристойна, потому что всегда — уже не первой свежести.

Вот мы и вернулись к предмету нашего разговора — порнографии и непристойности. Реакцией на любое слово у любого человека может быть либо реакция толпы, либо реакция личности. И каждый вправе спросить самого себя: это мое личностное побуждение или мною попросту движет стадное чувство?

Когда речь заходит о так называемых непристойных выражениях, следует признать, что вряд ли хоть один из миллиона оторвется от стада. Первая реакция — почти наверняка стадная: толпа негодует, толпа клеймит. И дальше этого толпа не идет. Но настоящая личность задумается и усомнится: действительно ли меня это шокировало? Что я, в самом деле возмущен и оскорблен? И нет для личности другого ответа, кроме отрицательного,— не шокирован я, не оскорблен и не возмущен. Слово это мне знакомо, воспринимать его надо соответственно, и никто не заставит меня обманом сделать из мухи слона — никакие законы в мире.

Ну, а если, употребив несколько так называемых неприличных слов, мужчину или женщину напугают так, что они, забыв о толпе, станут личностями,— что ж, прекрасно. А выражение «притворная стыдливость» настолько ассоциируется с толпой, что давно пора испугать нас так, чтобы, заикаясь, мы не могли его выговорить.

И все же мы пока коснулись непристойностей, а проблема порнографии еще сложнее. Когда человек содрогнется и станет самим собой, он все-таки вовсе не обязательно будет в состоянии решить для себя, порнографичен Рабле или нет, а уж что до Аретино или даже Боккаччо — тут он может зайти в тупик, застрять, раздираемый противоречивыми чувствами.

В одном эссе о порнографии, как помню, делается вывод: порнография в искусстве — это то, что заранее рассчитано на стимулирование сексуального желания или сексуального возбуждения. И упор делается на то, стремился ли автор или художник вызвать сексуальные ощущения. Этот старый больной вопрос надуман и давно всем наскучил — особенно сегодня, когда каждый знает, как могучи, как неистребимы силы нашего подсознания. И я не понимаю, почему человека следует винить за сознательные намерения, но оправдывать за подсознательные — ведь в каждом из нас подсознательного больше, чем сознательного. Я — то, что я есть, а не только то, чем мне хотелось бы быть.

И тем не менее! Мы, полагаю, исходим из того, что порнография — это нечто низменное, нечто неприятное. Короче говоря, нам она не нравится. А почему мы ее так невзлюбили? Потому что она вызывает сексуальные ощущения?

Не думаю. Как бы там ни притворялись, большинство из нас не против испытать чувство некоторой сексуальной возбужденности. Это согревает, стимулирует — как солнце в пасмурный день. После столетия (а то и двух) пуританства такое все еще можно утверждать о большинстве людей. Просто стадная привычка клеймить любое проявление секса чересчур сильна, чтобы открыто признали это. И конечно, достаточно еще людей, у которых искреннее отвращение вызывают самые простые и естественные проявления разбуженного сексуального чувства. Но это люди извращенные, падшие, ненавидящие своих собратьев,— это нежелающие никого слушать, разочарованные, неудовлетворенные людишки, которых, увы, в нашей цивилизации хватает. И почти всегда они — тайно наслаждаются далекими от простоты и естественности формами сексуального возбуждения.

Даже вполне передовые искусствоведы делают попытки уверить нас, будто любая картина или книга, содержащая «сексуальный призыв», является ipso facto[1] книгой или картиной плохой. Это просто-напросто лицемерие, притворство. Половина великих поэм, картин, музыкальных и литературных произведений всех стран и народов черпают величие в своей сексуальной привлекательности. Тициан и Ренуар, «Песнь Песней» и «Джен Эйр», Моцарт и «Энни Лори» — везде очарование сплетается с сексуальной привлека-

[1] В силу самого факта (*лат.*).

тельностью, сексуальным стимулом, назовите это как угодно. Даже Микеланджело, который секс скорее ненавидел, не удержался и наполнил свой «Рог изобилия» фаллическими желудями. Секс — это мощный, целительный и необходимый стимул человеческой жизни, и все мы испытываем чувства самые благодатные, когда пронизывает нас его теплое и вольное, как солнечный свет, течение.

Таким образом, мы отметаем мысль о том, что сексуальная привлекательность в искусстве есть порнография. Эдак может думать святоша-пуританин, но унылый пуританин — человек больной, больной телесно и духовно,— так что нам за дело до его галлюцинаций? Конечно, сексуальная привлекательность — понятие многообразное. Несть числа вариантам, и в каждом — бесконечное множество разновидностей. Вероятно, можно спорить о том, что слабая доза сексуальной привлекательности порнографией не является, а большая — именно такова. Но это заблуждение. Боккаччо в самой своей «клубничке» представляется мне менее порнографическим, нежели «Памела», или «Кларисса Харлоу», или даже «Джен Эйр», или множество современных книг и фильмов, которых не касается рука цензуры. В то же время вагнеровская опера «Тристан и Изольда», по мне,— почти порнография, а равно — что делать? — даже некоторые известные христианские гимны.

В чем же тогда дело? Одной только сексуальной привлекательностью здесь не обойтись: суть вовсе не в стремлениях автора или художника, вознамерившихся подстрекать нас к сексуальному возбуждению. У Рабле иногда подобная преднамеренность проявлялась; возникала она по-своему и у Боккаччо. И, да простит мне бедная Шарлотта Бронте или авторица «Шейха», уверен — им и в голову не приходило намеренно пробуждать у читателя сексуальные эмоции. И все-таки, по моему, «Джен Эйр» близка к порнографии, а Боккаччо видится мне вечно цветущим и пышущим здоровьем.

Бывший британский министр внутренних дел, который с гордостью причислял себя к истинным пуританам, святошам до мозга костей, заявил с гневной скорбью, поносящая некое предосудительное издание: «И эти двое молодых людей, чистые и непорочные до того момента, прочтя эту книгу, уединились и совокупились!!!» И дай им Бог еще! — что ж тут ответить. Но строгий блюститель британских моральных устоев, по-видимому, считает, что, если бы они умертвили друг друга или довели до полного нервного истощения, все было бы лучше. Воистину болезнь святош!

Так что же такое, в конце концов, порнография? Это не сексуальная привлекательность или сексуальный стимул в искусстве. Это даже не преднамеренное желание художника пробудить сексуальные ощущения. Сами по себе сексуальные ощущения безобидны, если они носят характер открытый, не тайный, не двусмысленный. Правильный сексуальный стимул бесценен для человека в повседневной жизни. Без него нет в мире радости. Я бы каждому давал читать озорную прозу эпохи Возрождения, это помогло бы изрядно встряхнуть то самомнение святош, которым заражена наша цивилизация.

Но даже я подвергал бы цензуре — и со всей суровостью — настоящую порнографию. Чего уж проще. Во-первых, настоящая порнография почти всегда на нелегальном положении, она таится, не рекламирует себя. Во-вторых, ее можно отличить по тем наглым выпадам, которые она постоянно позволяет себе в отношении секса и духовности человека.

Порнография —это попытка оскорбить секс, очернить его. Такое прощать нельзя. Приведем пример самый примитивный — продажа подонками из-под полы, во многих городах, известных открыточек. Кое-какие я видел, они были настолько уродливы, что хотелось плакать. Это надругательство над телом человеческим, издевательство над живыми человеческими отношениями! Они превращают наготу человека в безобразное и дешевое зрелище, сексуальный акт — в чудовищное и постыдное действо, все выхолощено, низменно и мерзко.

Аналогичная история с продаваемыми из-под полы книгами. Они либо настолько безвкусны, что вас вот-вот стошнит, либо так глупы, что трудно даже представить себе, кто читает или пишет их — разве кретин какой-то или умалишенный.

Почти то же — со скабрезными стишками, кои рассказывают сытно пообедав, или — с неприличными анекдотами, которыми обмениваются в поездах коммивояжеры в курительной комнате. Бывает, попадаются презабавные — в качестве исключения. Но, как правило, все они вызывают отвращение, а так называемый юмор — просто фокус, позволяющий пачкать секс.

Действительно, нагота человеческая у великого множества наших современников уродлива и убога, также уродливы и убоги их сексуальные отношения. Но нечем здесь гордиться. Это катастрофа для нашей цивилизации, уверен, что никакая другая — даже римская — не производила в таких масштабах наготу унизительную и позорную, а секс такой убогий и нездоровый. Ибо ни одна цивилизация не загоняла секс в подполье, а наготу — в сортир.

Умные молодые люди, слава Богу, кажется, полны решимости поправить сложившееся положение. Они отказываются прятать юную наготу свою в душном, порнографическом, закрытом мире старших, все делающих украдкой; они не скрывают, что связаны сексуальными отношениями. Такая перемена, конечно, огорчает старых святош, но на самом деле перемена эта великая, это настоящая революция.

Однако нельзя не удивляться тому, насколько сильно в людях примитивных, пошлых желание замарать секс. В юности я наивно полагал, что нормальные, на вид здоровые типы, которых встречаешь в поезде или в курительных комнатах отелей, разумны в чувствах своих и к сек-

су относятся как к полезному, волнующему занятию. Вовсе нет! Какое там! Обычно человек такого склада секс воспринимает с отвращением, презрительно и испытывает желание пнуть свои чувства грубо и с омерзением. Когда такие люди вступают в связь с женщиной, они считают, торжествуя, что унизили ее, что теперь она хуже, чем была, недостойна внимания, что теперь она еще более презренна.

Именно такие типы рассказывают грязные истории, носят с собой непристойные открыточки и знают наизусть неприличные издания. Это великий порнографический класс — самые что ни на есть обычные обыватели. У них не меньше ненависти и презрения к сексу, чем у самого истового пуританина, и когда раздается трубный глас, всегда они на стороне ангелов. Они хотят, чтобы настоящие сексуальные отношения были уделом лишь отрицательных персонажей, похотливых злодеев. Тициана и Ренуара они находят бесстыдными и своих жен и дочерей от них оберегают.

Почему? Да потому, что они заражены вульгарным вирусом ненависти к сексу, да вдобавок подцепили панельную болезнь нечистоплотной похоти. В человеческом организме функция сексуальная и функция фекальная тесно связаны, и все же они, как бы это выразиться,— диаметрально противоположны. Секс — это поток созидательный, а испражнения — поток разрушительный, распад, если можно так сказать. В человеке по-настоящему здоровом разграничение этих двух функций неизбежно, наши самые глубинные инстинкты, вероятно,— это силы противодействия двух названных потоков.

Но в человеке деградирующем глубинные инстинкты угасли — и тут же два потока слились в один. Вот в чем секрет воистину вульгарных людей: для них нет разницы между потоком секса и потоком экскрементов. Такое происходит, когда душа погибает, а осчовные инстинкты, осуществляющие контроль, отказывают. И вот уже секс — это грязь, а грязь — секс, и сексуальное возбуждение превращается в непристойную забаву, и любое проявление секса в женщине становится доказательством ее распутного поведения. Так рождаются на свет заурядные вульгарные человеческие существа и имя им — легион, именно они поднимают голос, и именно они — vox populi, vox dei. И именно они, никто иной,— источник всяческой порнографии.

И в силу этого должны мы признать, что «Джен Эйр» или вагнеровский «Тристан» ближе к порнографии, чем Боккаччо. И Вагнер, и Шарлотта Бронте находились в том состоянии, когда наиболее сильные инстинкты исчезли, а секс стал чем-то неприличным — в нем можно было погрязнуть, но его следовало презирать. Сексуальные порывы г-на Рочестера «несносны» до тех пор, пока г-н Рочестер не обгорел, не ослеп, не обезображен и низведен до беспомощного, зависимого положения. И лишь впоследствии, когда порывы эти становятся робкими и униженными, с ними можно как-то мириться. Все предшествовавшее чуть-чуть непристойно, как в «Памеле», или «Мельнице на Флоссе», или в «Анне Карениной». Как только сексуальный порыв вызывает желание осрамить сексуальное чувство, обидеть, унизить — сразу же появляются элементы порнографии.

Потому-то налет порнографии присущ едва ли не всей литературе XIX века, и очень многие так называемые чистюли являются носителями отвратительных порнографических черт, и никогда еще тяга к порнографии не была так сильна, как сегодня. Это признак болезненного состояния организма. Но метод лечения болезни — только в открытом признании секса и сексуального стимула. Настоящая порнография искренне ненавидит Боккаччо, так как неиспорченная, здоровая естественность итальянского сказителя заставляет современное порнографическое ничтожество почувствовать, сколь грязным червем оно является. Сегодня читать Боккаччо надо давать каждому юнцу и старцу, если они этого хотят. Только непринужденная, чистая открытость в отношении секса принесет пользу, сейчас же нас затопила скрытая, почти потайная порнография. И вполне вероятно, что новеллисты эпохи Возрождения, Боккаччо, Ласка и другие — это лучшее противоядие, которое мы можем нынче сыскать, а припарки пуританства — как раз средство, которое может дать обратный эффект.

Вся проблема порнографии, как мне кажется, сводится к фигуре умолчания. Была бы гласность — не стало бы порнографии. Но скрытность и скромность — два абсолютно разных понятия. Скрытность всегда таит в себе страх, нередко вырастающий до размеров ненависти. Скромность деликатна и сдержанна. Сегодня скромность не в чести, несмотря на надзор блюстителей-святош. Но скрытность — этот порок — лелеют. А отношение святош следующее: милые девицы, пока спите в обнимку с собственной пошлой сокровенностью, можете наплевать на скромность.

Названная «пошлая сокровенность» стала сегодняшней толпе бесконечно дорога. Это своего рода больное место, которое тщательно скрывают, это зуд, который при почесывании и даже легком прикосновении дает острейшие ощущения, кажущиеся восхитительными. И вот пошлую сокровенность скребут и чешут все сильней и сильней, пока тайный зуд не начинает распространяться дальше, а нервное состояние и психическое здоровье человека не оказываются ему подверженными. Можно с полным основанием утверждать, что успех доброй половины нынешних любовных романов и фильмов о любви зависит исключительно от тайного почесывания пошлой сокровенности. Если хотите, называйте это сексуальным порывом — на самом деле такое сексуальное возбуждение, скрываемое, вороватое, носит особый характер. Чистый и простой порыв, вполне открытый и искренний, какой находишь в некоторых историях Боккаччо, никак нельзя путать с вороватым

желанием, возникающим при почесывании пошлой сокровенности в обстановке полной секретности, которая царит на страницах современных бестселлеров. Это незаметное, воображаемо пикантное почесывание зудящего места исподтишка есть суть современной порнографии, и это мерзко и исключительно опасно...

Как же избежать этого? Есть только один путь: пусть тайное станет явным! Больше никаких тайн! Единственный способ унять ужасный душевный зуд в отношении секса — отнестись к нему открыто, просто и естественно. Это страшно трудно, ибо скрытность — коварная ловушка. Но рано или поздно начинать надо. Человек, сказавший своей несносной дочери: «Дитя мое, единственная радость, которую ты мне принесла, было удовольствие, полученное при твоем зачатии»,— уже многое сделал, чтобы избавить и себя, и ее от пошлой сокровенности...

Можно выставлять секс напоказ всему свету — и все же не избавиться от пошлой сокровенности. Можно проштудировать все романы Марселя Пруста, где обо всем сказано в подробностях. И все равно пошлая сокровенность останется неистребима. Вероятнее всего, вы лишь разовьете ее способность к выживанию. Можно даже вызвать состояние полного безразличия и сексуальной пассивности — пошлая сокровенность вынесет и это. Наконец, можно прослыть самым искусным из соблазнителей, новым Дон Жуаном — и все же в душе вашей будет царить лишь пошлая сокровенность...

Величайшая ложь сегодняшнего мира есть ложь о невинной чистоте и пошлой сокровенности. Святоши, доставшиеся нам в наследство от девятнадцатого века,— воплощение этой лжи. Они правят обществом, руководят прессой, заправляют литературой, они вездесущи. И естественно, ведут за собой толпу обывателей.

Это, конечно, означает постоянную цензуру всего, что восстает против лжи о невинной чистоте и пошлой сокровенности, в сочетании с постоянным поощрением того, что можно назвать дозволенной порнографией, — чистенькой, однако щекочущей под тончайшим нижним бельем пошлую сокровенность. Святоши пройдут и восславят потоки прикрытой порнографии и заглушат каждое откровенно сказанное слово...

Пока общественность поддерживает святош, каждая новая книга, обрушивающаяся на сладкоречивую ложь девятнадцатого века, будет изничтожаться, едва успев появиться на свет. Но пусть святоши поостерегутся. На общественность в наши дни полагаться нельзя, да и относится она к своим некогда столь обожаемым святым и их застарелой лжи без прежнего ослепления. И появились уже люди иного склада — их пока немного, ненавидящие ложь и святош, которые пытаются эту ложь увековечить: такие люди не ординарно относятся к порнографии и непристойностям. Даже невинной чистотой и пошлой сокровенностью невозможно бесконечно дурачить всех.

И эта немногочисленная пока публика отлично понимает, что в книгах многих современных писателей, как крупных, так и помельче, куда больше порнографии, нежели в самой озорной истории из «Декамерона»: ибо они мусолят пошлую сокровенность и толкают к мастурбации в укромном уголке, чего пышущий здоровьем Боккаччо никогда не делает. И прекрасно знает немногочисленная та публика, что наиболее непристойное изображение на греческой вазе — «О строгая невеста тишины...»[1] — не столь порнографично, как преподносимые в фильмах крупным планом поцелуи, побуждающие мужчин и женщин к тайной и раздельной мастурбации.

И вполне вероятно, что однажды даже общество в целом выразит желание взглянуть правде в глаза и узреть разницу между тайными потугами порнографических мастурбаций прессы, кинематографа, нынешней популярной литературы и прежним, полным созидательной силы изображением сексуального порыва, который мы находим у Боккаччо, или на греческой вазе, или в искусстве Помпей и который так необходим для нашего душевного удовлетворения.

В данный момент общественное сознание как таковое сбито с толку, доведено в этом плане до идиотизма. Когда полиция совершила налет на мою выставку, она и понятия не имела, что же собственно надо конфисковать. И потому изъяли каждую картину, где проглядывала хоть тень мужского или женского полового органа. Независимо от сюжета, смысла — да наплевать им на все: они, эти взыскательные полицейские, могли позволить выставить в галерее что угодно, кроме изображения хоть частички стыдных мест человеческих. Это была полицейская проверка. И в большинстве случаев, дабы умилостивить «общественное мнение», достаточно было бы прикрыть эти места ярлычком зеленого цвета, чтобы смахивал на фиговый листок.

Это, можно лишь повторить, положение идиотское. И ежели ложь о невинной чистоте и пошлой сокровенности будет по-прежнему торжествовать, подавляющая часть членов общества действительно превратится в идиотов, причем идиотов опасных. Ибо общественность состоит из отдельных людей. Каждый человек связан с сексом, замешан на сексе. И если с помощью чистой непорочности и крошечных секретиков загнать человека в угол самоизолирующей мастурбации и держать там, то в таком случае действительно восторжествует состояние всеобщего идиотизма. Ибо в мастурбирующей самоизоляции рождаются идиоты. Впрочем коль мы все станем идиотами, так, наверное, этого и не осознаем. Но не дай нам Бог.

Перевод с английского ЮРИЯ КОМОВА

[1] Джон Китс. «Ода греческой вазе». Перевод Г. Кружкова.

Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ

«...НАМ — СЕКС?»

Мы хорошо себя чувствуем в нашей толпе, вольготно, свободно: можно даже не стоять, можно расслабиться, как в невесомости. Если не стукнут, не выматерят, не толкнут, не наступят на ногу, если не вырвет рядом стоящую пэтэушницу, неопытную, которая напилась дряни... Только очень жалко детей и страшно смотреть на стариков. Никто сюда по своей воле не стремился, всех затолкала в толпу необходимость. Судьба. Здесь мы родились. Бабы и наши роддома называют так: «такой деловой роддом, прямо свалка».

Но когда притерпишься с годами, присмотришься, познакомишься, окажется, что толпы нет. Есть люди. Каждый сам по себе человек со своей историей и жизнью своего рода, каждый со своим космосом, каждый достоин жизни, достоин любви, все были нежными младенцами, станут немощными стариками.

Лоуренс говорит, что бывает чистая и грязная сексуальная литература, и мы с этим согласны. Но нам — секс? Нам — освобожденные, чистые эротические переживания в духе Боккаччо? Нам — полновесные радости? Но где? Где, спросим мы, это все осуществить? В подсобках среди ведер и швабр? В кустах в доме отдыха, в общаге, если соседи отвернутся? Дома, когда деточки в школе? У знакомых (дай ключи)? В подъездах? В командировках, на семинарах по распр. перед. опыта и на съездах по интересам? Там чистые переживания? (Ведь свобода любви предполагает, что у любящих нет и не может быть общего крова. О возлюбленных идет речь у Лоуренса, а не об узаконенных супругах. О Паоло и Франческе, о Данте и Беатриче, о них.)

А если негде, то тогда трагическая любовь, вот это да, это по нашей части. Совершенно чистые переживания. Неосуществимая, платоническая, возвышенная любовь. Данте и Биче, кто еще? Иванов и Петрова, Сидоров и Кузнецова, Иван Иваныч и тетя Маша. Если бы еще были у них персональные кабинеты под ключом и руководящие диваны... Так что же им делать? Что делать? Как всегда, нет ответа. Русь, дай ответ. Не дает, как всегда.

Надо тогда дать им почитать чистую сексуальную литературу. Ведь литература может, по Лоуренсу, сообщить людям здоровый, сильный и радостный толчок к здоровому, сильному и радостному свободному совокуплению.

Вообще-то мы давно не любим литературу, которая «зовет». Нас зовущая литература как-то отпугивает. «Зовет и ведет» — этого у нас всегда было с избытком. Призывы ко всем праздникам и приводы после них. Такой литературой, которая призвана воспитать человека сильного, здорового и свободного при помощи метода социалистического реализма, такой литературой давно забиты все полки б-к и м-нов, а также головы уч-ков.

Мы стоим, зажатые в толпе. Толпа говорит. Она не в силах сдерживаться и говорит, говорит. Никуда не зовет, не ведет, только сильно ругается, рассказывает анекдоты и приводит случаи из жизни. Кто как умер, какая слепая соседка сама сгорела на кухне и чуть весь дом не спалила. Да выиграет ли «Спартак», да чьего ребенка воспитательница в садике побила, и кто кому сколько должен после вчерашнего «козла», и что Егор неправ, и что училка в школе придирается к пацану, говорит, надо в какую-то спецшколу оформлять... Про секс говорят реже. Одна только, понизив голос, скажет, что есть такие «ананитики», бегают по паркам голые, ужас. А другая сообщит, что делала-делала от своего аборты, а собралась рожать, так родила мертвую девочку на шестом месяце, «скорая» приехала, велела в пакетик положить и самой везти, а куда — в роддом. Доехала до роддома, а там в приемном санитарка наорала, и только тогда, говорит бедная женщина, я ее выматерила, сама плачу, а пакетик в руке держу...

О наш великий и могучий, правдивый и свободный разговорный, он мелет что попало, но никогда он не лжет. И никогда он, этот язык, не грязен. Ругается он, вокс попули, жутко, шутит матерно, оптимизма ни на грош, все подвергает сомнению, себе не верит. Себя не терпит. Говорит: «бомбу бы хорошую сюда».

Безмолвствует наша толпа только в исключительных случаях, когда боится или когда призывают пойти на трудовые свершения. В обоих случаях охотно голосует. Подстрекнуть толпу на убийство и грабеж можно, она охотно кинется, если ей объяснить, во имя чего,— и трусливо распадется при возмездии, если есть куда. Если некуда, закроет рыла рукавами, детей спрячет в ноги.

Но литература, если она вольно-боккачиевская, что хорошего она принесет нам? Молодежь и так, без подначки, агрессивно ищет куста, угла и подвала, взрослые стоят в очередях в свободное от работы время, старичкам приходится воевать вторую ВОВ с соседями и родственниками за право не идти в богадельню, одинокие учительницы, начитавшись, куда денутся? Одиноким тяжело...

А что касается сочинить, то все эти истории а-ля Боккаччо, да еще зазывные, крепко закрученные, пишутся легко, как советская песня: я, ты, он, она, вместе дружная семья, сердцу хочется хорошей, большой любви, кто в такую ночь не спит, поцелуй без разрешенья...

Писать это нетрудно, печатать это у нас скоро будут, и первый напечатавшийся, как первое кооперативное кафе, получит известность, прибыль и выход на валютное сотрудничество.

Толпа встрепенется, начнут прятать книжки от детей, орать на подростков, подростки пойдут драться улица на улицу, матери на работе с хохотом обсудят, мужики на время воспрянут и сбегают в ближайшую слесарню за самогонкой, количество абортов через два месяца подскочит, а также придется увеличить количество спецшкол (вспомогательных) через семь лет, а в остальном все останется как было...

Но сведущие заупрямятся и скажут, что у нас уже есть своя такая литература. К

примеру, роман П. Проскурина «Имя твое», посвященный угадайте кому? Чьему «твоему» имени?

«Сталин, любивший именно эту оперу с какой-то... болезненной страстью... в этот вечер, к своей досаде, не чувствовал всегда ожидаемого удовлетворения».

На следующей странице, однако, все пошло гораздо лучше:

«И сам Сталин, и Брюханов были как бы в одной точке напряжения в ощущении чего-то... Сталин... не меняясь ни одним мускулом в лице, напряженно ждал своего полного слияния с музыкой, почти физически отдавшись ожиданию этого момента».

И на следующей странице — наконец:

«Брюханов... отметил про себя почти незаметное движение Сталина — он как-то всем телом подался к сцене, и Брюханов понял, что и он ждал именно этого места»...

После чего:

«Брюханов увидел совсем близко перед собой глаза Сталина и удивился их молодому блеску».

Так что, судя по всему, мы тоже можем кое-что противопоставить гнилому Западу: нашу собственную порнуху с нашими собственными вариантами отклонений...

ЮРИЙ ПОЛЯКОВ

ОБ ЭРОТИЧЕСКОМ ЛИКБЕЗЕ И НЕ ТОЛЬКО О НЕМ

Недавно, во время одного из популярных ныне телемостов (кажется, советско-американского) одна добрая наша женщина на простодушный заокеанский вопрос: «А как у вас в СССР дела с сексом?» — испуганно ответила: «Да что вы, никакого такого секса у нас нет!»

Надо ли объяснять, что она погорячилась? Несмотря на суровый социально-демографический эксперимент, поставленный в нашей стране и нашедший отражение даже в книге рекордов Гиннесса (я имею в виду чудовищное количество жертв этого эксперимента), народонаселение у нас все-таки прибавляется, и это свидетельствует о том, что секс, извечное общение мужчин и женщин, обеспечивающее непрерывность рода человеческого, у нас все-таки есть.

Но испуг этой славной женщины, шедшей на телемост как на ответственный идеологический праздник, понять можно. Ее товарка из иной социально-экономической системы запросто, не краснея, заговорила про то, о чем у нас даже между близкими людьми принято изъясняться намеками, кивками, полуулыбками, в крайних случаях прибегая к всемогущему слову «это». Не будучи особым специалистом как в теории, так и в практике, я все же могу попытаться выстроить синонимический ряд, относящийся к рассматриваемому нами вопросу, исключив, разумеется, нелитературные пассажи. Ну, вот, например: коитус — сексуальный контакт — интимная близость — соитие — обладание — сожительство — половая жизнь... Если не считать малоприличного «траханья», пришедшего в наш язык, видимо, с легкой руки синхронистов-переводчиков западных фильмов, то ни одно из приведенных слов и сочетаний в разговоре почти не встречается. Во всяком случае, мне трудно представить себе мужчину, который поутру спрашивает подругу: «Ну, как, дорогая, тебе наше вчерашнее соитие?» Даже имеющаяся в нашем словаре эротическая лексика неосвоена и неудобопроизносима. Конечно, отмахнувшись от «срамных» сказок Афанасьева и рискованных поговорок, можно объяснить все это исконным целомудрием народа. Но, как говорится, какая барыня ни будь, а все равно мужчины определенный интерес к ней испытывают...

Впрочем, шутки тут неуместны. К подобным проблемам нужно относиться серьезно, по-научному! К примеру, я уверен, что со временем появятся солидные монографии. Допустим, «Русь и Поле. К вопросу о диффузии славянских и тюркских сексуальных стереотипов». Или: «Влияние французской культуры на эротическое сознание русского дворянства XIX века». Наконец — «Сельская община и нормы интимной жизни русского крестьянства». Надо заметить, в минувшем веке в исторических и краеведческих, выражаясь по-нынешнему, трудах эти и подобные проблемы затрагивались.

В XX век Россия вступила не только чреватая революцией, но и озабоченная вопросами пола. Валерий Брюсов, например, пытался в стихах ощутить себя девушкой, только-только утратившей невинность:

Вся дрожа, я стою на подъезде,
Перед дверью, куда я вошла накануне...

Эротическую тему в русском искусстве серебряного века нужно, как выражаются ученые, рассматривать особо. Но не могу не напомнить читателям о М. Арцыбашеве и так называемых неонатуралистах, отразивших каждый в меру своего таланта не только идейно-философские, но и эротические искания русского человека предреволюционной поры. Неонатуралисты были подвергнуты сокрушительной критике ортодоксов марксистской эстетики: «...Действия, склонности, вкусы и привычки мысли общественного человека не могут найти в себе достаточное объяснение в физиологии или патологии, так как обусловливаются общественными отношениями». Впрочем, тогда, до октябрьских событий, о том, что критика эта сокрушительна, кроме самих марксистов, по-моему, никто не знал.

Потом имя М. Арцыбашева было вычеркнуто из истории, лишь только одни специалисты, трясясь от негодования и обзывая «порнографом», вспоминали автора «Санина», когда давали характеристику общему кризису буржуазно-помещичьего строя и его культуре. Но вырвать страницу из учебника истории — еще не значит разрушить связь времен. Общеизвестен роман В. Пикуля «У последней черты». Многие знают, что это название заимствовано из ленинской оценки кризиса царизма. Но мало кто

помнит, что вождь наш использовал для своей характеристики название нашумевшего романа М. Арцыбашева «Последняя черта», романа, который вызывал яростные споры и даже был предметом судебного разбирательства.

Считается, что в канун революции Российское государство совершенно прогнило и достаточно было просто ткнуть в него пальцем четырехлетней империалистической бойни... Считается, что повышенный интерес к вопросам пола в ту эпоху был результатом этого разложения, персонифицировавшегося в «сумасшедшей русской любовной машине» — Г. Распутине. Однако если все-таки отказаться от позиции человека, стоящего в белом фраке посреди всеобщей антисанитарии, то, вероятно, повышенный интерес к сексуальной проблематике в начале века не только в России, но и во всем мире возможно объяснить не только загниванием и разложением, а и некими общечеловеческими свойствами и законами развития общественной морали, ибо, простите за азбучность, до возникновения классового общества дети зачинались тем же способом, что будут зачинаться и после исчезновения классов вместе со всеми семью их признаками.

Иначе как мы объясним тот факт, что и при диктатуре пролетариата проблема взаимоотношения полов стояла тоже достаточно остро, была предметом шумных дискуссий, экспериментов в сфере семейно-брачного законодательства, скандальных книг, впоследствии вытравленных из советской литературы. Кто, кроме тех же специалистов, помнит о недавно ушедшем от нас С. Малашкине, авторе «Луны с правой стороны», потрясшей общественность более полувека назад.

Между прочим, не осатаневшая от безделия великосветская «магдалина», но пламенная революционерка А. Коллонтай выдвигала и даже пыталась внедрить в массы концепцию «стакана воды». Нет, к драматургу Скрибу эта теория отношения не имеет. Упрощенно говоря, речь шла вот о чем: почему бы в новом, свободном от классовых, сословных и прочих предрассудков обществе гражданам не относиться к интимной близости как к стакану воды в жаркий день. Правда, мы знаем, что В. И. Ленин резко отрицательно относился к «поцелуям без любви» — именно так он именовал безответственные половые контакты, используя при этом строчку из стихотворения уже поминавшегося мной В. Брюсова. Кстати, читая периодику нашего времени, приходишь к трагическому выводу, что последние годы своей деятельности вождь занимался нередко тем, что предостерегал от последствий совершенного. Да, революция раскрепостила не только классовые инстинкты: по улицам обновленного и потрясенного Петрограда разгуливал футурист жизни В. Гольцшмидт в окружении таких же, как и он сам, обнаженных дам. Да, у революции были серьезные планы на унизительный буржуазный брак-сделку; она ставила своей целью раскрепостить женщину и уравнять ее в правах с мужчиной. В анкетах того времени не желающие ни в чем уступать сильному полу комсомолки в графе «семейное положение» писали: «Холоста». Но красиво манифестированное равноправие довольно скоро превратилось в равное право женщин на тяжелый физический труд, не освобождавший, кстати, от не менее тяжкого труда домашнего, равноправие трансформировалось в равное право с мужчинами сгинуть за колючкой Архипелага ГУЛАГ.

Если главный долг людей — стать исправными винтиками в отлаженной государственной машине, то у людей все должно быть одинаково — и душа, и тело, и одежда, и мысли... Чтобы общественное всерьез встало над личным (а только на основе такого мировоззрения может работать тоталитаризм), нужно объявить личное, куда входит и интимная жизнь, чем-то низким, малодостойным, даже постыдным. Боже, да появись в те времена какой-нибудь Лысенко от сексологии и предложи способ размножения советских людей при помощи социалистического почкования, его ждала бы такая слава и такая любовь властей предержащих, в сравнении с которыми триумф приснопамятного Трофима Денисовича с его дурацкой ветвистой пшеницей показался бы детским лепетом на лужайке!

Но такой способ даже в отдаленной перспективе не намечался — и пришлось идти другим путем. Все возрастающее обострение классовой борьбы рано или поздно с полей, заводов, пленумов, из наркоматов, красноармейских штабов должно было переместиться на брачные ложа. Интересная деталь: люди, в ту пору стоявшие у власти (про сексуального злодея Берию я даже не говорю), так вот, эти люди отличались весьма своеобычными брачными стереотипами. Чего только стоит традиция проверять партийного соратника на излом, ввергая его супругу в узилище. Мол, кого ты больше любишь: партию или жену? Такой, понимаете ли, идейно-половой мазохизм!

Не случайно в ту пору читателям и зрителям настойчиво предлагались для осмысления произведения, подобные «Любови Яровой» К. Тренева и «Сорок первого» Б. Лавренева. Напомню, в первом случае большевичка-подпольщица Любовь Яровая выдает красным своего любимого мужа, бывшего революционера, не принявшего октябрьских событий и связавшего свою жизнь с белым делом. Во втором случае красноармеец Марютка убивает своего ненаглядного, голубоглазого подпоручика Говоруху-Отрока, выполняя приказ командира: в случае опасности плена живым его белым не отдавать! «В воде, на розовой нитке нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно. Она шлепнулась в воду, попыталась приподнять мертвую изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем...»

Для меня совершенно очевидно, что в обоих случаях авторы ведут речь о страшной трагедии братоубийственной резни, в слепом своем ожесточении заставляющей даже влюбленных уничтожать друг друга. Но в нравственной атмосфере той эпохи эта аномалия, это кровавое затмение вы-

давалось за норму. Мало того, за образец поведения, ибо на самом-то деле под завесой идеологического камлания готовилась почва для тотального контроля над каждым человеком. От этого контроля — по замыслу его организаторов — нельзя было скрыться нигде, даже в объятиях любимого человека. За пуританством диктатора (как правило, показным) всегда стоит не забота о нравственности управляемого им общества, но неослабная забота о подконтрольности своих подданных.

Эротика, пусть кому-то покажется это натяжкой, таила и таит в себе вызов тоталитарному обществу, основанному на абсолютизации и даже обожествлении одного из многих элементов общественной жизни, насильно вырванного из хитросплетений бытия. Абсолютизированы могут быть классовые противоречия, национальные отношения, религиозное сознание... Окиньте мысленным взором диктатуры XX века в различных странах — и увидите: все они опирались на этот принцип. А эротика? Она, погружая подданного в тонкости взаимоотношений между мужчиной и женщиной, убеждая его, какое важное влияние оказывает сексуальная жизнь на судьбу, вольно или невольно заставляла сомневаться в правильности мифа о божественном абсолюте, на котором держится режим. Не потому ли советские люди лишь недавно стали узнавать, что, оказывается, Фрейд — не бранное слово, а имя великого ученого.

Кстати, примеры раскрепощающего воздействия эротики на умы и души можно отыскать и в других эпохах: тот же «Декамерон», на который неоднократно ссылается в своем эссе Лоуренс... «Сексапильные» святые отцы не просто забавны, это — смелый вызов всесильной церкви (я почти цитирую сразу несколько классических советских трудов о литературе Возрождения). Да, это вызов церкви, тоже некогда претендовавшей на тотальный контроль над духовной и физической жизнью паствы и, между прочим, своевременно от этого отказавшейся для того, видимо, чтобы атеисты прошли тем же самым путем и уперлись лбом в ту же самую стену. Но факт остается фактом: были времена, когда отцы церкви на своих высоких совещаниях и собраниях совершенно серьезно рассматривали вопрос, допустимо ли, чтобы добрый христианин для ублаготворения своей законной супруги использовал не только аксессуар, предназначенный для этого богом, но и способствовал сему благому делу посредством собственного перста.

Однако воротимся на отечественную почву. Искусство, приравненное к штыку, решительно было направлено на формирование в сознании миллионов образа женщины-сподвижницы, по совместительству могущей также выполнить функции жены и матери. Вспомните, чем заканчивались так называемые «лирические» ленты того времени: обретя друг друга, влюбленные встают в общий строй, берут в руки знамена и с непременной маршевой песней шагают вперед... Нет, я не иронизирую, я просто пересказываю финал кинофильма «Цирк». Агитатор и горлан новой пролетарской государственности В. Маяковский учил:

В поцелуе рук ли,
губ ли,
В дрожи тела
близких мне
красный
цвет
моих республик
тоже должен
пламенеть...

Без тени улыбки скажу: это — уникальное слияние высокой эротики и советского патриотизма. Более того, данная традиция уходит в глубь русской поэзии, не однажды сближавшей возвышенное чувство к женщине с любовью к Родине. Но, увы, очень часто именно художественная дерзость легче всего огрубляется, оглупляется и используется идеологической машиной в качестве прямой противоположности тому, что имел в виду автор.

А пройдите-ка по подземному дворцу станции метро «Площадь Революции» и свежим, не «замыленным» глазом осмотритесь кругом! Отлитые в бронзе товарищи по борьбе женского пола вызывают любые ассоциации, вплоть до горящих изб и скачущих коней, но только не мысли о трепетном женском начале. Если народ построен в колонну и поведен на штурм сияющих вершин, деление по половому признаку рождает массу трудностей. А трудностей у организаторов наших побед и так хватало.

Конечно, презрение к «изячной» жизни и сопутствующим ей любовным томлениям было рождено переломным временем и азартом отказа от всего, чем дорожил старый мир, который предполагалось разрушить «до основанья, а затем...». Но этот истошный ригоризм молодости был сознательно поддержан и развит людьми, понимавшими, что не только «изячной», а просто нормальной жизни народу они пока дать не могут. Странно было бы настойчиво культивировать «науку страсти нежной» среди граждан, живущих по преимуществу в ульеподобных коммуналках и общежитиях.

Но, поведя наступление на эротику как на составную часть здравого мироощущения и раскрепощенного сознания, власть была далеко от того, чтобы искоренить и, так сказать, грубо материальную базу этой самой эротики, ибо, поизведя население в разного рода кровавых экспериментах, была горячо заинтересована в повышении рождаемости. Будущие специалисты еще разберутся, как повлияло на сексуальные стереотипы советского человека запрещение абортов и противозачаточных средств. Человек во френче строго смотрел с портрета, заменившего во многих домах икону, и как бы сурово предупреждал супругов: «То, чем вы собираетесь заняться, дело не личное, но государственное! Имейте в виду!» Впрочем, и сегодня, будучи легализован аборт в нашей стране остался своеобразной и жестокой формой наказания женщины за нежелание выполнить свой долг перед государством. Что же касается противозачаточных средств, то презервативы — это единственное, видимо, в нашей стране изделие которое от Бреста до Владивостока выпускается в единой, не-

колебимой модификации, ибо в человеке все должно быть одинаково!..

В чем-то я согласен с Л. Петрушевской: рассказывать советским людям об эротике — то же самое, что объяснять различия между последней моделью «пежо» и предпоследним выпуском «рено» человеку, который, кроме кустарного самоката на подшипниках, в своей жизни ничего не видел. Если предположить, что существовала античная, ренессансная, барочная эротика, то нашу эротику я бы назвал «барачной». Нашего соотечественника за границей сразу можно обнаружить, во-первых, по привычке угрюмо смотреть на витрины, одновременно перебирая в кармане смехотворную валюту, а во-вторых, по нездоровому хихиканью и толканию друг друга в бок при виде на прилавке тамошней «союзпечати» журнала, с которого улыбается милая девушка, обнажившая грудь не для кормления, а ягодицы не для инъекции.

Одержимые установкой на воспитание народа в соответствующем духе, наши командармы идеологического фронта напоминали чем-то недалеких родителей, скрывающих до самой брачной ночи от своего отпрыска, для чего предназначены природой те или иные части тела. В книгах, приходивших к советскому читателю из-за рубежа, где процесс легализации эротики в общественном сознании шел своим чередом, вымарывались все неподобающие подробности. Даже в ущерб сюжету и здравому смыслу. Исключения делались да и делаются лишь для академических текстов; впрочем, и тут находят способы смягчить зарвавшегося классика при помощи «щадящего» перевода. Из собраний сочинений вслед за произведениями, отражающими так называемые реакционные взгляды титанов духа, вылетают и сочинения, отмеченные ненужным нашему читателю интересом к взаимоотношениям между полами. Так, например, в последний десятитомник Бальзака «Озорные рассказы» почему-то не вошли. Карандаш редактора охраняет лишь те пикантные эпизоды в книгах западных писателей, которые иллюстрируют глубину нравственного разложения буржуазного общества. А сколько зарубежных писателей вообще к нам не дошли из-за своего, как говорится, нездорового увлечения эротикой? Достаточно назвать американца Генри Миллера... Хотя, разумеется, если исходить из того, что книга бестселлер — это всего лишь коварный способ одурачить доверчивого западного читателя-потребителя, тогда произведения названного автора и других его коллег можно и в дальнейшем не переводить на русский язык. Зачем?

А зарубежные кинофильмы? После первоначального объятия героев кадр конвульсивно дергается... «Вырезали!» — с пониманием переглядываются зрители. Лента, которую довелось увидеть на фестивале, так же отличается от прокатной копии, как фунт стерлингов от фунта лиха.

Если бы телевизионщиком был я, непременно раскопал бы все эти пикантные вырезки (ведь не выбрасывали же?!), смонтировал бы, оснастил хорошим закадровым текстом... Если начать со сцен, купированных еще из трофейных лент, а потом просто соблюдать хронологию, вышел бы замечательный, по всем правилам дидактики, эротический ликбез. Отдаю эту идею телевидению безвозмездно, прошу только сердечно поблагодарить меня в титрах!

Но давайте снова вернемся к отечественному опыту!.. Что мы все, право, про импорт да про импорт! В советской литературе, по-моему, происходило следующее: представьте себе страну или даже планету, где самое неприличное — это вслух говорить о пище и даже намекать на то, что люди вообще едят. Вот такие странные нравы! Теперь вообразите себе литературу этой планеты. Тот факт, что в художественных произведениях действуют полноценные герои, а не дистрофики, неизбежно должен наводить читателей на мысль о питании литературных персонажей. Они, читатели, конечно, догадываются, что он, герой, заторопившись после службы домой, хочет (о, я краснею!) плотно поужинать или что он, герой, любит свою жену (и как только язык поворачивается!) за ее умение прекрасно готовить... Но я представляю, какая буря поднялась, если бы автор попытался написать, что герой выходит из столовой, вытирая после еды губы! Но самое удивительное заключается в том, что изящная словесность этой планеты ломится от сочинений, посвященных страданиям голодающего человека! Думаю, нет нужды продолжать эту весьма прозрачную аллегорию: для того чтобы попасть на эту удивительную планету, не нужно никуда летать — достаточно зайти в библиотеку. А писатели, все-таки обращавшиеся к эротическим проблемам, выглядели в нашей литературе поистине как инопланетяне. Напомню, что сексуальная заостренность некоторых вещей, вошедших в свое время в «Метрополь», возмутила «общественность» чуть ли не больше, чем сам факт создания неподцензурного альманаха.

Но гласность, как любили выражаться в прошлом веке, обнимает все сферы нашей жизни. Обняла она и эротику. Вот на страницах «Огонька» печатается (правда, под иным названием) «Маленький гигант большого секса» Ф. Искандера — самая сильная, по-моему, прозаическая вещь в «Метрополе». Вот маленькая Вера в позе наездницы обсуждает со своим милым разные семейно-бытовые проблемы. Вот и ленинградское телевидение по вечерам показывает нам художественно обнаженных девушек. Вот начинают выходить в свет книги, о которых не могли даже мечтать те, кто не знает языков, а это основной удел людей, выросших за железным занавесом или за пыльными кумачовыми портьерами.

Разумеется, не все идет гладко. Приведу один близкий мне пример. Режиссеру Сергею Снежкину, экранизировавшему мою повесть «ЧП районного масштаба», пришлось решительно отстаивать свое право на введение в фильм достаточно «крутых» интимных сцен, необходимых, по его убеждению, для художественной концепции ленты. Киноначальство спорило, возражало, но не вырезало. Теперь спорит, соглашаясь или возражая, зритель. По-моему, так и должно быть в обществе, где деятель куль-

туры — творец, а не инженер человеческих душ, ибо над инженером всегда можно поставить главного инженера....

Однако все чаще и чаще раздаются встревоженные голоса: «Неужели из-за мутных потоков непотребства, затопивших книги и экраны, мы не убережем исконное народное целомудрие?!» Ну, это — преувеличение: никаких потоков нет, пока мы имеем дело лишь с первой капелью. Но ратующим за «исконное целомудрие» я бы советовал поговорить с врачами соответствующих лечучреждений. Они расскажут, что речь идет не о целомудрии, а об элементарной физиологической безграмотности, даже дремучести, о полном отсутствии культуры интимных отношений — эдакие сексуальные Пила и Сысойка... Встречаются опасения, что легализация эротики будет способствовать более раннему приобщению молодежи к половой любви. Не волнуйтесь, товарищи, резкое «помолодение» интимных контактов началось у нас задолго до сегодняшнего дня. Кстати сказать, в некоторых странах, где давно отказались от истошного пуританства, весьма высок процент молодых людей, вступающих в интимные отношения только после двадцати лет, семьи там крепче и долговечнее, нежели у нас, да и детей в этих семьях поболее нашего...

Есть и другой важный аспект. Говорят, когда-то японцы не ведали лобзаний, не знали, что такое поцелуй,— и все тут! Но с приобщением Страны Восходящего Солнца к мировому сообществу ситуация резко изменилась: целуются! Эротика в той или иной степени стала важным элементом культуры тех развитых стран, с которыми мы, соответствуя новому мышлению, затеяли плодотворное общение. Влияние — верю, что взаимное,— неизбежно. Ну, и как будем общаться? С ножницами и красным карандашом в руке? Будем наших туристов инструктировать на предмет эротических диверсий, как раньше инструктировали по поводу диверсий идеологических?

Эротическое сознание как романтизированное, эстетизированное, если хотите, отражение сексуальной жизни человека существовало всегда. Образно говоря, эротика соотносится с физиологией, как искусство с жизнью. Здесь есть и свои законы отражения, и свои условности, и свои тайны, и своя — уж извините! — воспитательная функция. Грубо выражаясь, молодые люди, посмотревшие хороший эротический фильм, наверное, уже не захотят общаться в пропахшем кошками подъезде. Говорят, и детишки, зачатые по-людски, красиво, и лучше получаются, полноценнее... Или за нашими рассуждениями о нравственности продолжает скрываться обыкновенная неспособность создать человеку нормальные условия для существования? Молодожены годами дожидаются собственного угла, а гостиничное хозяйство не управляется даже с командировочными, не то что с влюбленными, озабоченными классической проблемой единства места и действия... Запретный плод все равно будет сорван и съеден. Но съесть его можно с удовольствием, красиво, по всем правилам веками вырабатывавшегося этикета. А можно сожрать, давясь, запихивая в рот грязными руками и чавкая...

Без сомнения, очень скоро и у нас встанет вопрос, где проходит граница между эротикой и порнографией, между откровенностью и непристойностью. Уверяю, что эта проблема волнует не только нас. Я где-то читал, что картина Рубенса «Зачатие Марии Медичи» не выставляется из соображений нравственности. В Англии, например, совсем недавно приняты новые законы, охраняющие мораль юношества. Проблема границы (по наблюдению Лоуренса, весьма подвижной) существовала всегда, но ведь это не повод для войны на уничтожение! А поправить тех, кто переступает границы здравого смысла, мы всегда сумеем — с запретительством у нас все в порядке.

Однажды с одним моим товарищем я разговаривал об эротических мотивах у Пушкина. Он с упоением декламировал знаменитое «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...». Вот ведь — и дерзко, и нежно, и откровенно, и целомудренно!— восклицал он и продолжал:

О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно с тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья...

После разговора я никак не мог избавиться от ощущения, что в цитате была какая-то неточность, и, воротясь домой, проверил: Так и оказалось:

О, как мучительно тобою счастлив я!

Чувствуете разницу? В первом случае — прозаизм, во втором — высокая, прекрасная эротика!.. Почему я вдруг решил закончить мои заметки этим случайным воспоминанием, ей-богу, и сам не знаю...

◆

ОБЩЕСТВО И СМЕРТНАЯ КАЗНЬ*: мнение читателей

Очень рада, что «Иностранная литература» наконец решила предложить читателям «принять участие в обсуждении проблем, которые волнуют всех нас» Одна из вечных проблем этого рода — моральная правомочность и социальная эффективность смертной казни. В нашем многострадальном обществе, очевидно, положение с преступностью в самом деле катастрофическое. Жестокосердие наших сограждан, напуганных грабителями, мафиози, изнывающими от безделья юнцами, в общем понятно. Из печати, телепередач мы знаем, что большинство сегодня ЗА смертную казнь и вообще за ужесточение уголовных наказаний. И все же, прочитав Камю и в особенности статью Г. Франка (тем более посмотрев его переворачивающий душу фильм), невозможно, мне кажется, выступать в защиту государственного убийства. До сих пор я считала, что за какие-то особые, чудовищные преступления смертная казнь все же оправданна. Но действительно чаще всего преступником делают человека уродства нашего общества, не будем об этом забывать. И потом, я все думаю о людях, которые по долгу службы обязаны приводить приговор в исполнение, получая за это зарплату, надбавку за выслугу лет, медаль «Ветеран труда» (или как там она у них называется?) и тому подобное. Сколько их, таких? Должно быть, немало, если в прошлом году в нашей стране совершено шестнадцать тысяч убийств—ведь, по крайней мере, половину убийц придется расстрелять. Что же делается в душе у людей, которых государство заставляет стать палачами, то есть теми же убийцами?

Я согласна, что есть такие монстры, которые являют собой постоянную угрозу для жизни окружающих. Но даже таких общество, по-моему, не имеет права убивать. Они должны быть изолированы от общества, пусть высшей мерой наказания за убийство будет не ответное убийство, а длительное заключение, в самых страшных случаях — пожизненное заключение в одиночке.

Вот что я думаю по этому поводу. Интересно было бы узнать, как откликнутся на вашу публикацию другие читатели. Вообще же затея редакции восстановить истончившееся звено между нашей страной и остальным миром, показать, что волнующие нас культурные и нравственные проблемы — «часть мирового человеческого организма»,— на мой взгляд, очень важна. За 70 лет мы как-то замкнулись в своей воображаемой исключительности и несомненной ущербности, и нам полезно было бы вспомнить, что над нашими проблемами уже бились лучшие умы человечества...

Г. Дроздова. Москва

...В № 1 за текущий год помещены две статьи о смертной казни. Разделяю мнение противников смертной казни.

Неспроста в 80 странах смертная казнь отменена или не применяется (в том числе в Англии, Франции, Финляндии, в соцлагере — в ГДР); в трети штатов США смертная казнь отменена. Что там — другие преступления или другие преступники? Нет.

Смертная казнь не предупреждает преступлений. Уже по одному этому ее нужно бы отменить.

Она не нужна, жестока и непоправима. Это не возмездие, а, в сущности, месть Что ее совершает общество, дела не меняет.

Ибрагимов, председатель Верховного суда Азербайджанской ССР, сообщил в «Лит. газете» о двукратном смертном приговоре. К счастью для осужденного, дотошная проверка обоснованности приговора в Верх. суде республики закончилась четырьмя годами заключения. В «Известиях» сообщалось, что один просидел два года в камере смертников. К счастью для осужденного, дотошная проверка обоснованности приговора закончилась в конце концов его оправданием. Наверное, были и другие случаи. А если бы этих людей расстреляли? Ведь мертвых не воскресишь. А от ошибок не застрахованы суды всех рангов.

В проекте основ уголовного кодекса смертная казнь предусмотрена за шпионаж, терроризм и некоторые другие преступления. А ее, по-моему, вообще быть не должно. Может быть, оставить только для условий военного времени, но и там сомнительно.

Нельзя, как мне кажется, не считаться с мнением таких людей, как А. П. Чехов, В. Г. Короленко, Ф. М. Достоевский,

* В № 1 нашего журнала в рубрике «Тема для дискуссии» опубликованы эссе А. Камю «Размышления о гильотине» и статья Г. Франка «...И не только о гильотине».

Л. Н. Толстой, А. Камю, Б. Шоу, М. Твен, А. Франс, Метерлинк, Т. Драйзер и многих других.

Поэтому я за полную отмену смертной казни.

Г. А. Фабрикантов. Ташкент

...С большим интересом прочитал статьи, посвященные смертной казни. После великолепной статьи Альбера Камю и противоречивой Герца Франка я все более убеждаюсь, что смертная казнь — это узаконенное убийство и ее необходимо заменять пожизненным заключением. Благодаря гласности мы теперь знаем, сколько «рецидивистов», «шпионов» и прочих «врагов народа» было уничтожено в годы Сталина. Ошибки следует исключать в будущем. Отмена смертной казни отобьет охоту у слишком ретивых законников распоряжаться «в благородных целях» чужими жизнями. А с преступностью надо бороться другими методами.

Вот по отношению к нацистам и военным преступникам тех лет смертную казнь, по-моему, следует п о к а оставить. Фашизм — это абсолютизированное зло, абсолютизированное в силу идеологического фундамента, нацеленного на истребление целых народов.

Хотя и здесь можно возразить — убив, в данном случае расстреляв нациста, мы еще не убиваем идеологию. Идеология кроется в общественной морали. Ведь общественная мораль застоя и привела потихоньку общество к тому, что мы узнали о существовании собственных фашистов, руководящихся учением Гитлера. Сейчас уже поздно этот идеологический просчет сваливать на «гниющий» Запад. Загнивать стали мы и вовремя это осознали. В оздоровлении общественной морали (чем сейчас и занимаемся), в гуманизации отношений (идеологических, экономических, политических, культурных) и кроется отношение к человеку. Отменой смертной казни мы только укрепим этот процесс и укрепим растущее доверие к нам со стороны Запада как к государству, как к системе (а ведь именно система и вызывает особенное недоверие западных партнеров)...

Андрей Гончаров, 19 лет, студент. Краснодар

Здравствуйте, дорогие товарищи! Прочитала статью о смертной казни в рубрике «Резонанс» и решила высказать свое мнение.

У меня сложилось впечатление, что во Франции смертная казнь назначалась за любое убийство, будь то простое убийство, будь то убийство при отягчающих обстоятельствах. Но у нас это не так, а сейчас, с реформой уголовного законодательства, перечень преступлений, за которые может быть назначена смертная казнь, еще более сужен. И если уж она и назначается, то только к тем, чьи деяния отличились особой жестокостью и цинизмом.

Мне кажется, неверно и наивно было бы думать, что Долгов В. В., о котором снял фильм Герц Франк, пришел бы к переосмыслению своей жизни, не стой он на пороге небытия. В данном случае одиночная камера смертника явилась чистилищем, в котором все жизненные страсти кажутся суетными, мелкими, ничтожными перед надвигающейся неведомой вечностью. Только в такие мгновения какой-то одухотворенности, понимания и принятия некой высшей истины может наступить очищение и раскаяние. Ведь не случайно Долгов говорит: «...в бога, я, конечно же, не верю, но все же вот боюсь... Не самой смерти... а... вот такое чувство... Это, наверно, то, что называют совестью... Я презираю себя... Я так люблю людей!.. Ведь только любовью живут люди».

Могло ли наступить такое просветление и жажда искупления содеянного, если бы не необходимость подвести итог своей жизни? Я думаю — н е т. Напротив, если бы Долгову был назначен длительный срок лишения свободы, его мысль не вышла бы на некий более высокий круг, а осталась бы на уровне того, как, извините, «проканторваться» эти годы, как строить взаимоотношения с другими заключенными, и проч. Появилась бы лишь злая досада на то, что попался, «влип», на людей, которые «дали» такой большой срок, как, кстати, это произошло с тремя молодыми убийцами, о которых в той же статье говорит Г. Франк.

К сожалению, человечество не может пока придумать такого механизма, при котором могла бы создаться ситуация отрешенности, высокой духовности, аналогичная ситуации с Долговым, б е з у г р о з ы с м е р т и. Потому что, пока человек жив и ничто не угрожает его жизни, он думает о жизненных (с его точки зрения) ценностях, мыслит другими категориями.

А пока это так, я — п р о т и в абсолютной отмены смертной казни.

С уважением к вам,
Ходжаева Л., юрист. Фергана

P. S. Мне вдруг подумалось, неплохо было бы помещать таких людей в принудительном порядке на покаяние в монастыри, во всяком случае, воздействие, по-моему, было бы большим, чем в наших колониях.

...Мне хотелось бы откликнуться на жаркую, взволнованную проповедь разума и человечности, прозвучавшую в статье Альбера Камю. Сознавая, что в нашей жестокой стране каждый голос против насилия важен, я хотел бы, чтобы и мой глас был услышан. Позволю себе заметить, что наше так называемое правосудие недалеко ушло от законности Моисея, помните: «Око за око, зуб за зуб». Убийство сотен, тысяч и миллионов поощрялось и приводило к продвижениям по службе и наградам. Чем больше отправлялось людей на смерть, тем стремительнее была карьера палача. И вся эта пляска смерти совершалась от имени государства и народа. И вот теперь это государство, уничтожив сотню миллионов своих жителей, смилостивилось. Оно стало вдруг гуманным. Хм, государство, совершившее немыслимые преступления перед своим народом, решило стать гуманным. Так давайте ж мы, его жители, разинем рты от удивления и спросим у наших блюстителей закона: что же такое, на их взгляд, гуманность? И получим ошеломляющий от-

вет — это когда стрелять не всех, а через одного, а женщин и детей трогать вообще не будут. Итак, вместо раскаяния наше государство вымаливает себе право еще стрелять в свой народ неопределенное время. А кто же будет определять, кого стрелять, а кого нет? Не тот ли это суд, который в свои лучшие годы отправил на казни и в лагеря миллионы своих соотечественников, не тот ли это суд, который придумал такие гуманные статьи УК, как ст 190 (антисоветская агитация и пропаганда), не тот ли это суд, который и сейчас, в наше просвещенное время, творит расправу над тысячами невиновных? Впрочем, я ошибаюсь, наш суд иногда проявляет поразительное человеколюбие, и тогда на воле остаются и даже не попадают под следствие наши славные миллиардеры Гришин, Алиев, Кунаев и, как пишут, некоторые другие.

А проблема Нагорного Карабаха, разве она не упирается в проблему смертной казни? Видя, как государство расправляется со своими врагами (людьми, преступившими закон), так же поступает одна нация, невзлюбившая другую.

Так, может, мы наберемся мужества и потребуем от этого молоха, называемого государственным правосудием,— хватит смертей! После этих десятилетий беззакония не пора ли остановиться этой безумной гильотине.

С уважением,
Александр Рахлин. Москва

Здравствуйте, Герц Вульфович!

Никогда не думала, что буду писать незнакомому человеку, но Вы затронули проблему, которая мучает меня всю жизнь. Нет, конечно, не вопрос о смертной казни. Я внутренне не могу принять любого убийства, потому что воспринимаю жизнь как святыню и убеждена, что взять можно только то, что можешь отдать. Но это самое глубинное мое отношение. Для того чтобы Вам была понятнее моя мысль, ради которой я пишу: я считаю, как С. Цвейг и Л. Толстой, что никто не имеет права судить другого человека, а карать тем более. Но в Вашем фильме (низкий поклон Вам за него!) меня заняла другая идея. Я увидела раскаявшегося человека. Сколько я видела людей, совершающих моральные убийства, наносящих настоящие нравственные увечья, но ни разу я не встретила в них и тени раскаяния. Больше того, даже когда пытаешься объяснить такому человеку, что именно он сделал, то не встречаешь ничего, кроме желания оправдать свои поступки. Ведь для нормально нравственного человека так естественно продумать последствия своего поступка для других но часто ли мы с этим сталкиваемся? Я даже слышал совет, вроде: «Решай только за себя», и это тогда, когда чей шаг может поставить другого в безвыходное положение. А уж советов, когда вопрос идет о чести, о гордости, о достоинстве! И каких! Иногда такое ощущение, что только Достоевский, Чехов или Толстой имели право на нравственные муки. И это все люди, о которых никто не скажет дурного слова, да они и не совершают вроде бы ничего плохого... С точки зрения общепринятой морали

В Вашем фильме я впервые увидела то, что в религии называется «раскаявшийся грешник». В какой же железобетонный мундир нужно затянуть свою человеческую совесть, за какой горой пуленепробиваемых бумаг нужно укрыться, чтобы подтвердить смертный приговор раскаявшемуся и мучающемуся человеку! Кто же нравственнее — Долгов или Рубцов, подписавший смертный приговор?

Я, конечно, понимаю, что тот же Валерий Долгов, не дойдя до убийства, тоже бы, наверно, ничего не понял. Но неужели мы дошли до того, что простейшие нравственные вопросы, которые человечество уже давным-давно решило, нужно поднимать как новые?

Я хочу поблагодарить Вас за те муки, которые Вы претерпели, слушая исповедь Валерия, за то, что Вы хоть что-то сделали для страдающего человека. Это горькое счастье выпадает далеко не всем, но ведь и далеко не все способны пойти туда, где такое страшное горе, потому что бережем свой душевный комфорт. Какую же высокую миссию выполняли священники в тюрьмах, и как это важно каждому человеку в беде — в горе! И какая это жалкая замена церкви — наша нынешняя попытка организовать «службу милосердия» (или как это там называется?),

Я понимаю, что ничего нового мое письмо Вам не даст. Невозможно сделать такой фильм случайно, а не вследствие выстраданных убеждений. Поступаю просто эгоистично, выплескиваю свои ощущения, чтобы не страдать от Вашего фильма и от Вашей статьи в «Иностранной литературе» бесконечно и в одиночестве. Все это вызывает такое же страдание, как «Воскресение» Л. Толстого, но только острее, потому что ближе, да и человек не выдуман. А конечно, отмучился, и выхода для него не было, но как посмели такое осудить?! Ведь это же вершина муки души.

Никогда в жизни не занималась проблемой смертной казни. До Вашего фильма и до статьи А. Камю не понимала, что это фокус нравственности общества. Еще раз большое спасибо за фильм!

А. Ш. Готман. Новосибирск
15.II.89

Случайно пишу в такой долгожданный день. Какое счастье, что наши дети не будут погибать в Афганистане, в бойне без суда и смысла!

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Плаха». Издательство «Народна култура».
Роман АНАТОЛИЯ АНАНЬЕВА «Танки идут ромбом». Издательство «Отечествен фронт».
Сборник рассказов ИСААКА БАБЕЛЯ «Начало». Издательство «Народна култура».
Роман АЛЕКСАНДРА БЕКА «Новое назначение». То же издательство.
Роман-дилогия ЮРИЯ КЛАРОВА «Розыск». Издательство «Христо Г. Данов».
«Избранное» АЛЕКСАНДРА МАЛЫШКИНА. Издательство «Народна култура».
Повесть МАРИ СААТ «Катастрофа». Издательство «Георги Бакалов».
Стихотворения ИГОРЯ СЕВЕРЯНИНА. Издательство «Народна култура».
Повести и рассказы СЕРО ХАНЗАДЯНА. Издательство «Георги Бакалов».
Стихи и поэмы ОЛЕГА ШЕСТИНСКОГО. Издательство «Народна култура».

ВЕНГРИЯ

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Карьер». Издательство «Европа».
Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Иду на грозу». То же издательство.
Повесть ВЛАДИМИРА ЖЕЛЕЗНИКОВА «Чучело». Издательство «Мора».
«Юношеский роман» ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА. Издательство «Европа».
Роман ЮРИЯ МУШКЕТИКА «Вернись в дом свой». То же издательство.
Повесть ВИТАЛИЯ СЕМИНА «Ласточка — звездочка». Издательство «Мора».
Сборник рассказов ГЕОРГИЯ СКРЕБИЦКОГО «Длинноухий и его приятели». То же издательство.

ГДР

Роман ГРИГОЛА АБАШИДЗЕ «Лашарела». Издательство «Рютген унд Лёнинг».
Повесть НАТАЛИИ БАРАНСКОЙ «Женщина с зонтиком» Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть ГРИГОРИЯ БЕЛЫХ и Л. ПАНТЕЛЕЕВА «Республика Шкид». Издательство «Нойес лебен».
Роман АРТЕМА ВЕСЕЛОГО «Россия, кровью умытая». Издательство «Густав Кипенхойер».
Исторический роман ЮРИЯ ДАВЫДОВА «Две связки писем». Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть ОЛЕГА ЖДАНА «Конец недели». Издательство «Ауфбау».
Сказка САМУИЛА МАРШАКА «Терем-теремок». Издательство «Киндербухферлаг».
Поэма ВЛАДИМИРА МАЯКОВСКОГО «150 000 000». Издательство «Ауфбау».
Рассказы АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА. Издательство «Фольк унд вельт».
Пьеса ВИКТОРА РОЗОВА «У моря» («Кабанчик»). Издательство «Хеншель».
Стихи ПАРУЙРА СЕВАКА. Издательство «Фольк унд вельт».
Роман ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Свидание с Нефертити». То же издательство.
Стихи и проза МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Филипп Реклам».
Повесть ЛЬВА ШЕЙНИНА «Военная тайна». Издательство «Милитерферлаг».
Сборник произведений Бориса ЭЙХЕНБАУМА «Мой временник». Издательство «Густав Кипенхойер».
«Повесть о Константине Петровиче Иванове» ЕГОРА ЯКОВЛЕВА. Издательство «Диц».

ИТАЛИЯ

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Рицциоли».
Повесть ЮРИЯ ТЫНЯНОВА «Восковая персона». Издательство «Эдиторе риунити».

КУБА

Книга ЯСЕНА ЗАСУРСКОГО «Американская литература XX века». Издательство «Эдиторьял арте и литература».
Повесть БОРИСА ПОЛЕВОГО «Анюта». То же издательство.
Книга ВИКТОРА ШКЛОВСКОГО «Эйзенштейн». То же издательство.

НИДЕРЛАНДЫ

Повести НАТАЛИИ БАРАНСКОЙ «Неделя как неделя» и «Цвета спелого меда». Издательство «Вереддбиблиотек».
Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Дамский мастер». То же издательство.

Сборник стихов ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА «Щупальца земли». Издательство «Де лантаарн».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Берт Баккер».

ПОЛЬША

Книга ЛЬВА БЕЗЫМЕНСКОГО «Разгаданные загадки третьего рейха». Издательство «Искры».
Роман ЭМЭ БЭЭКМАН «Возможность выбора». Издательство «ПИВ».
Роман ЮРИЯ ДОМБРОВСКОГО «Хранитель древностей». Издательство «Чительник».
Повесть ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Верлиока». Издательство «Наша ксенгарня».
Сборник рассказов ЮРИЯ КАЗАКОВА «Во сне ты горько плакал». Издательство «К и В».
Повесть АРКАДИЯ И БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Обитаемый остров». Издательство «Искры».

ФРАНЦИЯ

Повести АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА. Издательство «Галлимар».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Пожар». Издательство «Жюльяр».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Альбен Мишель».

ФРГ

Роман АРКАДИЯ АДАМОВА «Идет розыск». Издательство «Хоэнхайм».
Рассказы ИСААКА БАБЕЛЯ «Конармия». Издательство «Дойчер ташенбухферлаг».
Книга МИХАИЛА БАХТИНА «Творчество Франсуа Рабле». Издательство «Зуркамп».
Роман АНДРЕЯ БЕЛОГО «Серебряный голубь». Издательство «Инзель».
Роман АРТЕМА ВЕСЕЛОГО «Россия, кровью умытая». Издательство «Паль Ругенштайн».
Повесть МАКСИМА ГОРЬКОГО «Жизнь ненужного человека». Издательство «Нойер Маликферлаг».
Роман ДАНИИЛА ГРАНИНА «Картина». Издательство «Паль Ругенштайн».
Повесть НИКОЛАЯ ДУБОВА «Беглец». Издательство «Арена».
Автобиографическая дилогия ЮРИЯ КОРИНЦА «Там вдали за рекой». Издательство «Ровольт».
Сборник стихотворений Вячеслава КУПРИЯНОВА «Риск доверия». Издательство «Вортверкштатт».
Роман СЕРГЕЯ МСТИСЛАВСКОГО «Грач, птица весенняя». Издательство «Вельткрайсферлаг».
Роман БОРИСА ПАСТЕРНАКА «Доктор Живаго». Издательство «Фишер».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Кипшенхойер унд Вич».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Рассказы ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА. Издательство «Лидове накладателстви».
Роман ЛИЛИИ БЕЛЯЕВОЙ «Несыгранная роль». Издательство «Татран».
Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Круглянский мост». Издательство «Одеон».
Повесть НАТАЛЬИ ДУРОВОЙ «Мой дом на колесах». Издательство «Младе лета».
Роман СЕРГЕЯ ЕСИНА «Имитатор». Издательство «Лидове накладателстви».
Стихи ВАСИЛИЯ ЗАХАРЧЕНКО. Издательство «Младе фронта».
Роман в письмах ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Перед зеркалом». Издательство «Вышеград».
Роман ЛАЗАРЯ КАРЕЛИНА «Последний переулок». Издательство «Лидове накладателстви».
Сборник рассказов ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Место под солнцем». Издательство «Младе фронта».
Роман ЛЕОНИДА ПОЧИВАЛОВА «Сезон тропических дождей». Издательство «Обзор».
Роман АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Городок». Издательство «Лидове накладателстви».
Сборник рассказов ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Что передать вороне?». Издательство «Татран».

ШВЕЦИЯ

Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Кафедра». Издательство «Легенда».
Сборник рассказов ВИКТОРА ДРАГУНСКОГО «Удивительный день». Издательство «Рабен ок Шёгрен».
Поэма «Фуку!» и стихотворения ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. Издательство «Гендис».

ЮГОСЛАВИЯ

Повесть ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Знак беды». Издательство «Ново дело».
Книга стихов ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА «Урок пения». Издательство «УКЦГ».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Македонска книга».

ЯПОНИЯ

Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тяжелый песок». Издательство «Кайсэйся».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Время и место». Издательство «Гундзося».
Повести ИОСИФА ХАЛИФМАНА «Они летят по заданию», «Пароль скрещенных антенн», «Трубачи играют сбор». Издательство «Ирония».

◆

Великобритания

ПРОСТОЙ РАССКАЗ О ЧЕЛОВЕКОЛЮБИИ

Йоркширское телевидение совместно с компанией «Телеком энтертейнмент» сняло фильм под названием «Чердак: убежище Анны Франк», сообщает журнал «Лиснер». Обозреватель Питер Леннон отмечает, что за создание фильма автору сценария Уильяму Хэнли в США была присуждена премия «Эмми».

У. Хэнли и режиссер Джон Эрман «с достоинством и благородной простотой» сумели поведать историю семьи Франк, которая во время оккупации Нидерландов гитлеровскими войсками скрывалась на чердаке дома № 263 по улице Принсен-хахт. Австрийская католичка Мип Хис и ее муж Ян в течение двух лет служили для семьи Франк единственной связью с внешним миром. Они же сохранили дневники Анны после гибели семьи в концлагере Вестерброк (как известно, в живых остался лишь Отто Франк — отец Анны). Этот фильм, по словам критика,— «рассказ о борьбе за жизнь и о человеколюбии в невыносимых условиях нацистского режима».

Заглавные роли в фильме исполнили актеры, хорошо знакомые зрителям по классическому и современному репертуару,— Пол Скофилд, Элеанор Брон, Рональд Пикап. В центральной роли Мип Хис снялась талантливая американка Мери Стинберген. «Как же удалось этим «звездам» предстать на экране простыми людьми, с неприметным бесстрашием совершающими каждодневный подвиг?» — удивляется рецензент П. Леннон. По его мнению, успех перевоплощения объясняется даже не тем, что актеры «хорошо играли», а тем, что «они прекрасно держались — с необычайным тактом и деликатностью».

Анна Франк. Редкая фотография.

(Газета «Соурс»)

Одна небольшая деталь, пишет журнал, придала поразительную достоверность происходящим на экране событиям. По замыслу режиссера все актеры заговорили на сцене с голландским акцентом — и сразу превратились из легко узнаваемых кинозвезд в членов голландской семьи, испытавшей все ужасы «домашнего заточения». «Вот так просто, без особых эффектов, создатели фильма сумели «достучаться» до зрительских сердец»,— заключает Питер Леннон.

«КЕМ БЫЛ ЭТОТ ЧЕЛОВЕК?»

«Оскар Уайльд занимает особое место в истории английской литературы и нравов английского общества»,— отмечает рецензент еженедельника «Таймс литерари саплмент» Грегори Вудз, посвятивший свою статью выходу в свет и переизданию произведений О. Уайльда (поэма «Баллада Рединг-ской тюрьмы», эссе «Социализм и душа человека») и нескольких биографий писателя.

Книга «Оскар Уайльд» (первый вариант вышел в 1960 году под названием «Оскар Уайльд и его мир») практически не затрагивает социальных аспектов жизни писателя, в частности позорного для тогдашнего английского общества судебного процесса над ним, и это умолчание «вполне понятно и простительно», считает рецензент, ибо автор биографии Вивиан Холленд — сын О. Уайльда.

В совершенно ином духе написана книга под редакцией Дж. Гудмана: она почти полностью основана на материалах британской прессы конца прошлого века, подробно и пристрастно освещавшей ход «дела Уайльда». Грегори Вудз подчеркивает, что «самым опасным деянием» О. Уайльда считалось создание им «блестящих парадоксов и едких эпиграмм».

Подлинным гуманизмом и сочувствием проникнута книга Нейла Бартлетта «Кем был этот человек?». Она представляет собой удивительный сплав биографии и автобиографии, поскольку Н. Бартлетт проводит параллели между судьбой Уайльда и собственной жизнью, «проходит» вместе с читателем по тем местам Лондона, где некогда бывал и Уайльд. Такой прием, по мнению рецензента, позволяет лучше понять многие стороны жизни эксцентричного писателя, реально ощутить удивительную связь времен, когда «на смену знаменитой зеленой гвоздике пришла пачка «Мальборо», но сохранилась суть символа, суть явления». Н. Бартлетт ставит глубокие, наводящие на размышления вопросы, например: «Какой могла бы

быть культура и субкультура Лондона, если бы Уайльд продолжал жить и работать в нем в 20-е годы, если бы его творческая жизнь была бы столь же долгой, как, скажем, у Андре Жида?»

Греция

ПОЭЗИЯ И ВОЛШЕБСТВО

Новый фильм известного режиссера Тео Ангелопулоса «Пейзаж в тумане», созданный кинематографистами Греции, Франции и Италии (основным автором сценария выступил итальянский писатель и кинодраматург Тонино Гуэрра), на Венецианском фестивале (1988) был удостоен «Серебряного льва», премий Международного объединения экспериментального кино и Международной католической благотворительной организации, премии ФИПРЕССИ (постановщик получил ее в пятый раз) и ряда других наград.

«По своему обыкновению Ангелопулос строит фильм как путешествие-инициацию»,— пишет во французском журнале «Ревю дю синема» Марсель Мартен. На сей раз девочка Вула и ее братишка Александр ищут никогда не виданного ими отца. По словам режиссера, это и метафора поисков некоего идеала, опоры, объекта веры, которого так не хватает изверившейся нации. И вновь драматургическая структура ленты зиждется на диалектическом взаимодействии разных повествовательных пластов. Дети путешествуют по сегодняшней Греции, но одновременно — благодаря встречам с персонажами картины Ангелопулоса «Комедианты» (1975), где взаимоотношения бродячих актеров (действие происходит в 1944 г.) повторяют отношения героев мифа об Атридах,— по Греции вчерашней и по древней Элладе. «Прошлое, Память, Историю олицетворяют в новом фильме комедианты; настоящее — один из членов труппы, юный Орест, своего рода посредник между актерами и детьми, с которыми он проходит часть их пути; будущее — полные надежды Вула и Александр»,— говорит режиссер. Фильм подобен волшебной сказке, где перемешаны реальное и воображаемое. «В этом столкновении призрачных картин из области прошлого, настоящего и будущего иной раз трудно понять, кто грезит, а кто пригрезился,— замечает во французском журнале «Синема» Жерар Мера.— Переплетающиеся видения брата и сестры сменяет сон Вулы: ее увозит на коне прекрасный принц в обличье Ореста-актера, который сам видит во сне, будто он — микенский принц из рода Атридов...»

Кадр из фильма «Пейзаж в тумане».

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

«Ключ к этому поэтическому фильму — и «спрятанные» в нем притчи, нередко имеющие форму автоцитат, и аллегории, символы, аллюзии»,— считает М. Мартен. Великолепная финальная сцена, где герои пересекают окутанную мглой реку, и сквозь внезапно прорвавшуюся завесу тумана им открывается освещенное зарей дерево, представляется критику аллегорической вдвойне: «Дерево, могущее служить опорой и укрытием, — метафорический итог поисков Вулы и Александра, а весь напоенный рассветными лучами пейзаж — знак истинного кино, основанного, по мысли Ангелопулоса, на поэзии и волшебстве и противостоящего туманной гризайли — простому фотокопированию реальности...»

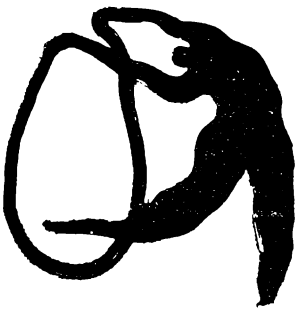
«Постоянные соавторы Ангелопулоса — композитор Элени Караиндру и оператор Гиоргос Арванитис с командой техников-«алхимиков» — вновь дарят нам чарующую Грецию без нефрита и бирюзы, без слепящего солнца и золотых песков,— пишет Ж. Мера.— Белый цвет в их картине — вовсе не оттенок мраморной гальки или надутых парусов, синие тона — не лазурь или аквамарин, а нечто среднее между серым и фиолетовым. Розовые блики на предрассветном небе первым улавливает ребенок, «проявляющий» своим взглядом краски матовых пейзажей,— он словно протирает запотевшее стекло...»

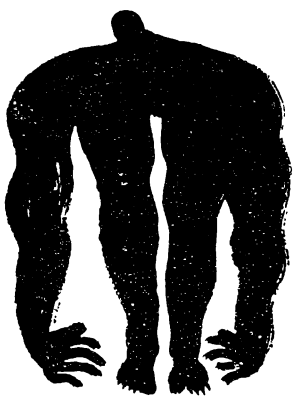
Индия

ОТОБРАЖЕНИЕ МНОГОЛИКОЙ КУЛЬТУРЫ

У расположенного в Бхопале Всеиндийского центра культуры «Бхарат Бхаван» (см. о нем «ИЛ», 1987, № 12) появилось свое периодическое издание на английском языке — журнал по проблемам культуры и литературы «Бахувачан». «На санскрите «бахувачан» означает «многообразие». Это слово встречается во многих современных индийских языках и означает в них «плюрализм» и «разнообразие». Кроме того, оно имеет значение «многоголосие» и «необъятность». Поскольку искусство и идеи служат формой существования изначально плюралистического творчества и самовыражения, мы сочли такое название вполне приемлемым для издания, представляющего самые разные точки зрения на многообразие проявлений культуры»,— говорится в предисловии.

Диалог с Западом, последствия колониализма в Индии, сочетание богатых и сложных философских традиций и современности, включение фольклора в культурное наследие наряду с классикой — вот лишь часть затронутых журналом проблем. Здесь читатель найдет статью о роли мифологии в индийской архитектуре, анализ основных методов и задач искусство-





Работы художника Девилала Патидара, опубликованные в сборнике «Бахувачан».

ведения, размышления специалиста по живописи, озаглавленные «Близость к иллюзии», эссе кинодеятеля о пространстве и перспективе, фрагменты книги художника Дж. Сваминатана «Чувствительные пальцы» о понятиях времени, истории и искусства в творчестве различных народов Индии, прочитанный в Швеции доклад писателя К. В. Ваида о влиянии западной, в частности британской, культуры на современную индийскую литературу.

В издании помещены литературоведческая статья «Искусство, фантазия и современность», очерк о классической традиции в музыке, интервью с известным музыкантом К. Гандхарвой, а также любопытное эссе писателя У. Р. Ананта-Мурти о вызвавшем бурную полемику религиозном обряде, во время которого множество паломников в обнаженном виде молятся у изваяния одной из богинь.

Значительное место отведено поэзии: это и произведения отдельных авторов, и подборка стихотворений поэтов, пишущих на языке ория, и отрывок из поэмы «Во тьме» Г. М. Муктибодха. Особый интерес представляют публикации древнеиндийской любовной лирики и стихи средневекового поэта Намдева. Ряд критических статей посвящен проблеме взаимосвязи поэтического творчества с формой, языком, социальной средой. Проза представлена на страницах «Бахувачана» повестью Нирмала Верма «Освобождение».

Среди иллюстраций необходимо отметить весьма своеобразные рисунки двадцативосьмилетнего художника по керамике Девилала Патидара. Он — воспитанник центра, участник нескольких групповых вернисажей, несколько лет назад его работы были представлены на персональной выставке, отмечены премией. Ныне он трудится и преподает в «Бхарат Бхаване».

Издатели журнала надеются, что и этот, и последующие выпуски «послужат ареной для отображения широкого спектра творческих работ в самых различных формах и видах». «Ведь здесь сближаются прошлое и настоящее, сталкиваются современное и вечное, — сказано в предисловии. — Но такие проблемы, как «человек и его внутренний мир», «человек и его окружение», «человек и его судьба», непреходящи».

Италия

СТРАСТЬ ПО МОРАВИА

«Произведения Моравиа делятся на «тучные» и «тощие», — начинает статью о творчестве писателя в газете «Коррьере делла сера» Джулиано Граминья. — В романах и рассказах первого типа — это, к примеру, «Супружеская любовь» или «Скука» — сюжет обволакивает избыточная, порою вязкая, замедляющая чтение словесная плоть. В книгах второго рода главную роль играет сама сюжетная структура: череда ситуаций образует «легкую, прочную клетку, заключающую неосязаемые, как воздух, слова»; таковы романы последних лет: «1934», «Человек, который смотрит» и недавно вышедшая «Поездка в Рим». В новом романе сразу становится заметным отсутствие скрупулезно выписанных женских портретов — правда, им пришли на смену подробные описания пейзажей в ключевых сценах. «В прежних моих книгах место действия играло роль театрального задника: здесь город выписан в деталях потому, что он, как видно уже из названия, предопределяет проблемы главного героя», — поясняет автор.

20-летний Марио Де Сио, во многом напоминающий молодого Моравиа, возвращается в Рим из Парижа, где прожил 15 лет. Герой одержим вожделением к... умершей в расцвете красоты матери и, чтобы избавиться от него, старается перенести свою страсть на женщин, схожих с матерью внешне, напоминающих о ней созвучием имен. Однако наваждение столь сильно, что всякий раз Марио испытывает разочарование, и в конце концов ему приходится уехать обратно в Париж. Д. Граминья считает, что «невозможный инцест» все же играет в развитии действия лишь косвенную роль. Основных сюжетных пружин, по его мнению, две. Во-первых, это навязчивое желание отца Марио, Жанны, Альды, а может быть, и самого Марио создать семью (ради чего герои идут на обман, «манипулируют» другими людьми). «Стержень моего романа — семья, — подтверждает и сам автор в интервью, данном Антонио Дебенедетти.— История современного романа — это также и история сложных семейных отношений. На сей раз я видел задачу в том, чтобы усвоить и использовать при построении романа достижения гуманитарных наук — антропологии, социологии, психоанализа, марксизма».

Другая сюжетная пружина романа связана, по мнению Д. Граминьи, с темой литературного творчества. Марио считает себя поэтом, поскольку отождествляет себя с человеком, написавшим все стихи, которые хотел бы написать он сам. Этот человек — Гийом Аполлинер, чьи сочинения не раз цитируются в романе. «Героями моих книг уже были писатель, сценарист, художник, журналист, профессор, критик,— говорит А. Моравиа. — Недоставало только поэта...»

ФЛАЙЯНО — ЗНАКОМЫЙ И НЕИЗВЕСТНЫЙ

Издательство «Бомпиани» выпустило первый том произведений писателя и сценариста Эннио Флайяно (1910—1972). В нем собраны работы, издающиеся впервые и те, что были опубликованы посмертно. Сочинения, вышедшие при жизни Флайяно, составят второй том.

«Этот оригинальный автор,— считает видный литературовед Мария Корти, подготовившая издание вместе с Анной Лонгони,— недооценен критикой прежде всего потому, что он старался избегать привычных литературных жанров и «выражал себя» в записных книжках, изобилующих парадоксами дневниках, в афоризмах и едких эпиграммах (что, как замечает в еженедельнике «Панорама» Роберто Барболини, сближает его с Марциалом, Ювеналом и некоторыми английскими авторами). По мнению М. Корти, в основе поэтики Флайяно лежат три темы: случайность, быстротечность времени и путешествия. Путешествия, совершаемые героями его рассказов,— как правило, фантастические, метафорические, сатирико-аллегорические.

«Флайяно относился к литературе, как, бывает, относятся к женщине,— шутливо замечает М. Корти.— Очень любя ее, он изменял ей с кино- и театральной драматургией, с журналистикой». Писатель пробовал себя в кинокритике, работал как сценарист в жанре комедии с разными режиссерами, был соавтором сценариев многих фильмов Феллини («Дорога», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «Восемь с половиной», «Джульетта и духи»); в новом издании впервые публикуется неосуществленный сценарий «Пруст», созданный Флайяно на основе цикла романов «В поисках утраченного времени». «Но работа сценариста, должно быть, приносила ему и немало огорчений,— пишет Р. Барболини.— В своем «Ночном дневнике» Флайяно показывает нам, как классик итальянской литературы Алессандро Мандзони излагает некоему режиссеру сюжет «Обрученных», причем слышит в ответ: «Никакого Дона Аббондио! На первый план выдвигаем, естественно, Монахиню из Монцы. Чума публике вряд ли понравится... А миланский бунт? Не будет ли эта сцена на руку коммунистам? Да и съемка обойдется недешево...»

Судя по записям в дневниках и блокнотах, над рукописями произведений любого жанра Флайяно работал, вопреки мнению критиков, очень много, был настоящим «каторжником пера». Стиль Флайяно афористичен, и при посмертных изданиях некоторые фрагменты его сочинений нередко по ошибке относили то к одним, то к другим произведениям. Только получив в распоряжение все рукописи (большая часть их хранится в Фонде современных авторов при университете г. Павиа и кантональной библиотеке г. Лугано (Швейцария), составители смогли восстановить аутентичные тексты Флайяно», — подчеркивает М. Корти.

Эннио Флайяно. Автопортрет.

(Журнал «Панорама»)

Мартиника

ЕЩЕ ОДИН ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЮРПРИЗ

Перед самым началом второй мировой войны маленький остров Мартиника подарил литературе интересного поэта Эме Сезера, затем — не менее способного писателя Эдуарда Глиссана. И вот еще одно имя — Рафаэль Конфьян. О нем на страницах журнала «Магазин литтерер» рассказывает известный писатель и критик Ален Боске.

Тридцатисемилетний Конфьян — автор пяти книг, изданных на креольском языке. Теперь же он буквально «ворвался в литературу» с романом «Негр и адмирал», написанным по-французски. Секрет успеха прост, поясняет А. Боске: «В этом произведении есть все, чтобы заинтересовать, увлечь и ошеломить читателя». В приключенческом стиле книга Рафаэля Конфьяна повествует о «драматичном, неожиданном в своем развитии и даже комическом эпизоде времен войны» (место действия — Мартиника). Так, в комичном положении оказывается главный герой романа адмирал Робер. Этот правитель осажденного немецкими подводными лодками острова втайне надеется на высадку американцев, а позже присоединяется к сторонникам генерала де Голля. «Французы,— иронично подмечает рецензент, — по своему обыкновению, разбились на непримиримые группировки, но затем, убаюканные красотами природы, «успокоились» — и все их стычки и распри превратились в «шутовство под сенью пальм».

Подобные «скачки» от сентиментальности к буффонаде и составили основу повествования. К стилистическим же достоинствам книги, по мнению А. Боске, следует отнести «удивительную свежесть языка обитателей Мартиники с его неправильностями, меткими выражениями и неожиданными оборотами».

Чего в поведанной истории больше — поэтичности, сатиры или просто откровенного розыгрыша,— сказать трудно, полагает рецензент «Магазин литтерер». Но в любом случае благодаря писательскому мастерству Рафаэля Конфьяна его маленькая родина стала «ближе, понятнее и милее» читателям.

Нидерланды

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗНАКОМОЕ БУДУЩЕЕ

С тех пор как в 1980 году известный прозаик Владимир Войнович был вынужден покинуть СССР и обосновался на Западе, его статьи и интервью, публиковавшиеся в различных периодических изданиях, постоянно привлекали внимание читателей. Выход в свет переводов созданного Войновичем еще в Советском Союзе романа в двух книгах «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина» сделал писателя, как отмечал посвятивший творчеству Войновича большую статью еженедельник «Фрай Недерланд», «едва ли не самым популярным из живущих в эмиграции русских прозаиков».

«Однако новый роман, написанный уже за рубежом,— «Москва 2042» — превзошел самые смелые ожидания читающей публики»,— говорится в аннотации нидерландского издательства «Мёленхофф», выпустившего книгу в переводе Марьи Вибес. Если Иван Чонкин был прямым потомком бравого солдата Швейка отмечается в проспекте, то в «Москве 2042» становится совершенно очевидным, что Войновича можно назвать наследником знаменитых представителей жанра антиутопии: Евгения Замятина, Олдоса Хаксли, Джорджа Оруэлла. Правда, Войнович «карнавализирует» антиутопию, об-

ращает ее в своего рода предостерегающую сатиру, показывает опасность некоторых тенденций развития общества, «доводя их до логического завершения», которое в конце концов оборачивается абсурдом.

Центральный персонаж романа Виталий Никитич Карцев — alter ego самого Владимира Войновича — предпринимает путешествие в неведомое (и оказывающееся таким знакомым, «уже виденным») будущее. Повествование героя о его пребывании в Москве середины XXI века, продолжает рецензент, оборачивается «гротескным прыжком из сегодняшних фантазий в грядущую реальность» — в которой, кстати, роман давно уже признан классикой. Единственной «страховкой» при этом сальто-мортале служит никогда не подводящее Войновича чувство юмора, талант иронического остранения, позволяющий ему свободно балансировать на логических построениях клоунады.

Румыния

ЭМИНЕСКУ В РУССКИХ ПЕРЕВОДАХ

«Удачный поэтический перевод — всегда чудо. Наука его отрицает, рассудок отказывается в него поверить, а сердце радуется ему, пожалуй, даже больше, чем совершенному произведению в оригинале». Так начинает Е. Логиновская свою новую книгу «Эминеску на языке Пушкина», выпущенную одним из ясских издательств и вызвавшую единодушный положительный отклик румынской литературной критики. Научный сотрудник бухарестского Института истории и теории литературы имени Дж. Кэлинеску, на протяжении долгих лет занимающаяся изучением русско- и советско-румынских литературных связей, Е. Логиновская посвятила эту работу восприятию и переводам произведений великого национального поэта Румынии на русский язык.

Книга открывается теоретическим введением, в котором анализируются природа, статус перевода. Затем Е. Логиновская внимательно и компетентно рассматривает путь творчества М. Эминеску в русской и советской литературе от первого перевода (в 1891 году, в журнале «Русское слово») до наших дней (всего переведено 131 стихотворение, среди переводчиков — С. Шервинский, Л. Мартынов, А. Ахматова, Ю. Кожевников). Заключительная часть работы — конкретный анализ переложения на русский язык 21 стихотворения поэта.

«Прочитав монографию «Эминеску на языке Пушкина»,— отмечает в еженедельнике «Контемпоранул» Дж. Мунтян,— каждый может получить яркое представление о том, каков М. Эминеску на русском языке». Книга Е. Логиновской — комплексное исследование, его автор выступает как литературовед, историк литературы и проницательный критик, пишет на страницах газеты «Ромыния литераръ» Валериу Кристя. «Демонстрируя абсолютную компетентность и высокую профессиональную щепетильность, Е. Логиновская составила, по сути, ценную и подробную карту переводов М. Эминеску на русский язык со всеми подъемами и спусками, заоблачными вершинами и катастрофическими провалами,— подчеркивает критик.— В лице этой серьезной и эрудированной исследовательницы столь важная область изучения творчества Эминеску, как переводы на русский язык, получила настоящего ангела-хранителя — непримиримого и справедливого, доброжелательного и беспощадного одновременно, всегда способного отделить зерна от плевел».

США

ЕЕ РЕДАКТОРОМ БЫЛ ПУШКИН

Еженедельник «Нью-Йорк таймс бук ревью» сообщает о выходе сразу двух переводов — в издательствах «Анн Арбор» и «Индиана юнивёрсити пресс» — воспоминаний Надежды Дуровой.

В 1806 году совсем юной она сбежала из дому и, переодевшись в мужское платье, вступила в кавалерию, в течение десяти лет воевала против наполеоновских войск, была ранена в Бородинской битве и вышла в отставку в чине капитана. И хотя военную дисциплину «кавалерист-девица» соблюдала слабо, в боях она отличалась храбростью и

Надежда Дурова.

(Газета «Нью-Йорк таймс» бук ревью»)

отвагой, что оценил Александр I, присвоивший ей офицерское звание.

Как отмечает рецензент еженедельника Рональд Хингли, русист, автор биографических книг о Достоевском, Чехове и Пастернаке, у Надежды Дуровой нашелся и другой покровитель — Александр Пушкин, который отредактировал и помог опубликовать мемуары «кавалерист-девицы». Они были настолько «пушкинскими» по духу, что В. Белинский счел настоящим их автором самого Пушкина. Однако, по мнению Р. Хингли, им далеко до «легкости и игры воображения» прозаических произведений «великого редактора». Рецензент полагает, что в мемуарах Н. Дуровой персонажи слишком схематичны, слишком много места отведено описаниям настроений автора и восторженным речам в адрес царя. Сомнения вызывает и достоверность многочисленных диалогов, приводимых «дословно» — это, по словам Р. Хингли, один из основных недостатков мемуарного жанра.

«Однако эти воспоминания являются важными историческими документами, — пишет «Нью-Йорк таймс бук ревью», — и появление их на английском языке можно лишь приветствовать».

ОДИН НА ОДИН С ПИШУЩЕЙ МАШИНКОЙ

«Факты: автобиография писателя» — так озаглавлена вышедшая в издательстве «Фаррар, Штраус и Жиру» книга известного американского романиста Филипа Рота. Однако такое название вполне может ввести читателя в заблуждение, пишет на страницах «Нью-Йорк ревью оф букс» рецензент Томас Эдвардс. По признанию Рота, некоторые имена он изменил, некоторые факты либо выпущены вообще, либо представлены не столь значительными. Парадоксально, но в автобиографии совсем немного говорится собственно о жизни Филипа Рота.

Правда, основные события все же отражены: детство в Ньюарке, учеба, преподавательская деятельность в Чикаго, личные проблемы, болезни, публикации его книг, профессиональный успех. Любопытно, что самому автору собственная жизнь кажется гораздо менее интересной и увлекательной, чем жизнь героев его романов (многие произведения, однако, автобиографичны). «Похоже, бóльшую часть времени я провел один на один с пишущей машинкой. Но мне нравится одиночество — так кое-кому из моих знакомых нравятся вечеринки», — признается писатель.

Рецензент отмечает весьма своеобразную форму автобиографии: Филип Рот как бы обменивается письмами о создаваемой книге с Натаном Цукерманом — главным героем нескольких своих романов («История мужчины», «Полифония жизни»

и других), с которым нередко отождествляет себя. Впрочем, этого от Филипа Рота можно было ожидать, считает критик, — ведь его фантазия почти не имеет границ, склад ума весьма ироничен, есть и писательские амбиции. Ко всему Ф. Рот с удовольствием «рецензирует» собственные произведения в очерках, лекциях и интервью, подробно исследуя свою эстетику.

«Для Филипа Рота автобиография служит продолжением литературного творчества иными средствами, а зачастую — и теми же самыми, — пишет «Нью-Йорк ревью оф букс». — Но в ней проступают достойные внимания факты, каких не было в романах, и самое главное — новый, свежий взгляд на проблему художественного вымысла, писательского воображения — столь яркого достоинства книг Рота».

Франция

В ЧЕМ ЗАГАДКА ИЗАБЕЛЬ?

«Чародейка», «сумасшедшая», «прекрасная фея», «упрямый и капризный ребенок», «Моцарт в юбке» — так отзывается пресса об известной современной французской актрисе Изабель Аджани. Составить из множества мнений, подчас противоречивых, портрет подлинной Аджани пытается обозреватель журнала «Нувель обсерватёр» Франсуа Кавильоли.

В поисках ключа к пониманию личности Аджани рецензент обращается к фактам ее биографии и людям, хорошо знающим актрису. Изабель познала все мучения ребенка, росшего в семье постоянно враждовавших родителей. «Она стала замкнутой и недоверчивой, как все дети, которым лгут», — говорит ее импрессарио Мари-Лор Леклерк. «Маленькая, беззащитная девочка испытала и насмешки одноклассниц, потому что была более развитой и способной, чем они», — делится воспоминаниями преподавательница французского языка из лицея, где училась Изабель и где произошла ее встреча с театром. В любительском спектакле «Проделки Скапена» тринадцатилетняя лицеистка сыграла Скапена — свою первую роль, с которой справилась превосходно, чем и привлекла внимание представительницы местного культурного центра. Та рекомендовала ее профессиональному режиссеру, затем последовали предложения на участие в съемках кино- и телефильмов и даже приглашение на сцену «Комеди Франсез»...

Неожиданный артистический успех юной Изабель ничуть не обрадовал ее родителей, желавших дочери прежде всего получить «хорошее образование». 1972—73 годы стали переломными в жизни девушки: она получает степень бакалавра, но отказывается от «светской карьеры», от собственной мечты «заниматься с детьми» и выбирает актерскую профессию, продолжает Ф. Кавильоли. Не имея специальной подготовки, Изабель «на ходу» осваивала мастерство перевоплощения — и добилась подлинного профессионализма благодаря природной восприимчивости и огромной жажде познания. «Изабель обладает невероятной интуицией, — подчеркивает работавший с ней режиссер Робер Оссейн. — Фальшь в человеке она, например, видит сразу». К работе над фильмом «Камилла Клодель» о судьбе ученицы великого Родена Аджани приступила, лишь досконально изучив историю скульптуры XIX века по лекциям профессора Ж.-Ф. Дюффо. «Она хотела знать все и задавала уйму вопросов, а во время съемок, на которых я присутствовал, сверяла со мной каждый жест, каждое движение», — рассказывает профессор.

«Ключ к загадке Аджани — в драматичности ее натуры «вечного ребенка», — считает «Нувель обсерватёр». — Похоже, окружающий мир слишком опасен для Изабель, «так и не расставшейся с детством», и она «бежит» от него в мир своих героинь, увлекая силою таланта многочисленную зрительскую аудиторию».

Изабель Аджани.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

«БЕНГАЛЬСКАЯ НОЧЬ»

«Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут» — эти слова Р. Киплинга румынский писатель и философ Мирча Элиаде вполне мог бы избрать эпиграфом к своему автобиографическому роману «Майтрейя» (впервые опубликованному в 1933 году на его родном языке), по которому режиссер из Франции Никола Клотц снял фильм «Бенгальская ночь».

Рассказывая о только что созданном фильме, рецензент журнала «Магазин литтерер» Нелли Каплан напоминает, какой поистине драматический сюжет лег в основу сценария. Молодой европеец, инженер Аллен, приезжает в Калькутту и находит теплый прием в доме своего работодателя. Здесь он знакомится с дочерью хозяина, шестнадцатилетней Майтрейей, одаренной поэтессой, ученицей Рабиндраната Тагора. Поначалу девушка кажется ему некрасивой — европеец воспринимает ее только как существо экзотическое. «Но мало-помалу Майтрейя буквально очаровывает молодого человека», — пишет рецензент.

Однако вспыхнувшему чувству не суждено завершиться браком. Аллену отказывают от прежде гостеприимного дома Майтрейи: родные девушки, принадлежащей к высшей касте брахманов, не могут допустить ее «осквернения» близостью с чужестранцем... Фильм заканчивается так: юная индианка продолжает бороться за свою любовь, герой же остается в бездействии. Уже не в фильме, а на страницах романа он мучительно размышляет о том, было ли пережитое им любовью или «наваждением».

Интерес к картине будет, несомненно, поддержан и неким ореолом тайны, касающейся романа «Бенгальская ночь», отмечает Н. Каплан. Известно, что поэтесса Майтрейя Деви, послужившая прототипом главной героини произведения М. Элиаде, узнала в 1965 году о существовании романа и добилась у автора запрещения переводить его на английский язык. Тогда же она опубликовала в одном из калькуттских издательств книгу «Любовь бессмертна», дав в ней собственную версию событий. Поэтому неудивительно, что даже спустя двадцать лет экранизация «Бенгальской ночи» вызвала в индийской прессе настоящую бурю, были и прямые попытки повлиять на съемки фильма, приоста-

Кадр из фильма «Бенгальская ночь».

(Журнал «Магазин литтерер»)

новить их, изъять кассеты с отснятой пленкой. Несмотря на это, фильм сделан и смонтирован, скоро выйдет на экраны, и зрители получат возможность оценить его по достоинству.

ФРГ

К ДЕВЯНОСТОЛЕТИЮ РЕМАРКА

Его первая книга была сокрушительной неудачей, второй суждено было стать сенсацией, общественным и политическим событием всемирного масштаба. Роман «На Западном фронте без перемен», написанный человеком, который выжил в первой всемирной бойне, стал потрясающим «свидетельством безумия, организованного истребления себе подобных». Год публикации — 1929. Его автору в то время едва исполнился тридцать один.

Город Оснабрюк, где родился Эрих Мария Ремарк, почтил его девяностолетний юбилей обширной выставкой. Здесь представлены первые издания книг Ремарка, письма, сообщает западногерманский еженедельник «Цайт». Впервые экспонируется целый ряд ранее не известных широкой публике фотографий из нью-йоркских архивов.

Благопристойный мальчик из мелкобуржуазной семьи; новобранец, отправляющийся на фронт; юноша из кругов художественной богемы провинциального Оснабрюка; берлинский спортивный репортер и составитель рекламных текстов; тридцатилетний владелец виллы в Швейцарии; эмигрант, в 1938 году лишенный нацистами гражданства, книги которого «с позором и проклятием» были преданы огню; писатель с мировым именем, собиратель живописи — в документальных фотографиях запечатлен долгий жизненный путь Ремарка, рядом с писателем — его друзья и близкие.

«В другой стране государство уже давно позаботилось бы, чтобы подобный очернитель болтался на фонаре», — кипела гневом в 1929 году «Фёлькишер беобахтер». Полтора десятилетия спустя эта угроза стала ужасной реальностью, хотя и не для самого писателя, а для его сестры. Обвиненная в «действиях, направленных на подрыв оборонной мощи», чрезвычайным заседанием берлинского «Народного суда» она была приговорена к смертной казни и обезглавлена 16 декабря 1943 года в Плётцензее («именно потому, что мы не могли схватить ее брата», — не утаил «единодушного мнения» один из судей). И этот страшный удар, и горький опыт изгнанника, объявленного на родине вне закона, оставили незаживающую рану в душе Ремарка: за годы, истекшие после второй мировой войны, вплоть до самой своей смерти в 1970-м (в Локарно) он лишь один раз ненадолго приезжал в родной город, пишет «Цайт».

Однако, отмечает Б. Эренц на страницах еженедельника, именно трагичность судьбы сделала Ремарка (некогда характеризовавшего свой второй роман как «книгу аполитичную», в которой он стремился показать «лишь чисто человеческое видение войны») писателем политическим, автором книг с бесспорно антифашистской направленностью — «Триумфальная арка», «Жизнь взаймы», «Тени в раю».

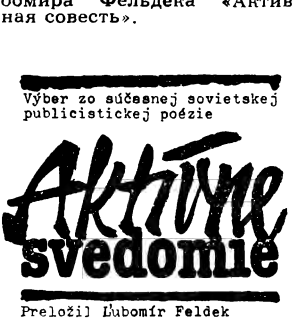
К сожалению, пишет Б. Эренц, Оснабрюкскому обществу Ремарка до сего времени удалось купить лишь микрофильмированные копии части хранящегося в Нью-Йорке литературного архива Ремарка объемом в 62 000 листов, среди которых — рукопись «легендарного второго романа».

Чехословакия

«АКТИВНАЯ СОВЕСТЬ»

Издательство «Словенски списователь» выпустило в свет подготовленную известным поэтом, мастером поэтического перевода Любомиром Фельдеком антоло-

Титульный лист книги Любомира Фельдека «Активная совесть».



гию советской поэзии, озаглавленную по одному из вошедших в нее стихотворений Андрея Вознесенского «Активная совесть» (составитель Милан Токар). В нее вошли стихи советских поэтов, опубликованные на страницах газет и журналов за последние два-три года. «Критика, сатира, анализ органично слиты здесь с поэтическим призывом,— пишет в предисловии Любомир Фельдек.— Советские поэты говорят не только от своего имени, от имени народа, земляков, читателей, континента, от имени читателей современного мира».

Костяк антологии составили стихи наиболее «ангажированных» советских поэтов — Андрея Вознесенского («Активная совесть», «Сон», «Правда», «Резиновое», «Долг», «Человек», «Больница»), Евгения Евтушенко («Кабычегоневышло», «Правда», «Производители уродства», «Будем великими»), Роберта Рождественского («Стихи на поэтическую тему», «Улыбающийся», «Человек в кресле»). Включены в книгу и произведения Ольги Берггольц («На собраньи целый день сидела» — стихотворение, возникшее, по свидетельству Вл. Лакшина, в конце сороковых годов, но впервые опубликованное в журнале «Знамя» 1987, № 3), Владимира Высоцкого («Банька по-белому»), Булата Окуджавы («Мне сегодня...»), Михаила Дудина («Я повторяю вновь и вновь», «Надпись на книге А. А. Ахматовой», «Иуда»), Марка Лисянского («И я молчал»), Ольги Фокиной («Конечно, конечно»), Расула Гамзатова («Аплодисменты»), Юнны Мориц («Проще пареной репы»). Эти стихи — живой отклик советских поэтов на самые жгучие темы современности — Чернобыль, засилие бюрократии, преступления против природы или жестокая несправедливость в отношении Пастернака и Ахматовой...

«Признаюсь, что я впервые встретился с такой широтой тематического простора, и за нее не пришлось платить изменой простору правды... И я счастлив, что причастен к этому процессу как переводчик,— признается Л. Фельдек.— Впервые в жизни я почувствовал, что перевод — не только заполнение культурных пустот или утверждение возможностей родного словацкого языка и своих собственных. Я понял, что перевод — подвиг, который в эпоху исторического разлома может тронуть народ больше, чем трогает его собственная, национальная литература, хотя переводимые стихи рассказывают о другом народе, а своя литература о своем... И это — минуты торжества перевода! Стихи, вошедшие в антологию, показывают нам, как надо писать и как надо достойно жить».

◆

Авторы этого номера

ЮКИО МИСИМА (псевдоним, настоящее имя — Кимитакэ Хираока; 1925—1970) — японский писатель. Автор многих романов, новелл, пьес, эссе. Ю. Мисима был также режиссером и актером театра и кино. Его пьесы входили в репертуар театров Японии, Европы и США, романы экранизировались. Среди наиболее известных произведений писателя — романы «Исповедь маски» (1949), «Шум волн» (1954), «Золотой Храм» (1956), «Дом Киоко» (1959), тетралогия «Море изобилия» (1966—1970). На русский язык переведена новелла «Патриотизм» («ИЛ», 1988, № 10; в этом же номере — статья о жизни и творчестве писателя «Мученичество святого Себастьяна, или Завороженный смертью» Г. Чхартишвили). Перевод романа «Золотой Храм» сделан по тексту издательства «Синтёся», Токио 1960 г.

ХОРХЕ ГАЙТАН ДУРАН (JORGE GAITÁN DURÁN; 1924—1962) — колумбийский поэт и эссеист. Автор поэтических сборников «Настоятельная грусть» («Insistencia en la tristeza», 1949), «Человек — рядом» («La presencia del hombre», 1951), «Удивление» («Asombro», 1953). Публикуемые стихи взяты из книги «Если я проснусь завтра» («Si despierto mañana», Богота, 1962).

ЭДУАРДО КАРРАНСА (EDUARDO CARRANZA; род. в 1913 г.) — колумбийский поэт и прозаик. Автор книг стихов «Песни, начинающие праздник» («Canciones para iniciar la fiesta», 1936), «Ты и есть лазурь» («Azul de ti», 1956). Публикуемые стихи взяты из сборника «Сочтенные шаги», куда вошли и стихи, увидевшие свет в 1955—1968 гг. («Los pasos contados», Богота, 1975).

ЛЕОНАРДО ШАША (LEONARDO SCIASCIA; род. в 1921 г.) — итальянский писатель. Автор книги «Сказки о диктатуре» («Favole della dittatura», 1950) — сатира на режим Муссолини, сборника стихов «Сицилия и ее сердце» («La Sicilia il suo cuore», 1952), сборника рассказов «Церковные приходы Регальпетры» («Le parrocchie di Regalpetra», 1956), повести «Контекст» («Il contesto», 1971), исторических очерков «Смерть инквизитора» («Morte dell'inquisitore», 1964) и др. В «Иностранной литературе» напечатаны его повести «Сова появляется днем» (1962, № 4), «Каждому свое» и «Американская тетушка» (1967, № 1), «Палермские убийцы» (Библиотека «ИЛ», 1982), на русском вышла также книга «Винного цвета море» (М., 1982), куда вошли романы, повести и рассказы писателя разных лет. Рассказ «Смерть Сталина» взят из сборника Л. Шаши «Сицилийские дядюшки и тетушки» («Gli zii di Sicilia», Torino, Einaudi, 1958).

РОАЛЬД ДАЛЬ (ROALD DAHL; род. в 1916 г.) — английский прозаик, драматург. Автор пьес, сценариев, многих сборников рассказов, наиболее известны «Кто-то вроде вас» («Someone Like You», 1953), «Поцелуй, еще поцелуй» («Kiss, Kiss», 1959), повесть-сказка «Ведьмы» («The Witches», 1983 — Уитбредская премия за лучшую детскую книгу года). Рассказ «Как вам будет угодно, пастор» взят из сборника «29 поцелуев от Роальда Даля» («Twenty-Nine Kisses from Roald Dahl», London, Joseph, 1969).

Переводчики

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род. в 1956 г.) — советский переводчик с японского. В его переводе публиковались рассказы Кобо Абэ, Кэндзи Маруямы, Ясуси Иноуэ, главы из книги Такэси Кайко «Все дальше и дальше!» («ИЛ», 1986, № 3) и др.

ГОНЧАРЕНКО СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ (род. в 1945 г.) — советский поэт и переводчик, филолог-испанист, кандидат филологических наук. Автор книги «Четыре лета в году» (1980). Переводчик поэзии Луиса де Гонгоры, Мигеля де Унамуно, Пабло Неруды, Николаса Гильена, Леона де Грейффа, Альфредо Вивара и других испанских и латиноамериканских поэтов. Ему принадлежит ряд работ в области романской филологии и теории перевода, в том числе «Испанская рифма» (М., 1987), «Стилистический анализ испанского стихотворного текста (основы теории испанской поэтической речи)» (М., 1988) и др.

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.) — советский переводчик итальянской поэзии и прозы. В «Иностранной литературе» печатались его переводы из Данте, Петрарки, Белли, Монтале, Луци и др. За поэтические переводы отмечен рядом литературных премий Италии.

В 1990 году редакция «Иностранной литературы» предполагает опубликовать:

Дэвид Г. Лоуренс (Великобритания) «Любовник леди Чаттерлей». Роман, на который в свое время в Англии был наложен цензурный запрет. Ныне он оценивается критикой и читающей публикой как одно из классических произведений литературы XX века.

Сол Беллоу (США). Роман «Герзаг», названный по имени его главного героя,— история интеллектуала, переживающего тяжелую душевную смуту. Одна из центральных книг лауреата Нобелевской премии.

Андре Бринк. Роман «Стена чумы». Автор — крупнейший представитель литературы белого населения ЮАР. Героиня — эмигрантка, скитающаяся по Европе в поисках утраченной связи со своим народом.

Фолькер Браун. Пьеса «Смерть Ленина». Написана более двадцати лет назад и увидела свет в ГДР в 1988 году.

Стефан Гейм (ГДР). Роман-притча «Книга царя Давида».

Жоржи Амаду (Бразилия). Роман «Исчезновение святой», вышедший из печати в 1988 году. Как и обычно, автор изображает жизнь и быт людей родного края.

В разделе «Поэзия», наряду с открытием новых для советского читателя имен, редакция собирается опубликовать стихи таких крупнейших поэтов нашего столетия, как **Эзра Паунд, Райнер Мария Рильке, Х. Н. Бялик, Чеслав Миклош, Янош Пилинский, Х. Л. Борхес, Октавио Пас.**

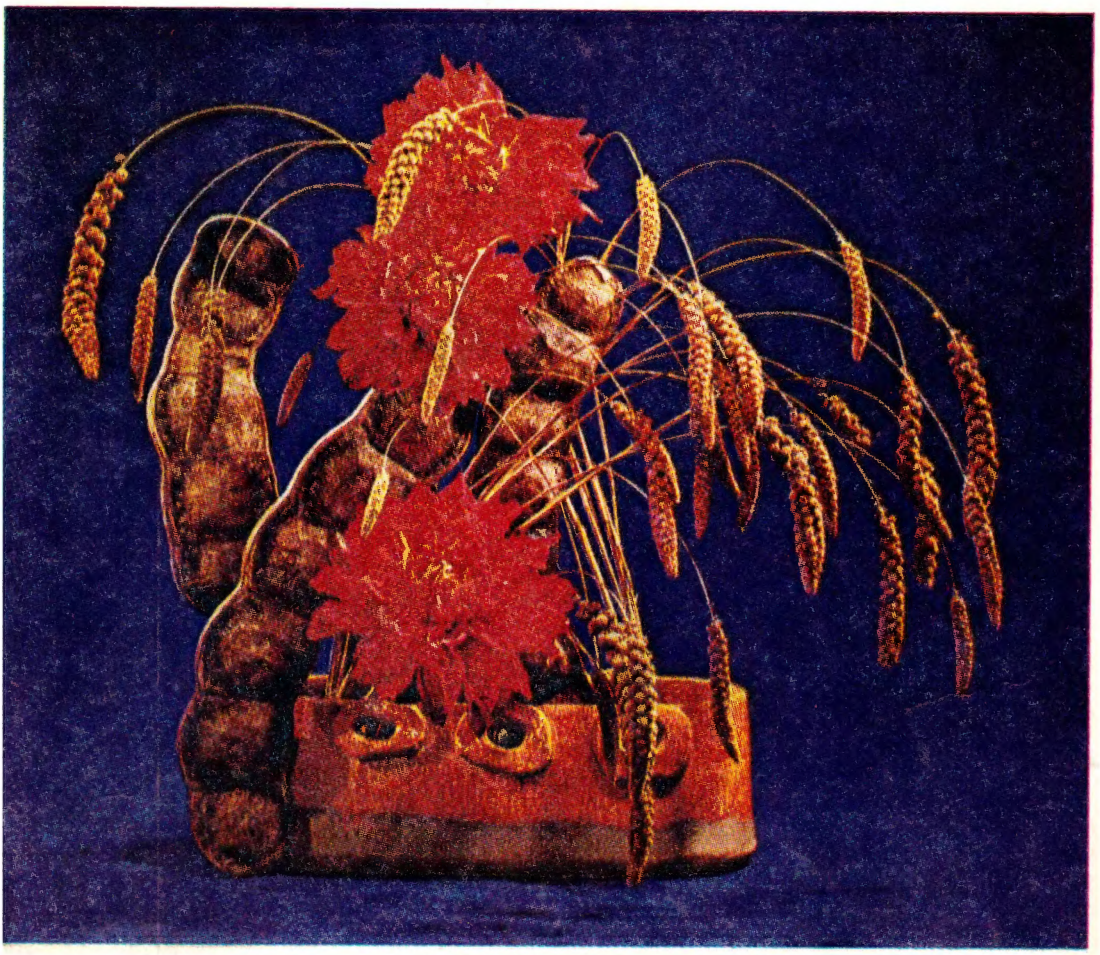
В разделе документальной прозы и публицистики редакция намерена уделить значительную часть журнальной площади очеркам, дневникам, мемуарам и т. д. Среди них — книга французского писателя **Жиля Перро** «Красный оркестр» о действовавшей на территории оккупированной Европы подпольной антифашистской организации во главе с известным советским разведчиком Леопольдом Треппером (по возвращении в Советский Союз он был незаконно репрессирован, а после смерти Сталина — реабилитирован); мемуары бывшего работника Коминтерна из Югославии **Карло Штайнера** «7000 дней в Сибири»; фрагменты книги крупнейшего религиозного мыслителя XX века **Романо Гвардини** «Конец нового времени».

В отделе критики будут опубликованы литературные портреты и проблемные статьи о творчестве Марселя Пруста, Эзры Паунда, Д. Г. Лоуренса, Сола Беллоу, Бруно Шульца, Андре Жида, Ш. Агнона и др. Среди авторов: **С. Аверинцев, А. Гулыга, Ю. Давыдов, Вяч. Иванов, М. Мамардашвили, А. Зверев, В. Земсков, Вик. Ерофеев, В. Огнев, Л. Осповат** и др.

На страницах журнала будет постоянно вестись разговор о книгах, которые находятся в центре внимания читательской общественности у нас и за рубежом.

Цена 1 р. 80 к.

Индекс 70394



ISSN 0130—6545 Иностранная литература № 5, 1989, 1—256